

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вступительная статья
А. И. Павловского
Составление М. Ф. Берггольц
и А. И. Павловского
Подготовка текста и примечания
Т. П. Головановой

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1983

Р 2
Б 48

Настоящее издание — наиболее полное и научно подготовленное собрание стихотворных произведений О. Ф. Берггольц (1910—1975). Творчество знаменитой ленинградской поэтессы с его проникновенным лиризмом, неподдельной искренностью авторского голоса, взволнованностью в выражении гражданских, патриотических чувств — выдающееся явление советской поэзии. Помимо произведений, известных по прижизненным изданиям и периодике, в настоящем сборнике впервые публикуются многочисленные произведения из архива Ольги Берггольц. Драматическое наследие представлено стихотворной трагедией «Верность».

Б $\frac{4702010200—150}{083(02)—83}$ 403—83



ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Об Ольге Берггольц давно и справедливо сказано, что для большинства читателей, для народа она как поэт родилась в блокадную ленинградскую зиму 1941—1942 годов. Она и сама соглашалась с таким мнением, называя годы Великой Отечественной войны порою своего «жестокого расцвета».

Между тем высокая поэтическая деятельность Ольги Берггольц была подготовлена всей ее предшествующей жизнью — комсомольской юностью, прошедшей за Невской рабочей заставой, журналистской молодостью на стройках первых пятилеток, многообразной литературной работой 30-х годов. Говоря о «жестоком расцвете», она, конечно, не случайно сказала, как бы сомкнув свою жизнь в некое единство:

...И всё яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.

(«Твой путь»)

...Всегда жила для этих дней... Однако довоенный период ее творчества по-настоящему еще не исследован. Долгое время вообще считали, что предшествующие блокаде годы были не более чем периодом ученичества, первых проб и исканий, что замечательный взлет, который пережила Ольга Берггольц, став мужественным певцом осажденного Ленинграда, это, в известном смысле, неожиданность — «феномен Берггольц». Молодая женщина, превратившая поэзию в боевой доспех, преломившая слово, подобно хлебу насущному, ставшая гордой живой легендой для своих сограждан, не умевших говорить о ней без слез признательности, — кто она? Ведь большинство, даже из ленинградцев, услышали это имя действительно впервые. Лишь немногие знали, что Ольга Берггольц писала и до войны. Ленинградские литераторы, ее сверстники и старшие

товарищи, хорошо помнили юную девушку с длинными золотыми косами, приходившую из-за Невской заставы на литзанятия в группу «Смена». У нее были стихи, отмеченные несомненным дарованием. О ней с симпатией отзывались К. Чуковский, С. Маршак и М. Горький.

Однако тот голос, что зазвучал зимой сорок второго года, трудно было соотнести с масштабами знакомой лирики. В нем дышала народная трагедия. Поэзия самоотреченно рождалась на грани гибели, утверждая жизнь и предрекая победу.

Иногда говорят о чрезвычайной популярности Ольги Берггольц в годы блокады. Но суетное слово «популярность» к ней совершенно не подходит, как, впрочем, не подходит и слово «известность» и даже «слава». Потому что трудно назвать другого поэта, которого бы любили так, как любили стихи и радиоголос Ольги Берггольц осажденные ленинградцы.

Строгий и скупой на слова Ленинград творил о ней легенду, особый ленинградский миф, в котором все было правдой. Но так как правда жила в стихе, то в легенду легко входил тот высокий поэтический настрой, который всегда сродни чудесному. Называли же Ольгу Берггольц, недавнюю комсомолку, молодую коммунистку — «ленинградской мадонной», подвижницей, святой!.. Кроме того, Ольгу Берггольц все слышали, но кто ее видел? Ее стих, ее голос какое-то время, в самую тяжкую, смертную пору, жил исключительно в эфире...

По вершинам, вечно обнаженным,
проходила жизнь моя, звеня...
И молились Ксении Блаженной
темные старушки за меня... [1]

Ее душа и слово были настроены так, чтобы постоянно впитывать и удерживать в себе людское страдание, постоянно идти на боль, как на костер, чтобы, обуглив душу, обратить страдание в силу, отчаяние — в надежду и даже самую смерть — в бессмертие. У Блока, которого Ольга Берггольц боготворила и которого в пору своего «жестокого расцвета» молитвенно помнила, есть слова о том, что если писатель верует в свое призвание, то он не может не страдать страданиями своей родины — не может не «сораспинаться с нею». [2] Судьбою Ольги Берггольц стали мужество, страдания и победоносное терпение блокадного города. В одном из очерков она пи-

---

[1] Из поэтического наследия. Публикация М. Ф. Берггольц. — Сб. «Вспоминая Ольгу Берггольц», Л., 1979, с. 589.

[2] Блок Александр, Ответ Мережковскому. — Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, Л., 1962, с. 443.

сала, что Ленинград враги пытают на глазах у матери-родины, но он не издает ни стона. Вот этот-то немой стон она — невероятною силою душевного напряжения, сораспинаясь, — и превращала в стих, в героическую песнь, срывавшуюся с обескровленных уст города.

Понимала ли Ольга Берггольц свою необыкновенную роль «певца во стане русских воинов»? Свое высокое предназначение?

Прежде всего надо сказать, что внутренне, духовно она была готова к своему подвигу. Она могла не знать (и не знала, конечно), что́ именно выпадет на ее долю в ожидавшей страну битве, но душевное горение ее было высоко, а поэтическое слово — в канун войны — уже успело закалить себя в нешуточных бедах и испытаниях.

Как поэт и литератор Ольга Берггольц была до войны действительно мало известна. Возможно, по этой причине писавшие о ней всегда были склонны проводить как бы несомненную для них грань между ее блокадной лирикой и ее же довоенными стихами. «Но кто сказал, что я делюсь на части?» — могла бы она возразить строкой, хотя и написанной по другому поводу, но по существу о том же — о целостности, неразрываемости своей души и творчества. Даже А. Фадеев, отдавший в одном из своих военных очерков восхищенную дань мужеству и таланту Ольги Берггольц, все же заметил, вслед за другими, что хотя и до войны «видно было, что она человек с дарованием, но голос у нее был тихий и неоформленный».[1]

Дело в том, что творчество Ольги Берггольц даже и сейчас все еще неизвестно во всем его объеме.

Между тем до войны она прошла относительно большой творческий путь. Читатель увидит, что этот сборник (наиболее полный из всех когда-либо выходивших сборников Ольги Берггольц) открывается стихами 1925 года. Существуют и более ранние стихи. Но лирические произведения 1925 года, хотя автору в пору их написания и было всего лишь пятнадцать лет, можно считать началом постоянной с тех пор стихотворческой работы.

Надо ли говорить, что за последовавшие затем шестнадцать — семнадцать лет, которые отделяют эти первые стихи от блокадной лирики, ею было пережито, перечувствовано и написано немало. До войны прошла у Ольги Берггольц сложная, драматичная, отмеченная радостями и бедами, насыщенная событиями жизнь, правдиво и своеобразно отразившаяся в ее стихах, давшая много импульсов для всего дальнейшего творчества.

---

[1] Фадеев А., «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж». — Сб. «Вспоминая Ольгу Берггольц», с. 158.

Интересно, кстати, что стихи второй половины 30-х годов, в особенности кануна войны, гораздо сильнее отличаются от ее же стихов ранней юности, чем от блокадной лирики. Если читать Ольгу Берггольц подряд, то есть хронологически, пройдя по стихам вместе с нею и 20-е и 30-е годы, то становится хорошо видно, как внутренне мужала ее поэзия, расширялись ее горизонты, тверже становился голос. Она входила в преддверие войны и в войну психологически и политически подготовленной. К концу 30-х годов она уже была сильным поэтом, обладавшим ясным поэтическим мышлением, острым гражданским темпераментом, выношенностью убеждений, — словом, она уже была той Ольгой Берггольц, какую вскоре узнали и полюбили миллионы ее воюющих сограждан. Нежность и ранимость души, чутко отзывавшейся на чужое страдание, доверительность и прямота голоса сочетались в ее стихе с решительностью жеста и непреклонностью воли.

Я жалобою не нарушу
судьбу горящую свою:
пусть у костра погреют души
и песнь отрадную споют...

(«Костер пылает. До рассвета...»)

Как это близко — по смыслу и по сумрачной музыке строк, по их «хмурой радости» — к ее лирике военных лет... Не из этого ли костра долетела искра в ее блокадный согревающий огонь?

...и, может, снова душу мир согреет
у нашего блокадного костра.

(«Ленинградская осень»)

Однако большинство едва ли не лучших ее стихов предвоенных лет были известны лишь узкому кругу друзей.

Ольга Берггольц с тревогой прислушивалась к трагической музыке эпохи, быстро наполнявшей мир. Она и сама столкнулась со злом, явившимся ей совершенно неожиданно — не с вражьей стороны. В своих стихах она писала о том, что перечувствовала и пережила, прислушавшись к своей и чужой боли. Но такие мотивы считались тогда не ко времени.

Струна в тумане
Песня моя сейчас, —

(«Струна в тумане...»)

писала она в одном из стихотворений 1940 года. Образ тумана и глухо звучащей струны появится у нее не однажды.

Одновременно она пишет о бурях мира, «взывающих» к стихам:

О, тайны сердца, зреющего в бури!
Они ревнуют, и они ж взывают
к стихам...

(«Еще редактор книжки не листает...»)

Сейчас эти строки прочитываются как предвкушение борьбы и пророчество.

Читатель этого сборника не раз увидит, познакомившись впервые с иными из стихов Ольги Берггольц той поры, что незаурядная сила духа постоянно воспламеняла ее творчество и — наперекор бедам, перечеркивая обиды, — как бы все крепла и мужала.

Никакой, следовательно, резкой грани между довоенным творчеством Ольги Берггольц и ее блокадными (и последующими) стихами никогда не существовало. Мнимая «грань» эта возникала лишь в сознании критиков исключительно из-за неполного знания творчества поэта.

Ольга Берггольц всегда была замечательно чутка ко всем волнениям общественной жизни, ко всем движениям, страстям и заблуждениям своей громадной эпохи. Но эпохальное входило в ее творчество, всегда чувствительно задевая наиболее интимные, сокровенные и женственно-чуткие струны ее высокой души. Трагедийные события нашего века превращались под ее пером в неоценимые по своей психологической достоверности и человеческой всеотзывчивости свидетельства времени.

Время предстает в ее стихах, поэмах и прозе в сложности противоречий. Она смело направляла взор своего стиха на самые кризисные моменты этих схваток и не отводила его, пока не убеждалась, что зло надломлено. В ее лирике, как и в стихах высоко ценимой ею Анны Ахматовой, живет твердое волевое начало, в ее голосе есть решительность, поднимающая волю читателя, и мужественность интонаций, выказывающая целеустремленность натуры. Это — главнейшие свойства ее характера как человека, поэта, гражданина, любящей женщины. Она — потомок и младший современник великих женщин революции. «И краешек счастья, как знамя, целую...» — писала она в одном из стихотворений о любви. Но именно так могла бы сказать и Лариса Рейснер, комиссар гражданской войны, красавица, талантливая журналистка, писавшая прозу, в чем-то предвосхитившую «Дневные звезды» Ольги Берггольц.

«Равенство дара души и глагола — вот поэт», — писала Марина Цветаева. Эти слова в полной мере можно отнести и к Ольге Берггольц.

Хорошо зная жестокость жизненных противоречий, пройдя, как

писала она в «Узле», «огонь, и воду, и медные трубы», она неизменно была уверена в могучих подспудных силах добра. Трагедийность ее лирики гуманистична. Впрочем, в этом отношении О. Берггольц сходна со своими замечательными современниками — Н. Тихоновым, А. Твардовским, А. Ахматовой, П. Антокольским, М. Светловым...

Значение Ольги Берггольц в истории нашей поэзии заключается, прежде всего, в том, что, продолжив коренные традиции русского классического и советского искусства, она превратила в лирику сердца главнейшие чувствования и события своей эпохи. Ее поэзия — открытый дневник, в котором жизнь рассказывается «без утайки», а история оказывается лирически тождественной собственной биографии.

Стих Ольги Берггольц, стремящийся к неукоснительной правде выражения, не терпит украшений, суесловия и поэтических туманностей, поэтому в нем начисто отсутствуют банальности, общие места, литературные клише и «лирическая» чувствительность. Он открыт, сердечен и стремится по прямой к душе читателя-современника и потомка — «от сердца к сердцу». Его лирическая сила заключается в бесстрашном и доверчивом контакте со своей эпохой и народом. «Я говорю, как плоть твоя, народ...»

1

Внешняя канва биографии Ольги Берггольц не кажется насыщенной событиями. Но это лишь на первый и достаточно поверхностный взгляд. Сама Ольга Берггольц считала, что именно событиями — крупными, значительными и даже эпохальными — ее жизнь богата в исключительной, если не в чрезмерной степени. Дело в том, что она постоянно соотносила и соразмеряла собственную жизнь с жизнью своей страны («я... плоть твоя...»), все происходящее в жизни народа переживала настолько лично, что, по-видимому, даже и умозрительно не могла бы отделить своей судьбы от движения истории. Поэтому, например, она как лично пережитое («как часть меня самой») включала в лирико-исповедальное повествование «Дневных звезд» такие события, как, скажем, создание ленинского плана электрификации (ГОЭЛРО) или, что, конечно, еще неожиданнее, факты совсем давней истории, вроде тех, что когда-то потрясли древний Углич.

Всеотзывчивость сердца и воображения, умеющего непроизвольно откликаться и поэтически резонировать на многообразные толчки человеческой жизни, была счастливым и мучительным природным даром ее натуры, незащищенной сердцевиною ее таланта, а, может быть, точнее сказать, тем незамутненным и неустанно бившим из ду-

шевных недр родничком, имя которому — совесть русского художника.

Характерно, что во всех таких случаях, то есть когда «фактами» ее собственной судьбы становились, сделавшись явлениями поэзии, не виденные в действительности события, все же и в таких местах, кажущихся вымыслом, у нее почти всегда был какой-то и впрямь очень личный (или — как бы очень личный) момент: он-то, надо думать, и давал первичный толчок широкой работе воображения. В «Попытке автобиографии» Ольга Берггольц писала с полнейшей категоричностью: «...в моих произведениях с юности ничего не было недостоверного, не взятого из жизни».

Здесь, правда, следует уточнить, что под жизнью она понимала не только то, что происходит, так сказать, вовне, но, может быть прежде всего, бытие души, и, следовательно, жизнью становилось все, что в нее — в душу — входило и в ней посредством слова преображалось. Впоследствии Ольга Берггольц ввела широко известный теперь термин-понятие Большое Время: по мысли поэта, оно заключает в себе сразу три действительности: прошедшее, настоящее и будущее. Их слияние в единый «лучевой пучок», пронзительный в своей ослепительной силе, происходит в момент трагически прекрасного озарения. «Нет, я не вспоминала, — писала она в «Дневных звездах», — я жила тем, что было, есть, будет».

Ленинский план ГОЭЛРО, о котором она написала в «Дневных звездах» с подкупающей интонацией едва ли не личного свидетельства, возник в ее автобиографической прозе легко и естественно, потому что он вошел в ее жизнь, так сказать, в облике конкретного живого человека, одного из его создателей, сподвижника Ленина — Глеба Максимилиановича Кржижановского. Она написала о своей встрече с Кржижановским, происшедшей через много лет после Плана, когда сама уже была знаменитым писателем, а Г. М. Кржижановский очень старым человеком, — написала почти патетически, всячески благодаря судьбу за великое счастье такой встречи.

Особое (и тоже как бы личное) отношение к кровавой истории, приключившейся в древнем Угличе, объясняется также отчасти автобиографическими причинами: в голодные и тяжкие годы гражданской войны семья Берггольц жила в Угличе. В «Дневных звездах» описан угличский собор, и царевичевы палаты, и звонница, на которой висел знаменитый колокол, возвестивший Смутное время. История входила в детское восприимчивое сознание подобно наиреальнейшей яви, а зарождавшееся поэтическое чувство мгновенно откликалось на давнюю гибель непроизвольной сердечной болью — жгучим детским состраданием.

Зародившаяся еще в детстве счастливая, мучительная и высокая способность сострадать (Ольга Берггольц считала ее самой отличи-

тельной чертою человека), сострадать не только ближним и близким, не только сегодняшним событиям, но — миру, всем людям и событиям земли, сделалась самой характерной чертой духовного облика Ольги Берггольц. Именно она объединяла ее с людьми в самые тяжкие минуты одиночества, а в годы ленинградской осады сделала ее стих голосом воюющего народа.

Способность эта, если вспомнить высказывания глубоко чтимого Ольгою Берггольц Ф. Достоевского, есть непременная черта русского поэтического гения.

...Ольга Федоровна Берггольц родилась 16 мая 1910 года в Петербурге. Ее отец, Федор Христофорович Берггольц, окончивший Дерптский университет, а затем Военно-медицинскую академию, где он был вольнослушателем, много лет работал врачом на одном из заводов Невской заставы. Ленинградцам хорошо знакома эта некогда отдаленная окраина города, а всему народу и мировому пролетариату она известна по знаменитой Обуховской обороне — мощной забастовке рабочих в 1901 году, высоко оцененной Лениным как обнадеживающий симптом назревавшей революции.

Невская застава издавна привлекала внимание профессиональных революционеров. Там одно время жила на квартире народовольца С. С. Синегуба Софья Перовская, вели пропаганду среди рабочих Герман Лопатин и С. М. Степняк-Кравчинский, там же начинал свою деятельность Петр Алексеев. Революционное слово падало на чрезвычайно благодатную почву. Рабочие Невской заставы оказались активны и восприимчивы. Неслучайно Невскую заставу один из революционеров называл Сент-Антуанским предместьем. Кравчинский признавался, что застава под Петербургом произвела на него неизгладимое впечатление. Она походила на пороховой склад, к которому лишь стоило поднести спичку. Впоследствии там работали В. И. Ленин, Н. К. Крупская, рабочий-революционер В. А. Шелгунов. Во время Октябрьских событий Невская застава была в авангарде революционной борьбы.

Ольга Берггольц впоследствии вспоминала, что в жизни Невской заставы она рано научилась ощущать «шаги истории».

Однако быт за заставой, в особенности в дореволюционные годы, но и несколько позже, был тяжелым. Ранние, полудетские стихи Ольги Берггольц не обошли и этой неприглядной стороны канувшей в прошлое невской «Атлантиды». Изнурительный труд, пьянство, темень на улицах, чавкающая грязь под деревянными мостками, заменявшими тротуары, деревянные домики с палисадниками, с непременной геранью в подслеповатых окнах...

В десятом окраина вся на засовах —
ворота, калитки, дома,

а щели на днищах сырых горизонтов
смолой заливает зима...

(«Под ветром, под песней гулящих матросов...»)

Тупорылыми словами
может броситься любой, —

горько сетует она в стихотворении «Беатриче».

Семья Берггольц жила в одном из деревянных домиков, расположенных по Палевскому (теперь Елизаровскому) проспекту. Место это было, даже и по заставским представлениям, плохое — топкое и неблагоустроенное.

Сейчас там станция метро «Елизаровская», толпы людей спешат по широким асфальтированным улицам, но зеленые посадки молоды, какой-то неуловимый дух совсем недавнего переустройства еще сквозит в этих кварталах, наивно мнящих себя обжитыми. На месте деревянного дома, где жила семья заводского доктора, стоит, сверкая витринами, многоэтажный корпус. Есть и улица Ольги Берггольц — она тоже очень молода. От таблички с именем поэта, прикрепленной на уличном углу, сжимается сердце. Давно ли были написаны стихи об этих самых местах — неузнаваемых, но тех же?

...О, знаю! Всегда угадаешь ту землю,
где строило племя твое, —
был ветер, был ветер, такой же, как нынче
с сырых горизонтов встает...

(«Под ветром, под песней гулящих матросов...»)

По вечерам, когда меньше машин, бензина и чада, широкое дыхание Невы проникает в заставские улицы. Нева дышит так же, как и тогда, когда девочка с длинными золотыми косами, перейдя Палевский проспект, поверяла реке свои первые стихи. Они были о заставе, о ее быте, о предчувствии любви, о жажде подвига и просто о Неве, о шелесте воды, о цветущих по весне палисадниках, и снова — о любви, о некоем госте, неназванном, но желанном — «чуж-чуженине»:

...Чуж-чуженин, заходи, потолкуем.
Русый хлеб ждет твоих рук.
А я всё время тоскую, тоскую, —
смыкается молодость в тесный круг.

Расскажи о людях, на меня не похожих,
о землях далеких, как отрада моя...
Быть может, ты не чужой, не прохожий,
быть может, близкий, такой же, как я?..

(«Чуж-чуженин, вечерний прохожий...»)

Ранние стихи — сны наяву, неясное предчувствие счастья или беды.

Какая ж мне доля,
какой же мне сон,
какой же у песни исполнится звон?.

(«Какая мне убыль, какая беда...»)

Но в этом легком звоне утренних стихов уже слышны начатки мелодий, характерных для Ольги Берггольц, озвучивших впоследствии весь ее поэтический мир. Это, например, мотив чужого-близкого, жажда добра-дарения («Русый хлеб ждет твоих рук...»), чувство людского сообщества и многое другое, что тогда таилось, но уже существовало как в завязи, — в «свернутом» виде. Как характерны, например, вот эти строки, обращенные к любимому:

...Надо, надо, надо знать:
нас не двое на земле —
нам со всеми умирать
и со всеми веселеть...

(«Спор»)

Нева сопровождала едва ли не все ранние стихи Ольги Берггольц. Здесь, за рабочей заставой, меж чумазых берегов, знаменитая река не была еще «державной», хотя блистательный город лежал рядом. На этих берегах стирали белье, а в водах, которым предстояло отразить дворцы и золотые шпили, виднелись заводские трубы и длинные закопченные корпуса фабрик. По вечерам маленькие окошки за палисадниками багрово отсвечивали — на Чугунном заводе лили металл, что-то близко и тяжко ухало, скрежетало, передвигалось. Когда через много лет Ольга Берггольц написала, что шаги истории могут быть громоздкими, она, возможно, слышала внутренним слухом памяти этот давний глухой, словно подземный, постоянный и неостановимый грохот, сопровождавшийся всплесками высокого зарева. Рабочая жизнь за Невской заставой постоянно пульсировала, она никогда не замирала. Густые черные толпы спешили к проходным, когда гудки пароходов на Неве еще глохли в предутреннем тумане. Заводы равномерно дышали днем и ночью, их ритм был слышен и дома и в школе. В их безостановочном бытии ощущалась какая-то твердая основа, невидимо, но постоянно складывавшаяся из сотен тысяч усилий, перенапряжений, слез, волнений, нужды, шумных праздников и долгих безнадежных болезней.

Надо думать, атмосфера рабочей Невской заставы сказалась на мировосприятии Ольги Берггольц сильнейшим и плодотворнейшим образом. Когда впоследствии Ольга Берггольц стала работать на за-

воде «Электросила» (за Московской заставой), она так быстро вжилась в рабочий быт именно потому, что за ее плечами, в юности была ее замечательная родина — Невская застава.

Там прошло детство, школьные годы, там, как уже сказано, написались и первые стихи.

От детских лет сохранилось несколько листков, вырванных из старой заводской конторской книги. Есть, например, стихотворение, записанное старательным крупным почерком, скорее всего в семи- или восьмилетнем возрасте. Оно посвящено Петру Первому. В нем рассказывается несколько странная история о том, как однажды к царю, строившему Петербург, вошла незнакомка. То ли царю привиделось, но незнакомка, бледная и прекрасная, с немым укором в глазах, вдруг приоткрыла грудь, зияющую глубокой раной, и назвалась... Россией... Что и говорить, действительно очень странное сочинение для ребенка, который, судя по орфографии, лишь недавно начал одолевать грамоту. Потом (правда, уже значительно позже, в четырнадцать лет) она пишет стихотворение о Ленине для школьной стенгазеты: то был траурный январь 1924 года. А еще позже — о народовольцах. Словом, как сейчас видно, интерес к истории обнаружился очень рано. Теперь, зная весь ее творческий путь, отмеченный постоянным вглядыванием в судьбы России, не без удивления подмечаешь, что даже в очень ранние — детские — годы, а затем и в юности интерес этот был как бы изначально окрашен у нее в сумрачно-трагедийные тона. Почему так? Пути становления поэтической личности сложны и труднопостижимы, но, по-видимому, для начального душевного роста первичные резкие впечатления имеют чрезвычайное значение. Такие впечатления наряду с Невской заставой дал детской душе Ольги Берггольц и город детства — старинный Углич. Свою Главную книгу, «Дневные звезды», она неслучайно начинает словами об Угличе. Музыкально-смысловым ключом всего повествования, ключом, которым она отомкнула перед читателями «створки своей души», стал белокрылый образ угличского собора с его пятью главами и незабываемыми синими куполами с золотыми звездами. Это прекрасное видение сопровождало ее всю жизнь, сделавшись, по ее словам, самым счастливым, многократно повторяющимся сном-напоминанием. «И я кружу по странно сумеречным улицам, и собор все ближе, все ярче, и все нарастает и нарастает во мне предчувствие счастья, все сильнее дрожит и трепещет внутри что-то прекрасное, сверкающее, почти режущее...»

В книге «Дневные звезды» хорошо раскрыта и другая черта ее личности, тоже сказавшаяся рано. Ольга Берггольц обладала обостренной чувствительностью к большим и разнообразным заботам страны и мира. Все, что происходило в политической жизни, волновало ее чрезвычайно и затрагивало всегда как-то очень лично. По-

видимому, именно эта черта характера и привела ее в газету. После окончания школы в 1926 году она стала работать при типографии и в издательстве «Красной газеты», — правда, была там лишь курьером, но самый запах типографской краски был ей мил. Ей нравилось также, что события, о которых люди узна́ют лишь завтра утром, ей уже известны. Свинцовые литеры под пальцами наборщика как бы окончательно и буквально на глазах закрепляли их существование. Не в том ли и роль литературы, поэзии, чтобы событие, едва возникшее в мире, обретало посредством слова свою вторую и окончательную реальность? ..

Стихи к этому времени она писала постоянно. Но не хватало творческого общения, совета. Доброжелательной и внимательной советчицей была мать, Мария Тимофеевна, но уже требовалась помощь профессионалов. Кто-то посоветовал пойти в литературную группу «Смена». То был для ее биографии очень важный шаг. «Смена» в ее тогдашней жизни сыграла значительную и плодотворную роль. Там собралась талантливая, ищущая литературная молодежь: Борис Корнилов, Александр Гитович, Борис Лихарев, Леонид Рахманов, Геннадий Гор... Руководили группой Илья Садофьев и Виссарион Саянов. Илья Садофьев в глазах молодежи как бы олицетворял преемственность революционных поэтических традиций, ведь он принадлежал к первым пролетарским поэтам. Виссарион Саянов, будучи старше своих студийцев всего лишь на несколько лет, обладал незаурядной эрудицией и хорошим вкусом, что позволяло ему быть шире догматической платформы рапповцев, и, по-видимому, благодаря ему «Смена», формально причислявшаяся к ЛАПП, [1] была свободна от духа сектантства. Правда, стихи, прочитанные Ольгой Берггольц на одном из заседаний, были раскритикованы очень резко, но резкость шла от молодой запальчивости и юношеской бескомпромиссности. В «Смене» наиболее близким Ольге Берггольц поэтом оказался Борис Корнилов. При всей несхожести своих поэтических почерков, тогда еще неустоявшихся и чреватых разными возможностями, они были родственны в главном: природа их мироощущения и творчества была изначально лирической. Правда, у Бориса Корнилова было уже и тогда больше напора, экспрессии, его образная сила была густой и динамичной. Стихи Ольги Берггольц казались рядом с ними лирически мягкими. Тогда еще никто не предугадывал уже таившейся в них незаурядной силы. Как писала она сама в «Попытке автобиографии» (не о себе и по другому поводу), «об этом никто не может знать заранее — ни читатель, ни критик, ни сам поэт...».

---

[1] Ленинградская ассоциация пролетарских писателей.

Борис Корнилов стал мужем Ольги Берггольц. Но брак оказался несчастливым. Тогда же, в пору «Смены», они с Борисом Корниловым некоторое время учились в Институте истории искусств. Судя по всему, занятия в этом «странном», по словам Ольги Берггольц, учебном заведении носили вольный и бессистемный характер, но лекторы были выдающиеся: Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, В. Шкловский, И. Соллертинский... Возможно, что широта взгляда на искусство, какая всегда была присуща Ольге Берггольц и так ярко сказывалась впоследствии в ее полемических статьях, первоначально зарождалась там — на Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств.

Ярчайшие поэтические впечатления тех лет — приезды в Ленинград Михаила Светлова, Эдуарда Багрицкого, Иосифа Уткина и, конечно (и прежде всего!), Маяковского. Об этом Ольга Берггольц взволнованно рассказала в своей «Попытке автобиографии» (1972).

Со второго курса Института истории искусств Ольга Берггольц перешла на филологический факультет Ленинградского университета. Она окончила его в 1930 году и вместе с Николаем Молчановым, однокурсником, за которого она вышла замуж, уехала в Казахстан. Для юной журналистки это была не первая поездка — была еще так называемая «практика» на Кавказе, тоже оставившая свой яркий след в ее памяти, но Казахстан был уже не студенческой пробой задорного журналистского пера, а подлинной школой жизни. Ольга Берггольц оказалась в газете «Советская степь» (ныне «Казахстанская правда»). Она работала разъездным корреспондентом, ездила в глубинные районы, вникала в тонкости местного сельского хозяйства, в драматические коллизии, связанные с переходом кочевников к оседлому образу жизни. Ей встречались характеры яркие, колоритные, подчас совершенно неожиданные. О многом из того периода жизни она рассказала в одной из первых своих очерковых книг — в «Глубинке» (1932) и — частично — в повести «Журналисты» (1934).

Казахстан, его степи она вспоминала во многих строках своих стихов. То была пора молодости, любви, страстного познания жизни и самых радужных надежд на будущее. Иными словами, то была редкая и уже никогда более не случавшаяся в жизни Ольги Берггольц пора полного молодого счастья. Стихи писались легко, и, казалось, их строчки подрагивали от предвкушения радости, в них было много солнца, степного ветра, зеленых и голубых просторов. Она даже любила проверять себя впоследствии этим «чувством Казахстана» — не устала ли душа, не потухло ли былое «горенье сердца»?

...и так ли, как раньше,
далекие манят края?

(«А помнишь дорогу...»)

Да ведь и Первороссийск, описанный ею в одноименной поэме (1950), — это тоже почти Казахстан, Алтай. В самый разгар работы над «Первороссийском» она вспомнила:

...вернее, я вдохнула
степной, полынный, суховатый воздух,
и узкий полумесяц над аулом,
и на рассвете розовые звезды.

Она со мною, молодость, со мной...

(Вступление в поэму)

Помимо «Глубинки» и «Журналистов» к «казахстанскому циклу» относятся рассказы и повести: «Зерна» (1935), «Ночь в „Новом мире“» (1935), «Пимокаты с Алтайских» (для детей), не говоря об очерках и корреспонденциях в газете «Советская степь».

Берггольц вернулась из Казахстана осенью 1931 года. К этому времени относится незабываемая для нее встреча с Горьким.

Великий писатель принял в судьбе Ольги Берггольц живейшее участие. Он прочитал одну из ее детских книжек, а по поводу стихов высказал мысли, которые, по словам Ольги Берггольц, стали для нее «руководящими» в ее работе. «Ваши стихи понравились мне», — писал он ей и пояснял: «Они кажутся написанными для себя, честно, о том именно, что чувствуется Вами, о чем думаете Вы, милый человек». [1] Он отмечал тогда же, что молодой поэтессе «поистине дороги республика, работа, любовь» и что «этого вполне достаточно на жизнь».

Действительно, стихи Ольги Берггольц тех лет уже содержали самое главное, самое характерное для нее, а именно — естественное, очень тесное сочетание гражданской темы с интимной. Впрочем, здесь возможно даже говорить не о сочетании, не о переплетении, а о единстве.

Не забудем и о такой стороне раннего творчества Ольги Берггольц, как ее стихотворные и прозаические книги для детей. [2] Это было ее участие в создании детской советской литературы. Тут многое дала поэту работа в школе в качестве преподавателя русского языка и литературы (30-е годы). Но не менее важно и то, что лирическая

---

[1] «Литературная газета», 1958, 29 марта.

[2] О. Берггольц написала в 30-е годы несколько книжек для детей: «Пыжик» (1930), «Стася во дворце» (1930), «Манька-нянька» (1931), «Поедем за море» (1931), «Углич» (1932), «Горная жвачка» (1932), «Зима, лето, попугай» (1933), «Мечта» (1939), несколько рассказов.

струя, пронизывающая «детские» произведения Ольги Берггольц, со временем органически влилась в ее поэзию последующих периодов.

В 30-е годы складываются взгляды, вкусы, пристрастия Ольги Берггольц. Она часто выступает со статьями и рецензиями, в которых можно уже найти мысли и соображения, почти тождественные тем, что высказывались ею много позже, когда, например, накануне Второго съезда писателей (1954) она ввела термин «самовыражение».

В своих статьях предвоенного десятилетия Ольга Берггольц писала о том, что стихи обязательно должны содержать в себе биографию поэта, чтобы она, во всяком случае, «прощупывалась» в них. Поэзия, по ее мнению, должна быть тенденциозной — в глубоком смысле этого слова. Стихи не должны бояться искренности, прямого и решительного жеста. В рецензиях на книжки своих сверстников она готова была простить даже неуклюжесть стиха, но не бесстрастие. «Пусть стих молодого поэта будет неуклюж, не гладок, но не бесстрастен, — писала она. — Пусть стих будет несколько «тенденциозен», но пронизан большой, самостоятельно пережитой мыслью. Пусть стих будет менее легок, менее «изящен», но обращен к явлениям, событиям и чувствам, волнующим весь наш великий народ». [1]

И в своей тогдашней прозе Ольга Берггольц уже не любила, не признавала сюжетной закругленности, внешней исчерпанности и литературной сглаженности ситуаций. Проза, по ее мнению, должна развиваться с той непосредственной естественностью и простотой, какие мы обычно видим в жизни. Многие ее соображения по этому поводу удивительно напоминают авторские пассажи об искусстве, встречающиеся в «Дневных звездах», то есть в книге, написанной десятилетия спустя.

Можно, следовательно, с полным основанием говорить, что художественные взгляды Ольги Берггольц и какие-то устойчивые признаки ее манеры в основном сложились в предвоенное десятилетие.

Здесь она многим была обязана своим замечательным учителям — М. Горькому, С. Маршаку, К. Чуковскому, Н. Тихонову. В газете «Литературный Ленинград», где она некоторое время работала, ей был близок критик, впоследствии известный литературовед, А. Е. Горелов.

---

[1] Берггольц Ольга, Бесстрастия печать. — «Литературный Ленинград», 1936, 17 октября.

2

Вспоминая свою жизнь, Ольга Берггольц никогда не забывала важнейшей страницы своей биографии, связанной с работой на ленинградском заводе «Электросила».

На «Электросиле» (и короткое время — на «Красном путиловце») она проходила журналистскую практику — еще до поездки в Казахстан. Этот завод навсегда остался любовью Ольги Берггольц. Она приходила к рабочим-электросиловцам и в последующие годы — во время блокады (вела политзанятия) и после войны, хорошо знала многих старых рабочих, участников стачек и забастовок в предреволюционные годы, инженеров, мастеров, комсомольскую молодежь. До конца жизни она поддерживала с заводом дружеские отношения. Но в 30-е годы Ольга Берггольц работала там постоянно — в многотиражной газете. На «Электросиле» была в ту пору лучшая в стране литературная группа. Она была настолько сильной, что впервые в истории заводской печати стала выпускать собственную заводскую литературную газету. Ольга Берггольц, кроме того, состояла еще и в должности официального «историка» завода.

Писать историю фабрик и заводов, как известно, призывал М. Горький. Он придавал этому делу принципиальное значение. Инициатива М. Горького была поддержана ЦК партии, который 10 октября 1931 года вынес специальное постановление об издании такой серии. М. Горький сам редактировал некоторые из сборников, писал к ним предисловия, наставлял, советовал, учил. В одном из писем, адресованных ленинградской комиссии, он писал, что «дела по истории ленинградских заводов идут слабо». [1]

Слабо шли они и на «Электросиле». Заводская многотиражка писала: «Авторов, создающих историю завода, еще мало: одна Берггольц!» [2]

Молодому историку помогали не только архивные и исторические материалы, но и беседы с живыми людьми, участниками революционного движения. Надо ли говорить, как обогащали Берггольц эти беседы, какой ничем не заменимой школой политического мужания были они для нее. Как знать, может быть, обостренный историзм мышления и чувствования, «автобиографическое» ощущение революционной истории, — может быть, эти черты ее личности окончательно отшлифовались, созрели именно здесь — на живых уроках

---

[1] Цит. по статье: Иокаф Л., Живые традиции. — «Вопросы литературы», 1957, № 7, с. 120.
[2] «Электросила», 1934, 30 июня.

«Электросилы»? Ольга Берггольц была убеждена, что работа над историей «Электросилы» была для нее учебой у революции — не меньше.

К концу 30-х годов все явственнее становится военная угроза. Надвинулись и другие беды — умерли маленькие дочери, настигла клевета. В 1939 году по ложному навету Ольга Берггольц была арестована и несколько месяцев провела в тюрьме. Испытания ее не сломили. Стихи этого периода, составившие большую часть цикла «Испытание», говорят о незаурядной силе духа, гражданском достоинстве, о вере в торжество правого дела.

День войны Ольга Берггольц встретила стихами мужественными и воинствующими. Об этом уже много написано. О военных годах будет сказано и дальше. В биографии Ольги Берггольц они имели огромнейшее значение. Сейчас стоит лишь снова напомнить, что к военному рубежу она подошла художником не только сформировавшимся и сильным, но и человеком душевно закаленным. Ее слово было обожжено страданием и любовью, а любовь к родине была мужественной и зрячей.

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

...Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

(«Мы предчувствовали полыханье...»)

Когда после войны Ольга Берггольц оглядывалась на свою жизнь, она с особенной гордостью вспоминала именно военные годы.

Но, вспоминая военные годы, она, верная своему принципу не делить жизнь на части, а постоянно жить как бы всею ею сразу, подчеркивала, что душевная и духовная победа в неимоверно тяжкие военные годы потому и была одержана и ею и всем народом, что до войны были годы трудной, порою бедственной, но зачастую и подлинно романтической молодости, совпавшей с юностью госу-

дарства. К этой мысли она возвращалась после войны много раз.

О послевоенной своей жизни, о трех десятилетиях неустанной работы, какие дала ей судьба, Ольга Берггольц писала так: «. . .Прогремел, как полный июльский ливень с грозой, не с дождем, а с жемчугом, День Победы. Настали дни мира. Никто из нас, фронтовиков, и я в том числе, не могли отдышаться от фронтовых боев, да и вряд ли когда-нибудь мы, что называется, отдышимся» («Попытка автобиографии»).

И дальше она перечисляет, над чем и когда работала, перечисляет не все, а, наоборот, очень мало — то, что ей казалось особенно важным, например пьесу «Они жили в Ленинграде» (1944), трагедию «Верность» (1946—1954), а также — отдельно и подробно — говорит, как обрела голос, получив от нее, от Ольги Берггольц, слова, гранитная мемориальная Стена на Пискаревском кладбище, где похоронены сотни тысяч ее сограждан.

Все послевоенные десятилетия — это пора очень интенсивной, напряженной, поистине подвижнической работы, не прекращавшейся до последнего дня. Она была поэтом воинствующей памяти, и эта память постоянно влекла ее к годам войны и к отечественной истории, в особенности к тем ее эпизодам, в которых и самой довелось действовать и страдать. Внешние факты ее жизни кажутся скупыми. Очень редкими были даже поездки. Была поездка в Севастополь, где она вновь вдохнула воздух трагедии, столь знакомый по ленинградской осаде. Севастополь дал ей возможность написать трагедию «Верность». Была поездка в Сталинград и в донскую степь, где вели канал. Она привезла оттуда стихи, свойственные ее природе: сумрачные, исполненные горечи и непрошедшей боли. Да, она тоже радовалась живой воде, прошедшей в степь, но память высвечивала ей и другой образ степи.

С редкой трагедийной силой выражена в стихотворении «К волго-донской степи» схватка духа и человеческой воли с судьбой:

Ну что же, здравствуй!
Еще посмотрим,
кто пересилит из нас двоих.
Кто выживет, кто заговорит,
кто смолкнет,
кто первым опустит знамена свои?

Стихи эти свидетельствовали не только о мужестве и прозорливости, соединенных с мудростью, но и о том, что песенная сила, за которую она боялась, что вдруг исчезнет под ударами судьбы, иссякнет, уйдет в песок, — не пропала. Наоборот, все послевоенное

творчество Ольги Берггольц говорит об удивительном, редкостном по красоте расцвете ее таланта: циклы «Письма с дороги», «Волго-Дон», «Стихи о любви», стихи о Сталинграде, среди которых есть подлинные шедевры, например «В доме Павлова», «Песня о „Ване-коммунисте“», а после них — «Церковь «Дивная» в Угличе», «Стихи о херсонесской подкове», «Перед разлукой», «Не будет дома или будет дом...», «Судьбе», «И все, кто порицал и кто хвалил...», «Нет, судьба меня не обижала...», «О, где ты запела, откуда взманила...», «Анне Ахматовой» и образец по-своему монументальной лирики: многоголосое «Эхо», достойно венчающее ее лирическое творчество. Но помимо лирики, наряду с нею, отпочковываясь от нее и пронизываясь ею, вершились и воплощались крупные эпические вещи, такие, например, как трагедия «Верность», как бы выросшая из «Стихов о херсонесской подкове», поэма «Первороссийск» и, наконец, «Дневные звезды», словно развернувшиеся из «Вступления к поэме». Поэма, к которой написано «Вступление», считается неосуществленной. На самом деле она осуществилась, но только в другой форме — в форме обширного, насквозь лирического, вобравшего в себя все мотивы «Вступления», автобиографического повествования — «Дневные звезды» (1939—1959). Эту вещь Ольга Берггольц назвала своей Главной книгой и не дала ей никакого жанрового обозначения, для нее это была именно книга — в изначальном, едва ли не библейском смысле — вроде той, какой была, например, книга Иова, повествовавшая о всей жизни сразу и обращавшаяся к миру и небу. «Дневные звезды» можно назвать книгой судьбы и определить как поэму. В последние годы она много работала — до самой смерти, настигшей ее 13 ноября 1975 года, — над второй частью «Дневных звезд». Похоронена Ольга Берггольц на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде.

3

Формирование Ольги Берггольц как своеобразного художника, занявшего в нашей поэзии значительное и особое место, неразрывно связано с ее эпохой, со всеми несхожими между собой десятилетиями развития советской литературы. Движение ее таланта на протяжении всего пути было стремительным, но шло рывками, как бы непрестанными бросками вперед, так как она была художником ищущим, импульсивным. Вместе с тем ей были свойственны несколько постоянных черт, которые появились в ее стихах сразу, — они являются своеобразными опорами, поддерживающими ее поэтический мир на устойчивой и большой высоте. По этой причине поэтический голос Ольги Берггольц, даже в тех случаях, когда мы имеем дело не со

стихами, а с прозой, можно узнать сразу, и почти с такой же легкостью можно определить, к какому именно десятилетию относится та или иная строка. Это — верный признак большого поэта: он стремительно движется, обновляет свои средства, преображается, казалось бы, и сам, но его душа остается единой, его слово и интонация — узнаваемыми, его коренные взгляды — прочными. Меняется время. Будучи разным, оно по-разному отражается в стихе, придает ему иной облик, иное освещение, скажем, в 30-е годы и 40-е, 20-е и 60-е. Естественно, что структура стиха тоже не остается безучастной — перемена освещения и тембра меняет элементы — одни убирает в тень, другие выдвигает. Поэт существует в конкретной литературной среде, он постоянно находится с нею в живом и динамичном взаимодействии. Характер Ольги Берггольц был таков, что он не только всегда соотносился со своей сложной и драматичной эпохой, но был ее неотъемлемой частью, и потому все, что происходило в жизни, мгновенно задевало ее поэтический мир. Она была живым голосом своей эпохи и ее эхом. Постоянство и устойчивость ее духовно-поэтического мира заключались в очень чуткой, не знавшей пауз всеотзывчивости по отношению к эпохе, а также в ее всегдашнем, не ведавшем усталости устремлении действовать, то есть жить не созерцателем, а борцом. Незаурядная воля, ясность мышления, темперамент придавали ее стихам, даже любовным, ту гражданственность и широту, какие она так любила и ценила у Некрасова, Блока и Маяковского.

Интересно в этой связи взглянуть на ее раннее творчество 20-х годов. Стихи тех лет, в таком большом составе, впервые публикуются в этом сборнике. Конечно, сначала встает вопрос: а почему Ольга Берггольц никогда не включала в свои сборники тех стихов, что были написаны в 20-е годы? Известное исключение она делала для «Каменной дудки», и то, может быть, потому, что она была дорога ей по воспоминанию о первом публичном чтении и о первом одобрении, которое она услышала от крупного профессионального поэта — Корнея Чуковского. «Товарищи, это будет со временем настоящий поэт», — сказал Корней Иванович Чуковский, прослушав это стихотворение. Сейчас оно воспринимается как странное, почти необъяснимое пророчество о всей будущей судьбе, но и безотносительно к пророчеству представляется очень интересным. Это в своем роде маленький шедевр, где в форме детского стиха высказана мудрая мысль об изначальной природе и судьбе искусства. Вполне, впрочем, возможно, что юная Ольга Берггольц и не придавала столь серьезного значения подтексту своего произведения, но несомненно, что в ее душе неосознанно бродила мысль о страшной цене за песню, о том, что надо пройти сквозь огонь, через гибель и преображение,

прежде чем люди услышат твой звонкий, облагороженный мукою голос:

Лежала я у речки
простою землею...
...Мяли меня, мяли
руками и ногами,
сделали птицу из меня.
Поставили в печку,
в самое пламя,
горела я там три дня.
Стала я тонкой,
стала я звонкой,
точно огонь, я красна.
Я каменная утка,
я каменная дудка,
пою потому, что весна.

Десятилетия прошли с тех пор, как она прочитала это стихотворение о преображающей силе огня и страдания, о самоотверженности певца и самоотреченности искусства, но и почти в самом конце жизни, в Пятом обращении к трагедии «Верность», она снова вернулась к своему полудетскому пророческому мотиву, к образу огня, сказав:

Склоняюсь перед твоею силой,
Трагедия, матерь живого огня...

Этот образ сделался, можно сказать, постоянным:

О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!
Пеплом ее трагедий, пеплом ее души...
Из зыбкой своей могилы «Милый, — кричу я, — милый, спаси, хотя б внемли! ..»

(«О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи! ..»)

Если теперь снова вернуться к естественному вопросу о том, почему Ольга Берггольц не включала своих ранних стихов в сборники последующих лет, делая при этом некоторое исключение лишь для «Каменной дудки», то не в том ли причина, что она смотрела на них как на необожженную глину, еще не умеющую петь звонким и высоким голосом? Это лишь догадка, но ведь и на самом деле на протяжении всей своей жизни она была жесткой и требовательной по отношению к своим и к чужим стихам.

Но в ее ранних, еще не обожженных страданием стихах есть, однако, много такого, что, как уже сказано, явно предвещает ее даль-

нейший путь. Конечно, сейчас, когда мы имеем возможность проследить всю творческую жизнь поэта, сопоставить, вернуться вспять и снова уйти по ее же стихам вперед, чтобы заново их сравнить, ее ранние произведения вырисовываются яснее. Неизвестно, что она читала на собрании группы «Смена», когда пришла туда в 1925 году, будучи еще заставской школьницей. Ее сильно раскритиковали тогда, как, впрочем, и позже и как было всегда — со всеми «сменовцами», не с ней одной, — потому что все были очень молоды и бескомпромиссны. Но, надо думать, лирическая акварельность и некий свирельный оттенок, звучащий в стихах, как и весь ее тогдашний облик — припухлые губы, румянец, косы — все это, очевидно, претило пролетарски настроенной группе, в которой Илья Садофьев, пролеткультовец и космист, воспевавший железо, играл руководящую роль.

У Ольги Берггольц в те годы были, как это ни странно, стихи весьма сельского колорита, чуть под Есенина — отзвуки летнего пребывания в деревне. Прозрачные по слову, песенные, легкие, с приметной оглядкой на фольклор, на частушку, на «заставское» городское «страданье», они, возможно, настораживали сменовскую комсомольскую молодежь, а чуть позже и критику, заставляя думать, как тогда было принято говорить, об «опасности буржуазного сползания». Конечно, ничего похожего не было и в помине. Это были стихи, как сейчас видно, довольно искусные, с хорошей проработкой слова, умелым наложением краски, способностью выдержать тон, распорядиться интонацией, а главное, выразить себя, — словом, были хорошие задатки поэтического мастерства. У нее встречалась порою достаточно искусная рифмовка, несколько даже вычурная, от чего она впоследствии решительно отказалась, перейдя — до конца жизни — к более простой, чтобы, как потом она стала считать, рифма не бросалась в глаза и ни в коем случае не отвлекала от сути. Большое стихотворение «На Ивана-Пьющего», о деревенском базаре, очень удачно по передаче толчеи, веселой давки, грубой пьяной сытости:

Тут и гам, тут и гик,
тут летают локти,
тут и пели сапоги,
мазанные дегтем.

Угощались мужики,
деликатно крякали,
растеряли все кульки,
гостинцы и пряники...

Оригинально и стихотворение «Пасека», в котором есть такие, например, строчки о пчелах:

Кочует легкая орда
золотобрюхого народа...

Интересно, что и в «Пасеке», и во многих других ранних стихах, кажущихся описательными, все время пробивается та или иная задушевная мысль, всегда есть стремление как бы вывести некий итог увиденному и описанному. «Пасека», например, кончается словами:

А я всё думаю, что — вот,
какая радость вдруг помнится, —
что я и пасечник, и мед,
а может быть, и медуница...

Это ведь тоже любимая, выношенная мысль Ольги Берггольц, которую она высказывала по-разному в разные годы, но сохраняла ее суть, уже наметившуюся в «Пасеке»: художник содержит, заключает в себе все — он и пасечник, и мед, и медуница, он живет ради того, чтобы отдать мед своей души людям.

Вглядываясь в ранние стихи Ольги Берггольц, замечаешь не только образность мышления, но и особую целеустремленность духа, очень быстро формировавшегося, уже почти почувствовавшего свою судьбу, свое нелегкое предназначение. В семнадцать лет появляется у нее образ Звезды и уже никогда не уйдет ни из стихов, ни из прозы, пока не превратится в заглавный для всего творчества образ Дневных звезд, неподкупных и чистых, видных только из далеких душевных глубин.

...Звезда умрет — сиянье мчится
сквозь бездны душ, и лет, и тьмы, —
и скажет тот, кто вновь родится:
«Ее впервые видим мы».

Быть может, с дальним поколеньем,
жива, горда и хороша,
его труды и вдохновенья
переживет моя душа.

И вот тружусь и не скрываю:
о да, я лучшей быть хочу,
о да, любви людской желаю,
подобной звездному лучу.

(«О, если б ясную, как пламя...»)

Мария Федоровна Берггольц в статье, предпосланной публикации стихов и писем своей сестры, справедливо пишет, что многое ею «в юности было схвачено всем сердцем», а потом, на протяжении всей жизни, шло неустанное, интенсивное, решительное и бескомпромиссное «додумывание до конца». [1]

Ольга Берггольц — потом, в зрелости, в поздние годы — называла эту свою способность «схватывать всем сердцем» не чем иным как «предвосхищением жизни».

Примеров таких предвосхищений можно привести очень много — из самых ранних стихов. Например, в одном из стихотворений есть строчки, удивительные по своему странному «предсказательному» смыслу:

Я всё вспоминаю (откуда, откуда,
какою чужой стороной?)
охлопья поэм и заглавия песен,
еще не задуманных мной...

(«Под ветром, под песней гулящих матросов...»)

Какое неожиданное и своеобразное, как сказали бы мы сейчас, «воспоминание о будущем»!..

Мне многое в мире открыто,
Безвестное темным словам...

(«Мне многое в мире открыто...»)

Такие признания не часто появляются в восемнадцать лет.

В ее ранней лирике многое еще как бы только просилось и толкалось наружу — но просилось и толкалось именно потому, что уже было в ней заложено. Кое-что, кажется, так и осталось там, в молодых годах, не получило в дальнейшем явственного и очевидного продолжения, но, будучи как бы неразвившимся, неявным, все же давало свои неожиданные плоды. Таковы, в частности, ее «деревенские» стихи, написанные в Глушино и в Саблино. По-видимому, для каждого поэта соприкосновение с родной землей — с ее полем, небом, деревьями, травами и цветами, ее людьми и речью — более чем важно. Ольга Берггольц очень городской поэт — она родилась и всю жизнь прожила в городе. Может быть, поэтому она вглядывалась в природный мир России с особой пронзительностью, удесятеренной ее поэтическим даром. В некоторых стихах чувствуется Есенин, в иных близким эхом проходит интонация Некрасова, а в «Пастухе» неожи-

---

[1] Берггольц М. Ф., «Прошлого нет». — Сб. «Вспоминая Ольгу Берггольц», с. 572.

данно возникает... Заболоцкий, кое-где чувствуется внимание к народной частушке и песне, — все еще очень зыбко и неустойчиво, голос пробует свою силу, меняет тембр, окраску, высоту, но, при всей, так сказать, диффузии поэтики, неожиданно прорывается и исконно свое, то, чему предстоит уйти в будущее. Так, в стихотворении «Я петь не люблю в предосенних полях...» (1925) есть строфа, в которой последние строчки резко переламывают традиционный пейзаж:

...Меня обступают прозрачной стеной
стволы красноватые сосен.
Я слышу — высоко заводит со мной
моя журавлиная осень...

О, певчее, звонкое горло мое,
как весело мне с тобою!
Как радостно знать мне,
что ты запоешь
товарищам перед боем.

Ощущение России жило в дальнейшей «городской» лирике Ольги Берггольц постоянно. В смутные, драматические и кризисные моменты оно всегда выходило наружу, спасая душу и наполняя стих упругой и устойчивой силой. В самое трудное время, в 1939 году, она — в стихотворении «Просьба» — молит судьбу послать ей спасительный сон. Какой же сон может спасти измученную, отчаявшуюся душу?

...Пусть с березками болотце
мне приснится иногда.
В срубе темного колодца
одинокая звезда...

С особой силой вспыхнуло чувство любви к отчей земле в годы войны. К тому времени оно оказалось обогащенным и многими культурно-литературными восприятиями. Ольга Берггольц, помимо изначальной для каждого русского поэта любви к Пушкину, страстно почитала Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Некрасова и — с юности — Блока. Деревенские впечатления от природы и людей Глушино и Саблино были маленькой, но очень живой и крайне необходимой частицей «душевного состава», обогащенного и облагороженного великой русской классикой.

Впрочем, в «Дневных звездах» выразительно рассказано о том, как формировалось и росло в ее душе и сознании чувство родины,

какую роль играли первые детские впечатления, оказавшиеся необычно связанными со старинной Русью (Углич); она нарисовала там и образ няни Дуни, гордившейся своей деревней Гужово и обладавшей колоритной народной речью; она вспомнила в своей Главной книге и своих любимых писателей. Ее ранние стихи, как сейчас особенно хорошо видно, были первоначальным, робким, но чистым и искренним приобщением к великому чувству родины, государства, нации.

В 30-е годы, как уже говорилось, она много ездит по стране, и чувство родины насыщается для нее огромным конкретным и многообразным смыслом. То было интенсивное, молодое, жаркое, но вдумчивое, как всегда у Ольги Берггольц, зрячее восприятие страны — ее успехов, ее трудностей, ее великого и стремительного пути. Главнейшей чертою ее поэзии (и прозы) становится гражданственность, облекающаяся в форму исповедально-лирического звучания. Ее поэтический голос был открыт и прямодушен, она рассказывала о себе, полагая, что тем самым она рассказывает о своем времени. Эту черту сразу же по достоинству оценил М. Горький. Никакого суесловия, позы и декламации, — исповедь сердца, но мир предстает в стихе, четком и достоверном.

4

Поэзия Ольги Берггольц, при всей заметной индивидуальности своего голоса, развивалась в тесной зависимости от общего литературного процесса тех лет. Ее стихи начала и всей первой половины 30-х годов, оставаясь, как и в 20-е годы, лирически напевными, как бы выпевающимися из души, вместе с тем обретали своеобразно документальный, а в некоторых произведениях казахстанского периода — репортажный характер. Они в какой-то степени соотносятся, например, с произведениями писателей, входивших тогда в так называемые бригады, разъехавшиеся в начале десятилетия по разным областям и республикам страны, чтобы документально точно и многосторонне показать сложный процесс повсеместного социалистического строительства — в Средней Азии (В. Луговской, Н. Тихонов, Г. Санников, Л. Леонов и др.), в Закавказье (М. Шагинян) и во многих других местах. Для всех литераторов, участвовавших в работе бригад, эти поездки имели большое значение, а для иных, как, например, для В. Луговского, преодолевавшего индивидуалистический субъективизм лирики, свойственный ему в молодые годы, — принципиальное, с далеко идущими последствиями. Для Ольги Берггольц журналистская работа, сопряженная с необходимостью сочетать оперативность с вдумчивостью, лиризм с точностью, также имела нема-

ловажное значение. Она оттачивала свое журналистское перо, делая его боевым, решительным и точным. Нет сомнения, что ее публицистические и очерковые статьи в годы Великой Отечественной войны находятся в прямой связи с казахстанской журналистикой — не только прозаической, но и стихотворной. Она была точна в передаче примет нового, возникавшего в степи, в быту кочевников, но и в репортажных своих произведениях оставалась лирически-непосредственной и певучей. «Республика, работа и любовь», как заметил М. Горький, действительно очень органично соединялись в ее стихах в единый лирический сплав:

У нас еще с три короба разлуки,
ночных перронов,
дальних поездов.
Но, как друзья, берут нас на поруки
Республика, работа и любовь.
У нас еще — не перемерить — горя...
И все-таки не пропадет любой:
ручаются,
с тоской и горем споря,
Республика, работа и любовь...

(«Порука»)

Такие стихи были исключительно созвучны эпохе трудного, но радостного строительного азарта, они вплетались яркой певучей нотой в мажорный настрой тогдашней литературы. Вспомним, что и Яр. Смеляков назвал свою книжку словами, перекликающимися со строчкою Ольги Берггольц, — «Работа и любовь». Патетическими, романтически-пафосными были и стихи Владимира Луговского из поэмы «Большевикам пустыни и весны». Нарядной, красочной, мажорной была лирика Н. Тихонова, рождавшаяся из его путешествий по Средней Азии и Кавказу, Павла Антокольского. В стране звучали песни Вас. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, А. Суркова. Популярной была песенка Бориса Корнилова (муз. Шостаковича) из кинофильма «Встречный», один куплет из которой принадлежит Ольге Берггольц.

Но все же нельзя не заметить в произведениях Ольги Берггольц той поры, как, впрочем, мало-помалу и у многих других поэтов, появления быстро перемежающихся теней, смутных предчувствий, а затем и острого ощущения надвигающейся опасности. В солнечном, искрящемся молодой радостью стихотворении «Порука», которое только что цитировалось, есть строчка тяжелая и неожиданная: «У нас еще — не перемерить — горя...» Правда, стихотворение кончается словами: «Прекрасна жизнь, и мир ничуть не страшен...», но

смутная тень больше уже не уйдет из ее стихов, она будет временами мрачнеть, окрашиваясь душевной грозой и мукой. Здесь были и тягостные личные причины — смерть обеих маленьких дочерей, а вскоре болезнь мужа, Николая Степановича Молчанова, но эти беды усугублялись и более общими.

Поэтический мир Ольги Берггольц, с его всегдашней готовностью воспринять свет и радость, счастливую музыку бытия, был, однако, как бы постоянно настроен на отзывчивость к вершащемуся в мире горю. Она была художником обнаженных чувств и обнаженной, больной совести. Из русских классиков Ольга Берггольц неслучайно так чтила Достоевского. Она видела в нем глубоко родственную ей натуру — родственную прежде всего по тончайшей отзывчивости на толчки и содрогания общественного бытия, по способности сострадать чужому горю и несчастью, где бы они ни происходили. «Чужих и дальних нет», — сказала в годы войны Ольга Берггольц в одном из своих произведений, но эта мысль была ей свойственна, можно сказать, изначально — еще с тех пор, когда она, обращаясь к любимому, сказала: «Нас не двое на земле — Нам со всеми умирать И со всеми веселеть». И тогда же — давно, в юности — произнесены были ею и другие вещие слова:

Полынь, полынь, моя трава,
на всех путях лежит...

(«Но сжала рот упрямо я...»)

Трава полынь сделалась такой же эмблемой ее жизни и поэзии, как роза у Анны Ахматовой, как рябина у Марины Цветаевой.

О лирике Ольги Берггольц этой поры, о лирике, уже уходящей в трагедию конца 30-х годов, хорошо сказал Сергей Наровчатов: «Музой ее, конечно, была не Эвтерпа с флейтой, а Мельпомена с мечом, которая до поры не спешила приблизить к ней свою трагическую маску. Впрочем, еще тогда, — добавляет он, — она бросила на молодую женщину свой первый горький взгляд...» [1]

Эта горечь в стихах тогдашней Ольги Берггольц странно и почти несовместимо мешалась с ее, как уже сказано, всегдашней внутренней готовностью воспринять радость и отдаться полноте жизни. Ее комсомольский задор, — а вскоре она стала и коммунисткой, — противился темным сторонам жизни, но не замечать мрачнеющего тона жизни она не могла. Здесь сошлось многое: и смерть детей, и военная опасность, и иные тягостные испытания («Костер пылает.

---

[1] Наровчатов С., «Полынь судеб человеческих». — Сб. «Вспоминая Ольгу Берггольц», с. 105.

До рассвета...», «Просьба», «О песне», «Где жду я тебя, желанный сын?!.», «Еще редактор книжки не листает...» и другие). Постепенно стихи, написанные в конце 30-х годов, оформляются в цикл «Испытание» — один из самых сильных, пронзительно-горестных и мужественно-трагедийных в ее творчестве. Этому циклу предстояло пополняться все новыми и новыми произведениями, написанными в самые различные годы. Значительная часть цикла была опубликована в книге «Узел» (1965). От него — от цикла «Испытание» — Ольга Берггольц склонна была вести свое подлинное поэтическое рождение. Действительно, лирика конца 30-х годов, а она почти полностью входит в «Испытание», заметно отличается от предшествующих (например, казахстанских) стихов. Полудетский, щебечущий мир, так долго и доверчиво живший в ее стихах, мир, полный пенья веселых труб, степного солнца, молодой радости, исчезает. На смену ему пришел иной, в нем тоже — и не раз — будет еще свое счастье, но совсем другое: «трезвое, яростное, жестокое». Берггольц впервые испытает его в годы блокады. Она призна́ет его даже высшим — по сравнению с тем, молодым и простодушным:

...О девочка с вершины Мамисона,
что знала ты о счастии?
Оно
неласково,
сурово и бессонно
и с гибелью порой сопряжено...

(«Твой путь»)

Но это высшее счастье пришло позже. Тогда же, в конце 30-х годов, потеряв свой прежний мир, она пережила тяжелый душевный кризис.

Всё, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное счастье, —
всё вынесу и через всё пройду.
Но не лишай доверья и участья.

(«Всё, что пошлешь: нежданную беду...»)

И другая страшная беда — так тоже на какое-то время показалось ей — подстерегала ее, беда окончательная и непоправимая, а для поэта смертельная: потеря «песенной силы», дара слова, языка, а свою главную задачу, смысл своей жизни она уже и тогда видела в том, чтобы «воспеть» путь родины:

. . . . чтоб горестный и славный
твой путь воспеть.
Чтоб хоть в немой строке

мне говорить с тобой, как равной
с равной, —
на вольном и жестоком языке!

(«Изранила и душу опалила. . .»)

А мир темнел повсеместно — приближалась война. Ольга Берггольц была одним из тех художников, кто оценивал обстановку очень здраво. Ее стихи самого кануна войны убедительно говорят об этом. Впрочем, как и большинство стихов 1938—1940 годов, они были опубликованы много позже, некоторые после смерти, иные лишь сейчас — в этой книге.

Но кризис не сломил ее, и песенная сила ее не иссякла, скорее она стала тверже, исчезла акварельность, краски стали интенсивнее и темнее от внутреннего жара. Любимым стал ямб, который она однажды назвала неженским, а слово отдавало полынью — издавна любимой травою. Для поэта все это — факты биографии. Тогда, в канун войны, Ольга Берггольц впервые стала внимательно и по-новому оглядываться на юность, она тогда еще не знала, что эта оглядка означала предвестие будущих «Дневных звезд». Она вглядывалась в юность, чтобы понять, правильно ли все было в юности ее поколения: «Я себя не берегла. . .» («Песня», 1940). *Берегла ли других?* . . «Точно кто-то взглянул с укоризной. . .» («Воспоминания», 1937). *Кто? Может быть, люди, жившие на исчезнувшей невской Атлантиде?* . . Память впервые осмысляется как великий дар и — наказание. «Вот один прошел совсем по краю. Укоризны след его темней. . .» («На асфальт расплавленный похожа. . .», 1939). Появляются горестные образы незабытых друзей, осыпанных дорожной пылью путников, бредущих к родному дому вслепую, без надежды. И — снова возвращение к юности:

Не может быть, чтоб жили мы напрасно!
Вот, обернувшись к юности, кричу:
«Ты с нами! Ты безумна! Ты прекрасна!
Ты, горнему подобная лучу!»

(«Не может быть, чтоб жили мы напрасно! . .»)

Да, кризис не сломил ее: уже было и окрепло, оставшись навсегда, ощущение главного в жизни, того, что неколебимо, что, появившись в юности, пройдет до конца, — ощущение слитности, безраздельности своей судьбы с судьбой родины, народа.

. . .это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

(«Мы предчувствовали полыханье. . .»)

В своем восприятии тогдашней международной обстановки О. Берггольц во многом сходилась с мнениями большинства советских писателей этой сложной поры. Слова «фашизм», «военная опасность», вести о наступлении фашизма, его шествии по Европе, — все это было тревожной явью. Советские писатели участвовали во Всемирном конгрессе мира, они поддерживали борьбу республиканской Испании, они, как говорил Алексей Сурков, «держали лирический порох сухим». Были и шапкозакидательские стихи и песни, преуменьшавшие, а то и вовсе игнорировавшие размеры нависающей над миром и советской страной опасности. Но лучшие произведения той поры говорили о создававшейся обстановке прямо и жестко. Важным поэтическим событием в этом отношении была, например, книга Н. Тихонова «Тень друга». Проницательны были стихи И. Эренбурга, П. Антокольского, М. Светлова. В духе высокой трагедии звучали стихи Анны Ахматовой из ее цикла «В сороковом году». Ольга Берггольц также пишет большой цикл стихотворений «Европа. Война 1940 года». Он посвящен Илье Эренбургу. По остроте политических характеристик и выразительности в обрисовке европейской ночи, а также по громко звучащей в стихах цикла детской теме они действительно родственны лирике Ильи Эренбурга. Но главное, что их роднит, это глубокая печаль о будущем, печаль, равная отчаянию. Маска Мельпомены, действительно, приблизила свой лик: Ольга Берггольц заговорила в своих стихах как поэт высокого трагедийного звучания. Если предшествующие стихи, связанные с невзгодами личной судьбы, были горестными, то произведения из цикла «Европа. Война 1940 года» обрели широту дыхания и полнозвучие голоса. Она пишет о толпах обезумевших матерей, о детских обугленных ручонках, о темной ночи, распростертой над Европой, о темно-красных реках, несущих людской прах...

...ширится ночь, растут пустыри,
и только вдали на востоке светит
узенькая полоска зари.
И силуэтом на той полоске
круглая, выгнутая земля,
хата, и тоненькая березка,
и меченосные стены Кремля.

(«Забыли о свете вечерних окон...»)

По стихотворениям 1940 года видно, как зловещие грохоты, беды и тревоги большого мира если и не заглушают, то как бы отодвигают несчастья, связанные с собственной судьбой, вполне понятные обиды и непрошедший страх.

Кругом пустынно, кругом темно,
И страх, и ложь, —

все это остается, но уходит в подспудные ключи, незримо питающие темной водой страдания общую боль мира, превращающую ее во всем внятное слово. Она выходила из беды исполненная достоинства. Ее спасала и выводила к людям и творчеству любовь к родине.

Стихи, написанные накануне Великой Отечественной войны, исполнены большой внутренней патетики, они широко открыты в мир, навстречу людским страданиям — с единственной целью: взять на себя хотя бы малую толику несчастий, обрушивающихся на человечество. В стихах появляются ораторские интонации, образы крупны и символичны, вера в родину — безмерна. Стихи из цикла «Европа. 1940 год» по своей внутренней сути стоят на самом пороге наступающих грозных событий, они уже — в войне, дышат ею, исполнены ею. Поэзия Ольги Берггольц — один из самых блистательных примеров готовности нашей литературы, нашего искусства к военным испытаниям.

В июне 1941 года она написала стихи, звучащие как клятва. Но вернее было бы сказать, что известное стихотворение «Мы предчувствовали полыханье...» является лишь окончательным подтверждением чувств и мыслей, сформировавшихся в последние годы перед войной:

Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — *я не могу иначе*,
я и Ты — по-прежнему — одно.

Слова «я не могу иначе...» в стихотворении «Мы предчувствовали полыханье...» подчеркнуты автором. Они выражают полное слияние долга и чувства, мысли и поступка, иначе говоря, ту абсолютную свободу творчества, о которой она написала в одной из статей, посвященных своей работе в годы войны, и о чем выразительно рассказала впоследствии в «Дневных звездах».

5

О творчестве Ольги Берггольц в годы блокады Ленинграда написано немало. Лучше всего об этом по-прежнему говорят ее стихи, сохранившие атмосферу сражающегося города и запечатлевшие высоту духа его граждан и его поэта:

И нет мне дороже награды,
чем в годы военной угрозы

моих благородных сограждан
скупые и светлые слезы.

(«Ленинграду»)

Работая над второй частью «Дневных звезд», Ольга Берггольц, верная своим словам «я вмерзла в твой неповторимый лед», снова вернулась к блокадным годам. Из второй части «Дневных звезд», уже после смерти автора, был опубликован отрывок, названный «Серебряное ведерко». Он хорошо передает мироощущение Ольги Берггольц в самом начале осады — то состояние полнейшей готовности к подвигу, которое само по себе может быть названо состоянием героическим. Судя по отрывку, речь идет об осени 1941 года, уже переходящей в смертную блокадную зиму. Отрывок этот в полной мере можно назвать и молитвой. Ольга Берггольц описывает тот высокий, переломный, кризисный момент в жизни города, когда потребовалось собрать все духовные силы, в том числе и те, о которых разум не подозревал, — скрытые, потаенные силы, жившие на самом дне душевного колодца. И чем глубже душа человека, тем она богаче, тем бездоннее его силы. Там, в глубине, индивидуальная человеческая воля как бы соприкасается с живыми, неиссякаемыми ключами народной жизни.

«Молитва, — пишет Ольга Берггольц, — серебряное ведерко, которое опускает человек в свою глубину, чтоб почерпнуть в себе силы, в себе самом, которого он полагает как бога... Он думает, что это он богу молится, — нет, он взывает к собственным силам.

Теперь твой час настал. Молись.

И я молилась. Все глубже и глубже опускалось серебряное ведерко...» [1]

Так вот откуда взялась та удивительная, безмерная и счастливая сила, которая помогла ей зажечь высокий костер блокадной поэзии, стольких согревший! И помогла преломить стихи в хлеб — совершить чудо духовного насыщения... Сила эта — в истоках народного бытия, в неиссякаемых подспудных ключах, незримо бьющих в далеких душевных глубинах...

И еще она писала — в том же отрывке:

«Стихи и обстрел были как бы вне меня, они звучали извне, и на фоне этого звучания проходила вся жизнь, все другие ее звуки, образы, видения...

Иногда же стих заглушал все:

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.

---

[1] «Дружба народов», 1979, № 4, с. 183.

Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал:
молись!

Да, да, молись.

Озноб ожесточения все круче пробегал по телу, сумрачный, озаренный восторг все рос, и — теперь твой час настал. Молись! Неужели это написал Блок, за много лет до сегодняшнего дня? Нет, это я сейчас сама сказала, потому что все верно. Доспех тяжел, как перед боем... Это я написала. И в ответ откликнулось: как в юности, молюсь тебе сурово...

И я молилась, обращаясь к Родине (тому огромному, страшному, любимому, прошедшему, проходящему через меня этим расплавленным искрящимся потоком)...»[1]

Вот из каких душевных истоков родился ее подвиг в годы ленинградской осады. Она знала, на что шла!

Она была молодой, хрупкой женщиной, уже в полной мере узнавшей удары судьбы и едва не сломленной ими. На чем же держалась эта ноша? Этот воинский кованый доспех?

На верности и отваге. На верности и любви. На верности и долге.

Можно лишь догадываться, до каких глубин опускала она свое серебряное слово-ведерко в поисках живой воды и с какой радостью и отвагой черпала ее из самых недр народного бытия. Ее молитва была очень русской по своему духу: в ней была и гордость, и душевная смелость. Ольга Берггольц, как уже сказано, среди духовных своих наставников числила и Федора Достоевского. Когда, едва ли не на краю гибели, посреди смертей мелькнул ей нежданный и спасительный, торжествующий над мраком и безглазой пустотою свет любви, она написала об этом с великим покаянием перед небом и людьми, но и с безмерной женской гордостью. То было редкостное по силе чувства, сохраненное в архиве и никогда не видевшее света стихотворение «Молитва» (1944).

Тема этой любви, ставшей как бы символом неистребимости и торжества жизни, перешла и в поэму «Твой путь» (1945). Ее концовка торжественна и — при всей своей лиричности, звенящей, как туго натянутая струна, — почти величава:

Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,

---

[1] «Дружба народов», 1979, № 4, с. 183.

чтоб всю ее,
как дань людскому братству,
на жертвенник всемирный положить...

Для стиля едва ли не всех блокадных произведений Ольги Берггольц характерно сочетание высоты точки зрения, напряженности духа и редкостной, пожалуй только ей свойственной, безыскусственно-лиричной, задушевно-открытой интонации. То была интонация собеседования.

Беспримерный успех Ольги Берггольц у радиослушателей осажденного Ленинграда объясняется в немалой степени ее способностью и умением беседовать вдвоем — таково было впечатление и от ее прозы, и от ее стихов, которые она читала всю блокадную зиму. Ее словами — так казалось — мог бы говорить каждый ленинградец: в них все было правдой. В них, кроме того, будто бы не было ничего от «искусства» — от «изящной словесности»... Каким-то трудно объяснимым образом вдруг исчезала грань, столь привычная для литературного сочинения, — грань между поэзией, жизнью и автором. И, очевидно, настолько был нужен этот сердечный, родственный голос, умеющий «побеседовать вдвоем», умеющий утешить и ободрить чисто по-домашнему, что он не только не затерялся среди звеневших металлом стихов Николая Тихонова, рядом с бурно-пламенной речью Всеволода Вишневского, в соседстве с песенно-воинственной музой Александра Прокофьева и изящными, строго выверенными строфами Веры Инбер, но вместе с ними стал неотъемлемой частью борьбы всего советского искусства с фашизмом.

Почти все ее блокадные стихи и поэмы по непроизвольности своего сюжета и лиричности интонации импульсивны: в них нет рассчитанной заботы о чистоте жанров, о соразмерности заранее намеченных композиций и т. п. «Февральский дневник» и «Ленинградская поэма» могли бы начинаться иначе, чем они начинаются, и кончаться где-нибудь в другом месте или даже быть продолженными, все равно, — ведь они не что иное как лирический поток, вызванный данною минутою и отражающий в своем течении все состояния исторгнувшей его души, то обессилевающей в горе, то обретающей вдруг грозную, торжественную звучность, — и все это совершенно стихийно, очень искренне, без оглядки, без жеста, без преднамеренной заботы о внешней красоте выражения.

Из недр души
я стих свой выдирала,
не пощадив живую ткань его...

(«Твой путь»)

В стихах и поэмах Ольги Берггольц («Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь») нет развернутых пейзажей, нет любования красками и их оттенками. Ее стихи как бы вознесены на те «одинокие и нагие вершины», с которых видно лишь самое главное, всеобщее, историческое. В «Дневных звездах», вспоминая о блокадных днях, она подчеркнула с гордостью, что шла «по вершинам духа». И надо сказать, что в этом отношении она не была исключением среди своих сограждан. «Вершины духа», упомянутые ею, неоднократно возникают в рассказах ленинградцев, которые записали и опубликовали в своей «Блокадной книге» (1979) Алесь Адамович и Даниил Гранин.

В те дни исчез, отхлынул б ы т.
И смело
в права свои вступило б ы т и е...

(«Твой путь»)

Блокадный город Ольги Берггольц предстает, как правило, в своих многочисленных и заботливо взятых ею «на учет» исторических символах и реликвиях. С войной как бы открылось в ней особое зрение, позволившее не только видеть и понимать умом «связь времен», но и ощущать эту связь очень лично, непосредственно и прямо. Она порою относилась к блокаде и блокадному быту почти как историк, или, точнее говоря, как бы постоянно имела в виду некоего будущего историка, которому нужно помочь уже сегодня. Ведь —

...дни придут,
и чьи-то руки пепел соберут
из наших нищих, бедственных времянок.
И с трепетом, почти смешным для нас,
снесут в музей, пронизанный огнями,
и под стекло положат, как алмаз,
невзрачный пепел, смешанный с гвоздями!
Седой хранитель будет объяснять
потомкам, приходящим изумляться:
«Вот это — след Великого Огня,
которым согревались ленинградцы...»

(«Ленинградская осень»)

Стремление сохранить для памяти потомства неповторимое бытие блокады, постоянно присутствующий в стихах Ольги Берггольц взгляд на блокаду из будущего придает даже деталям быта и повседневности своеобразный характер торжественной символичности,

Бумажные полоски на окнах, наивно наклеенные для сохранения стекол:

...неведенья беспомощные знаки,
зимы варфоломеевской кресты.

(«Отрывок»)

Пропуск для хождения по улицам в ночное время — тоже символ, своего рода знак великого ленинградского братства:

«Вот пропуск мой. Пожалуйста, проверьте.
Я здешняя, и этот город — мой.
У нас одно дыханье, дума, сердце...
Я здешняя, товарищ постовой».

(«Отрывок»)

Иногда символичность деталей поднималась в ее стихах до высокой трагедийной патетики. Вот, например, гвозди, которые найдет будущий историк в пепле «Великого Огня». Как узнать ему их происхождение? Ведь «дотла сгорела целая эпоха». И Ольга Берггольц рассказывает: то была, — говорит она, —

...доска в гвоздях — как будто часть распятья,
большой обломок русского креста.

(«Ленинградская осень»)

Его тащила женщина-ленинградка. Крест был тяжел, гвозди впивались ей в ладони, но она несла и несла его, чтобы согреть живых и «ненадолго руки снять с гвоздей...».

В другом месте она описывает ледяную прорубь, возле которой во льду виднелся, словно в ледяном саркофаге, замерзший человек.

...А люди утром прорубь продолбили
невдалеке
и длинною чредой
к его прозрачной ледяной могиле
до марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь
ходить сюда, — не говори: «Забудь»...

(«Твой путь»)

Прозрачная ледяная могила, ледяной мавзолей — символ бедствий и памяти. Для Ольги Берггольц это своего рода ключевой об-

раз, который затем появится у нее не однажды. Больше того — она даже отождествила себя с ним:

И ясно мне судьбы моей веленье:
своим стихом на много лет вперед
я к твоему пригвождена виденью,
я вмерзла
в твой неповторимый лед...

(«Твой путь»)

Можно поэтому сказать, что, будучи строжайше верной «фактам блокадного бытия», Ольга Берггольц придавала им значение реликвий, своего рода памятников, — ее лирика была мемориальной.

И в своих стихах, что тоже чрезвычайно характерно для нее, она ставила эти «памятники» в честь безымянных героев и безымянных подвигов. Таковы, например, ее стихи, посвященные Дарье Власьевне, «соседке по квартире». В ее представлении Ленинград спасло прежде всего само население города: женщины, мужчины, дети — огромный трехмиллионный гарнизон, поправший смертью смерть, умиравший, но не сдававшийся, расстреливаемый в упор в течение долгих трех лет, но оставшийся верным заветам жизни.

Так она и писала, обращаясь к городу:

Не ты ли сам зимой библейски грозной
меня к траншеям братским подозвал
и, весь окостеневший и бесслезный,
своих детей оплакать приказал.
И там, где памятников ты не ставил,
где счесть не мог,
где никого не славил,
где снег лежал
от зарев розоватый,
где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришел,
чтоб землю вздыбить под могилы, —
там я приказ твой гордый выполняла...

(«Твой путь»)

Среди ее блокадных поэм есть своеобразная поэма-реквием «Памяти защитников» (1944). Она написана по просьбе сестры погибшего молодого лейтенанта. «Просьба ее поразила меня, — вспоминала Ольга Берггольц, — она (сестра Владимира Нонина. — *А. П.*) и ее мать хотят почтить память своего любимого сына и брата слезами своих

соотечественников, они ищут утоления собственной боли в этих братских слезах и братском сочувствии, и больше — ищут опоры для дальнейшей жизни: „Может быть, нам от этого легче будет"». [1]

Ее поэтический источник всегда, а в годы всенародного бедствия особенно, бил из этого неоскудевающего родника — из любви к ближнему, из сестринского участия к боли. «Сестра по гневу и печали», — писала она о ленинградке в поэме «Февральский дневник» в 1942 году. Погибший боец для нее — «всеобщий сын и брат. . .», и она плачет о нем «точно о родном»; все горожане в ее представлении, в ее чувстве — «родней, чем дети одного отца», — ведь «у нас одно дыханье, дума, сердце», «одной неповторимою судьбой мы все отмечены. . .».

Обостренный историзм поэтического мышления сказывался в блокадной лирике Ольги Берггольц не только в тех образах-символах, образах-реликвиях, о которых шла речь, но и в общей широте исторических ассоциаций. Ее Молитва накануне блокады («Молись. Твой час настал!») — это блоковская строчка из цикла «На поле Куликовом». Она постоянно задумывалась об историческом пути народа. Какие национальные черты, какие психические и культурные особенности народа, какие исторические традиции скрестились и вдруг так ослепительно блеснули здесь — в граде Петра и Ленина? Что именно дало силы не согнуться, выстоять, победить? Из какого металла выкован доспех Ленинграда-воина?

«Победоносная трагедия» Ленинграда, беспримерная стойкость его людей были в глазах Ольги Берггольц выражением исконных национальных и революционных традиций — именно так осмысляла она поведение своих сограждан и своего народа в целом, а также, конечно, и свое собственное.

Ты русская — дыханьем, кровью, думой.
В тебе соединились не вчера
мужицкое терпенье Аввакума
и царская неистовость Петра. . .

(*«Август 1942 года»*)

В ее поэзии военных лет нередки стихи-воспоминания. В них она мысленно возвращается к недавним довоенным годам и к годам первой пятилетки, совпавшей с ее комсомольской юностью:

Да. Знаю. Всё, что с детства в нас горело,
всё, что в душе болит, поет, живет, —

---

[1] Берггольц Ольга, Ленинградский опыт. — «Октябрь», 1944, № 1—2, с. 151.

всё шло к тебе,
торжественная зрелость,
на этот фронт у городских ворот...
(«Дорога на фронт»)

Эта пристальность исторического зрения, обострившаяся в испытаниях всенародной борьбы, перешла и в послевоенное творчество Ольги Берггольц.

6

На протяжении трех послевоенных десятилетий она оставалась верной теме войны, верной своим словам: «...я вмерзла в твой неповторимый лед». В ряде статей она резко выступала против обнаружившейся одно время тенденции отойти от темы войны, чтобы всецело сосредоточиться на современности. Ольга Берггольц полагала, что понимать и изображать современность, как бы «забыв» о народном подвиге, просто невозможно. Она была и оставалась поэтом памяти. «Не дам забыть...» — как сказано в одном из ее стихотворений. «Никто не забыт, и ничто не забыто», — вновь сказала она, и эта формула памяти быстро сделалась своеобразным всенародным паролем. Но ее память — как и вся ее жизнь — была, по ее же убеждению, неделимой. Она предпочитала «жить всей жизнью сразу», а не делиться «на части», и потому в свою историческую память вмещала, как в некий «лучевой пучок», все три времени — прошедшее, настоящее и будущее. При этом прошедшее, в особенности историко-революционное и военное, интересовало ее чрезвычайно. Эта мысль, как уже говорилось, хорошо выражена во «Вступлении в поэму».

И вдруг *всей жизнью* — всею, а не частью
сегодняшней —
я стала жить, спеша...

«Вступление в поэму» писалось почти одновременно с поэмой «Первороссийск». Если рассматривать «Вступление» как своего рода увертюру, сжато заключившую в себе многие и разные темы всего послевоенного творчества, включая трагедию «Верность» и «Дневные звезды», то «Первороссийск» представляется, с этой точки зрения, как бы первой развернутой страницей — это гражданская война, самое начало советской истории.

Что такое исторический Первороссийск? Он был создан в 1918 году на Алтае (там, где сейчас построена Бухтарминская ГЭС) так называемым Первым Российским обществом землеробов-коммунаров, ядро которого составляли рабочие с Обуховского завода. Это

была попытка построить коммуну среди огнедышащего кольца фронтов гражданской войны как первый образец, или, говоря современным языком, как модель социализма. То была романтическая по своему существу попытка совершить прыжок в будущее. Отсюда драматичность реальной истории Первороссийска и поэмы, ему посвященной.

Художественный эффект «Первороссийска» состоит в том, что он написан — по своему духу и интонации, по лиризму и эмоциональной субъективности — как воспоминание. В поэме — по этой причине — нередки обращения автора к другу-читателю (прием, широко использованный Ольгой Берггольц и в трагедии «Верность»). Нередки в поэме и отступления, которыми прерывается повествование — ради пояснения исторического прошлого примерами собственной жизни. Так, рассказывая о Гремякине, о том дне его жизни, когда, предчувствуя гибель, он впервые подумал о смерти «просто, без страха и смятенья», потому что он уже

...жил всей жизнью — будущим и прошлым,
жил за погибших, за себя, за нас, —

Ольга Берггольц восклицает:

Я знаю это — я! Ведь я жила
однажды так, как он, — всей жизнью сразу...

Ольга Берггольц не упускает, можно сказать, ни одного случая, когда история Первороссийска так или иначе соприкасалась с ее собственной биографией. Ведь первороссияне — рабочие из-за Невской заставы. Лирике подчас достаточно одного толчка, но толчок этот должно дать собственное сердце. Говоря дальше, по ходу действия поэмы, о том, что на месте погибшей коммуны был в 1930 году создан колхоз «Первороссийск», Ольга Берггольц вспомнила собственный тридцатый год — свою далекую казахстанскую весну:

О годы первых весен большевистских,
о молодость прекрасная моя!..

Во время работы над поэмой самым главным для нее было почувствовать себя современницей первороссиян — так, чтобы иметь право рассказывать о них как о далекой части собственной биографии. «Это мое!» — таков ее принцип.

«Это — мое!» — так сказала она и о Севастополе, избрав его героем своей трагедии «Верность».

«Верность» — трагедия о народе. Именно народ, как когда-то у Пушкина в «Борисе Годунове», ведет в трагедии Ольги Берггольц

драматическое и историческое действие. Даже некоторые элементы построения трагедии подчеркивают и обыгрывают эту исходную философскую мысль: почти все сценические события происходят, например, на базарной городской площади — она играет в пьесе роль своеобразного народного вече. Что-то древнее, исконно русское, новгородское есть в этом превосходном действе, напоминающем нам о тех стародавних временах, когда народ собирал свою силу, чтобы сообща обрушить ее на врага. Символическую роль играет в пьесе и колодец, из которого не может напиться предатель, умирающий в конце концов от жажды и голода.

Трагедия, как, впрочем, и пьесы «У нас на земле» (1947) и «Они жили в Ленинграде» (1944), глубоко лирична. Это выразилось не только в неоднократных «Обращениях к Трагедии», но и в том, что можно было бы назвать автобиографичностью трагедийной интонации.

Я говорю за всех, кто здесь погиб...

Но, говоря «от имени всех» («по праву разделенного страданья»), становясь «многоликой», распадаясь на десятки лиц, она остается между тем «самой собой»:

...И вот я становлюся многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Но мне же суждено — самой собой
остаться в разных обликах и душах,
и в чьем-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шепот слушать,
и знать, что ничего не утаишь:
все слышат всё, до скрытого рыданья...

Неслучайно в севастопольской трагедии, которую она передает в «Верности», иногда можно услышать далекие отзвуки ленинградских блокадных стихов. Да и одна из главных героинь трагедии, Ирина Власьевна, не родная ли она сестра той Дарье Власьевне, к которой не однажды обращала свой радиоголос Ольга Берггольц блокадной зимой 1941—1942 годов? И образ «вершин», излюбленный образ многих ее стихов и прозы, тоже присутствует, как маяк, в рассказе о севастопольской обороне. Именно туда, на вершину, ведет «прямой, страшный и стремительный путь», который избрали для себя герои «Верности».

Все писавшие о «Верности» отмечали глубокий философский замысел и монументальную эпичность этой вещи. Ольга Берггольц являлась одним из тех художников, которые возрождали в советской литературе жанр высокой трагедии — наперекор вульгаризаторам и перестраховщикам, отрицавшим и едва ли не запрещав-

шим трагедию, будто бы чуждую социалистическому искусству. Ольга Берггольц наследовала традиции замечательной русской классики, прежде всего Пушкина, а также опыт Маяковского, сделавшего главным лицом трагедии собственную личность («Владимир Маяковский»), ей были понятны искания Вс. Вишневского, создавшего «Оптимистическую трагедию», работы Ильи Сельвинского, Павла Антокольского... Она знала и ценила театр Брехта.

К наиболее крупным произведениям послевоенного периода, помимо «Первороссийска» и «Верности», примыкает автобиографическое повествование «Дневные звезды». Об этой книге, которую Ольга Берггольц склонна была называть своей Главной книгой, уже упоминалось в связи с самыми различными произведениями. «Дневные звезды» действительно очень прочно связаны почти со всем кругом тем, интересовавших Ольгу Берггольц в последние десятилетия ее жизни. К «Дневным звездам» примыкают не только «Первороссийск» и «Верность», но и многие лирические стихи, например «В доме Павлова», «Церковь «Дивная» в Угличе», «Международный проспект», «Я иду по местам боев...», «А я вам говорю, что нет...» и многие другие. Да и сама книга «Дневные звезды» пронизана многочисленными лирическими токами, подчас настолько сильными, что прозаический текст местами прорывается стихами. «Дневные звезды» — одно из наиболее высоких и совершенных произведений советской литературы. По словам Ольги Берггольц, она стремилась, в меру своих сил, продолжить замечательные традиции герценовской книги «Былое и думы». Ей хотелось вместе с тем рассказать так, как умел говорить Маяковский, то есть о времени и о себе одновременно.

Эта открытость души, соединенная с ясным мышлением и принципиальностью, твердостью воли и нежностью, сквозит во всех произведениях Ольги Берггольц последнего периода. Ее лирические стихи, проникнутые высокой гражданственностью, тревогой за судьбы людей и мира, обращены ко всем и к каждому в отдельности: это — признак большого и подлинного искусства. Даже основная интонация ее стихов — интонация обращения: к кому-то — и ко всем. Такие стихи подразумевают ответный отклик. Недаром любимейший образ Ольги Берггольц — струна. «Она оборвется, если изменит звук...» Верный звук тот, что получает отклик, вызывает эхо, заставляет звучать родственные струны в других сердцах. Лживый звук прячется в себя — ему не дано счастья породить эхо, продлить себя в будущее. Стихотворение «Эхо» — это была ее заветная работа, наряду со второй частью «Дневных звезд», куда это стихотворение, скорее всего, и предназначалось, — было очень дорого ей по своему смыслу: голос человека — и непременный отклик ему.

Ты заплачешь,
оно отзовется
рыданьем народным.
. . . .
Улыбнешься — и вдруг
отзовется всемирным
прелестнейшим смехом... [1]

Этот образ, родившийся в последние годы жизни, был для нее не менее важен, чем струна или звезда: эхо бессмертно — оно продолжает, повторяет и длит звук исчезнувшей жизни. А что такое наша память? Не есть ли она эхо докатывающихся до нас прошедших событий, связывающее воедино прошлое, настоящее и будущее? А ведь именно эта крепчайшая связь и держит весь поэтический мир Ольги Берггольц. Вот почему она так берегла этот образ и возвращалась к нему до самого смертного часа. Он родился из самой сердцевины ее души и поэзии. Она хотела, чтобы звуки нашей жизни дошли до потомков чистыми, внятными, правдивыми.

Как эхо доносятся до нас ее слова:

«Я бессмертна, ибо бессмертно русское искусство, русская революция, русский народ, русская земля». [2]

А. И. Павловский

---

[1] Архив Ольги Берггольц.
[2] Там же.

ПОПЫТКА АВТОБИОГРАФИИ

С каждым годом все труднее и труднее написать мне автобиографию. Кажется, жизнь моя все ускоряется и непрерывно пополняется, ее никак не удается втиснуть в автобиографию. Это потому, что жизнь моя, как и большинства моих современников, так счастливо сложилась, что все главные даты ее, все, даже самые интимные, события совпадают с главными датами и событиями нашей страны и народа, и одно переходит в другое.

Как говорили в старину, дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мною за Невскую заставу, где в 1910 году я родилась и откуда начала бить та тоненькая струйка, которая называется моей жизнью. Невская застава со всей ее территорией, со всеми ее людьми — бабушками, дедушками, дядьями, ребятами во дворе — осталась во мне навсегда.

Я кровь от их крови и плоть от их плоти. Они учили меня ходить и говорить, молиться богу и не верить в него... Путь, который я прошла, представлял не только мое личное прохождение по жизни, от первых шагов до ухода из-за Невской заставы и до теперешнего моего существования, — в нем были и совершенно неслышные и громоздкие шаги истории.

Об этом я частично пыталась рассказать в «Дневных звездах», в стихах «Возвращения», поэме «Первороссийск» и в других своих произведениях.

Не сомневаюсь, что эти шаги истории почти неслышимы и невидимы в моей работе, несмотря на все мои старания. Александр Блок, вероятно, об этом сказал:

...Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар.

Не скрою, что я вольно и невольно пыталась запечатлеть «гибельный пожар», и знаю, что выражалось это мною менее, чем в «бледных заревах»...

Из окон нашего деревянного домика на Палевском проспекте всегда было видно розоватое трепещущее пламя. Бабушка и няня Дуня говорили мне, что это «работает Чугунный завод» (как выяснилось, Александровский, ныне Пролетарский). Это играли его огни — то ярче, то почти угасая. И вот с тех пор, вероятно, такой же — с самого раннего детства — представилась мне и судьба моя: неровное, то на полнеба пламенеющее зарево, то еле мерцающая розовая кромка где-то на окраине Невской заставы.

Впрочем, одно зарево мне особо запомнилось: оно заполняло все окошки нашей маленькой спальни, и по этому трепещущему грозному фону летели черные, бешено фукающие головешки. Вцепившись в руку Дуни (мне в то время было семь лет, — и это была осень 1917-го), я бормотала:

— Ой, Дуня, ой, что это такое?! Ой, мы загоримся!

А она, прижимая меня к своей огромной груди, крестясь и крестя меня, говорила негромко:

— Да ницево, Лялецка, ницево. Просто уцасток жгут, фабрицно-заводски взбунтовались.

Я, конечно, не знала тогда, что это были дни Октября 1917 года.

Детские впечатления передать почти невозможно...

Я помню только, что зарева в окнах нашего дома от Чугунного завода уже не полыхали («Все фабричные и заводские пошли в город», — сказала Авдотья), что бабушка непрерывно молилась, а дедушка лежал на кровати и почему-то стонал. Папа в это время был все еще на войне. Он остался командиром санитарного поезда, перешедшего на сторону красных, работал военно-полевым хирургом на фронтах молодой Республики.

Потом, в связи с очень тяжелым продовольственным положением в Петрограде и непрерывными ссорами нашей мамы с дедушкой, бабушкой и Авдотьей и в связи с угрозой, нависшей над Петроградом, мама увезла нас в город Углич.

Никогда не забуду того раннего утра, когда мы причаливали к пристани Углича. Вода плескалась буквально у наших ног, и я, еще глубоко верящая в бога, восьми лет от роду, исступленно молилась:

— Господи, боженька, боженька, прости нас, не утопи нас!

О нашей жизни в Угличе достаточно рассказано в «Дневных звездах» и многих стихах моих. Я не то что обращаю на них особое внимание читателей, я просто хочу сказать: в моих произведениях с юности ничего не было недостоверного, не взятого из жизни.

В 1921 году отец приехал за нами в Углич и привез нас обратно за Невскую заставу, к дедушке и бабушке.

...О, Невская застава, Невская застава! Ночи, полные багровых зарев с Чугунного завода. Первая любовь моя. Первые манифестации. И то, что непередаваемо и невосполнимо...

Ох, как стали тяжки мне бабушки, дедушки и тетушки в конце двадцатых годов. Ваши домики и скверики, беседки и палисадники — какой тюрьмой они мне показались! Заветной мечтой матери было, чтоб мы — я и сестра, — вырастая, становились все больше похожими на «тургеневских девушек».

Но я росла и училась в 117-й единой трудовой школе, в двадцатых годах, и заветной моей мечтой была кепка и кожаная тужурка — это со стороны, так сказать, внешней. Внутренне же мы все были охвачены романтикой только что отгремевшей гражданской войны и мечтали о своем участии в последних и решающих схватках с мировой буржуазией. Нет, «тургеневской девушки» из меня решительно не получалось.

После смерти Владимира Ильича Ленина, потрясшей наше отрочество до основ души, я вступила в пионерскую организацию, ходила на сборы в клуб при заводе имени Ленина, а в 1926 году была принята в кандидаты комсомола — все за той же Невской заставой в год окончания школы. А уж в члены комсомола — как полагалось тогда, через два года — меня переводили в комсомольской организации при типографии и издательстве «Красной газеты», где я работала курьером (но об этом подробнее я расскажу дальше).

В 1925 году я пришла в литературную группу «Смена». С безумной робостью появилась я в этой группе. Мы встречались не реже двух-трех раз в неделю в доме № 1 по Невскому проспекту, под самой крышей этого дома. На седьмой этаж мы восходили без какого бы то ни было придыхания и тут же начинали читать стихи и спорить. Я приезжала на Невский, 1, напротив Адмиралтейства, тайком от бабушки, от папы и мамы и других родственников. Вот там я и увидела коренастого низкорослого парнишку в кепке, сдвинутой на затылок, в распахнутом пальто, который независимо, с откровенным и глубочайшим оканьем читал стихи:

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова, —
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

Глаза у него были узкого разреза, он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что читает, что я сразу подумала: «Это ОН». Это был Борис Корнилов — мой первый муж, отец моей первой дочери.

Литературной группой «Смена» сначала руководил Илья Садофьев, один из первых пролетарских поэтов, затем — Виссарион Саянов. Приезжал к нам Михаил Светлов в черном не то тулупе, не то кафтане, с огромным количеством сборок сзади — в общем, в наряде, похожем на длинную и громоздкую бабью юбку. Здесь, может быть впервые, он прочитал свою бессмертную «Гренаду». Но ведь мы же не знали тогда, что это гениально и что это бессмертно: об этом никто не может знать заранее — ни читатель, ни критик, ни сам поэт...

Мы оба с Борисом Корниловым учились тогда в странном учебном заведении под названием Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств; оно помещалось в мрачном особняке графа Зубова, расположенном против Исаакиевского собора.

В институте любили молодого Бориса Михайловича Эйхенбаума, молодого Тынянова, молодого Виктора Шкловского, Соллертинского, который читал нам искусствоведение; он говорил в нос и ходил, ломая руки...

Борис Михайлович Эйхенбаум, изящный как Буратино, читал нам о молодом Пушкине; Тынянов вел семинар «Неизвестные поэты пушкинской поры»; Шкловский вообще говорил, о чем придется, главным образом о кино, о гениальности Эйзенштейна, Пудовкина, выпускавших тогда одну картину за другой. Шкловский начинал свои лекции словами: «Знаете, что я вам скажу...» — и говорил так, что мы теряли смысл начала речи, когда приближался ее конец, потому что были опьянены ее великолепным содержанием.

В эти дни в нашем институте неоднократно выступали Эдуард Багрицкий (я ходила приглашать его от имени комсомольского актива), Иосиф Уткин и сам Маяковский.

В то же время мы, комсомольская часть института (нас было восемь человек), проводили там диспуты. Так, мне было поручено провести диспут с одним «убежденным идеалистом» на тему «Материализм или идеализм?». Мой оппонент до этого учился в институте Брюсова в Москве и носил немыслимые баки, которые росли откуда-то из-за ушей и щек. Ужасно сложно было мне овладеть тонкостями идеализма, но, несмотря ни на что, я одолела премудрости Лосского, предшествующих ему неофихтеанцев и даже — о! — неогегельянство, и с присущей нам тогда безапелляционностью доказала, что идеализм — вздор, подлежащий распылению.

В то же время, в тех же 1926—1928 годах, уже окончательно поссорившись в связи с богом и по «идеологическим вопросам»

с мамой, тетями и бабушкой, я поступила на работу курьером в «Красную вечернюю газету» при Петре Ивановиче Чагине. Это был редактор газеты, близкий друг Сергея Есенина; ему Есенин посвятил свои «Персидские мотивы».

О том, что я студентка второго курса странного института, Петр Иванович Чагин не знал. Я являлась в редакцию почти так же рано, как и он. Из-за Невской заставы, еще до свету, я ходила на службу пешком, чтобы сэкономить четырнадцать копеек туда и четырнадцать обратно, набрать тридцать копеек и купить билет на хоры в филармонию на концерты под управлением Штидри, Себастияна, Артуро Тосканини и других всемирно известных дирижеров. На свои тридцать копеек, не меняя костюма курьера и разрешив себе взять в буфете бутерброд с сыром, который от старости уже свернулся в трубочку, я слушала бессмертные произведения бессмертных сынов человечества под управлением лучших дирижеров Европы и России — я слушала «Торжественную мессу» Бетховена, «Реквием» Моцарта, «Весну священную» Стравинского.

Будучи курьером, я тщательно выполняла свои обязанности: ходила, куда меня пошлют, а главное — носила полосы в типографию, сырые, пропахшие краской. Одно взыскание за время работы у меня все-таки было. Спускаясь от Чагина с сырой первой полосой, держа ее двумя пальцами у себя перед глазами, я вдруг увидела большой заголовок: «Последние события в Китае». Я села на лесенку и стала читать этот сырой листок... Я сидела на ступеньке, внимательно читала первую страницу и понятия не имела, что вся редакция подняла тревогу: куда делась курьер с первой полосой? Меня настигли на лесенке, но не уволили и даже не дали мне очень строгого выговора. Все совершенно правильно поняли, что меня, как и всех, волновала судьба революции во всем мире.

Строить фундамент социализма я поехала с Николаем Степановичем Молчановым. Любовью моей. Всегдашней. Если говорить правду, мы сбежали из Ленинграда. Распределение (зимой 1930 года мы окончили филологический факультет университета) было у нас другое. Его и меня собирались направить в Ленинградский обком комсомола: его на оргработу, а меня на пропаганду.

Мы посовещались с нашими университетскими друзьями, которые кончили тот же факультет. Им-то посчастливилось: одного из них, Пашу Тонберга, отправили в Сталинград, где должен был возникнуть Тракторный, а другого, Сережу Махина — на Уралмашстрой, который тоже еще только должен был возникнуть. Ну, а мы с Колей отправились в Казахстан.

Там в краевой газете «Советская степь» (ныне «Казахстанская правда») людей было мало, а работы много. Редакция состояла из отделов, а отделы из секций. Меня назначили в сельско-

хозяйственный отдел и поручили следующие секции: хлопководства, технических культур (кендырь, кенаф, тау-сагыз и другие растения с таинственными названиями), животноводства и секцию оседания кочевников на землю. Уроженка Невской заставы, коренная горожанка, я и понятия не имела ни о тау-сагызе, ни об овцеводстве, ни об оседании кочевников. Я ни в малой мере не была ни скотоводом, ни агрономом, но я была комсомолка, верней, мы, поколение, были комсомольцами, и первая пятилетка звала, трубя в свои почти военные трубы — те, о которых мечтали мы в отрочестве; и мы твердили: «Ты рядом, даль социализма!» — и верили в это; мы учились неизвестным вещам на ходу, упрямо и жадно, учились теоретически и практически, — и сдавали в газету неровные подборки, то вдохновенно-удачные, то беспомощно-ошибочные...

Я работала разъездным корреспондентом газеты, и эти длительные командировки в глубинки помогали мне больше всего. О многом из того периода жизни я рассказала тогда же в одной из первых очерковых книг «Глубинка» (очень наивная, слабая и вместе с тем дорогая для меня книга), частично в повести «Журналисты»; я вспоминала Казахстан и его степи во многих строках своих стихов.

Когда Николая призвали в армию, я вернулась в Ленинград к дочке и маме. Я стала работать на заводе «Электросила», в заводской многотиражке, редактором комсомольской страницы. Кроме того, была агитатором и пропагандистом, а затем историком завода. Я пошла на завод не для того, чтобы «изучать жизнь». Такого вопроса вообще передо мной никогда не стояло и не стоит. Мне просто нужно было, как всем людям, где-то трудиться, зарабатывать на существование, но так, чтобы эта деятельность была смыслом сознательной жизни, наполняла душу, была частью той огромной работы, которую проделывала тогда наша страна. И это так и было. «Электросила» создавала в то время первые мощные гидрогенераторы для Днепра, весело и напористо перегоняла Америку в темпах, почти все ночи ее были штурмовыми, а «утро встречало прохладой»... Я бесконечно благодарна судьбе за то, что мне довелось прожить лучшее время молодости среди ленинградского рабочего класса, на этом заводе, не как наблюдателю, а как пусть скромнейшему, но все-таки участнику общего дела. Запас «электросиловского» материала у меня неисчерпаем и ждет своего литературного воплощения.

На «Электросиле» меня приняли в кандидаты, а затем и в члены партии.

В ту осень, когда я поступила на работу в редакцию заводской многотиражки, произошло еще одно значительное событие в

моей жизни: редактор первых моих стихотворных и прозаических книг для детей Самуил Яковлевич Маршак познакомил меня с Алексеем Максимовичем Горьким. Общение с Горьким, душевное и какое-то необычайно серьезное, продолжавшееся вплоть до его смерти, оставило во мне след неизгладимый. О первой моей маленькой книжке стихов Алексей Максимович прислал мне большое письмо. В этом письме были строки, определившие мою рабочую дорогу. Книга понравилась ему; он писал, что стихи ему «кажутся написанными для себя, честно, о том именно, что чувствуется Вами, о чем думаете Вы»... Писать честно, о том именно, что чувствуешь, о том именно, что думаешь, — это стало и есть для меня заветом, тем более что я ни на миг не могла, не могу и никогда не смогу отделить себя от всех остальных людей, от их труда и судьбы.

Мне вообще очень посчастливилось с учителями.

Я хочу сказать о тех людях, которые показали мне дорогу к жизни и работе.

Кланяюсь няне Авдотье, которая первая рассказала мне о непобедимой деревне Гужово; о головешках, которые летят «прямо в царя».

Кланяюсь бабушкам и дедушкам, теткам и дядькам, отцу и матери, которые заботливо учили меня ходить и говорить. Да простят они мне юношескую мою нетерпимость.

Великой русской литературе кланяюсь.

В юности своей кланяюсь Есенину и Маяковскому.

Кланяюсь Анне Андреевне Ахматовой: я имела счастье быть ее другом — с того дня, когда девчонкой с косами пришла к ней, до дня ее смерти. Кланяюсь Борису Леонидовичу Пастернаку и замечательным первым учителям моим — Корнею Ивановичу Чуковскому и Самуилу Яковлевичу Маршаку — за приобщение к великой радости слова. И современникам моим — Михаилу Аркадьевичу Светлову, Михаилу Михайловичу Зощенко, Борису Петровичу Корнилову, Владимиру Александровичу Луговскому, Павлу Григорьевичу Антокольскому, Ярославу Васильевичу Смелякову, Александру Трифоновичу Твардовскому — за счастье непрерывно работать с ними и учиться отдавать без остатка сердце и душу свою во имя народа.

Меня приняли в члены Союза советских писателей в год его образования. Этому событию — за много лет — предшествовало другое, тоже для меня знаменательное. Помню, в двадцатые годы красный кирпичный дом на углу бывшего Графского переулка и Фонтанки. Там помещался Союз поэтов. И вот я отважилась — приехала как-то из-за Невской заставы в Союз поэтов. Я приехала туда намного раньше, чем все остальные, тем более поэты. Первое, что меня потрясло, был громадный закрытый рояль, на нем холщо-

вый чехол, а на чехле разноцветными буквами выписаны автографы писателей. Я подошла к роялю и стала его разглядывать. Меня поразила размашистая подпись — Ал. Блок, — она была вышита, по-моему, красными нитками. Вторая подпись — лиловыми нитками. И так далее. Весь чехол этого невероятного рояля был расписан и вышит. Я села в уголок и замерла. В этаком святилище с роялем, расписанным автографами самых знаменитых поэтов века, которых я уже знала по книгам, мне было как-то одиноко.

Но вот в изгибе рояля появился очень высокий человек. У него были большие волосатые ноздри, он фыркнул и сказал:

— Открываем очередное заседание Союза поэтов.

Находящиеся в зале старики и старушки согласились:

— Откроем, откроем!

А я, со своими абсолютно несовременными косами, достигавшими колен, толкнула близсидящую бабулю и спросила:

— Кто это?

Она посмотрела на меня как на не совсем нормальную и ответила с глубочайшим ко мне презрением:

— Господи боже мой, ну это Корней. Корней Иванович Чуковский!

Для меня это был автор «Крокодила», он же доблестный Ваня Васильчиков. Но в ту минуту мир передо мной мгновенно перевернулся, и я поняла: если я не прочту Корнею Ивановичу своих стихов, меня больше в жизни не будет. И я спросила:

— А можно, я прочту стихи?

— Пожалуйста, девочка, прочтите! — сказал страшный Корней Иванович и запричитал: — Девочка, ну вы сюда, сюда, к роялю идите...

И я подошла к этому роялю и прочитала стихи:

Я каменная утка,
Я каменная дудка,
Я песни простые пою.
Ко рту прислони,
Тихонько дыхни,
И песню услышишь мою.
Лежала я у речки,
Простою землею,
Бродили по мне журавли,
А люди с лопатой
Приехали за мною,
В телегах меня увезли.
Мяли меня, мяли
Руками и ногами,

Сделали птицу из меня.
Поставили в печку,
В самое пламя,
Горела я там три дня.
Стала я тонкой,
Стала я звонкой,
Точно огонь, я красна.
Я каменная утка,
Я каменная дудка,
Пою потому, что весна.

Я прочитала это, может быть, пропела, может быть, пропищала, а огромный Корней Иванович подошел ко мне, обнял за плечи и пропел-прогудел:

— Ну, какая хорошая девочка! Какие ты стишки прекрасные прочитала! — А потом повернулся ко всем и проговорил: — Товарищи, это будет со временем настоящий поэт.

Разве я знала, что через пятнадцать лет этот дом будет сверху донизу разрушен фашистской бомбой? Разве я знала, что в эти дни мне придется встать здесь на вахту и произнести людям другие стихи:

Покуда небо сумрачное меркнет,
Товарищ, друг, прислушайся, поверь.
Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны,
Мы — смертью попирающие смерть.

В 1937 году меня исключили из партии, через несколько месяцев арестовали. В 1939-м я была освобождена, полностью реабилитирована и вернулась в пустой наш дом (обе доченьки мои умерли еще до этой катастрофы). Душевная рана наша, моя и Николая, зияла и болела нестерпимо. Мы еще не успели ощутить во всей мере свои утраты и свою боль, как грянула Великая Отечественная война, началась блокада Ленинграда. Я пробыла в городе на Неве всю блокаду. Николай умер от голода в 1942 году...

То, что мы останемся в Ленинграде, как бы тяжело ни сложилась его судьба, — это мы с Николаем решили твердо с первых дней войны. Я должна была встретить испытание лицом к лицу. Я поняла: наступило мое время, когда я смогу отдать Родине все — свой труд, свою поэзию. Ведь жили же мы для чего-то все предшествующие годы.

Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Что означало быть писателем в годы войны и ленинградской блокады?

Означало за все отвечать и не бояться ни смерти, ни фашистской виселицы. Я горжусь тем, что принадлежу к советской интеллигенции, которая вела в те годы в Ленинграде большую идеологическую работу. Мы были пропагандистами. Мы откликались на события оперативно, мгновенно и — самостоятельно. Какая удивительная была тогда сверхмобилизованность духовных сил народа и его творческой интеллигенции! Я говорю это с полной ответственностью за тех, кто оставался в блокированном Ленинграде.

По распоряжению горкома партии я была прикреплена к городскому радиокомитету. И выступала по радио почти ежедневно во всевозможных доступных писателю жанрах, обращаясь к героическому Ленинграду. Я работала, кроме всего, еще на так называемой контрпропаганде, в отделе, которым заведовали два милейших австрийца с сакраментальными именами — Фриц и Ганс. Кроме своих обычных передач на город, на страну («Говорит Ленинград»), я еще «проходила» в их секторе и надиктовывала им обращения к гитлеровским войскам. К сожалению, я знала только русский и говорила:

— Фриц, переведи! Ганс, немедленно записывай!

Передача начиналась, например, так:

— «Фриц, ты напрасно пришел к нам. Ты найдешь под Ленинградом свою могилу. (А на Невском строили баррикады.) Тебя обманывают твои генералы. Ленинград нельзя победить. Ты запомни это, Фриц!»

Стоит ли говорить, что я была *убеждена* в этом?!

Все это на фронт передавали наши Фриц и Ганс.

Потом я еще говорила от имени немецкой генеральской могилы:

— «Мы, немецкие генералы, говорим вам из могилы под Ленинградом, мы говорим вам: „Остановитесь, немцы! Ленинград вам все равно не победить. Это говорим вам мы, немецкие генералы"».

Когда фашистов погнали от Ленинграда, пленили или уничтожили, когда наступила полная и окончательная победа над ними, я говорила своим товарищам:

— Ну что ж, у меня совесть чиста: я ведь их еще в сорок первом предупреждала.

О работе на радио я рассказала почти все, что могла, в книге «Говорит Ленинград». Кроме того, всю войну, еженедельно, точно к назначенному часу, я приходила на «Электросилу», — здесь я была пропагандистом в тридцатые годы и осталась им, когда началась война. В небольшом кружке я читала историю партии. Мы проходили ее главу за главой и накануне войны остановились на теме «Народники». И вот теперь, когда я приходила на завод, рас-

положенный в четырех километрах от фронта, к людям, которые дневали и ночевали здесь, охраняли «Электросилу» в голоде и холоде, когда встречалась со своим кружком, заметно таявшим в первую блокадную зиму, каюсь, я не могла прилежно продолжать довоенную программу, не могла говорить с этими голодными героическими людьми только о прошлом. Я приходила на «Электросилу» прямо с радио, и мои слушатели обращались с вопросом:

— Что нового на фронте?

Я рассказывала им только правду. Мы говорили о тех днях, в которых жили и боролись сами, о том, как одолеть гитлеровцев. И еще — часто читали Льва Николаевича Толстого, те главы, те бессмертные строки из «Войны и мира», где речь шла о том, что Россия обязательно победит армию Наполеона: не может не победить народ, охваченный и сплоченный единой целью... Занятия прерывались сигналами воздушной тревоги. Мы выбегали вместе тушить зажигалки. А потом мне предстоял обратный путь в десять — пятнадцать километров, пешком, до центра города, до радиокомитета на улице Пролеткульта.

...Прогремел, как полный июльский ливень с грозой, не с дождем, а с жемчугом, День Победы. Настали дни мира. Никто из нас, фронтовиков, и я в том числе, не могли отдышаться от фронтовых боев, да и вряд ли когда-нибудь мы, что называется, отдышимся.

Что было за это время?

Постановка пьесы «Они жили в Ленинграде» в Камерном театре Александра Таирова.

Потом поездка в командировку от политуправления флота в только что освобожденный Севастополь... Я жила между двух стен — третьей и четвертой не было, — общалась с жителями города, с его воинами, «городскими партизанами», написала трагедию «Верность».

Ленинград и Севастополь — два невероятных светоча на моем жизненном пути. И еще Сталинград. Я бродила в нем, когда не были еще убраны развалины, но был уже организован музей обороны. Не сомневаюсь, что так надо: организовывать музей не через сто лет после события, а рядом с событием, вровень с ним...

Когда Ленинградский Совет депутатов трудящихся предложил мне сделать надпись на Пискаревском кладбище, надпись, которая должна быть высечена на гранитной стене, не скрою, что вначале это предложение испугало меня. Но архитектор Е. А. Левинсон сказал мне как-то:

— Поедемте на кладбище.

Был ненастный, осенний ленинградский день, когда мы пробрались на окраину Ленинграда. Мы шли среди еще абсолютно не-

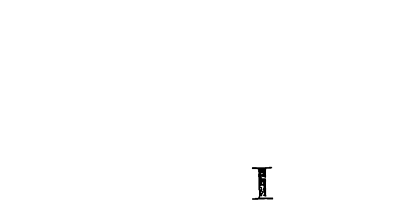
оформленных курганов, а не могил, но уже за ними была огромная гранитная стена и там стояла женщина с дубовым венком в руках. Невыразимое чувство печали, скорби, полного отчуждения настигло меня в ту минуту, когда я шла по этим мосткам, по этой страшной земле, мимо этих огромных холмов-могил, к этой еще слепой и безгласной стене. Нет, я вовсе не думала, что именно я должна дать этой стене голос. Но ведь кто-то должен был дать ей это — слова и голос. И кроме того, была такая ненастная ленинградская осень, и казалось мне, что времени уже не оставалось. Я поглядела вокруг, на эти страшнейшие и героические могилы, и вдруг подумала, что нельзя сказать проще и определенней, чем:

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
они защищали тебя, Ленинград,
колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
никто не забыт, и ничто не забыто.

Вот, кажется, и вся моя биография.

То, что я еще не досказала о себе — о прошедшем своем и настоящем, — непременно будет присутствовать в новых стихах и прозе, над которыми работаю сейчас — все в том же городе Ленинграде, только уже давно не за Невской заставой, а на зеленой и задумчивой Петроградской стороне.

Июль 1972
Ленинград



I

1. ПЕСНЯ

Вчера румяные зарницы
серпом блестящим кто-то жал
и золотою вереницей
в снопы душистые вязал...
И далеко за синим лесом,
где залиты зарей луга,
под серо-красочным навесом
расставил жаркие стога...
Но, умирая, солнце гривой
земли задело берега.
На переливно-яркой ниве
сгорели алые стога...
А жнец рыдал до поздней ночи,
над пеплом тлеющим вздыхал
и в волосатых неба кочках
свой звонкий серпик потерял...

22 августа 1925
Глушино

2

Я петь не люблю в предосенних полях, —
слабеет, склоняется голос,
заходит синеющим кругом земля,
ложится беспесенной, голой...

Я в лес убегаю (а дома скажу:
по ягоды собираюсь),
а что собирать-то — пою, да брожу,
да новое запеваю.

Ни звука в глубокой пучине лесной,
всё мертво, всё пусто, всё тленье...
Но древнее эхо заводит со мной
дремучее, дальнее пенье.

Меня обступают прозрачной стеной
стволы красноватые сосен.
Я слышу — высоко заводит со мной
моя журавлиная осень...

О, певчее, звонкое горло мое,
как весело мне с тобою!
Как радостно знать мне,
что ты запоешь
товарищам перед боем.

1925
Глушино

3. КУРГАНЫ

Всё та же изрытая оспой проселка,
воткнувшийся в небо голодный плетень,
а скирды ржаные в зеленых ермолках
откинули в небо протяжную тень...
А там, где заря, как кровавая рана,
сочит на траву и цветы жемчуга,
поросшие соснами деды-курганы
стоят, стерегут молодые луга.
Когда-то здесь бражную тризну справляли
древляне, насыпав курган на заре...
И здесь мужики Колчака отражали
в звенящем огнем, заревом Октябре.
Года протекли искрометной страницей,
курганные сосны загадкой шумят,
в них прячутся к утру шалуньи-зарницы,
а вечером синие звезды горят...

Август 1925 или 1926
Глушино

4. НА РАБОТУ

Январские зори за нашей заставой
как дворники выйдут, заслышав гудки.
Чтоб снег зеленел,
чтобы слева и справа
с ворот поснимали глухие замки...
Бредут позаранки в петушьей накидке,
бредут, за рукав задевая меня,
и я выхожу, притворяя калитку,
глазея на звезды, — к заветным огням...
Дымясь и зевая, кочуют в трамвае:
дремоте и я подчиняюсь. Затем
мерещится мне:
                    остановка другая,
не та остановка, фасады не те...
И утро, и я — мы торопимся оба,
встречаем рабочих, обрывки речей,
полярные звезды колючим ознобом
ползут от ладоней до острых плечей...
А скверы спокойны,
                    как белые рифмы...
В ротации глушь,
линотипам трещать,
и снова с угрюмым, обыденным шрифтом
негромкие песни, —
                    наборная «5».

1926

5

Над просторами сеют дожди.
Сивой гривой лесные просторы.
У деревни Ольховки в груди
шевелится лохматое горе.
В этот год на полях по весне
от мороза корежился колос.
Мало вяжут мешков на гумне
за скосившимся частоколом.
Потому бороздою пролег
на челе у деревни вопрос:

не тяжел бы пришел продналог,
не померз бы кудрявый овес.
И снопами тоска залегла —
крепких вязок не развязать.
И грустнее коровьих глаз
у избушек кудлатых глаза...

Август 1926
Глушино

6. ХОДЯ

Буро-желтый, как сухая глина,
низкорослый, узкоплечий ходя
с пестрыми игрушками в корзине
по проспекту меркнущему бродит.

«Вот игрушки... Покупайд игрушки!»
Фонари, драконы, веера
в синих, желтых, красных завитушках,
словно в брызгах яркого костра.
На граните сером потухали
блики бледной палевой зари.
Ходя помнит:
                    в улочках смеялись
желтые большие фонари.
Ходя помнит пахнущие дали —
небо, зелень, чайные цветы.
Ах, как солнце жгло его и жалило,
тень сожрали жаркие кусты...
Только бич еще больнее солнца —
много раз хлестали сторожа.
Он убил плантатора-японца
и в страну Советов убежал.

Потускнели фонари в корзине,
синий шелк на небе ветер ткет.
Ходя встал у радужной витрины,
шел в кино «Великий перелет».
И увидел милых узкоглазых,
проползла улыбка по губам,
и тоской рвануло сердце сразу, —
потянуло к рисовым полям.

Ходя смотрит-смотрит на картины,
вспоминает желтую страну, —
а какой-то шкетик
из корзины
расписной фонарик утянул.

1926

7. ЛИСИЦА

Скрылся месяц за темной трубой,
и не видно его на дворе...
Выпил свет его снег голубой,
потому и двор в серебре...
От крыльца до зеленой звезды
вьется луч, как тонкая нить...
...Ах, для радости нет узды,
да и буйства не схоронить!..
И, дрожа, я сбегаю с крыльца
и, смеясь, катаюсь в снегу...
Ни волос, ни рук, ни лица
от пушистого не берегу...
...А потом отряхнусь пред дверьми —
чтобы матери не дивиться...
Люди были когда-то зверьми;
я, наверно, была лисицей...

Октябрь 1926

8. СТИХИ ОБ АСТРАХАНСКОЙ СЕЛЕДКЕ

Рынок пестр и яр спозаранку,
любо в воздухе крикам висеть...
Я купила вчера астраханку —
золотую душистую сельдь.
Знаю, будет немало улыбок
(обоснованных, впрочем, вполне),
но простая соленая рыба
ворох дум пробудила во мне.
...От мальчишек, торгующих астрами,
от угрюмых соборных касок,
я хочу в золотую Астрахань,

я хочу к темно-синему Каспию.
Там, где жир с порыжелой селедки
каплет солнцем в солончаки,
и кумыс, кобылиную водку,
продают в бурдюках калмыки.
Я хочу быть...
ну, грузчицей, что ли,
и в порту пароходы грузить...
Пропитаться и солнцем и солью,
силу-песню взрастить в груди.
А ночами с дружком, без заботы,
угонять просмоленный челн
в роковой разбойничий ропот
поседелых каспийских волн.

12 ноября 1926

9

Б.

Послушай,
об этом не говорят,
а ты рассказал всем.
...Еретик был счастлив, когда, горя,
он мог оставаться нем.
И, как ни грызет огонь плеча,
как возле ни воет толпа,
он, губы сжав, мог не кричать,
на черную злость попа.
А ты — о, ты испугался гореть!
Так что ж кричишь, горя?
...Нет, даже на самом большом костре
о боли не говорят!

14 ноября 1926

10

Здравствуй, здравствуй, зимняя застава!
Низко неба серая ступня...
Вновь сугробы все пути заставят
и дорожки все захоронят...
Только день, как ты, белей невесты,
вся в снегу, как вишенье весной...

Каменная дудка.

Я каменная утка,
Я каменная дудка
Нехитрые песни пою.
Ко рту прислони,
Сильнее дохни,
И песню узнаешь мою.

Лежала я у речки
Простою землёю,
Бродили по мне журавли,
А люди с лопатой
Приехали за мною
В телеге меня увезли.

Мяли меня мяли,
Руками,
Ногами,
Сделали птицу из меня,
Поставили в печку
В самое пламя
Горела я там два дня.

Стала я тонкой,
Стала я звонкой,
Точно огонь я красна.
Я каменная утка
Играю как дудка,
Когда наступает весна.

Ольга Берггольц.

Вечерами холодно невесть как,
и снега нальются синевой...
И уж мы бежим по первопутку
развеселой трепаной гурьбой...
И снежками, хохотом и шутками
шевелим заснеженный покой...
Улица, ты синяя, пригожая,
как же за тобою не пойдешь?..
Сторонитесь, бабушки прохожие...
Новый снег встречает молодежь.
Постовые смолкнуть не заставят,
и еще задорнее возня...
Здравствуй, здравствуй, зимняя застава,
низко неба голая ступня.

1926

11. КАМЕННАЯ ДУДКА

Я каменная утка,
я каменная дудка,
я песни простые пою.
Ко рту прислони,
тихонько дыхни —
и песню услышишь мою.
Лежала я у речки
простою землею,
бродили по мне журавли,
а люди с лопатой
приехали за мною,
в телегах меня увезли.
Мяли меня, мяли
руками и ногами,
сделали птицу из меня.
Поставили в печку,
в самое пламя,
горела я там три дня.
Стала я тонкой,
стала я звонкой,
точно огонь, я красна.
Я каменная утка,
я каменная дудка,
пою потому, что весна.

1926, 1930

12. ПЕСНЯ

Заря моя горькая рано занялась,
росами тяжелыми сердце поняла...
Хитрыми узорами заплела пути —
стало мне дороженьки к дому не найти...

Замела следы мои
                    на сухой земле,
чтоб рукой махала я
                    на вчерашний след.
Надо бы мне, девушке, вечерами спать,
у окошка пасмурных зорь не выкликать.

Надо бы не мучиться над чужой судьбой,
надо б не беседовать по ночам с тобой...
Были б дни-то девичьи без тоски да зла...
Ой, заря, заря моя, — рано занялась...

1926 или 1927 (?)

13. ДОН-КИХОТ

Проходя по проспекту,
сведенному в зимней сухотке,
ты видал ли в витрине,
что с краю морозом запенена,
поставлен бронзовый Дон-Кихот
между бюстами Маркса и Ленина?
Ты ведь помнишь?
                    Когда-то его обманули сеньоры,
и волшебную лошадь подменили
                    дощатой назло...
И печального Дона слепым ожиданьем свело...
Ты — я знаю — прошел и не кинул
                    скользящего взгляда,
ну а мне зацепиться зрачками за всё — нипочем.
Вечерами подолгу
                    стояла я с рыцарем рядом,
никогда не смеясь над потертым щитом и мечом.
Да, другие теперь
и шлемы, и щит, и оружье,

но во многих остался, годами и бурей не смененный,
Дон-Кихот, заблудившийся
между Марксом и Лениным.

...Вот затихнет звон трамваев
к двум часам;
на проспекте, уставая,
стынет гам.
Только рыцарь не задремлет
на коне, —
всё обещанную землю
ждет в окне?
И пускай застыли руки
в стали лат:
он готов, готов на муки
у стекла...
И не знает он, недужный,
что сейчас
никому совсем не нужен
здесь — у нас.
Пусть не знает, —
не перечь:
пусть, сжимая
верный меч,
только улиц
тонкий ход
караулит
Дон-Кихот...

(1927)

14. НАРОДОВОЛЕЦ

Васильевский остров отчалил в полночь,
и ночь подняла паруса густые.
У стен Петропавловки ходят волны —
мерно и грузно, как часовые.

А веки горячкой свело добела,
и кровь отдается в рот...
Народная Воля не умерла!
Народная Воля — живет!

Спирали повисли, точно бред,
свиваясь и там и здесь,
но на Васильевском, в конуре,
встает динамитная месть.

Ходи и ходи от стены до стены, —
еще далеко заря...
(Черные конусы заряжены, —
готов последний заряд...)

Еще в деревнях не поют петухи,
за стадом не вьется пыль,
во сне посапывают мужики,
нечесаны и тупы!

Ходи и ходи от стены до стены, —
четыре часа до зари.
А в семь, на Фонтанке, обречены
двое... И он. Три.

Четыреста двадцать минут прошагать
под горькую боль головы.
Туманом подернулись берега
невозмутимой Невы.

И ночь опускает свои паруса,
и видно из окон, везде —
за Невой заводские корпуса
четко вступают в день.

⟨1927⟩

15. ГРИПП

Эти сны меня уморят
  в злой тоске!..
Снилось мне, что я у моря,
  на песке...
И мельтешит альбатросов
  белизна,
И песков сырую россыпь
  мнет волна.
Я одна на побережье,
  на песке.

Чей-то парус небо режет
вдалеке...
И густое солнце стелет
зной вокруг...
...Я очнулась на постели
вся в жару...
Но вокруг еще — кораллы,
моря хрип...
Мне сказали — захворала!
Это — грипп...
«Да, конечно, это климат
подкачал...
Ты просил меня, любимый,
не скучать.
Я старалась не заплакать
при тебе...
Но зачем такая слякоть,
свист в трубе?!
Я боюсь — меня уморят
города...
Мы с тобой увидим море
скоро... да?»

31 января 1927

16

Ты будешь ждать,
пока уснут,
окостенеют окна дома,
и бледных вишен тишину
нарушит голос мой знакомый.

Я прибегу в большом платке,
с такими жаркими руками,
чтоб нашей радостной тоске
кипеть вишневыми цветами...

Троица 1927

17. БЕАТРИЧЕ

В небе грозно бродят тучи,
закрываю Данте я...
В сумрак стройный и дремучий
входит комната моя...

Часто-часто сердце кличет
в эти злые вечера:
Беатриче, Беатриче,
неизвестная сестра...

Почему у нас не могут
так лелеять и любить?
Даже радость и тревогу
не укроешь от обид...

Почему у нас не верят,
а позорно и смешно
так любить, как Алигьери
полюбил тебя — давно?..

Тупорылыми словами
может броситься любой,
заклеймили сами, сами
эту строгую любовь...

И напрасно сердце кличет,
затихая ввечеру,
Беатриче, Беатриче,
непонятную сестру.

1 октября 1927

18

Вот затихает, затихает
и в сумерки ютится день.
Я шепотом перебираю
названья дальних деревень.

Ты вечереешь, Заручевье,
и не смутит твоих огней
на дикой улице кочевье
пугливых молодых коней...

Ты знаешь, что за темным полем
стоит старинный, смуглый Бор
и звездным заводям Заполек
вручает прясла и забор...

Крепки в Неронове уставы
старообрядческих годов,
и скобки древние у ставен,
и винный запах у садов.

А заповедные кладбища
шмурыгой-лесом занесло,
и соглядатай не разыщет
и не прочтет заветных слов.

Ты вечереешь, Заручевье,
грибами пахнет по дворам...
. . . .
А ты? Не знаю, где ты, чей ты
и кто с тобой по вечерам...

Октябрь 1927
Ленинград

19. НА ИВАНА-ПЬЮЩЕГО

Во деревне у реки,
в базарную гущу
выходили мужики
на Ивана-Пьющего.

Тут и гам, тут и гик,
тут летают локти,
тут и пели сапоги,
мазанные дегтем.

Угощались мужики,
деликатно крякали,
растеряли все кульки,
гостинцы и пряники.

А базар не в уголке,
его распирало,
он потел, как на полкé,
лоснился, как сало.

У бабонек под мышками
выцветала бязь.
Базар по лодыжку
втоптался в грязь.

Но девки шли павлинами,
желая поиграться
с агентами длинными
в пучках облигаций.

А пономарь названивал
с колокольни утлой,
малиновым заманивал
еще намедни утром.

Тальянки ж в лентах-красоте
наяривали пуще,
как вдруг завыло в высоте
над Иваном-Пьющим.

Делать было нечего,
базар взглянул туда:
там самолет кружился кречетом,
и на хвосте его — звезда!

И, слушая, как он поет,
базар, казалось, замер,
базар впивался в самолет
трезвевшими глазами,
а тот белел со злости,
сияя как пожар...

...До горизонта — гостя
провожал базар.

1927

20. УЛОВ

От Валаама к городу
идут и льды, и дни еще...
Рыбак, рыбак, уж скоро ты
зальешь смолою днище.

И только Ладога прольет
сквозь отсыревший город,
ты сети в сумрачный пролет
опустишь с наговором.

И ты уловишь облака,
заводов глубину,
и щук желаемых бока,
голубоватые пока.

А мимо тянут гончары,
горшки горюют о земле,
мореные, с печной жары
глазурной смуглотой замлев.

И утицы плывут под арки
с отверстьями для звука, —
с базара древние подарки
несут старухи
                    первым внукам.
Я не гончар, не рыболов,
и мне не стать ни тем, ни этим,
но кажется, что я в ответе
за лепку их
                и за улов.

1927

21. О ГОНЧАРАХ

Мне просто сквозная усмешка дана,
да финские камни — ступени к Неве,
приплытие гончаров, и весна,
и красная глина на синеве.

(Уж гиблые листья сжигают в садах,
и дым беловатый горчит на глаза, —
о, скупость окраски, открыты когда
лишь сепия веток и бирюза...)

Звенящая глина тревожит меня,
и я прицениваюсь к молочникам утлым.
Старик балагурит, горшки гомонят,
синеет с воды валаамское утро,

и чаек безродных сияет крыло
над лодкою — телом груженым и длинным...
Почетно древнейшее ремесло —
суровая дружба с праматерью-глиной...

С обрывов коричневых глину берут,
и топчут, и жгут, обливают свинцом,
и диким узором обводят потом
земной, переполненный светом, сосуд,

где хлебы затеют из теплой муки,
пока, почернев и потрескавшись в меру,
он в землю не сложит свои черепки,
на ощупь отметив такую-то эру.

И время прольется над ним без конца,
и ветрам сходиться, и тлеть облакам,
и внуки рассудят о наших сердцах
по темным монетам и черепкам.

1927

22

Словно строфы, — недели и дни в Ленинграде,
мне заглавья запомнить хотя б:
«Прибыл крымский мускат...»
На исходе пучки виноградин,
винный запах антоновок сытит октябрь.

Это строфы элегий,
желтеющих в библиотеках,
опадающих с выступов перистых од:
«Льды идут на Кронштадт,
промерзают сибирские реки,
ледоколы готовятся в зимний поход».

. . . .

Но такие горячие строки доверить кому нам?
Только руку протянешь —
обуглится, скорчится — шрам...
Говорю о стихе
однодневной Кантонской коммуны,
на газетах распластанной по вечерам.

Но сначала — Кантон. И народ и кумач на просторе;
после РОСТА, рыдающая на столбах.
А потом, леденя, в почерневшем свинцовом наборе
отливаются петли, и раны, и храп на губах.

А потом — митингуют, и двор заводской поднимает
на плечах, на бровях,
на мурашках ознобленных рук —
рис, и мясо, и кровли повстанцам Китая,
и протесты,
железом запахшие вдруг...

Декабрь 1927

23

О, если б ясную, как пламя,
иную душу раздобыть.
Одной из лучших между вами,
друзья, прославиться, прожить.

Не для корысти и забавы,
не для тщеславия хочу
людской любви и верной славы,
подобной звездному лучу.

Звезда умрет — сиянье мчится
сквозь бездны душ, и лет, и тьмы, —
и скажет тот, кто вновь родится:
«Ее впервые видим мы».

Быть может, с дальним поколеньем,
жива, горда и хороша,
его труды и вдохновенья
переживет моя душа.

И вот тружусь и не скрываю:
о да, я лучшей быть хочу,
о да, любви людской желаю,
подобной звездному лучу.

1927
Невская застава

24. ПЕСНЯ

Мы больше не увидимся, —
прощай, улыбнись...
Скажи, не в обиде ты
на быстрые дни?..

Прошли, прошли, — не мимо ли,
как сквозняки по комнате,
как тростниковый стон...

...Не вспомнишь,
как любимую,
не вспомни — как знакомую,
а вспомни, как сон...

Мои шальные песенки,
да косы на ветру,
к сеновалу лесенку,
дрожь поутру...

1927

25

Как на озерном хуторе
с Крещенья ждут меня —
стреножены, запутаны
ноги у коня...

Там вызорили яро
в киноварь дугу
и пращурный, угарный
бубенчик берегут...

Встречали неустанно
под снежный синий порск,
а я от полустанка
за сотню лет и верст...

Встречали, да не встретили,
гадали — почему?
...Полночный полоз метил
обратную кайму...

И пел полночный полоз
сосновой стороной,

как в тот же вечер голос —
далекий голос мой:

«Ты девять раз еще — назад
вернешься, не взглянув
сквозь финские мои глаза
в иную глубину...

Вернись, забыть готовый,
и путы перережь,
пусть конские подковы
дичают в пустыре...

И киноварь не порти зря,
и в омут выкинь бубенец —
на омутах,
              на пустырях
моя судьба
              и мой конец...»

1927 или 1928

26. ПРИЗЫВНАЯ

Песенкой надрывною
очертивши темя,
гуляли призывники
остатнее время.

Мальчишечки русые —
все на подбор,
почти что безусые...
Веселый разговор!..

Дни шатались бандами,
нарочно напылив,
украшены бантами
тальянки были их.

Дышали самогонкой,
ревели они:
«Прощай, моя девчонка,
остатние дни!»

Им было весело,
таким молодым,
кто-то уж привесил
жестянку звезды...

Мальчишечки русые
шли в набор,
почти что безусые...
Веселый разговор!..

1927 или 1928

27

Галдарейка, рыжеватый снег,
небо в наступившем декабре,
хорошо и одиноко мне
на заставском замершем дворе...

Флигель окна тушит на снегу,
и деревья тонкие легки.
Не могу укрыться, не могу,
от ночного инея тоски,
если небо светится в снегу,
если лай
　　　　да дальние гудки...

Вот седой, нахохленный сарай
озарит рыданье петуха —
и опять гудки,
　　　　　　и в переулке лай,
и заводу близкому вздыхать...

Всё я жду —
　　　　　придешь из-за угла,
где фонарь гадает на кольцо.
Я скажу:
　　　　«Я — рада!
　　　　Я ждала...
У меня холодное лицо...»

Выпал снег... С заводов шли давно...
«Я ждала не только эту ночь.

Лавочка пушиста и мягка.
Ни в душе,
ни в мире не темно,
вздрагивает на́ небе слегка. . .»

Но ложится иней на плечах.
За тремя кварталами пыхтит
темный поезд, уходящий в час
на твои далекие пути. . .

1927 или 1928

28

О, наверное, он не вернется,
волгарь и рыбак, мой муж!
О, наверное, разобьется
голубь с горькою вестью к нему. . .

Мать, останься, останься у двери, —
пойду его отыскать.
Только темным знаменьям верит
полночь — тело мое — тоска.

А если он возвратится,
из мира шагнет за порог, —
вот платок зеленого ситца,
мой веселый девий платок.

Вот еще из рябины бусы,
передай и скажи: «Ушла!»
С головой непокрыто-русой,
босиком, глазами светла. . .

А если придет с другою,
молчи и не плачь, о мать.
Только ладанку с нашей землею
захвати и уйди сама.

Март — апрель 1927 или 1928

29

Б. К.

Потеряла я вечером слово,
что придумала для тебя.
Начинала снова и снова
эту песнь — сердясь, любя...
И уснула в слезах, не веря,
что увижу к утру во сне,
как найдешь ты мою потерю,
начиная песнь обо мне.

‹Март — апрель 1927 или 1928

30. ПОСВЯЩЕНИЕ

Позволь мне, как другу — не ворогу,
руками беду развести.
Позволь мне с четыре короба
сегодня тебе наплести.

Ты должен поверить напраслинам
на горе, на мир, на себя,
затем что я молодость праздную,
затем что люблю тебя.

1927 или 1928

31. СПОР

Загорается сыр-бор
не от засухи — от слова.
Веселый разговор
в полуночи выходит снова:

«Ты скажи, скажи, скажи,
не переламывая рук:
с кем ты поделила жизнь
полукруг на полукруг?»

«Ты ответь, ответь, ответь,
голосу не изменя:
с кем ты повстречаешь смерть
без любимой — без меня?»

Сыру-бору нет конца,
горечь поплыла к заре,
и вот уж нет у нас лица,
друг другу не во что смотреть.

Надо, надо, надо знать:
нас не двое на земле —
нам со всеми умирать
и со всеми веселеть...

Холодеет горький бор
не от ливня, но ответа.
Веселый разговор
исходит до рассвета.

1927 или 1928

32

Чуж-чуженин, вечерний прохожий,
хочешь — зайди, попроси вина.
Вечер, как яблоко — свежий, пригожий,
теплая пыль остывать должна...

Кру́жева занавесей бросают
на подоконник странный узор...
Слежу по нему, как угасает
солнце мое меж дальних гор...

Чуж-чуженин, заходи, потолкуем.
Русый хлеб ждет твоих рук.
А я всё время тоскую, тоскую, —
смыкается молодость в тесный круг.

Расскажи о людях, на меня не похожих,
о землях далеких, как отрада моя...
Быть может, ты не чужой, не прохожий,
быть может, близкий, такой же, как я?

Томится сердце, а что — не знаю.
Всё кажется — каждый лучше меня;
всё мнится — завиднее доля чужая,
и все чужие дороги манят...

Зайди, присядь, обопрись локтями
о стол умытый, — рассказывай мне.
Я хлеб нарежу большими ломтями
и занавесь опущу на окне...

1927 или 1928

33. ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ ПАРК

Вот город, я и дом — на горизонте дым
за сорокаминутным расстояньем...
Сады прекрасные, осенние сады
в классическом багряном увяданье!

И странствует щемящий холодок,
он пахнет романтичностью струи,
замшелою фонтанною водой,
гранитом портиков
                и щелями руин.

А лукоморье смеркнется вблизи,
не узнанное робкими стихами.
И Делия по берегу скользит,
обветренною статуей стихая...

Сады прекрасные!
                Я первый раз
аллеи ваши в узел завязала,
но узнаю по смуглым строфам вас
от ямбов опьяненными глазами,
которые рука его слагала.

1927 или 1928

34. СЛЕПОЙ

Вот ругань плавает, как жир,
пьяна и самовита.
Висят над нею этажи,
гудят под нею плиты,
и рынок плещется густой,
как борщ густой и пышный,

а на углу сидит слепой,
он важен и напыщен.
Лицо рябее решета,
в прорехи брезжит тело.
А на коленях отперта
слепая книга смело.
А женщины сомкнули круг,
все в горестях, в поту,
следят за пляской тощих рук
по бледному листу.
За потный рыжий пятачок,
за скудный этот звон
судьбу любой из них прочтет
по мягкой книге он.
И каждая уйдет горда
слепым его ответом...
Но сам гадатель не видал
ни женщин и ни света...
Всё смыла темная вода...
К горстям бутылка льнет,
и влага скользкая тогда
качает и поет.
И видит он тогда, что свет
краснеет густо, вязко,
что линий не было и нет,
и нет иной окраски...
И вот когда он для себя
на ощупь ждет пророчеств,
гнусаво матерясь, скорбя,
лист за листом ворочая.
Но предсказанья ни к чему,
и некому сказать,
что смерть одна вернет ему
небывшие глаза.

1927 или 1928

35. ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

Тлеет ночь у купырей,
озерная,
теплая...
Ты не бойся, не жалей,
ежели ты около...

Не жалея, не грустя,
полюби, хороший мой,
чтобы скрипнули в локтях
рученьки заброшенные.

Только звезды по озерам
вымечут икру свою,
рыбаки пойдут дозором,
по осоке хрустнув...

Будут греться у огня,
у огня кострового,
будут рыбу догонять
темною острогою.

Бьется рыба о бока
лодки ладно слаженной,
горяча твоя рука,
от тумана влажная...

Только звезды по озерам
плавают в осочье,
да росы трясутся зерна
на осинах сочных...
Только белая слеза
накипает на глазах.

1927 или 1928

36. БЕССОННИЦА

В предутрии деревня,
лесная сторона.
И слухом самым древним
бессонница полна.

Пыхтят и мреют кочки
у залежей озер.
Над кладом кличет кочет
в двенадцатый дозор.

А в чаще бродят лоси,
туман на их рогах,
глядят, обнюхав росы,
за синие лога.

К осокам тянут утки, —
прохладны крылья всех;
и теплый заяц чутко
привстал в сыром овсе...

Мой милый где-то дрогнет, —
за кряквами пошел.
Тревожен пыж у дроби,
и холод словно шелк.

... Предутреннему зверю,
ночному ковылю,
тебе и кладу — верю,
как песне, и люблю...

1927 или 1928 (?)

37

Есть над Невой два древних изваянья:
два сфинкса каменных с улыбкой странной
глядят в глаза друг другу постоянно,
и стынут вековые очертанья
над грудой вод, — мятежных и туманных...
По вечерам на сфинксах виснет сырость,
Нева пестра от золотых столбцов,
но им приснится розовый Озирис
и пенье исступленное жрецов
о камышах медлительного Нила,
о золотой дороге в темный храм
и мудрых, молчаливых крокодилах
поют тихонько сфинксы по утрам...
Тогда стирается улыбка с уст их
и в урнах на челе — клубятся благовонья...
Но возле сфинксов ранним утром — пусто,
а постовому кажется спросонья,
что волны в камень плюхаются густо...

1927 или 1928 (?)

38. В СТАКАНЕ

Лесов осенних розовее
в стакане призрачном вино,
и мелко отражает дно,
как мой рукав широкий веет,
как брезжит жаркая рука
сквозь одурманенный рукав...

А ты не пьешь,
увидел ты,
что сарафаном зацвело
всегда бесцветное стекло,
что на пол падают цветы
с крутых сатиновых полос...

Смотри, заброшу рукава
и поплыву в вине, в вине, —
права ли я иль не права,
виновна ль я, — судить не мне...

Тебе судить,
решать вину,
как искупить
мою вину...

1927 или 1928 (?)

39. ЗАГОВОР

Что и делать, как и петь
удалой моей тропе,

коль не просишь ты меня
ни у ночи, ни у дня.

Твое сердце не берет
заговор на приворот.

1927 или 1928 (?)

40

Тянет предыюньскою травою, —
это поле вечер оцепил;
он стоит над тяжкою Невою,
над прямыми скалами могил...

Отсырели камни.
Темны строки...
К ним под ветхонький ночной покров
все придут, назначившие сроки
для прогулок и любовных слов...

В Инженерном замке бьют куранты,
завитые букли тишины...
Разбрелись веселые курсанты,
млея и горюя от весны...

А на поле пенятся рубашки,
синева больших воротников,
вьются ленточки — и нараспашку
шествует ватага моряков.

И проходят в шалях и монетах
семь цыганок, лепеча пестро,
из страны, лежащей близко где-то,
смуглой от дымящихся костров...

Мандолина на ладах высоких
бродит, не стихая ни на час...
Неподвижны камни.
Темны строки.
Кости не тоскуют, но молчат.

⟨1928⟩

41. МОЙ ПУТЬ

Я так давно не верю в сосны
из заколдованных гребней...
О, берег, утренний и росный,
у рек узорных простыней!..
Но живы дивной стариною
не лопушистые ль снега?

Я знаю, гонится за мною
моя клыкастая Яга.
К земле прикладываю ухо —
она всё ближе,
всё слышней...
Но вьется радостно и глухо
мой путь
за тридевять морей...
И ждет меня
подруга-песня
за тридевятою верстой,
гадает на глухие перстни
и ходит голосить весной.

⟨1928⟩

42

Под ветром, под песней гулящих матросов
кренится разымчивый час,
на север — на гавань, Петровской эпохи
еще не стряхнувшей с плеча...

В десятом окраина вся на засовах —
ворота, калитки, дома,
а щели на днищах сырых горизонтов
смолой заливает зима.

Облуплены губы, обветрены веки,
и я — совершенно одна.
Мне смутно и радостно... Плавают в сердце
легчайшие кольца вина...

Я всё вспоминаю (откуда, откуда,
какою чужой стороной?)
охлопья поэм и заглавия песен,
еще не задуманных мной,

обрывки рассказов, не читанных мною,
обрезки картин и гравюр...
Но я не видала суровых штрихов их,
не трогала смуглый бордюр...

Окраина, гавань — откуда, откуда
мне сон необычный такой?
Не предки ль, строители Петербурга,
под шагом, в земле, глубоко?..

О, знаю! Всегда угадаешь ту землю,
где строило племя твое, —
был ветер, был ветер, такой же, как нынче
с сырых горизонтов встает.

И предок мой шел, как и я, отработав,
на прямоугольник окна;
гулящая песня печалила сердце
и плавила кольца вина.

Январь 1928

43

Вешний утренник прянул по грядкам,
мерзлотой под шагами звеня,
и скворешня летит без оглядки
мимо туч молодых — на меня...

Глядя в темное око скворешни,
я решаю опять и опять
быть спокойной, как утренник вешний,
никогда
никого
не встречать.

Февраль 1928

44. НА НАБЕРЕЖНОЙ

Прохожу через Летний сад,
повторенная в круге пруда...
Дымно-золот и свеж закат,
тяжело голубеет вода.

Одиночество...
У реки
всё острее и холодней,
папиросные огоньки
в наступающей тьме видней.

И над этой ртутной водой
силуэты лодок и пар;
в меланхолии молодой
проплывают грифы гитар...

Ах, почтенного возраста вальс,
оплывающий в вечера,
добросовестная печаль
и незрелые тенора...

Перегнулася на корме,
по струе ладонью плеща,
в непомерных серьгах Кармен,
с пиджаком на острых плечах...

Задирает и дразнит всех,
то затихнет, то запоет;
у нее взволнованный смех
и, наверное, влажный рот...

Мне не видно ее лицо,
только серьги в луне блестят,
только с нею двое гребцов,
молодых, неловких ребят...
И посменно они гребут,
нагнетая у весел лёт.
И ведут в темноте борьбу
за ладонь и за влажный рот.

И, почти не смутив тишину,
не смутив и слой синевы,
я иду не быстрее минут,
позабытая, как «увы!».

Мне сегодня открыты — одной
все сырые речные края,
где, Венеция, ты со мной,
где неузнанная моя...
Те же грифы там над водой,
и далекие голоса,
и у всех, идущих домой,
увлажненные волоса...

Май ⟨1928⟩

45

Смотри, рука похолодала,
как скобка у ночных ворот.
Твоя невеста загадала
на твой негаданный приход.
И ждет, перевернув подушку,
чтоб ты затосковал во сне...
А мне — не потому ли душно,
не потому ль не спится мне?
Не верю ворожбе и тайнам,
наивности ее недель...
Но как мне выкрасть след случайный
и бросить горсткой на метель?
Чтоб ты забыл ее приметы,
их не жалея, не маня,
по дикому гуляя свету
со мною или без меня...

Март 1928

46. ПОЛЫНЬ

Но сжала рот упрямо я,
замкнула все слова.
Полынь, полынь, трава моя,
цвела моя трава.

Всё не могли проститься мы,
всё утаили мы.
Ты взял платок мой ситцевый,
сорвал кусок каймы...

Зачем платок мой порванный,
что сделал ты с каймой?..
Зачем мне сердце торное
от поступи земной?..

Зачем мне милые слова
от не́любых — чужих?..
Полынь, полынь, моя трава,
на всех путях лежит...

Июнь 1928

47. ПИСЬМО

Всё говорило, что письмо
придет. Спустившийся под вечер
паук на тихое окно
и там раскинувший становья,
и птица, снившаяся мне
до первых петушиных притчей,
и три ромашки, что в подол
я с наговором ощипала...
Но почтальон не приходил
со станции в поселок дачный,
и мне не подали письма,
пропахшего нагретой кожей.

10 июля 1928

48. ОБОЗ

Струятся ночные березы,
татарская бродит луна,
и весело стонут обозы,
не видные мне из окна.

Чужое ль становье кочует,
вино ли везут к городам,
но в комнате душно, но чую:
любимый, ты с ними, ты там.

Хмелен ты. Я голос твой слышу.
Ты тяжко поешь обо мне.
И конь твой полуночный пышет
в пару и копытном огне...

Кочевник, кочевник! Вернися!
Я долгие ночи — одна...
Всё дымно,
всё краем,
всё низом
татарская бродит луна.

Но скроются грузные кони,
и храп их пройдет стороной...
Ох, биться же мне в подоконник
отчаянной головой.

19—22 июля 1928
Саблино

49. КУЗНЯ

Дрожит, напрягаясь, конское тело, —
в руках человечьих зажата нога,
над ней борода кузнеца порудела
и белой подковы восходит дуга.

Замешенный с копотью, мочит копыто
соленый, увесистый пот кузнеца.
А ярмонка пышет у кузни открытой,
где полдень висит тяжелее свинца...

У кузни барышники и конокрады
клубятся, гогочут, — и кони у всех,
и царствует над багровеющим адом
кузнец, раскаленный и пышный, как мех.

Таких кузнецов не отыщешь повсюду:
руда тяжелей наковальни гудит,
и сила мужская мускýлистой грудой
топорщит передник ему на груди...

Ее четвертная шатнет и не свалит
в закуту, в канаву, в косматый репей;
кузнец — костоправом,
кузнец коновалит
и любит — до печени! — лошадей...

Наверное, ночью, жилище покинув,
оставив иссохшее тело жены, —
играя копытами, выгнувши спину, —
центавром он бродит у самой луны...

И, около горна дымясь, обгорая,
и ржет, и поет, и ликует кузнец,
а кони по городам вымирают,
и кузницам вольным приходит конец...

27—28 июля 1928
Саблино

50. ПАСТУХ

Коровьим дыхом и теплом
рассвет напитан, просочась
в дремучий хлев; а над селом
недвижимо-прозрачный час,
петушьи хоры на земле.
И вот пастух, косая сажень,
идет, извечный бог Велес,
один, оборван, дик и важен...

Дуплистый лиловатый нос
над буйством бороды владычит,
и жирный бич ползет, как хвост,
и рог, исконный, как обычай.
Он через три сажени строго,
одервенев, как идол, вдруг
и выставив прилежно ногу,
заводит хитрую игру.

В онучах, ржавых, как засу́ха,
шевелится семейство пальцев.
Блюдет лады седое ухо
и чуть дрожит,
как холст на пяльцах...
И древний голос кости зверьей
ликует, звонок и гнусав,
и теплый скот встает, доверчив
и выход пастуха узнав...
Уж день шеве́лится под кровом,
в испарине стоят луга
и казни ждут,
и к ним коровы
несут певучие рога...

И стонет долго и богато,
перевести не в силах дух,
у крайней белоликой хаты
псалмы животные пастух,
где спит роскошно и нескромно,
румяную лелея кровь,
владелица трактира, Домна, —
его последняя любовь...

Июль 1928
Саблино — Ленинград

51

Засыпаю. Руки положила,
тихо положила на живот.
Вот струится жизнь моя по жилам,
и любая часть моя живет...

Засыпаю... Чудится постель мне
лодкою. А я лежу на дне...
Темно-синий полуночный ельник
наклоняет маковки ко мне.

О, как бьются окуни в осоке,
по-телесному вода тепла...
Оплывает на меня высокий
легкий купол звездного стекла.

Я, наверно, сделалась землею,
теплою осокой и водой...
Что-то тёмно бьется под рукою,
ты ли, сын мой, окунь золотой?..

Лето 1928

52. ПАСЕКА

Земля — как вековой и черный
и медленно бродящий мед,
где пасека, гудя упорно,
в зените меда предстает.
Она расположилась в полдне
и вся как будто бы летит
и кружится в пуху ракит.
Меж яблонь, завязями полных,
кочует легкая орда
золотобрюхого народа...

И сумрак в ульях. День туда
проникнет лишь в сиянье меда,
чтоб, вновь оттуда извлечен
машиной умной осторожно,
взыграл хмельною влагой он
и розовым огнем тревожным.

А пасечник идет — он строг —
неповоротливо и грубо,
белесый, старый, без сапог,
ужавши истовые губы,
прислушиваясь к лирам желтым,
настроенным его рукой.
И, чуя пот его тяжелый,
не жалит кожи верный рой...

А я всё думаю, что — вот,
какая радость вдруг помнится, —
что я и пасечник, и мед,
а может быть, и медуница...

31 августа 1928
Ленинград

53. ОХОТНИКУ

Слезам моим не веришь,
тоски моей не знаешь,
чужой тропинкой зверьей
идешь, не вспоминая.
Ты близко ли, далеко ли,
ты под каким же небом?
То кажется — ты около...
То чудится — ты не был...
Ты — ястребом, ты — волком,
ты — щукою на дне
по Вырице, по Волхову,
по Северной Двине.
Ты песням не поверишь,
тоски моей не знаешь,
чужой тропинкой зверьей
идешь — не вспоминаешь...

Сентябрь 1928
Ленинград

54

Какая мне убыль, какая беда,
Что я не увижу тебя никогда,

что хмурому не обещалась тебе,
как самой своей неразумной судьбе?

Ты бросишь жилище, хозяйство, жену,
уйдешь на охоту, на пир, на войну,

и будешь ты счастлив,
и будешь тосклив,
коней укрощая, водя корабли.

Бок о бок с тобою пройдется гроза,
и хмель, и весна опаляют глаза,

и всё это минет,
и всё без следа,
и я не увижу тебя. Никогда.

Какая ж мне доля,
какой же мне сон,
какой же у песни исполнится звон?..

Октябрь 1928

55

Про аистов и журавлей
бездомная песня запета...
Легко у спокойных полей:
ни мрака, ни яркого света.

Уже камыши холодны,
густеет речная прохлада.
Я знаю, что с той стороны
ты смотришь на это же стадо.

А я никого не люблю,
ни близких, ни дальних друзей.
Бездомные песни пою
про аистов и журавлей...

Октябрь 1928

56

Мне многое в мире открыто,
безвестное темным словам,
как сон — беломорскому скиту,
как пена — морским берегам.

Не сразу, не всем и не громко
должна я об этом сказать,
то строчкой мальчишески ломкой,
то просто поглядом в глаза.

И каждый, узнавший об этом,
уже не утешится сам
и снова придет за ответом
к моим беспокойным глазам...

1928

57. ЦЫГАНЕ В ГОРОДЕ

. . . .
. . . .
О, табор в городе, о, табор,
стеной дощатой обнесен...

И ты идешь во двор унылый:
палаток смутное рядно,
да запах едкий и постылый
кочует с дымом заодно
по табору, почти пустому.
Все разошлися — кто гадать,
кто просто клянчить, и рыдать,
да приставать к тому-другому.
Лишь, потемнелы, чужды, глухи,
друг другу ищут в голове
четыре пламенных старухи
на серой вымершей траве.
Цветя чудовищным букетом,
они качаются при этом,
и напевают что-то две.
Да брови напустил густые
над кобылицею седой
сподручный нечисти и Вия
цыган, синея бородой...

Скажи, скажи, враждебный стан,
где ж амулет и заклинанье?
Ты вымираешь, как тарпан,
как песня или как сказанье!..

Уж бубны больше не стучат,
гитары больше не кричат;
идет цыганка в бар ночами,
сезонником идет цыган,
и только месяц над степями
один висит, как ятаган.

1928

58. САПОЖНИК

Он идет в дворы немые,
и тогда из тишины
выплывают расписные
Стеньки Разина челны.

Ветхи лодки атаманьи.
Расшатались все подряд!..
Словно валики шарманки,
их уключины гудят...

Под окном сидит сапожник.
К устью чашки расписной
приникает осторожно,
сам веселый и хмельной.

Желтым потом оплывая,
раскаляясь дотемна,
он гуляет-подливает
непробудного вина.

А воскресная застава
обмерла, рассолодев,
только рыжая отава
в палисадниках везде...

Но, хрипя и ноя сразу,
прет к сапожнику в окно
безысходный Стенька Разин,
мутит белое вино...

Отчего же песня знает,
если на́ сердце тоска,
эта Волга, мать родная,
Волга — дальняя река!

... Как по Волге, как по Каме
он баржи водил весной,
под валами, под ветрами,
сам веселый и хмельной.

Как ходил легко и ровно,
руль напористый в руке,
как сплавляли звери-бревна
не по Каме — по Оке.

Уж не эту ль песню пели
(песня в пене бьет у губ),
загулявши на неделю,
при-на волжском берегу...

А на что ему застава,
чьи подметки ковырять?..
А и кто его заставит
Волгой снова не гулять?!.

Он встает — и глохнет Разин,
он не слушает жену.
Он бросает чашку наземь,
как персидскую княжну.

1928

59. ПОВЕСТЬ

Мне повесть постылая душу мутит
некстати совсем, не по праву;
как обух, гроза надо мною висит
и падает слева и справа.

1

Охотник убогую лодку берет,
узкую, словно иголка,
Он рыбу не удит
и птицу не бьет,
всё кружит, всё кружит без толку.

2

Уже начиналось сопенье травы,
лесной соблюдая обычай,
кикимора взвыла,
заплакала выпь,
и вот — отыскалась добыча.

3

Бежит серебристая полоса
по гладко-чернеющей влаге,
разбухшие женские волоса
шевелятся на коряге.

4

Охотник спиною к востоку встает,
глазами к своей находке.
Охотник топор почерневший берет
и дно прорубает у лодки.

. . . .

Охотник, охотник, и мне не дожить
до старости или до славы.
И мне умереть, не успев разлюбить,
не к сроку совсем, не по праву...

1928 (?)

60

Может быть, я к тебе и присду,
может быть, ты не будешь опять
по снегам, по неверному следу
молодую куницу искать...

Много есть у нас красного зверя,
белобоких, как луны, куниц...
Над становьями — пепел поверий
и глухой разговор небылиц...

Но такого поверья — не снится,
на зимовьях о том не поют, —
чтоб сама прибегала куница
на неволю и гибель свою.

Декабрь 1928
Ленинград

61

Я не куплю воскресного венка
у кладбища, из розоватых стружек —
ведь под апрельским дерном бугорка
нет у меня ни матери, ни мужа.
Но я люблю забвенные кресты
и надписей беспомощные скорби.
. . . .
. . . .

Я ничего не знаю о судьбе
меня забывшего, неузнанного, злого...
Он десять месяцев не подал о себе
ни скудного, ни радостного слова...

Он собирался с севера уйти, —
куда, зачем — я странно позабыла.
И если он умрет — мне не найти
его непримиримую могилу.

1928 (?)

62. НАБРОСОК

Адмиралтейство. Арсенал,
полярная, глухая темень,
насторожившийся Сенат,
бесстрастья мудрых академий...

Простором финским и седым
всё время веет на граните,
когда мосты стоят в зените
и падает с окраин дым
в остекленевшие сады.

Между 1927 и 1929

63. ЗАПЕВАЛА

Ты гордишься, что ты — запевала,
что быстрее и тоньше штыка,
что и смерть до тебя не достала,
до такого озорника.
Не адамова яблока бремя —
бубенец под зарею прошел,
и спокойно вступает,
как в стремя,
в эту песню уверенный полк.
И сплошною звездною лавой
наступает в последнем бою,
каждым шлемом касаясь славы,
повторяя песню твою...
Орден Ленина закачался
на груди твоей навсегда,
там, где вырезана басмачами
за бесстрашные песни — звезда.
Я тебя никогда не узнаю,
и тебе меня не узнать,
даже если,
глаза поднимая,
станешь песню мою запевать...
Но товарищи мы — по праву,
и почетом с тобой равны,
потому что единую славу
достаем
для своей страны.

⟨*1929*⟩

64. СЕЯТЕЛЬ

В скважину между землей и небом
пологий ветер
свистит напролом...
По горизонту
с лукошком хлеба
черный сеятель мерно идет.
Какой он маленький издалёка —
он сеет у самого края земли,
прилежные ноги расставив широко,
чтоб между ними леса прошли,

чтоб дальних полос
легла основа,
кусок забора, избушек пять...
.... И мне пора
протравливать слово
и самое всхожее выбирать.

(1929)

65

Я на цыпочках приподнимаюсь,
я вытягиваюсь, как трава,
руки молодые раскрываю
и покачиваюсь едва...

Где еще услышишь ты такое,
кто еще так радостно споет
про любовь, не знавшую покоя,
про твое неверное ружье?

Даже и проезжий удивится, —
что звенит мне
в решете полей?
Проезжает, и ему не спится,
и не понукает лошадей...

Надо мною ястреба высоко,
тонко-тонко плачут ястреба;
подо мною — илом и осокой
ходит омутовая гурьба...
А сама я — как большое ухо, —
ничего, земля, не утаи...

...Даже кажется,
что слышу глухо
уходящие
шаги
твои.

Март 1929

66. ОСЕНЬ

Мне осень озерного края,
как милая ноша, легка.
Уж яблочным соком, играя,
веселая плоть налита.
Мы взяли наш сад на поруки,
мы зрелостью окружены,
мы слышим плодов перестуки,
сорвавшихся с вышины.
Ты скажешь, что падает время,
как яблоко ночью в саду,
как изморозь пала на темя
в каком неизвестно году...
Но круглое и золотое,
как будто одна из планет,
но яблоко молодое
тебе протяну я в ответ.
Оно запотело немного
от теплой руки и огня...
Прими его как тревогу,
как первый упрек от меня.

7 ноября 1929

67. КАРУСЕЛЬ

Стекает бисер на меня,
на моего коня.
Литавры толстые звенят,
как звери близ огня.
И рвется конь из-под меня!
Но медный прут пронзил коня.

Невозмутимый человек
выводит весь табун;
он убыстряет конский бег,
он ударяет в бубн!..

Лошадка, милая, вперед!
Как жаль, что ты чурбан.
Меланхоличный вальс поет
в семь дудочек орган.

Бумажной радугой цветов
зажаты мы со всех концов,
нам некуда уйти;
и, завершая мишуру,
вертится карлик на юру
с утра до десяти...

А спутник — враль и весельчак,
он впереди меня,
мне не догнать его никак,
хоть я гоню коня!

Но если б ожил этот зверь, —
о, если б он заржал! —
я догнала б тебя, поверь,
куда б ты ни скакал!

Погоня всё в черту сольет, —
зарю, меня, курган,
пока унылый коновод
не бросит барабан,
и, приостановив игру,
затихнет карлик на юру...

1929

68

Поверьем Поморья, метельным очёском,
былиной курганной за синей броней,
отрывком внезапным, который Чайковский
по клавишной зыби к рассвету пронес,

чтоб черное дерево било, кололо,
и пеной слоновой по краю текла
и в пальцы попалася баркарола
прозрачней пластинки стекла...

Под пытками красок. И бронзы. И снимков.
И мудрых профессорских рук —
она притворяется необъяснимой
в созвездии встреч и разлук...

Ревнивее песни великорусской
над пряжей,
над штопкой сетей,
⟨она⟩ на зимовку, моя светло-русая,
уходит в бездонную степь.

А там — не белы забелятся снежки,
раздолье раздольем, да за́меть...
А там — не у сердца — тропины легки
и ползает полночь лаза́ми...

Но что же я, что же я, можно ли плакать
от счастья над песней любой,
когда, запыхавшись, в весеннюю слякоть
придет — назовется: любовь.

1929 (?)

69. ОКНО

Не от глазу, не со сна,
я и не утаивала,
что у темного окна
всё бы я простаивала...

Дома есть ли, или нет
хмурого хозяина, —
не блеснет по окнам свет,
сердце мое тайное...

Я недолго простою —
выйдет ночь несветлая...
Дочке песен не пою,
к мужу неприветлива.

Покачаю колыбель,
только думы мимо них:
замела, поди, метель,
у окна следы мои...

1929 или 1930 (?)

70. ПОБЕГ

Мы словно в хижине, на колдовской опушке
большого леса. По стволам рассвет
смолою стынет. Маются макушки
мачтовых сосен...
В гиблой синеве,
оледенев, почуяв радость мачты,
очерченной полярной высотой,
они скрипят... Но есть у сосен плачи,
и не поймешь такие ни за что...
Их не понять, не доверяться им,
поэтому ни кровли, ни огня
мы плачу снежному не отдадим,
как ты кому-то не отдашь меня...
Какие желтые, холодные дрова.
А сосны-мачты сразу за стеной,
и начали наличник задевать,
и стали заговаривать со мной
о кораблях и море...
Я храню
к чужим путям их непонятный зов,
доверив руки пращуру-огню,
оплывшему смолистою слезой.
Я убегу.
Ты говоришь: «Куда?»
Углы выходят на рассвет огня...
Я думки о побеге не отдам,
как ты кому-то не отдашь меня.
...Ты хмуришься. Ты... что ты?..
Полно, полно, —
ведь это полупесня-полубред.
Мы в городе, мы в городе. А полночь
всегда немного вьюжит на дворе.

1929 или 1930 (?)

71—73. ⟨*СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКА*⟩

1

И я осталася одна,
одна, как перст во лбу,
я от рассвета дотемна
вершу свою судьбу.

И не жива и не мертва
по городу брожу,
одни разлучные слова
я наизусть твержу.

Скупой частушечный напев,
нехитрая тоска
мне греет сердце нараспев
и холодит слегка...

Я душу темную твою,
чтоб стала немила,
уж как-нибудь да запою,
с разлуки и со зла.

И лишь не будет, — как ни пой,
как ни гляди назад, —
до встречи ласковой с тобой
синь-пороху в глазах...

2

От тебя, мой друг единственный,
скоро-скоро убегу,
след мой легкий и таинственный
не заметишь на снегу.

Не ходи и не выслеживай
во сыром бору лисиц,
и дорогой прямоезжею
не расспрашивай возниц.

Перед людом, перед зверем
от тебя я отрекусь,
чтобы новый друг поверил
в мою горькую тоску.

Ноябрь

3

Что мне делать, скажи, скажи,
чтобы стать тебе дорогой?
Если хочешь, возьми мою жизнь,
постепенно согни дугой...

Если надо, то я с тобой
от бесславья не отступлю,
только — недруг, товарищ мой,
только слышать твое — люблю...

Только знать бы, что ты без сна,
если рук не найдешь моих,
только знать бы, что я — одна
в самых лучших думах твоих.

Между 1927 и 1930

74. ПОВЕСТЬ О ТРИНАДЦАТОМ ТОВАРИЩЕ

Тринадцать товарищей выбрал райком,
надежных и лучших самых;
отправил по злым хуторам, далеко,
за хлебом, залегшим в ямах.

Их полночь настигла в глухом селе —
неблизок осенний рассвет.
Они отыскали мерцавший во мгле
бессонный сельский Совет.

«Свои?» — председатель спросил у входа.
«Свои». Осторожно вошли...
О, тяжкие ночи тридцатого года,
солнцеворот земли!

Приезжие говорили недолго
с тремя коммунистами села:
они перезябли, одежда отволгла,
глазницы дремота жгла...

Они улеглись на полу подряд, —
стена в головах, в ногах порог, —
чтоб завтра пуститься ни свет ни заря
в тринадцать разных дорог.

И сам председатель
раннею ранью
пришел провожать гостей,
и вдруг не услышал
людского дыханья
в каменной темноте.

Лежали зарезанные... как спали...
Спокойны, прямы, строги...
Иные из них еще усмехались
снам своим дорогим...

А утром? Узнают — начнется тревога,
тревога и паника? — Нет!
И вот в огороде глухом, за дорогой
друзей погребает Совет.

Тайком, втихомолку трудились трое,
те, что встретили их вчера.
Зарыли в яму, сровняли с землею
двенадцать товарищей — до утра.

Там, где стучит сырой лопух,
там, где чадит конопля.
«Да будет легкою вам, как пух,
державная наша земля!..»

А тринадцатого несли
на руках — через весь район.
За гробом его до самой земли
трепетали сотни знамен.

Наконечниками наклонены
вперед, как штыки в бою,
знамена второй большевистской весны
в сомкнутом шли строю.

И хлынул хлеб, и было не счесть
обозов с мешками тугими,
и приняли сотни селений как честь
его обыденное имя.

И не было ненависти страшней,
ударившей в кровь тогда,
и слез материнских — солоней
не было никогда.

И нет величавее тех людей,
знающих меру бед,
несущих всю тяжесть утрат и скорбей
во имя наших побед!

1929—1930, 1936

75. БРИГАДА

По разным маршрутам,
по дальним дорогам,
тебе — на восток,
на север — мне, —
мы так разъезжались...
В дорожной тревоге
любовь намечалась наспех, вчерне.
Без договора (при таком расставанье
немыслим подробнейший разговор)
мы вызваны были на соревнованье
друг другом — негласно,
а летом — в упор.
И падали письма, от воздуха сизы,
размыты дождями,
помяты...
Но каждое — договор,
каждое — вызов
и сводка, вернее, чем клятва!
И дружба,
и радость любовной заботы —
о, всё, что весной намечалось — вчерне,
всё крепло, пространству назло,
на работах,
ясней становилось тебе и мне.
И осенью,
снова шагавшие рядом,
разлукой проверены, знали так:
что мы с тобой — одна бригада,
что рядом —
рабочие наши места.

1930

76

... Путевка на практику, на Кавказ —
семестра исход,
и шеренга разлук,
дорожная качка — и первый раз
я с севера попадаю на юг.
...Кавказ,
не пейзажем курортных красот,

не пресной водою преданья,
ты шел без экзотики,
но, как лассо,
затягивал мне дыханье.
Имелось наличье
и гроз, и ночей,
и звезд в кукурузные зерна.
И всё же Кавказом свинцовых печей,
тоннелей водонапорных,
повернут, как мельничное колесо
водой гидростанций горных,
укладов размалывая сто сот
своим каменистым жерновом, —
ты был испытанием юности
и заговоров ее,
ты предоставил все трудности
в распоряженье мое.
Ты был испытаньем учебных дней
и дней комсомольского стажа.
Ну что ж, ты проверил,
тебе видней,
послушаем,
что ты скажешь!..
А также теснейшею вышиной,
ходьбой испытывал строго,
всё выше раскручивая надо мной
спиральные петли дорог,
товарищи новые меня
учили ходить по острым камням,
по козьим тропам, по руслам рек,
хватаясь за стебли,
ползти по горе,
но, между прочим, за счет быстроты
беречь упругость ног:
дорога спиральной высоты
утомительней всех дорог.
И всем,
кто меня научил ходьбе
по самой неровной земле,
я верю так же,
как и себе —
вперед на много лет!

1930

77. ПИСЬМО ИЗ ЛЕНИНГРАДА

...А у нас на Неве — ледостав.
Длинный ветер с залива пришел.
Переходим на зимний устав,
снаряжаем в путь ледокол.
Он стоит, широкий в груди,
песни разные на борту.
Три субботника как один
отработали мы в порту...
Год кончается. Непременно
город сдержит слово свое.
Всё бессонней ночная смена,
смена первая в ночь встает.
Рождество допотопной громадой
надвигается — ждет к себе.
Не одна молодая бригада
в самый звездный ушла пробег.
Я вот тоже — готовлю лыжи,
выбираем маршрут, поем...
Ты всё дальше. А мне всё ближе
имя радостное твое.
Ты ведь помнишь гранитную зернь
тех прямых приневских камней,
тот октябрьский
                    сутулый
                              вечерний
сумрак города,
                    сеть огней?..
Как шатались, не замечая,
что, негаданная, сама
первым снегом своим помечала
наш маршрут морская зима...

1931

78

Будет весело тебе со мною,
если ты со мной захочешь жить:
и спою и расскажу смешное,
руки протяну тебе — держи.

Приведу к товарищам, к подругам
(как я долго этого ждала!).
«Вот, — скажу, — еще нашла вам друга,
самого хорошего нашла.

Жалуйте, любите, не робейте.
Он упрямый, ласковый, простой.
Но прошу, подруги, не отбейте:
я сама отбила у другой».

Вот что я товарищам сказала б,
вот как жили б весело с тобой —
без обиды, горечи и жалоб,
без прощаний в полночь на вокзалах...

1932

79. ЛУЧШИЙ ГОРОД

Мы с тобой договорились,
повторив сто раз подряд:
самый лучший город в мире —
это город Ленинград!

Отработаем, а к вечеру
всё шагаем да бубним
под нос песенку, и плечи нам
кроет белый невский дым...

Отлюбили — отгуляли
и, не чуя ног, земли, —
на Расстанной мы расстались,
на Разъезжей разошлись...

И не раз я до утра
думала — что станется?
Как же город Ленинград
без тебя останется?..

Ленинград стоит на месте,
белый, строгий ночью,
только ходим мы не вместе,
ходим — в одиночку...

1932

80. ВОСПОМИНАНИЕ

И вот в лицо пахнуло земляникой,
смолистым детством, новгородским днем...
В сырой канавке, полной лунных бликов,
светляк мигнул таинственным огнем...
И вновь брожу, колдуя над ромашкой,
и радуюсь,
когда, услыша зов,
появятся сердитые букашки
из дебрей пестиков и лепестков.
И на ладони, от букетов липкой,
нарочно обещая пирога,
ношу большую старую улитку,
прошу улитку выставить рога...

Ты всё еще меня не покидаешь,
повадка, слух и зрение детей!
Ты радуешь, печалишь, и взываешь,
и удивляешься,
пьянея от затей.

Но мне не страшно близкого соседства,
усмешек перестарков не боюсь,
и время героическое детства
спокойно входит в молодость мою.
Рассвет сознания. Открытые миры.
Разоблаченье старших до конца:
разгадано рождение сестры
и появленье птицы из яйца.
Всё рушится.
Всё ширится и рвется.
А в это время — в голоде, в огне —
Республика блокаде не сдается
и открывает отрочество мне.
Сплошные игры держатся недолго,
недолго тлеет сказка, светлячок:
мы ездим на субботники за Волгу,
и взрослый труд ложится на плечо.
Джон Рид прочитан.
Месяцы каникул
проводим в пионерских лагерях.
Весь мир щебечет, залит земляникой,
а у костров о танках говорят.

Республика! Но ты не отнимала
ни смеха, ни фантазий, ни затей.
Ты только, многодетная, немало
учила нас суровости твоей.

И этих дней прекрасное наследство
я берегу как дружеский союз,
и слух,
        и зрение,
                и память детства
по праву входят в молодость мою.

1932, 1933

81

Путешествие. Путевка.
Изучение пути.
И на каждой остановке
так и хочется сойти!
В полдень еду, в полночь еду,
одинешенька-одна.
Только дым летит по следу,
только легкая весна.
И висит в окне вагона
безбилетная звезда.
Сквозь пустынные перроны
пробегают поезда.
Поезда меридианы
перешли наискосок,
бьются ложечки в стаканах,
точно кровь звенит в висок.
И бормочут вслух колеса,
и поют в любом купе,
и от самого откоса
золотая кружит степь.
Если просят — запеваю,
не попросят — помолчу.
Никого не вспоминаю
и открыток не строчу.
Не гуди ты, сердце злое,
ты свободно, ты одно.
Перестукнется с тобою
встречный поезд за окном.

Только поезд, — мы не встретим
ни зазнобы, ни тоски.
Только марево да ветер,
зеленые огоньки...

1933

82. ПОРУКА

У нас еще с три короба разлуки,
ночных перронов,
дальних поездов.
Но, как друзья, берут нас на поруки
Республика, работа и любовь.
У нас еще — не перемерить — горя...
И все-таки не пропадет любой:
ручаются,
с тоской и горем споря,
Республика, работа и любовь.
Прекрасна жизнь,
и мир ничуть не страшен,
и если надо только — вновь и вновь
мы отдадим всю молодость —
за нашу
Республику, работу и любовь.

1933

83—85. *РЕБЕНОК*

Ю. Г.

1

Среди друзей зеленых насаждений
я самый первый,
самый верный друг.
Листвы, детей и городов рожденья
смыкаются в непобедимый круг.
Привозят сад, снимают с полутонки,
несут в руках дубы и тополя;
насквозь прозрачный, отрочески тонкий,
стоит он, угловато шевелясь.
Стоит, привязан к палкам невысоким,
еще без тени тополь каждый, дуб,

и стройный дом, составленный из окон,
возносится в приземистом саду.
Тебе, сырой и нежный как рассада,
родившийся в закладочные дни,
тебе,
ровеснику мужающего сада,
его расцвет,
и зелень,
и зенит...

2

Так родился ребенок. Няня
его берет умелыми руками,
пошлепывая, держит вверх ногами,
потом в сияющей купает ванне.
И шелковистый, свернутый что кокон,
с лиловым номером на кожице спины,
он важно спит.
А ветка возле окон
царапается, полная весны.
И город весь за окнами толпится —
Нева, заливы, корабельный дым.
Он хвастает, заранее гордится
невиданным работником своим.
И ветка бьется в заспанную залу...
Ты слышишь,
спящий
шелковистый сын?
Дымят, шумят приветственные залпы
восторженных черемух и рябин.
Тебя приветствует рожок автомобиля,
и на знаменах колосистый герб,
и маленькая радуга,
над пылью
трясущаяся в водяной дуге...

3

Свободная от мысли, от привычек,
в простой корзине, пахнущей теплом,
ворочается,
радуется,
кличет
трехдневная беспомощная плоть.

Еще и воздух груб
для этих пальцев
и до улыбки первой —
как до звезд,
но родничок стучит под одеяльцем
и мозг упрямо двигается в рост. . .
Ты будешь петь, расти и торопиться,
в очаг вприпрыжку бегать поутру.
Ты прочитаешь первую страницу,
когда у нас построят Ангару!

1933

86. СЕМЬЯ

И. Гринбергу

Недосыпали.
В семь часов кормленье.
Ребенок розовый и мокрый просыпался,
и шло ночное чмоканье, сопенье,
и теплым миром пахли одеяльца.
Топорщилась и тлела на постели
беззубая улыбка.
А пока
стучал январь. Светало еле-еле.
Недолго оставалось до гудка.
Рассвет, рыжее утреннего чая,
антенн худую рощу озарял.
Мы расходились,
даже не прощаясь,
шли на работу, проще говоря. . .
А вечером, как поезд, мчался чайник,
на всех парах
кипел среди зимы.
Друг заходил, желанный и случайный,
его тащили — маленькую мыть.
Друг — весельчак,
испытанный работник,
в душе закоренелый холостяк —
завидовал пеленкам и заботам
и уверял, что это не пустяк.
Потом маршруты вместе составляли
(уже весна прорезывалась с силой),

и вдруг,
          стремглав, окачивали дали,
крик поезда сквозь город доносило.
И всё, чем жил
                    любимый не на шутку
большой Союз,
и всё, что на земле
случалося на протяженье суток, —
переживалось наново в семье.
Так дочь росла,
                    и так версталась повесть,
копилась песенка про дальние края,
и так жила,
                сработана на совесть,
в ту зиму комсомольская семья.

1933

87. НОВОСЕЛЬЕ

1

Мы в новый дом въезжали. Провода
еще висели до́ полу. Известка
скрипела под ногами. Знак труда
незавершенного везде являлся жестко
и радостно... И терпко пахло краской,
дымком растопок, счастьем и замазкой.

2

И дружба становилась по местам
среди приезжих — новых коммунаров:
толпой сдавали в кухню инвентарь —
залуженные плошки, самовары;
опальным солнцем покатился таз
из рук хозяйки и в ларе погас.

3

И окна были светлые, большие,
пространством полные, как паруса.
На лестнице толкались и спешили,

в квартирах пробовали голоса.
На громкий вызов радости и смеха
невыжитое отзывалось эхо.

4

А как друзья упорно помогали
переезжать, пожитки расставлять!
Как обсуждалось счастье! До деталей.
Как все потом остались ночевать,
как спорили — заметим ли, и где,
социализма самый первый день?

5

Дым коромыслом — стекла запотели,
мы вывели прилежно вензеля.
А за окном ворочалась, блестела
едва-едва открытая земля.
Там ночь располагалась на просторе,
неяркими сигналами горя,
и, может быть, неведомое море
лизало дальний берег пустыря.

1933

88. ГОРОД

В квартире сонной —
                    шорохи и стуки...
В квартире ходит
                    утренний сквозняк.
Я сплю еще,
                    а городские звуки
крадутся в сон
                    и бередят меня.
Я слышу — глубоко, в подножье дома
ворчит большое «АМО» и слегка
туманные звенят бидоны,
их потные молочные бока.
Потом шуршанье...
Знаю — это смуглый,
как детство теплый, лучший на земле,
дымящийся, румяный и округлый,
сгружают в булочную хлеб.

Всплывает сон,
всё бередливей утро,
асфальт шумит, чернея от воды,
и на углу, спросонок хриплый, рупор
командует зарядкой молодых.
А сон — как сеть...
Но сети утро тянет.
Всё тоньше слух, всё радостней растет,
и вдруг оркестр — росистый, медный, ранний...
Ну так и есть —
одиннадцатый год!
Как четко выговаривают трубы
слова старинной песни партизан.
Я вскакиваю.
Радостный и грубый,
сквозняк кидается, слепит глаза.
Я приседаю. Громче, репродуктор!
Я выгибаюсь — руки за спиной...
Морским прибоем городского утра,
как парус, наполняется окно...

1933

89. МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕХ

Песенка из «Встречного»

Как сизые чайки, летели
над ладожским льдом поутру...
Как пелось, горелось в артели
товарищей и подруг...

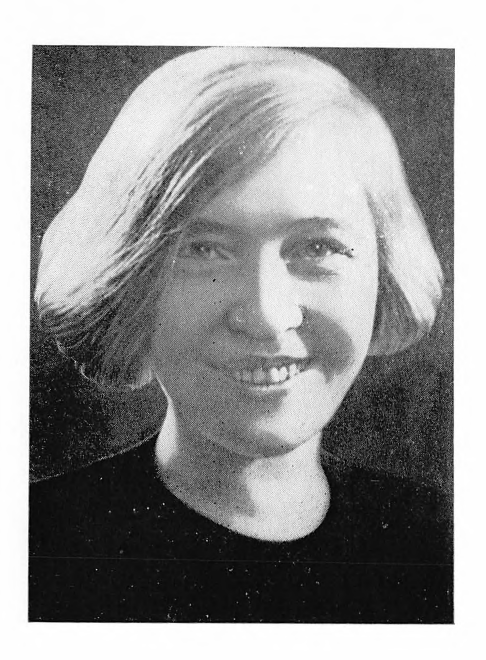
1

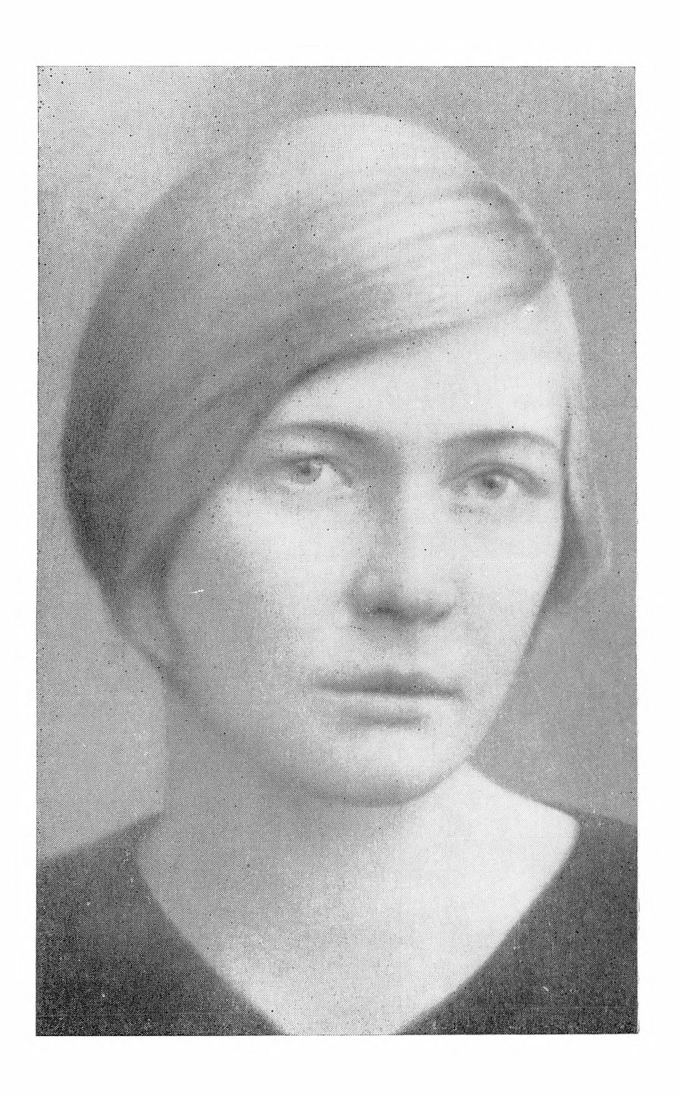
Уж печки не растопляли
охранники в проходной.
По ней сквозняки закачались,
морской обдавая весной.
Торчали, как будто на выбор,
осенней посадки ростки,
и пахло прохладною рыбой
в ларьках у ворот заводских...

2

А с крыши, где голуби стаей,
где стекла синее воды,







валилося солнце, блистая
на каждой пылинке слюды.
Да, солнце казалось помехой:
оконный дробя переплет,
оно вызывало из цеха
на лодки, на ладожский лед.

3

Но сутками мы не встречали
веселый сквозняк проходной.
Мы, щурясь, машины мотали,
захваченные весной.
Мы в полночь будили друг друга,
в конторке заснув на часок,
чтоб солнечный, верный, упругий
работу испытывал ток.
И весело было валандать,
и в рапорте хвастать, и знать,
что мы с комсомольского станда
наш долг возвратили сполна.

1933

90. МАЙЯ

Как маленькие дети умирают...
Чистейшие, веселые глаза
им влажной ваткой сразу прикрывают.
. . . .
Четыре дня — бессонница и жалость.
Четыре дня Республика сражалась
за девочку в удушье и жару,
вливала кровь свою и камфару...
Я с кладбища зеленого иду,
оглядываясь часто и упорно
на маленькую красную звезду
над грядкою сырого дерна...
Но я — живу и буду жить, работать,
еще упрямей буду я и злей,
чтобы скорей свести с природой счеты
за боль, и смерть, и горе на земле.

1933

91. ПЕСНЯ

Слышала — приедешь к нам не скоро ты,
Говорят товарищи: не ждем.
Брошу всё. Пойду бродить по городу,
по дорогам, пройденным вдвоем.

До Невы дойду, спущусь по лесенке.
Рядом ходит черная вода.
На унылой, безголосой песенке
вымещу обиду навсегда.

Все следы размоет дождик начисто.
Все мосты за мною разведут.
А приедешь, пожалеешь, схватишься —
не найдешь, и справок не дадут.

Декабрь 1933

92. КАРУСЕЛЬ

Приснилось мне,
что мы с тобой
летим на карусели,
где трубы стонут вперебой
и голосят свирели,
где мишуры светлей дождя
финифтяные струи
и к пригвожденным лошадям
навек присохла сбруя.
Я впереди, а ты — за мной.
Как мчатся наши кони!
Мелькает мимо мир сплошной,
труба рыдает за спиной,
и — ни на шаг погоня.
Ты рук не можешь дотянуть,
чтобы меня поймать,
а я, сто раз проделав путь,
вернусь к тебе опять.
Так задыхается любой
от дикого круженья,
так кружит нас с тобой любовь
на месте, без движенья.

Остановите, коновод,
свой допотопный хоровод!
Любимый мой,
сойдем с коней,
пойдем домой,
пойдем ко мне!

(1934)

93. О ЛИСТЬЯХ

Настало время говорить о розах,
о том, как пахнет свежая земля,
как серьги осыпаются с березы,
пернатые линяют тополя...

Ведь столько тысяч
заново взглянули
на землю, неприглядную вчера.
И первый раз спокойно улыбнулись
веселым звездам и сиянью трав.

Еще не знаю, как сказать об этом
(влюбленном в труженика своего),
о милом мире, —
в час его расцвета
и в миг существованья моего!

Мы так полны открывшимся богатством,
что многих слов
не подобрать пока,
что повторенья нечего бояться.
Вот листья, листья, клейкие слегка,
они покрыты маркой, свежей краской,
по маленькому солнцу на любом,
они на ощупь теплые, как ласка,
они горчат, как первая любовь.

(1934)

94. ПАМЯТЬ

О девочка, всё связано с тобою:
морской весны первоначальный цвет,
окраина в дыму, трамваи с бою,
холодный чай, нетронутый обед...

Вся белизна, сравнимая с палатой,
вся тишина и грохот за окном.
Всё, чем перед тобою виновата, —
работа, спешка, неуютный дом.

И все слова, которые ты знала
и, как скворец, могла произносить,
и всё, что на земле зовется «жалость»,
и всё, что хочет зеленеть и жить...

И странно знать и невозможно верить,
что эту память называем смертью.

1934

95. ВСТРЕЧА

На углу случилась остановка,
поглядела я в окно мельком:
в желтой куртке, молодой и ловкий,
проходил товарищ военком.

Я не знаю — может быть, ошибка,
может быть, напротив, — повезло:
самой замечательной улыбкой
обменялись мы через стекло.

А потом вперед пошел автобус,
закачался город у окна...
Я не знаю — может быть, мы оба
пожалели, может — я одна.

Я простая. Не люблю таиться.
Слушайте, товарищ военком:
вот мой адрес. Может, пригодится?
Может, забежите вечерком?

Если ж снова я вас повстречаю
в Доме Красной Армии, в саду
или на проспекте — не смущайтесь, —
я к вам непременно подойду.

Очень страшно, что, случайно встретив,
только из-за странного стыда,
может быть, вернейшего на свете
друга потеряешь навсегда...

1934

96. КИРОВУ

Мы с мертвыми прощаемся не сразу:
всё не смириться сердцу, не понять...
К зиянью смерти не привыкнуть глазу,
устам не разомкнуться, не сказать.

И в миг прощанья с гордым и любимым,
когда сквозь город двигался лафет,
«Да!» — грозно говорил рассудок,
«Нет!» —
ответила душа неукротимо.

Декабрь 1934

97. ЧИТАЯ ДОСТОЕВСКОГО

...Бродяга к Байкалу подходит,
Убогую лодку берет.
Унылую песню заводит,
О родине что-то поет...

Народная песня

И в сказке, и в были, и в дрёме
стоит одичалой судьбой
острожная песня на стрёме
над русской землей и водой.
Она над любою дорогой,
и каждый не знает того —
он минет ли в жизни острога,
а может, не минет его.
Тогда за гульбу и свободу,
за славные бубны, за бунт —

три тысячи верст переходу,
железо и плети — в судьбу...
И вот закачаются — много —
не люди, не звери, не дым,
Владимирской торной дорогой
да трактом сибирским твоим.
Проходят они, запевают,
проносят щепотку земли,
где весны родные играют,
откуда их всех увели.
Но глухо бормочет земля им,
что, может, оправишься сам?
Варнак-баргузин замышляет
шалить по дремучим лесам,
свой след заметаючи куний,
да ждать небывалой поры...
...И тщетно Михайло Бакунин,
забредив, зовет в топоры...
И стонет, листы переметив
кандальною сталью пера,
высокий и злой эпилептик,
за скудной свечой до утра
опять вспоминая дороги,
и клейма, и каторжный дым...
А стены седые острога
до неба, до смерти над ним.
Он бьется о грузные пали,
он беса и бога зовет,
пока конвульсивной печалью
его на полу не сведет.
...И я отдираю ресницы
с его воспаленных страниц.
Ты знаешь, мне каторга снится
сквозь эти прозрачные дни.
Откуда мне дума такая?..
Уйди же, души не тяни!
Но каторга снится седая
сквозь эти просторные дни...
Я ж песен ее не завою,
ни муж мой, ни сын мой, ни брат...
Я с вольной моею землею
бреду и пою наугад...
Ты скажешь — обида забыта,
и сказки, и мертвые сны.

но жирных камней Моабита
всё те же слышны кандалы.
А каторга за рубежами
грозится бывалой лихвой? ..
Но верь мне, ее каторжане
уже запевают со мной.

Первая половина 1930-х годов

98. ПЕРЕЛЕТНАЯ

Скворешницы темное око
глядит в зацветающий сад,
и в небе высоко-высоко
на родину птицы летят.

Так много вас, быстрые птицы,
что голову только закинь —
лицо опаляя, помчится
крылатая, шумная синь.

О, летный, о, реющий воздух,
серебряный воздух высот!
Дневные, могучие звезды
вплелись по пути в перелет. . .

Скворешницы темное око
глядит в зацветающий сад,
и в небе высоко-высоко
пилоты и птицы летят.

1935

99. СЕВАСТОПОЛЬ

Белый город, синие заливы,
на высоких мачтах — огоньки. . .
Нет, я буду все-таки счастливой,
многим неудачам вопреки.
Ни потери, ни тоска, ни горе
с милою землей не разлучат,
где такое трепетное море
кропотливо трудится, ворча,

где орлы и планеры летают,
где любому камешку — сиять,
где ничто-ничто не исчезает
и не возвращается опять.

Октябрь 1935

100—102. *ГОРОД*

1

Как уходила по утрам
и как старалась быть веселой!
Калитки пели по дворам,
и школьники спешили в школы...
Тихонько, ощупью, впотьмах,
в ознобе утро проступает.
Окошки теплились в домах,
обледенев, брели трамваи.
Как будто с полюса они
брели, в молочном блеске стекол,
зеленоватые огни
сияли на дуге высокой...
Особый свет у фонарей —
тревожный, желтый и непрочный...
Шли на работу. У дверей
крестьянский говорок молочниц.
Морозит, брезжит. Всё нежней
и трепетней огни. Светает.
Но знаю, в комнате твоей
темно и дым табачный тает.
Бессонный папиросный чад
и чаепитья беспорядок,
и только часики стучат
с холодной пепельницей рядом...

2

А ночь шумит еще в ушах
с неутихающею силой,
и осторожная душа
нарочно сонной притворилась.

Она пока утолена
беседой милого свиданья,
не обращается она
ни к слову, ни к воспоминанью...

3

И утренний шумит вокзал.
Здесь рубежи просторов, странствий.
Он всё такой же, как сказал, —
вне времени и вне пространства.
Он всё такой же, старый друг,
свидетель всех моих скитаний,
неубывающих разлук,
неубывающих свиданий...

1935

103

Вечерняя станция,
желтая заря...
По перрону мокрому
я ходила зря.
Никого не встречу я,
никого, никого,
лучшего товарища,
друга моего...
Никуда не еду я,
никуда, никуда...
Не блеснут мне полночью
чужие города.
Спутника случайного
мне не раздобыть,
легкого, бездомного
сердца не открыть.
Сумерки сгущаются,
ноют провода.
Над синими рельсами
поднялась звезда.
Недавней грозою
пахнет от дорог.
Малые лягушечки
скачут из-под ног.

1935

104—106. *ТРИ ПЕСНИ*

1

Как я за тобой ходила,
сколько сбила каблуков,
сколько тапочек сносила,
чистых извела платков.
Те платки слезами выжгла,
те — в клочки изорвала.
Как хотела — так и вышло,
так и стало, как ждала.
Нам теперь с тобою долго
горевать, работать, жить,
точно нитка за иголкой
друг за дружкою ходить.

2

Так порою затоскую,
точно в проруби тону:
ах, наверно, не такую
надо бы тебе жену.
Только я тебя к другой
не пущу, хороший мой.
Уж придется горе мыкать,
уж придется жить со мной.

3

Вот подруга хитрая спросила:
«Отчего о муже не споешь?»
Я подруге хитрой, некрасивой
отвечала правду, а не ложь:
«Если я о нем спою,
да заветную мою,
да еще на весь Союз, —
отобьют его, боюсь. . .»

1935

107

А помнишь дорогу
и песни того пассажира?
Едва запоем —
и от горя, от счастья невмочь.
Как мчался состав
по овальной поверхности мира!
Какими снегами
встречала казахская ночь!
Едва запоем —
и привстанем, и глянем с тревогой
друг другу в глаза,
и молчим, ничего не тая...
Всё те же ли мы,
и готовы ли вместе в дорогу,
и так ли, как раньше,
далекие манят края?
Как пел пассажир
пятилетье назад, пятилетье!
Геолог он был и разведчик —
скитался везде потому.

Он пел о любви и разлуке:
«Меня дорогая не встретит».
А больше всего — о разлуке...
И все подпевали ему.
Я слышала —
к этим годам и желанья становятся
реже,
и жадность и легкость уходят,
зови не зови...
Но песня за нас отвечает —
вы те же, что были, вы те же!..
И верю я песне,
как верю тебе и любви.

1935

108

Я люблю сигнал зеленый,
знак свободного пути.
Нелюбимой, невлюбленной,
хорошо одной брести.

Снег легчайший осторожно
вертится у самых губ. . .
О, я знаю — всё возможно,
всё сумею, всё смогу.

Разве так уж ты устала,
беспокойная душа,
разве молодости мало
мира, круглого как шар?

И твердят во всей природе
зеленые огоньки:
проходите, путь свободен
от любви и от тоски. . .

1935

109. СИДЕЛКА

Ночная, горькая больница,
палаты, горе, полутьма. . .
В сиделках — Жизнь, и ей не спится
и с каждым нянчится сама.
Косынкой повязалась гладко,
и рыжевата, как всегда.
А на груди, поверх халата,
знак Обороны и Труда.
И все, кому она подушки
поправит, в бред и забытье
уносят нежные веснушки
и руки жесткие ее.
И все, кому она прилежно
прохладное подаст питье,
запоминают говор нежный
и руки жесткие ее.
И каждый, костенея, труся,
о смерти зная наперед,
зовет ее к себе:
«Маруся,
Марусенька. . .»
И Жизнь идет.

1935

110. КАРАДАГ

Колеблет зной холмов простор,
земля чадит вечерней мятой.
Орел распластанный, крылатый
висит, качаясь между гор.

И камни, видные едва
со дна прибрежного селенья,
здесь принимают форму льва,
монгола, женщины, оленя...

Бывает — другу укажи
на то, что неприметно даже, —
сама собой заблещет жизнь
и о себе сама расскажет.
Но пусть любимым будет друг,
пусть выбран будет не случайно, —
чтоб для него открытой тайной
и сам ты изумился вдруг:
ведь всё, что творчеством зовут,
любовь или стихосложенье,
берет начало только тут —
в понятном другу удивленье...

...Вот так и шла я и вела,
указывала на обрывы,
на мыс, как ржавая стрела
летящий в полукруг залива,
на берег в розовых огнях,
на дальний остов теплохода...
И благодарная природа
всё рассказала за меня.

1935

111

Должно быть, молодости хватает,
душа, наверно, еще легка —
если внезапная наступает
на жажду похожая тоска,
когда становится небо чище,
и тонкая зелень мерцает везде,

и ты пристанища не отыщешь
в любимом городе, полном людей, —
тоска о любви, еще не бывшей,
о не свершенных еще делах,
о друзьях неизвестных, не приходивших,
которых задумала и ждала...

1935

112

Как много пережито в эти лета
любви и горя, счастья и утрат...
Свистя, обратно падал на планету,
мешком обледеневшим, стратостат.

А перебитое крыло косое
огромного, как слава, самолета,
а лодка, павшая на дно морское,
краса орденоносного Балтфлота?

Но даже скорбь, смущаясь, отступала
и вечность нам приоткрывалась даже,
когда невнятно смерть повествовала —
как погибали наши экипажи.

Они держали руку на приборах,
хранящих стратосферы откровенья,
и успевали выключить моторы,
чтобы земные уберечь селенья.

Так велика любовь была и память, —
в смертельную минуту не померкнув, —
у них о нас, — что мы как будто сами,
как и они, становимся бессмертны.

1935

113. ПРИЯТЕЛЯМ

Мы прощаемся, мы наготове,
мы разъедемся кто куда.
Нет, не вспомнит на добром слове
обо мне никто, никогда.

Сколько раз посмеетесь, сколько
оклевещете, не ценя,
за веселую скороговорку,
за упрямство мое меня?

Не потрафила, — что ж, простите,
обращаюсь сразу ко всем.
Что ж, попробуйте разлюбите,
позабудьте меня совсем.

Я исхода не предрекаю,
я не жалуюсь, не горжусь...
Я ведь знаю, что я — такая,
одному в подруги гожусь.

Он один меня не осудит,
как любой и лучший из вас,
на мгновение не забудет,
под угрозами не предаст.

...И когда зарастут дорожки,
где ходила с вами вдвоем,
я-то вспомню вас на хорошем,
на певучем слове своем.

Я-то знаю, кто вы такие, —
бережете сердца свои...
Дорогие мои, дорогие,
ненадежные вы мои...

1935, 1936

114. ПЕСНЯ ДОЧЕРИ

Рыженькую и смешную
дочь баюкая свою,
я дремливую, ночную
колыбельную спою.

С парашютной ближней вышки
опустился наземь сон,
под окошками колышет
голубой небесный зонт.

Разгорелись в небе звезды,
лучики во все концы;
соколята бредят в гнездах,
а в скворечниках скворцы.

Звездной ночью, птичьей ночью
потихоньку брежу я:
«Кем ты будешь, дочка, дочка,
рыженькая ты моя?

Будешь ты парашютисткой,
соколенком пролетать:
небо — низко, звезды — близко,
до зари рукой подать!

Над зеленым круглым миром
распахнется белый шелк,
скажет маршал Ворошилов:
«Вот спасибо, хорошо!»

Старый маршал Ворошилов
скажет: «Ладно, будем знать:
в главный бой тебя решил я
старшим соколом послать».

И придешь ты очень гордой,
крикнешь: «Мама, погляди!
Золотой красивый орден,
точно солнце, на груди...»

«Сокол мой, парашютистка,
спи...
не хнычь...
время спать...»
Небо низко,
звезды близко,
до зари рукой подать...

Март 1936
Детское Село

115—116. *ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ДОЧЕРЯМ*

1

Сама я тебя отпустила,
сама угадала конец,
мой ласковый, рыженький, милый,
мой первый, мой лучший птенец...

Как дико пустует жилище,
как стынут объятья мои:
разжатые руки не сыщут
веселых ручонок твоих.

Они ль хлопотали, они ли,
теплом озарив бытие,
играли, и в ладушки били,
и сердце держали мое?

Зачем я тебя отпустила,
зачем угадала конец,
мой ласковый, рыженький, милый,
мой первый, мой лучший птенец?

1937

2

На Сиверской, на станции сосновой,
какой мы страшный месяц провели,
не вспоминая, не обмолвясь словом
о холмике из дерна и земли.
Мы обживались, будто новоселы,
всему учились заново подряд
на Сиверской, на станции веселой,
в краю пилотов, дюн и октябрят.
А по кустам играли в прятки дети,
парашютисты прыгали с небес,
фанфары ликовали на рассвете,
грибным дождем затягивало лес,
и кто-то маленький, не уставая,
кричал в соседнем молодом саду
баском, в ладошки: «Майя, Майя!
Майя!..»
И отзывалась девочка: «Иду...»

1935

117. ПРЕДЧУВСТВИЕ

Нет, я не знаю, как придется
тебя на битву провожать,
как вдруг дыханье оборвется,
как за конем твоим бежать...
И где придется нам проститься,
где мы расстанемся с тобой:
на перепутье в поле чистом
иль у заставы городской?
Сигнал ли огненный взовьется,
иль просто скажет командир:
«Пора, пускай жена вернется.
Пора, простись и уходи...»
Но в ту минуту сердце станет
простым и чистым, как стекло.
И в очи Родина заглянет
спокойно, строго и светло.
И в ней, готовой к муке боя,
как никогда, почуем вновь
нас окрылявшую обоих
единую свою любовь.
И снова станет сердце чистым,
разлука страшная легка...
И разгласит труба горниста
победу твоего полка.

1936

118

Ты у жизни мною до́быт,
словно искра из кремня,
чтобы не расстаться, чтобы
ты всегда любил меня.
Ты прости, что я такая,
что который год подряд
то влюбляюсь, то скитаюсь,
только люди говорят...

Друг мой верный, в час тревоги,
в час раздумья о судьбе

все пути мои дороги
приведут меня к тебе,
    все пути мои дороги
    на твоем сошлись пороге...

Я ж сильней всего скучаю,
коль в глазах твоих порой,
ласковой не замечаю
искры темно-золотой,
    дорогой усмешки той —
    искры темно-золотой.

Не ее ли я искала,
в очи каждому взглянув,
не ее ли высекала
в ту холодную весну?..

1936

119. ОБЕЩАНИЕ

Вот я выбирала для разлуки
самые печальные слова.
На прощанье многим жала руки,
с горя ни мертва и ни жива.

Только о тебе еще не спела,
об единственном в моей судьбе:
я словам глухим и неумелым
не доверю песню о тебе.

Потому что всю большую дружбу,
всю любовь прекрасную твою
в верности, любви и дружбе мужа,
Родина, всё время узнаю.

Все твои упреки и тревоги,
всю заботу сердца твоего...
Даже облик твой, родной и строгий,
неразлучен с обликом его.

Осеняет шлем литые брови,
Млечный Путь струится по штыку...

Кто еще любимей и суровей,
чем красноармеец начеку?

Для кого ж еще вернее слово
и прекрасней песня — для кого?
Сорок раз спою для прочих снова
и единожды — для одного.

Но с такою гордостью и силой,
чтобы каждый вздрогнул: красота!
Чтоб дыханье мне перехватила
вещая, как счастье, немота...

1936

120

Всё пою чужие песни
о чужой любви-разлуке.
О своей — неинтересно,
только больше станет скуки.

Всё прислушиваюсь к этим
песням, сложенным другими, —
значит, не одна на свете
я с печалями своими?

Милые мои, хорошие,
неизвестные друзья,
значит, все вы были брошены
иль не найдены, как я?

Значит, минет? Значит, сбудется?
Значит, песня обо мне
никогда не позабудется
в нашей дружной стороне?

1936

121

Я уеду, я уеду
по открытию воды!..
Не ищи меня по следу —
смоет беглые следы.

А за мною для начала
все мосты поразведут
и на пристанях-вокзалах
даже справок не дадут.

...Вспоминай мой легкий голос,
голос песенки простой,
мой послушный мягкий волос
масти светло-золотой...

Но не спрашивай прохожих
о приметах — не поймут:
новой стану, непохожей,
не известной никому.
И когда вернусь иная,
возмужалой и простой,
поклонюсь — и не узнаешь,
кто здоровался с тобой.
Но внезапно затоскуешь,
спросишь, руку не отняв:
«Ты не знаешь ли такую,
разлюбившую меня?»
— «Да, — отвечу, — я встречала
эту женщину в пути.
Как она тогда скучала —
места не могла найти...
Не давала мне покою,
что-то путала, плела...
Чуждой власти над собою
эта женщина ждала.
Я давно рассталась с нею,
я жила совсем одна,
я судить ее не смею
и не знаю, где она».

1936

122

Человек проходит над рекою,
видит быстрый маленький челнок:
человек запел, взмахнув рукою, —
как он легок, весел, одинок!

Человек в огромном небосводе
увидал спокойный самолет:
не о нем — о славе и свободе,
задыхаясь, человек поет.

Расцветет ли за Полярным кругом
яблони взлелеянный побег, —
о любви, о верности к подруге
запоет счастливый человек.

В эту неподатливую сушу,
в эту дерзостную вышину
обновленную вдохнул он душу,
неделимую свою, одну.

И во всем, к чему ни прикоснется,
он себя увидит самого,
всё его душою отзовется,
горечью и радостью его.

1936

123. ПОСЛЕСЛОВИЕ

О, сколько раз меня смущали,
друзей тревожили моих
слова разлуки и печали,
невнятно сложенные в стих.

Ну что в них? Дальняя дорога,
зеленые огни земли,
усмешка, грустная немного,
рука, махнувшая вдали...

Но я дышу одним дыханьем
с людьми любимейшей страны.
Все помыслы, дела, желанья
тобою, Родина, сильны...

И может быть, потомок дальний
услышит явственней всего
биенье сердца твоего
в невнятной песенке прощальной...

1936

124. ⟨СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКА⟩

Так цепко обнимала,
так ловила,
так подождать молила я
тебя,
а ты всё уходила,
уходила,
другую оставляла за себя.
Не ту, с улыбкой доброй и веселой, —
другую, с гордой скорбью
на устах.
Нет, этой тихой, мудрой и
тяжелой
не знала я...
А где ж моя, где та?
И вдруг по крови собственной,
по стону,
по боли, но не прежней, не такой,
я поняла, что ты вернулась в лоно,
в меня вернулась —
смертною тоской.
О, как она томит и раздирает,
как одевает в траур бытие,
да будет вечной жизнь
твоя вторая,
дитя несбереженное мое...

1936 (?), 1954

125—126. *МАКСИМУ ГОРЬКОМУ*

1

Не позабыть черты плебейского лица
и лоб, как дума, самовластный.
Но мне пришлось взглянуть в глаза певца.
Я не увижу глаз прекрасней.
В них детская была голубизна,
доверчивости чистое сиянье,
и рядом скорбь, как тьма, затаена,
тревожащая душу и сознанье.
Взглянул до самых замкнутых глубин —
и, точно луч, вошло в тебя смятенье:

а ты, как он, кого-нибудь любил
с таким же гневом, скорбью, вдохновеньем?
Вот так — чиста, доверчива, горда,
так смотрит Совесть, к смелости взывая,
и если смутно в сердце, я всегда
тот соколиный взгляд припоминаю.

2

...И взор соколиный, и говор твой русский,
и слез, и усмешки усатой тепло, —
в сосуд замурованный, темный и узкий,
лишь мертвою пригоршней праха легло..

Нет, это придумано злобною смертью!
Товарищи, — это неправда, не верьте!

Взывая к любви, беспощаден и светел,
стучит в нелюдимые наши сердца
кремлевский, тяжелый, сияющий пепел
отдавшего сердце свое до конца.

1937

127—128. *ПАМЯТЬ*

1

Не выплакалась я, не накричалась,
о камни я не билась головой:
о, девочка, — я думала сначала,
что ты вернешься прежней и живой...

Нет, не безумием и не рассудком,
я верила страшнее и теплей —
всем, что во мне заложено, — с минуты
возникновенья жизни на земле...

И как взгляну теперь я на весенний
веселый сад детей и матерей?
Чем станет мир моложе и нетленней,
тем скорбь завистливее и старей.

Как примирю теперь я мой нескладный,
и утлый мой, и вдохновенный быт
с твоею ручкой, легкой и прохладной,
что, как снежок, в руке моей лежит?

Неудержимая, не согреваясь, тает...
Ни сердцем, ни дыханьем, ни слезой
мне не согреть ее, мне не заставить,
чтоб шевельнулась прежней и живой...

И мне теперь без слез, без утоленья
тот холодок руки твоей хранить...
Но — только б ничего не позабыть,
но только бы не пожелать забвенья!

2

О душа моя, проси забвенья:
ты сама не справишься с тоской.
Умоляй с надеждой и терпеньем
вешний ветер, теплый и сырой,
умоляй мерцающую землю,
клейкие, в сережках, тополя
и траву, которой еле-еле
городская убрана земля.
Умоляй без гордости, без воли
всю прекрасную земную твердь —
пусть она забыть тебе позволит
существа возлюбленного смерть.
И чего б ни стоило смиренье,
как ни отомстило бы потом, —
о душа моя, проси забвенья
так, как я прошу тебя о том.

1937

129

Не утаю от Тебя печали,
так же как радости не утаю.
Сердце свое раскрываю вначале,
как достоверную повесть Твою.

Не в монументах и не в обелисках,
не в застекленно-бетонных дворцах —
Ты возникаешь невидимо, близко,
в древних и жадных наших сердцах.

Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

И я не таю от Тебя печали
и самого тайного не таю:
сердце свое раскрываю вначале,
как исповедную повесть Твою...

1937

130. РОМАНС

Брожу по городу и ною
безвестной песенки напев...
Вот здесь простились мы с тобою,
здесь оглянулись, не стерпев.

Здесь оглянулись, оступились,
почуяв веянье беды.
А город полн цветочной пыли,
и нежных листьев, и воды.

Я всё отдам — пускай смеются,
пускай расплата нелегка —
за то, чтоб снова оглянуться
на уходящего дружка!

1937

131

Ты приснись мне, хотя бы приснись,
не такой, как на карточке серой:
точно лучик, и птица, и жизнь,
точно юность и счастье без меры.

Так далеко тебя унесло,
что черты расстояньем стирает.
Столько пепла на сердце легло,
но горит оно и не сгорает.

Я сама виновата, сама,
в том, что рано тебя отпустила,
что живу, не лишилась ума...
О, проклятая, жадная сила!

Ты приснись мне, ну только приснись,
не такой, как на карточке серой:
точно лучик, и птица, и жизнь,
точно юность и счастье без меры...

1937

132—134. *СТИХИ ОБ ИСПАНСКИХ ДЕТЯХ*

1

СЕСТРЕ

Ночь, и смерть, и духота...
И к морю
ты бежишь с ребенком на руках.
Торопись, сестра моя по горю,
пристань долгожданная близка.

Там стоит корабль моей отчизны,
он тебя нетерпеливо ждет,
он пришел сюда во имя жизни,
он детей испанских увезет.

Рев сирен...
Проклятый, чернокрылый
самолет опять кружит, опять...
Дымной шалью запахнула, скрыла,
жадно сына обнимает мать.

О сестра, спеши скорее к молу!
Как мне памятна такая ж ночь.
До зари со смертью я боролась
и не унесла от смерти дочь...

Дорогая, не страшись разлуки.
Слышишь ли, из дома своего
я к тебе протягиваю руки,
чтоб принять ребенка твоего.

Как и ты, согреть его сумею,
никакому горю не отдам,
бережно в душе его взлелею
ненависть великую к врагам.

2

ВСТРЕЧА

Не стыдясь ни счастья, ни печали,
не скрывая радости своей —
так детей испанских мы встречали,
неродных, обиженных детей.

Вот они — смуглы, разноголосы,
на иной рожденные земле,
черноглазы и черноволосы, —
точно ласточки на корабле...

И звезда, звезда вела навстречу
к кораблям, над городом блестя,
и казалось всем, что в этот вечер
в каждом доме родилось дитя.

3

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ИСПАНСКОМУ СЫНУ

Новый сын мой, отдыхай, —
за окошком тихий вечер.
К новой маме привыкай,
к незнакомой русской речи.
Если слышишь ты полет,
не пугайся звуков грозных:
это мирный самолет,
наш, хороший, краснозвездный.
Новый сын мой, привыкай
радоваться вместе с нами,
но смотри не забывай
о своей испанской маме.
Мама с сестрами в бою
в этот вечер наступает.
Мама родину твою
для тебя освобождает.

А когда к своей родне
ты вернешься, к победившей,
не забудь и обо мне,
горестно тебя любившей.
Перелетный птенчик мой,
ты своей советской маме
длинное пришли письмо
с полурусскими словами.

1937

135. ВОСПОМИНАНИЕ

Точно детство вернулось и — в школу.
Завтрак, валенки, воробьи...
Это первый снег. Это первый холод
губы стягивает мои.

Ты — как вестник, как гость издалека,
из долин, где не помнят меня.
Чье там детство?
Чьи парты, снежки, уроки,
окна в елочках и огнях?

А застава? Баюканье ночью?
Петухи и луна на дворе?
Точно первый снег —
первый шаг у дочки,
удивительный, в октябре.

Точно кто-то окликнул знакомым
тайным прозвищем. Точно друг,
проходя, торопясь,
мимоходом припомнил
и в окно мое стукнул вдруг.

Точно кто-то взглянул с укоризной,
и безродный чистый родник
стукнул в сердце, возжаждал жизни,
ждет, чтоб песней к нему приник...

Что же, друг мой, перезимуем,
перетерпим, перегорим...

1937

136

Так еще ни разу — не забыла —
не клонилась книзу голова...
Где же вы, которые любили,
говорили разные слова?

Что? Теперь невесело со мною?
Я не успокою, не спою...
Я сама гляжу, кто б успокоил
непомерную тоску мою...

Разве я вымаливала клятвы,
разве вам подсказывала их?
Где же вы? Должно быть, на попятном,
верные товарищи мои...

Вспоминаете ль по крайней мере
всё, что обещали мне тогда,
всё, чему меня просили верить,
умоляли помнить навсегда?

1937

137. ПАМЯТЬ

Всей земною горечью и болью
навсегда во мне останься жить;
не забуду, не скажу — довольно,
не устану бережно любить.

В мире, счастьем, как росой, омытом,
буду щедрой, любящей, простой —
если ты не будешь позабыта,
если ты останешься со мной.

1937

138

Любовные песни, разлучные
отпела, поди, сполна.
Девчоночки их заучивали,
многие, не одна.

Девчоночки наши русские,
радуясь и любя,
моими песнями грустными
выплакивали себя.

Услышав счастливый голос их,
не выдержу — улыбнусь.
На милую, милую молодость
не выдержу — оглянусь.

Ау, дорогая, лучшая,
румянец, июнь, весна!
И песней моей разлучною
откликнется мне она...

1937

139—140. *АЛИ АЛМАЗОВУ*

1

ПИСЬМО

...Где ты, друг мой?
Прошло семилетие
с той разлуки, с последней той...
Ты живешь ли на белом свете?
Ты лежишь ли в земле сырой?

Пусть хоть это стихотворение,
словно голубь, к тебе дойдет,
в запылившемся оперении
прямо в руки твои упадет.
Пусть о сердце крылом ударится
одному понятная речь...
Время дни считать,
время стариться,
время близких своих беречь...

1937

2

ПЕСНЯ

Была на родине твоей —
и не нашла тебя.
«Здесь друга нет», — сказал ручей,
волнуясь и скорбя.

«Здесь друга нет», —
твердили мне
тропинки и луга.
«Здесь друга нет», —
сверкнули мне
нагорные снега.

На самый край вершин пришла
и, стоя на краю,
я громко друга позвала,
как молодость мою.

И эхо голосом чужим
мне крикнуло в ответ,
усталым голосом моим:
«Увы! Здесь друга нет».

И я вернулася назад,
молчал безлюдный путь.
Не озарила глаз слеза,
и не могу вздохнуть.

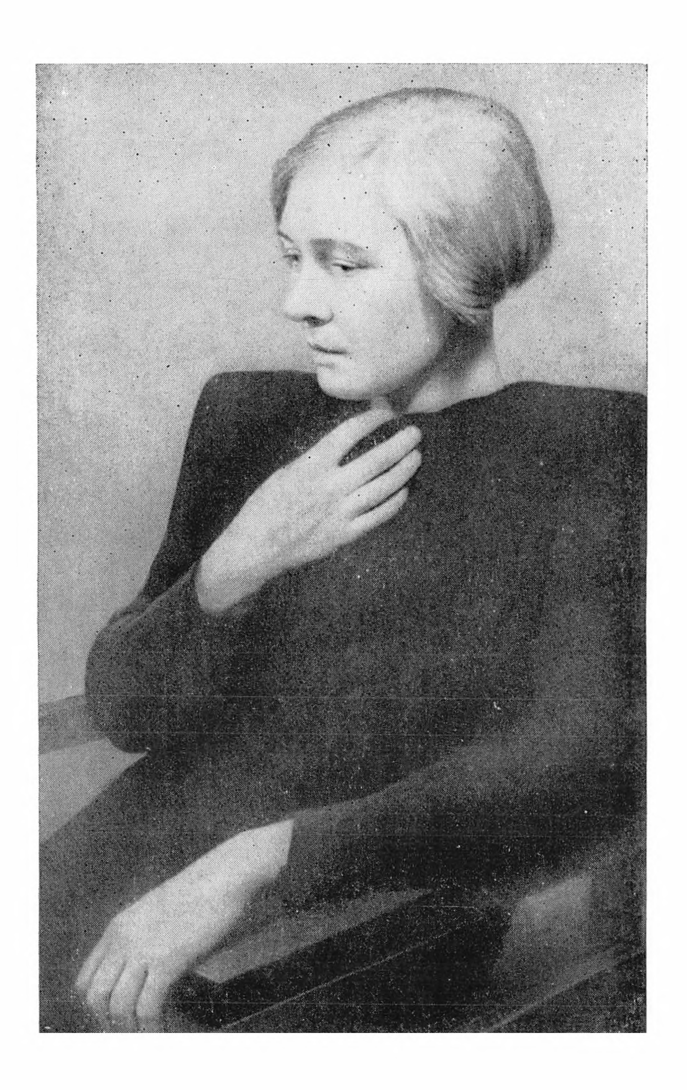
И не пойму я много дней,
тоскуя и любя:
зачем на родине твоей
я не нашла тебя?

1938

141

Нет, не наступит примиренья
с твоею гибелью, поверь.
Рубеж безумья и прозренья
так часто чувствую теперь.





Мне всё знакомей, всё привычней
у края жизни быть одной,
где, точно столбик пограничный,
дощечка с траурной звездой.
Шуршанье листьев прошлогодних...
Смотрю и знаю: подхожу
к невидимому рубежу.
Страшнее сердцу — и свободней.
Еще мгновенье — и понятной
не только станет смерть твоя,
но вся бесцельность, невозвратность,
неудержимость бытия.
...И вдруг разгневанная сила
отбрасывает с рубежа,
и только на могиле милой
цветы засохшие дрожат...

1937, март 1938

142

Ты в пустыню меня послала, —
никаких путей впереди.
Ты оставила и сказала:
«Проверяю тебя. Иди».

Что ж, — я шла... Я шла как умела.
Было страшно и горько, — прости!
Оборвалась и обгорела,
истомилась к концу пути.

Я не знала, зачем Ты это
испытание мне дала.
Я не спрашивала ответа:
задыхалась, мужала, шла.

Вот стою пред Тобою снова, —
прямо в сердце мое гляди.
Повтори дорогое слово:
«Доверяю тебе. Иди».

Июнь 1938

Осенью в Москве на бульварах вывешивают дощечки с надписью: «Осторожно, листопад!»

143. ЛИСТОПАД

В. Л.

Осень, осень! Над Москвою
журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
загораются сады,
и дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
«Осторожно, листопад!»

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.
Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
«Осторожно, листопад!»?

Ничего не нужно было, —
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь. . .
Нет, всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень,
весь — сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
за прощание, как дождь.
. . .Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.

Я не всё тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
«Осторожно, листопад!..»

1938

144. ИСПЫТАНИЕ

...И снова хватит сил
увидеть и узнать,
как всё, что ты любил,
начнет тебя терзать.
И оборотнем вдруг
предстанет пред тобой
и оклевещет друг,
и оттолкнет другой.
И станут искушать,
прикажут: «Отрекись!» —
и скорчится душа
от страха и тоски.
И снова хватит сил
одно твердить в ответ:
«Ото всего, чем жил,
не отрекаюсь, нет!»
И снова хватит сил,
запомнив эти дни,
всему, что ты любил,
кричать: «Вернись! Верни...»

Декабрь 1938

145

Сестре

Мне старое снилось жилище,
где раннее детство прошло,
где сердце, как прежде, отыщет
приют, и любовь, и тепло.

Мне снилось, что святки, что елка,
что громко смеется сестра,
что искрятся нежно и колко
румяные окна с утра.

А вечером дарят подарки,
и сказками пахнет хвоя,
и звезд золотые огарки
над самою крышей стоят.

...Я знаю — убогим и ветхим
становится старый наш дом;
нагие унылые ветки
стучат за померкшим окном.

А в комнате с мебелью старой,
в обиде и тесноте,
живет одинокий, усталый,
покинутый нами отец...

Зачем же, зачем же мне снится
страна отгоревшей любви?
Мария, подруга, сестрица,
окликни меня, позови...

Март 1939

146. ЖЕЛАНИЕ

Кораблик сделала бы я
из сердца своего.
По темным ладожским волнам
пустила бы его.
Волна вечерняя, шуми,
неси кораблик вдаль.
Ему не страшно в темноте,
ему себя не жаль.
И маленький бы самолет
из сердца сделать мне,
и бросить вверх его, чтоб он
кружился в вышине.
Лети, свободный самолет,
блести своим крылом,
тебе не страшно в вышине,
в сиянии родном...
А я одна останусь жить,
не помня ничего,
и будет мне легко-легко
без сердца моего.

Май 1939

147. ВОСПОМИНАНИЕ

Ночника зеленоватый свет,
Бабочка и жук на абажуре.
Вот и легче... Отступает бред.
Это мама около дежурит.

Вот уже нестрашно, снится лес,
пряничная, пестрая избушка...
Хорошо, что с горла снят компресс
и прохладной сделалась подушка.

Я сама не знаю — почему
мне из детства,
                    мне издалека
льется в эту каменную мглу
только свет зеленый ночника.

Тихий, кроткий, милый, милый Свет,
ты не оставляй меня одну.
Ты свети в удушье, в горе, в бред —
может быть, поплачу и — усну...

И в ребячьем свете ночника
мне приснится всё, что я люблю,
и родная мамина рука
снимет с горла белую петлю.

1 июня 1939

148. ПРОСЬБА

Нет, ни слез, ни сожалений —
ничего не надо ждать.
Только б спать без сновидений —
долго, долго, долго спать.
А уж коль не дремлет мука,
бередит и гонит кровь, —
пусть не снится мне разлука,
наша горькая любовь.
Сон про встречу, про отраду
пусть минует стороной.
Даже ты не снись, не надо,
мой единственный, родной...

Пусть с березками болотце
мне приснится иногда.
В срубе темного колодца
одинокая звезда...

Июль 1939

149. ВСТРЕЧА

Пахнет соснами, гарью, тленьем.
Рядом бьется родник — лови!
Это запах освобожденья,
облик вечной нашей любви.

Не считаем ни дней, ни сроков.
Не гадаем, что впереди...
Трезвый, яростный и жестокий
полдень жизни — не отходи!

Июль 1939

150. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Расстилает тьму
ночь метельная.
Дай спою тебе, муж,
колыбельную.
Ты приляг — теплей
на плече моем...
Много-много дней
проживем вдвоем.
Нам враги вокруг
удивляются,
нами каждый друг
похваляется...
Нам в последний бой
уходить с тобой,
если смерть придет —
умирать с тобой.
Если ж ранят вдруг,
искалечат вдруг —
ты не бойся, друг,
не смущайся, друг:
буду нянькою,
буду мамкою...

Ты приляг — теплей
на плече моем.
Много-много дней
будем жить вдвоем...

Осень 1939

151

На асфальт расплавленный похожа
память ненасытная моя:
я запоминаю всех прохожих,
каждое движенье бытия...
След колес, железных и зубчатых, —
ржавый след обиды и тоски.
Рядом птичий милый отпечаток —
дочери погибшей башмачки.
Здесь друзья чредою проходили.
Всех запоминала — для чего?
Ведь они меня давно забыли,
больше не увижу никого.
Вот один прошел совсем по краю.
Укоризны след его темней.
Где-то он теперь живет? Не знаю.
Может, только в памяти моей.
В наказание такую память
мне судьба-насмешница дала,
чтоб томило долгими годами
то, что сердцем выжжено дотла.
Лучше б мне беспамятство, чем память,
как асфальт расплавленный, как путь, —
вечный путь под самыми стопами:
не сойти с него, не повернуть...

Октябрь 1939

152—154. *РОДИНЕ*

1

Всё, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное счастье, —
всё вынесу и через всё пройду.
Но не лишай доверья и участья.

Как будто вновь забьют тогда окно
щитом железным, сумрачным
и ржавым...
Вдруг в этом отчуждении неправом
наступит смерть — вдруг станет
всё равно.

Октябрь 1939

2

Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.

Сквозь жалкое предательство друзей.
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.

Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай, — я больше не могу...

1939

3

Изранила и душу опалила,
лишила сна, почти свела с ума...
Не отнимай хоть песенную силу,
не отнимай, — раскаешься сама!

Не отнимай, чтоб горестный и славный
твой путь воспеть.
Чтоб хоть в немой строке
мне говорить с тобой, как равной
с равной, —
на вольном и жестоком языке!

Осень 1939

155—159. *НАШ ДОМ*

...Сквозь дикий рай
твоей земли родной.

А. Пушкин

1

О, бесприютные рассветы
в степных колхозах незнакомых!
Проснешься утром — кто ты? где ты?
Как будто дома — и не дома..,

...Блуждали полночью в пустыне,
тропинку щупая огнями.
Нас было четверо в машине,
и караван столкнулся с нами.
Он в темноте возник внезапно.
Вожак в коротком разговоре
сказал, что путь — на юго-запад,
везут поклажу — новый город.
Он не рожден еще. Но имя
его известно. Он далеко.
Путями жгучими, глухими
они идут к нему с востока.
И в плоских ящиках с соломой
стекло поблескивало, гвозди...
Мы будем в городе как дома,
его хозяева и гости.
В том самом городе, который
еще в мечте, еще в дороге,
и мы узнаем этот город
по сердца радостной тревоге.
Мы вспомним ночь, пески, круженье
под небом грозным и весомым
и утреннее пробужденье
в степном колхозе незнакомом.

2

О, сонное мычанье стада,
акаций лепет, шум потока!
О, неги полная прохлада,
младенческий огонь Востока!
Поет арба, картавит гравий,
топочет мирно гурт овечий,
ковыль, росой повит, играет
на плоскогорьях Семиречья.
...Да, бытие совсем иное!
Да, ты влечешь меня всегда
необозримой новизною
людей, обычаев, труда.
Так я бездомница? Бродяга?
Листка дубового бедней?
Нет, к неизведанному тяга
всего правдивей и сильней.

Нет, жажда вновь и вновь сначала
мучительную жизнь начать —
мое бесстрашье означает.
Оно — бессмертия печать...

3

И вновь дорога нежилая
дымит и вьется предо мной.
Шофер, уныло напевая,
качает буйной головой.
Ну что ж, споем, товарищ, вместе.
Печаль друзей поет во мне.
А ты тоскуешь о невесте,
живущей в дальней стороне.
За восемь тысяч километров,
в России, в тихом городке,
она стоит под вешним ветром
в цветном платочке, налегке.
Она стоит, глотая слезы,
ромашку щиплет наугад.
Над нею русские березы
в сережках розовых шумят...
Ну, пой еще. Еще страшнее
терзайся приступом тоски...
Давно ведь меж тобой и ею
легли разлучные пески.
Пески горючие, а горы
стоячие, а рек не счесть,
и самолет домчит не скоро
твою — загаданную — весть.
Ну, пой, ну, плачь. Мы песню эту
осушим вместе до конца
за то, о чем еще не спето, —
за наши горькие сердца.

4

И снова ночь...
Молчит пустыня,
библейский мрак плывет кругом.
Нависло небо. Воздух стынет.
Тушканчики стоят торчком.

Стоят, как столпнички. Порою
блеснут звериные глаза
зеленой искоркой суровой,
и робко вздрогнут тормоза.
Кто тихо гонится за нами?
Чья тень мелькнула вдалеке?
Кто пролетел, свистя крылами,
и крикнул в страхе и тоске?
И вдруг негаданно-нежданно
возникло здание... Вошли.
Прими под крылья, кров желанный,
усталых путников земли.
Но где же мы? В дощатой зале
мерцает лампы свет убогий...
Друзья мои, мы на вокзале
еще неведомой дороги.
Уже бобыль, джерши-начальник,
без удивленья встретил нас,
нам жестяной выносит чайник
и начинает плавный сказ.
И вот уже родной, знакомый
легенды воздух нас объял.
Мы у себя. Мы дома, дома.
Мы произносим: «Наш вокзал».
Дрема томит... Колдует повесть...
Шуршит на станции ковыль...
Мы спим... А утром встретим поезд,
неописуемый, как быль.
Он мчит с оранжевым султаном,
в пару, в росе, неукротим,
и разноцветные барханы
летят, как всадники, за ним.

5

Какой сентябрь! Туман и трепет,
багрец и бронза — Ленинград!
А те пути, рассветы, степи —
семь лет, семь лет тому назад.
Как, только семь? Увы, как много!
Не удержать, не возвратить
ту ночь, ту юность, ту дорогу,
а только в памяти хранить,

где караван, звездой ведомый,
к младенцу городу идет
и в плоских ящиках с соломой
стекло прозрачное несет.
Где не было границ доверью
себе, природе и друзьям,
где ты легендою, поверьем
невольно становился сам.
...Так есть уже воспоминанья
у поколенья моего?
Свои обычаи, преданья,
особый облик у него?
Строители и пилигримы,
мы не забудем ни о чем:
по всем путям, трудясь, прошли мы,
везде отыскивали дом.
Он был необжитой, просторный...
Вот отеплили мы его
всей молодостью, всем упорным
гореньем сердца своего.
А мы — как прежде, мы бродяги!
Мы сердцем поняли с тех дней,
что к неизведанному тяга
всего правдивей и сильней.
И в возмужалом постоянстве,
одной мечте верны всегда,
мы, как и прежде, жаждем странствий,
дорог, открытых для труда.

О, бесприютные рассветы!
Всё ново, дико, незнакомо...
Проснешься утром — кто ты? где ты?
Ты — на земле. Ты дома. Дома.

1938—1939

160

Галине

Поздней ночью, февральской, унылой,
стала в двери подруга стучать:
«Ольга, сына я схоронила!
Не вздохнуть мне, не закричать.
Расскажи, ничего не скрывая, —
ты детей потеряла сама, —

скоро ль слезы придут, облегчая,
посветлеет ли смертная тьма?»
Я с подругой всю ночь говорила,
я утешила сердце ее...
...Вот и горе мое пригодилось,
безутешное горе мое...

1939

161

Костер пылает. До рассвета
угрюмый ельник озарен.
Туман и полночь, рядом где-то
томится песня-полусон...
Как мы зашли сюда? Не знаю.
Мы вместе будем до утра.
Июнь, туман, костер пылает,
звенит и плачет мошкара.
Я говорю:
«Теперь, как жажда,
во мне желание одно:
таким костром сгореть однажды
в лесу, где сыро и темно.
Я жалобою не нарушу
судьбу горящую свою:
пусть у костра погреют души
и песнь отрадную споют...»

1939

162. О ПЕСНЕ

...Посадила розу край викна...

Плакала и пела неустанно,
долго плакала и пела я —
нашу песенку о дальних странах
заучила камера моя...
О далеких, о прекрасных странах!
Молодость, румянец и весна,
и у самых-самых ног играет
невская прозрачная волна...
Вот как там,
вот как мы там ходили,
руки онемевшие сомкнув,

как бесстрашным сердцем полюбили
нашу неизвестную страну.
Разве знала я, что это будет,
что простую песенку мою
запоют измученные люди,
с горестной отрадой запоют.
Только что же? Если эти стены
заучили милые слова,
значит, нет ни горя,
                ни измены,
значит,
        наша Родина —
                живa!

1939

163

Перешагнув порог высокий,
остановилась у ворот.
Июльский вечер светлоокий
спускался медленно с высот.
И невский ветер, милый, зримый,
летел с мостов гремя, смеясь. . .
. . .Но столько раз мне это снилось,
что не обрадовалась я.
Я не упала тут же рядом
в слезах отважных и живых, —
лишь обвела усталым взглядом
унылый камень мостовых.
О, грозный вечер возвращенья,
когда, спаленная дотла,
душа моя не приняла
ни мира, ни освобожденья. . .

1939

164. МАРГАРИТЕ КОРШУНОВОЙ

Когда испытание злое
сомкнулось на жизни кольцом,
мне встретилась женщина-воин
с упрямым и скорбным лицом.

Не слава ее овевала,
но гнев, клевета и печаль.
И снят был ремень, и отняли
ее боевую медаль.

Была в ней такая суровость,
и нежность, и простота,
что сердце согрела мне снова
бессмертная наша мечта.

Никто никогда не узнает,
о чем говорили мы с ней.
Но видеть хочу, умирая,
ее у постели моей.

Пусть в очи померкшие глянет,
сурова, нежна и проста.
Пусть Ангелом Смерти предстанет
бессмертная наша Мечта.

Июнь 1939

165. ЕСЛИ ДРУГ ВЕРНЕТСЯ

Придешь, как приходят слепые:
на ощупь стукнешь, слегка.
Лицо потемнело от пыли,
впадины
  на висках.

Сама я открою двери
и крикну, смиряя дрожь:
«Я верю тебе, я верю!
Я знала, что ты придешь!»

1939

166. ТОСТ

Летит новогодняя вьюга,
сверкая, колдуя, трубя.
Прибор запоздавшему другу
поставим на стол у себя.

И рядом, наполнив до края,
веселую чашу вина,
чтоб, в искрах и звездах играя,
была наготове она.

Быть может, в промерзшие двери
наш друг постучится сейчас
и скажет: «За ваше доверье!» —
и чашу осушит за нас.

Так выше бокал новогодний!
Наш первый поднимем смелей
за всех, кто не с нами сегодня,
за всех запоздавших друзей.

31 декабря 1939

167. ПРОЗВАНЬЕ

Дорога, одиночество,
душа опять легка.
Забыла имя-отчество
неверного дружка.

Опять брожу бездомная,
покоя не храня.
Одно прозванье помню я,
которым звал меня.

Оно, как пчелка, вертится,
то у виска жужжит,
то вдруг ужалит сердце,
то губы освежит.

О нежное жужжанье
в суровом шуме дня!
О милое страданье,
не покидай меня!

⟨1940⟩

168. ПЕСНЯ

Знаю, чем меня пленила
жизнь моя, красавица, —
одарила страшной силой,
что самой не справиться.

Не скупилась на нее
ни в любви, ни в бедах я, —
сердце щедрое мое
осуждали, бедные.

Где ж им счастье разгадать —
ни за что, без жалости
всё, что было, вдруг отдать
до последней малости.

Я себя не берегла,
я друзей не мучила. . .
Разлетелись сокола. . .
Что же, может, к лучшему?

Елка, елка, елочка,
вершинка — что иголочка,
после милого осталась
только поговорочка.

Знаю, знаю, чем пленила
жизнь моя, красавица, —
силой, силой, страшной силой.
Ей самой не справиться.

1936, 1940

169. ИРЭНЕ ГУРСКОЙ

Им снится лес — я знаю, знаю!
Мне тоже снилась год подряд
дорога дальняя лесная,
лесной узорчатый закат.

Мне снилось — я иду на в о л е,
в живой и мудрой тишине.
Ольха колдует, никнут ели,
струится солнце по сосне. . .

А всех милей — листва березы.
И вот — не властны над душой
ни гнев, ни счастие, ни слезы,
но только *воля и покой*.

Им снится лес — зеленый, мудрый,
березовый и молодой,
родник безродный, мостик узкий,
замшелый камень над водой...

Им снится лес — я знаю, знаю!
Вот почему, считая дни,
я так же по ночам стенаю
и так же плачу, как они.

Весна 1940

170—172. *ЛАСТОЧКИ НАД ОБРЫВОМ*

...О, домовитая ласточка,
О, милосизая птичка!

Г. Державин

1

Пришла к тому обрыву
судьбе взглянуть в глаза.
Вот здесь была счастливой
я много лет назад...

Морская даль синела,
и бронзов был закат.
Трава чуть-чуть свистела,
как много лет назад.

И так же пахло мятой,
и плакали стрижи...
Но чем свои утраты,
чем выкуплю — скажи?

Не выкупить, не вымолить
и снова не начать.
Проклятия не вымолвить.
Припомнить и — молчать.

Так тихо я сидела,
закрыв лицо платком,
что ласточка задела
плечо мое крылом...

2

Стремясь с безумной высоты,
задела ласточка плечо мне.
А я подумала, что ты
рукой коснулся, что-то вспомнив.

И обернулась я к тебе,
забыв обиды и смятенье,
прощая всё своей судьбе
за легкое прикосновенье.

3

Как обрадовалась я
твоему прикосновенью,
ласточка, судьба моя,
трепет, дерзость, искушенье!

Точно встала я с земли,
снова миру улыбнулась.
Точно крылья проросли
там, где ты
крылом коснулась.

1940
Коктебель

173

Синеглазый мальчик, синеглазый,
ни о чем не спрашивай пока.
У меня угрюмые рассказы,
песенка — чернее уголька.

А душа — как свечка восковая:
пламенея, тает — не помочь.
Ведь ее, ничем не прикрывая,
я несу сквозь ледяную ночь.

Свищет ветер, хлопьями разлуки
мой бездомный путь оледенив.
Мечется и обжигает руки
маленький огонь свечи-души.

Сколько лет друзья корят за это,
свой убогий светик обложив
малыми кульками из газеты,
матовыми стеклышками лжи.

Синеглазый, ты меня не слушай,
ты один совет запомни мой:
ты неси сквозь мрак и ветер душу,
не прикрыв ни песней, ни рукой.

1940

174. ДАЛЬНИМ ДРУЗЬЯМ

С этой мной развернутой страницы
я хочу сегодня обратиться
к вам, живущим в дальней стороне.
Я хочу сказать, что не забыла,
никого из вас не разлюбила,
может быть, забывших обо мне.

Верю, милые, что все вы живы,
что горды, упрямы и красивы.
Если ж кто угрюм и одинок,
вот мой адрес — может, пригодится? —
Троицкая, семь, квартира тридцать.
Постучать. Не действует звонок.

Вы не бойтесь, я беру не много
на себя: я встречу у порога,
в красный угол сразу посажу.
Расспрошу о ваших неудачах,
нету слез у вас — за вас поплачу,
нет улыбки — сердцем разбужу.

Может быть, на всё хватает силы,
что, заветы юности храня,
никого из вас не разлюбила,
никого из вас не позабыла,
вас, не позабывших про меня.

Осень 1940

175—176. *БОРИСУ КОРНИЛОВУ*

> ...И всё не так, и ты теперь иная,
> поешь другое, плачешь о другом...
>
> *Б. Корнилов*

1

О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь...
Я так постарела, что ты не узнаешь.
А может, узнаешь? Скажи!

Не стану прощенья просить я,
ни клятвы —
напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать, —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.

1939

2

Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи...»

...Но годы шли всё горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый
и пропащий, —
пою другое,
плачу о другом...

А юные девчонки и мальчишки,
они — о том же: сумерки, Нева...
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.

1940

177

Струна в тумане —
песня моя сейчас,
зато не обманет
она никого из вас.

Она отзовется
тебе, одинокий друг.
Она оборвется,
если изменит звук.

Ночная страна
дорогою дальнею манит,
и глухо звучит струна,
струна в тумане...

1940

178

Что я делаю?! Отпускаю
завоеванного, одного,
от самой себя отрекаюсь,
от дыхания своего...

Не тебя ль своею судьбою
называла сама, любя?
Настигала быстрой ходьбою,
песней вымолила тебя?

Краем света, каменной кромкой
поднебесных горных хребтов,
пограничных ночей потемками
нас завязывала любовь...

Так работали, так скитались
неразлучные — ты да я,
что завистники любовались
и завидовали друзья...

1940

179

Это всё неправда. Ты любим.
Ты навек останешься моим.
Ничего тебе я не прощу.
Милых рук твоих не отпущу.
А тебе меня не оттолкнуть,
даже негодуя и скорбя.
Как я вижу твой тернистый путь,
скрытый, неизвестный для тебя.
Только мне под силу, чтоб идти —
мне — с тобой по твоему пути...

1940

180. МОЛОДОСТЬ

...Вот когда я тебя воспою,
назову дорогою подругою,
юность канувшую мою,
быстроногую, тонкорукую.
О, заставских черемух плен,
комсомольский райком в палисаде,
звон гитар у кладбищенских стен,
по кустарникам звезды в засаде!
Не уйти, не раздать, не избыть
этот гнет молодого томленья,
это грозное чувство судьбы,
так похожее на вдохновенье.
Ты мерещилась всюду, судьба:
в порыжелом военном плакате,
в бурном, взрывчатом слове «борьба»,
в одиночестве на закате.
Как пушисты весной тополя,
как бессонницы неодолимы,
как близка на рассвете земля,
а друзья далеки и любимы.
А любовь? Как воздух и свет,
как дыхание — всюду с тобою,
нет конца ей, выхода нет, —
о, крыло ее голубое!

Вот когда я тебя воспою,
назову дорогою подругою,
юность канувшую мою,
быстроногую, тонкорукую...

1940

181

Сейчас тебе всё кажется тобой:
и треугольный парус на заливе,
и стриж над пропастью,
и стих чужой,
и след звезды,
упавшей торопливо.
Всё — о тебе, всё — вызов и намек.
Так полон ты самим собою,
так рад, что ты, как парус, одинок,
и так жесток к друзьям своим порою.
О, пусть продлится время волшебства.
Тебе докажет мир неотвратимо,
что ты — лишь ты, без сходства, без родства,
что одиночество — невыносимо.

1940

182

Не сына, не младшего брата, —
тебя бы окликнуть любя:
«Волчонок, волчонок, куда ты?
Я очень боюсь за тебя!»
Сама приручать не хотела
и правды сказать не могла.
На юность, на счастье, на смелость,
на гордость тебя обрекла.
Мы так же росли и мужали.
Пусть ноет недавний рубец —
прекрасно, что ранняя жалость
не трогала наших сердец.
И вот зазвенела в тумане,
в холодном тумане струна.
Тебя искушает и манит
на встречу с бессмертьем война,

Прости, я кругом виновата, —
горит и рыдает в груди;
«Волчонок, волчонок, куда ты?»
Но я не окликну. Иди.

1940

183

...Еще редактор книжки не листает
с унылой и значительною миной,
и расторопный критик не ругает
в статье благонамеренной и длинной,
и я уже не потому печальна:
нет, всё, что днями трудными сияло,
нет, всё, что горько плакало ночами, —
не выплакала я, не рассказала.

Я — не они — одна об этом знаю!
О, тайны сердца, зреющего в бури!
Они ревнуют, и они ж взывают
к стихам...
И ждут, чело нахмурив...

1940

184—185. *АЛЕНУШКА*

1

Когда весна зеленая
затеплится опять —
пойду, пойду Аленушкой
над омутом рыдать.
Кругом березы кроткие
склоняются, горя.
Узорною решеткою
подернута заря.

А в омуте прозрачная
вода весной стоит.
А в омуте-то братец мой
на самом дне лежит.

На грудь положен камушек —
граненый, не простой...
Иванушка, Иванушка,
что сделали с тобой?!

Иванушка, возлюбленный,
светлей и краше дня, —
потопленный, погубленный,
ты слышишь ли меня?

Оболганный, обманутый,
ни в чем не виноват, —
Иванушка, Иванушка,
воротишься ль назад?

Молчат березы кроткие,
над омутом горя.
И тоненькой решеткою
подернута заря...

2

Голосом звериным, исступленная,
я кричу над омутом с утра:
«Совесть светлая моя, Аленушка!
Отзовись мне, старшая сестра.

На дворе костры разложат вечером,
смертные отточат лезвия.
Возврати мне облик человеческий,
светлая Аленушка моя.

Я боюсь не гибели, не пламени:
оборотнем страшно умирать.
О, прости, прости за ослушание!
Помоги заклятье снять, сестра.

О, прости меня за то, что, жаждая,
ночью из звериного следа
напилась водой ночной однажды я...
Страшной оказалась та вода...»

Мне сестра ответила: «Родимая!
Не поправить нам людское зло.

Камень, камень, камень на груди моей.
Черной тиной очи занесло. . .»

. . .Но опять кричу я, исступленная,
страх звериный в сердце не тая. . .
Вдруг спасет меня моя Аленушка,
совесть отчужденная моя?

1940

186. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДРУГУ

Сосны чуть качаются —
мачты корабельные.
Бродит, озирается
песня колыбельная.

Во белых снежках,
в валеных сапожках,
шубка пестрая,
ушки вострые:
слышит снега шепоток,
слышит сердца ропоток.

Бродит песенка в лесу,
держит лапки на весу.
В мягких варежках она,
в теплых, гарусных,
и шумит над ней сосна
черным парусом.

Вот подкралась песня к дому,
смотрит в комнату мою. . .
Хочешь, я тебе, большому,
хочешь, я тебе, чужому,
колыбельную спою?

Колыбельную. . .
Корабельную. . .

Тихо песенка войдет,
ласковая, строгая,
ушками поведет,
варежкой потрогает,

чтоб с отрадой ты вздохнул,
на руке моей уснул,
чтоб ни страшных снов,
чтоб не стало слов,
только снега шепоток,
только сердца бормоток...

1940

187—192. *ЕВРОПА. ВОЙНА 1940 ГОДА*

Илье Эренбургу

1

Забыли о свете
вечерних окон,
задули теплый рыжий очаг,
как крысы, уходят
глубоко-глубоко
в недра земли и там молчат.
А над землею
голодный скрежет
железных крыл,
железных зубов
и визг пилы: не смолкая, режет
доски железные для гробов.
Но всё слышнее,
как плачут дети,
ширится ночь, растут пустыри,
и только вдали на востоке светит
узенькая полоска зари.
И силуэтом на той полоске
круглая, выгнутая земля,
хата, и тоненькая березка,
и меченосные стены Кремля.

2

Я не видала высоких крыш,
черных от черных дождей.
Но знаю
по смертной тоске своей,
как ты умирал, Париж.

Железный лязг и немая тишь,
и день похож на тюрьму.
Я знаю, как ты сдавался, Париж,
по бессилию моему.

Тоску не избудешь,
не заговоришь,
но всё верней и верней
я знаю по ненависти своей,
как ты восстанешь, Париж!

3

Быть может, близко сроки эти:
не рев сирен, не посвист бомб,
а тишину услышат дети
в бомбоубежище глухом.
И ночью, тихо, вереницей
из-под развалин выходя,
они сперва подставят лица
под струи щедрого дождя.
И, точно в первый день творенья,
горячим будет дождь ночной,
и восклубятся испаренья
над взрытою корой земной.
И будет ветер, ветер, ветер,
как дух, носиться над водой...
...Все перебиты. Только дети
спаслись под выжженной землей.
Они совсем не помнят года,
не знают — кто они и где.
Они, как птицы, ждут восхода
и, греясь, плещутся в воде.
А ночь тиха, тепло и сыро,
поток несет гряду костей...
Вот так настанет детство мира
и царство мудрое детей.

4

Будет страшный миг —
будет тишина.
Шепот, а не крик:
«Кончилась война...»

Темно-красных рек
ропот в тишине.
И ряды калек
в розовой волне...

5

Его найдут
в долине плодородной,
где бурных трав
прекрасно естество,
и удивятся силе благородной
и многослойной ржавчине его.
Его осмотрят
с трепетным вниманьем,
поищут след — и не найдут
следа,
потом по смутным песням
и преданьям
определят:
он создан для труда.
И вот отмоют
ржавчины узоры,
бессмертной крови сгустки
на броне,
прицепят плуги,
заведут моторы
и двинут по цветущей целине.
И древний танк,
забыв о нашей ночи,
победным ревом
сотрясая твердь,
потащит плуги,
точно скот рабочий,
по тем полям, где нес
огонь и смерть.

6

Мечи острим и готовим латы
затем, чтоб миру предстала Ты
необоримой, разящей,
крылатой,
в сиянье Возмездия и Мечты.

К тебе взывают сестры и жены,
толпа обезумевших матерей,
и дети,
бродя в городах сожженных,
взывают к тебе:
«Скорей, скорей!»
Они обугленные ручонки
тянут к тебе во тьме, в ночи...
Во имя
счастливейшего ребенка
латы готовим, острим мечи.

Всё шире ползут
кровавые пятна,
в железном прахе земля,
в пыли...
Так будь же готова
на подвиг ратный —
освобожденье всея земли!

1940

193

...Врубелевский Демон год от года тускнеет, погасает, так как он написан бронзовыми красками, которые трудно удержать...

Сообщение в печати.

Не может быть, чтоб жили мы напрасно!
Вот, обернувшись к юности, кричу:
«Ты с нами! Ты безумна! Ты прекрасна!
Ты, горнему подобная лучу!»

. . . .

Так — далеко, в картинной галерее, —
тускнеет Демон, сброшенный с высот.
И лишь зари обломок, не тускнея,
в его венце отверженном цветет.
И чем темнее бронзовые перья,
тем ярче свет невидимой зари,
как знак Мечты, Возмездья и Доверья,
над взором несмирившимся горит...

1940

194—195. *ДОРОГА В ГОРЫ*

1

Мы шли на перевал. С рассвета
менялись года времена:
в долинах утром было лето,
в горах — прозрачная весна.

Альпийской нежностью дышали
зеленоватые луга,
а в полдень мы на перевале
настигли зимние снега,

а вечером, когда спуститься
пришлось к рионским берегам, —
как шамаханская царица
навстречу осень вышла к нам.

Предел и время разрушая,
порядок спутав без труда, —
о, если б жизнь моя — такая,
как этот день, была всегда!

1939

2

На Мамисонском перевале
остановились мы на час.
Снега бессмертные сияли,
короной окружая нас.
Не наш, высокий, запредельный
простор, казалось, говорил:
«А я живу без вас, отдельно,
тысячелетьями, как жил».
И диким этим безучастьем
была душа поражена.
И как зенит земного счастья
в душе возникла тишина.
Такая тишина, такое
сошло спокойствие ее,
что думал — ничего не стоит
перешагнуть в небытие.
Что было вечно? Что мгновенно?

Не знаю, и не всё ль равно,
когда с красою неизменной
ты вдруг становишься одно.
Когда такая тишина,
когда собой душа полна,
когда она бесстрашно верит
в один-единственный ответ —
что время бытию не мера,
что смерти не было и нет.

1940

196. РАЗВЕДЧИК

Мы по дымящимся следам
три дня бежали за врагами.
Последний город виден нам,
оберегаемый садами.

Враг отступил.
Но если он
успел баллоны вскрыть,
как вены?

И вот разведчик снаряжен
очередной полдневной смены.
И это — я.
И я теперь
вступаю в город ветра чище...
Я воздух нюхаю, как зверь
на человечьем пепелище.
И я успею лишь одно —
бежать путем сигнализаций:
«Заражено,
заражено»...

...И полк
начнет приготовляться.
Тогда спокойно лягу я,
конец войны почуя скорый...

. . . .

А через час
войдут друзья
в последний зараженный город.

1940(?)

197

Не знаю, не знаю, живу — и не знаю,
когда же успею, когда запою
в средине лазурную, черную с края,
заветную, лучшую песню мою.

Такую желанную всеми, такую
еще неизвестную спела бы я,
чтоб люди на землю упали, тоскуя,
а встали с земли — хорошея, смеясь.

О чем она будет? Не знаю, не знаю,
а знает об этом июньский прибой,
да чаек бездомных отважная стая,
да сердце, которое только с тобой.

Март 1941

198

Я так боюсь, что всех, кого люблю,
утрачу вновь...
Я так теперь лелею и коплю
людей любовь.

И если кто смеется — не боюсь:
настанут дни,
когда тревогу вещую мою
поймут они.

Май 1941

199. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

...И да здравствует социалистическая революция во всем мире!

Надпись на памятнике В. И. Ленину около Финляндского вокзала в Ленинграде. Это слова, сказанные Лениным 16 апреля 1917 года.

...И вновь Литейный — зона
фронтовая.
Идут войска, идут — в который раз! —
туда, где Ленин, руку простирая,
на грозный подвиг призывает нас.

Они идут, колонна за колонной,
еще в гражданском, тащат узелки...
Невидимые красные знамена
сопровождают красные полки.

Так шли в Семнадцатом —
к тому ж вокзалу,
в предчувствии страданий и побед.
Так вновь идут.
И блещет с пьедестала
неукротимый Ленинский завет.

22 июня 1941

200

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты — по-прежнему — одно.

Июнь 1941

201. МОЛОДОМУ ДОБРОВОЛЬЦУ

Товарищ юный, храбрый и веселый,
тебя зовет Великая Война, —
так будь же верен стягу Комсомола
и двум его прекрасным орденам.
За гордую, за яростную смелость
в боях гражданской пламенной войны,
за честный труд, упрямый и умелый,
те ордена Республикой даны.
Ты принял их на грудь свою по праву,
не украшенье — клятву и завет.
Покрой же их бессмертной новой славой,
нетленно жарким отблеском побед.
В родном цеху, в густом дыму позиций,
где б ни был ты, куда бы ни пошел,
не забывай торжественных традиций, —
на них окреп и вырос Комсомол.
И главная — незыблемая — верность
непобедимой Партии своей.
На первый зов ее, на самый первый
вперед за ней, всегда вперед за ней!
Как шли ребят путиловских отряды,
к груди винтовки старые прижав,
чтоб отстоять твердыни Петрограда,
чтоб отразить четырнадцать держав,
как на Днепре ударники сражались
с неистовой, с безумною водой,
как в приамурских дебрях воздвигали
строители свой город молодой —
так должен ты сражаться и трудиться,

еще смелей, упорней в сотни раз.
Красу и силу боевых традиций —
всё на защиту Родины сейчас.
Всё — для нее: и стяги Комсомола,
и ордена прекрасные его,
и жизнь твоя, товарищ мой веселый,
любовь и ярость сердца твоего.

Начало июля 1941

Отец и сын — Иван и Анатолий Ревко — вместе вступили в народное ополчение, в пулеметный взвод, где отец стал командиром.

202

Война постучала в окно,
отцу до зари не уснуть.
«Ну что же, — сказал он, — сынок,
мужчины отправятся в путь.

Ты слышишь за окнами гул
далеких родных батарей?
(Он встал и крючки застегнул
на старой кожанке своей.)

Так пусть застучит пулемет
под верной моею рукой:
отчизна, как прежде, зовет
солдата Ивана Ревко».

И сын отвечает: «Идем.
Ровесники ждут у ворот.
Мы взвод молодой соберем,
ты примешь и выучишь взвод.

За отчий, за радостный дом,
за то, чтоб дышалось легко, —
идем в ополченье, идем», —
сказал Анатолий Ревко.

«Идите, — промолвила мать, —
с победой вернитесь под кров.
Отчизну должна отстоять
бесстрашная русская кровь».

Из города взвод молодой
уходит на фронт далеко,
и юных ведет за собой
седой пулеметчик Ревко.

С ним рядом мужающий сын,
погодки его и друзья.
И все старику, как один,
возлюбленные сыновья.

Да здравствуют наши бойцы, —
земля не знавала храбрей.
Да здравствуют наши отцы
и злая любовь матерей!

Июль 1941

203. НАЧАЛО ПОЭМЫ

...Всю ночь не разнимали руки,
всю ночь не спали мы с тобой:
я после долгой, злой разлуки
опять пришла к тебе — домой.

Мы говорили долго, жадно,
мы не стыдились слез отрадных, —
мы так крепились в дни ненастья...
Теперь душа светла, мудра,
и зрелое людское счастье,
как солнце, встретит нас с утра.
Теперь навек — ты веришь, веришь? —
любовь одна и жизнь одна...
...И вдруг стучит соседка в двери,
вошла и говорит:
«Война!»

Война уже с рассвета длится.
Войне уже девятый час.
Уж враг за новою границей.
Уж сотни первых вдов у нас.
Войне идет девятый час.
И в вечность канул день вчерашний.
Ты говоришь:
«Ну как? Не страшно?»

— «Нет... Ты идешь в военкомат?»
Еще ты муж, но больше — брат...
Ступай, родной...
И ты — солдат,
ты соотечественник мне,
и в этом — всё.
Мы на войне.

1941 или 1942

Двадцатое августа 1941 года. Ленинград объявлен в опасности.

204. ПЕСНЯ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ МАТЕРИ

Вставал рассвет балтийский,
ясный,
когда воззвали рупора:
«Над нами грозная опасность.
Бери оружье, Ленинград!»
А у ворот была в дозоре
седая мать троих бойцов,
и дрогнуло ее лицо,
и пробежал огонь во взоре.
Она сказала:
«Слышу, маршал.
Ты обращаешься ко мне.
Уже на фронте сын мой старший,
и средний тоже на войне.
А младший сын со мною рядом,
ему семнадцать лет всего,
но на защиту Ленинграда
я отдаю теперь его.
Иди, мой младший, мой любимый,
зови с собой своих друзей.
Да не падет на дом родимый
бесчестье плена и плетей!
Нет, мы не встанем на колени!
Не опозорить, не попрать
тот город, где Владимир Ленин
учил терпеть и побеждать.

Нет, осиянный ратной славой,
великий город победит,
мстя за Париж, и за Варшаву,
и за твою судьбу, Мадрид».

...На бранный труд, на бой, на муки,
во имя права своего,
уходит сын, целуя руки,
благословившие его.

И, хищникам пророча горе,
гранаты трогая кольцо, —
у городских ворот в дозоре
седая мать троих бойцов.

20 августа 1941

Август 1941 года. Немцы неистово рвутся к Ленинграду. Ленинградцы строят баррикады на улицах, готовясь, если понадобится, к уличным боям.

205

...Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...

Кронштадтский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:

Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.

22 августа 1941

Тридцать пять тысяч ленинградских женщин и девушек подали заявление с просьбой зачислить их в дружинницы Красного Креста.

206. В ГОСПИТАЛЕ

Солдат метался: бред его терзал.
Горела грудь. До самого рассвета
он к женщинам семьи своей взывал,
он звал, тоскуя: «Мама, где ты, где ты?»
Искал ее, обшаривая тьму...
И юная дружинница склонилась
и крикнула — сквозь бред и смерть — ему:
«Я здесь, сынок! Я здесь, я рядом, милый!»

И он в склоненной мать свою узнал.
Он зашептал, одолевая муку:
«Ты здесь? Я рад. А где ж моя жена?
Пускай придет, на грудь положит руку».
И снова наклоняется она,
исполненная правдой и любовью.
«Я здесь, — кричит, — я здесь, твоя жена,
у твоего родного изголовья.
Я здесь, жена твоя, сестра и мать.
Мы все с тобой, защитником отчизны.

Мы все пришли, чтобы тебя поднять,
вернуть себе, отечеству и жизни».
Ты веришь, воин. Отступая, бред,
сменяется отрадою покоя.
Ты будешь жить. Чужих и дальних нет,
покуда сердце женское с тобою.

Август 1941

Первые бомбардировки Ленинграда, первые артиллерийские снаряды на его улицах. Фашисты рвутся к городу. Ежедневно Ленинград говорит со страной по радио.

207. СЕСТРЕ

Машенька, сестра моя, москвичка!
Ленинградцы говорят с тобой.
На военной грозной перекличке
слышишь ли далекий голос мой?
Знаю — слышишь. Знаю — всем знакомым
ты сегодня хвастаешь с утра:
«Нынче из отеческого дома
говорила старшая сестра».
. . .Старый дом на Палевском, за Невской,
низенький зеленый палисад.
Машенька, ведь это — наше детство,
школа, елка, пионеротряд. . .
Вечер, клены, мандолины струны
с соловьем заставским вперебой.
Машенька, ведь это наша юность,
комсомол и первая любовь.
А дворцы и фабрики заставы?
Труд в цехах неделями подряд?
Машенька, ведь это наша слава,
наша жизнь и сердце — Ленинград.
Машенька, теперь в него стреляют,
прямо в город, прямо в нашу жизнь,
пленом и позором угрожают,
кандалы готовят и ножи.
Но, жестоко душу напрягая,
смертно ненавидя и скорбя,
я со всеми вместе присягаю
и даю присягу за тебя.

Присягаю ленинградским ранам,
первым разоренным очагам:
не сломлюсь, не дрогну, не устану,
ни крупицы не прощу врагам.
Нет. По жизни и по Ленинграду
полчища фашистов не пройдут.
В низеньком зеленом палисаде
лучше мертвой наземь упаду.
Но не мы — они найдут могилу.
Машенька, мы встретимся с тобой.
Мы пройдемся по заставе милой,
по зеленой, синей, голубой.
Мы пройдемся улицею длинной,
вспомним эти горестные дни,
и услышим говор мандолины,
и увидим мирные огни.
Расскажи ж друзьям своим в столице:
«Стоек и бесстрашен Ленинград.
Он не дрогнет, он не покорится, —
так сказала старшая сестра».

12 сентября 1941

Сентябрь 1941 года. Враг у ворот Ленинграда. Непрерывные бомбежки и обстрелы. Хлебная норма резко уменьшена.

208. ПЕРВОЕ ПИСЬМО НА КАМУ

Я знаю — далеко на Каме
тревожится, тоскует мать.
Что написать далекой маме?
Как успокоить? Как солгать?

Она в открытках каждой строчкой,
страшась и всей душой любя,
всё время молит: «Дочка, дочка,
прошу, побереги себя. . .»

О, я любой ценою рада
тревогу матери унять.
Я напишу ей только правду.
Пусть не боится за меня.
«Я берегу себя, родная.

Не бойся, очень берегу:
я город наш обороняю
со всеми вместе, как могу.
Я берегу себя от плена,
позорнейшего на земле.
Мне кровь твоя, чернея в венах,
диктует: гибель, но не плен!
Не бойся, мама, я не струшу,
не отступлю, не побегу.
Взращенную тобою душу
непобежденной сберегу.
Не бойся, нет во мне смятенья,
еще надолго хватит сил:
победоносному терпенью
недаром Ленин нас учил.
Не бойся, мама, — я с друзьями,
а ты люби моих друзей. . .»

. . .Так я пишу далекой маме.
Я написала правду ей.

Я не пишу — и так вернее, —
что старый дом разрушен наш,
что ранен брат, что я старею,
что мало хлеба, мало сна.
И главная, быть может, правда
в том, что не всё узнает мать.
Ведь мы залечим эти раны,
мы всё вернем себе опять.
И сон — спокойный, долгий, теплый,
и песни с самого утра,
и будет в доме, в ясных стеклах
заря вечерняя играть. . .

И я кричу знакомым людям:
«Пишите правду матерям!
Пишите им о том, что будет.
Не жалуйтесь, что трудно нам. . .»

24 сентября 1941

209. СТИХИ О ЛЕНИНГРАДСКИХ БОЛЬШЕВИКАХ

Нет в стране такой далекой дали,
не найдешь такого уголка,
где бы не любили, где б не знали
ленинградского большевика.

В этом имени — осенний Смольный,
Балтика, «Аврора», Петроград.
Это имя той железной воли,
о которой гимном говорят.

В этом имени бессмертен Ленин
и прославлен город на века,
город, воспринявший облик гневный
ленинградского большевика.

Вот опять земля к сынам воззвала,
крикнула: «Вперед, большевики!»
Страдный путь к победе указала
Ленинским движением руки.

И, верны уставу, как присяге,
вышли первыми они на бой,
те же, те же смольнинские стяги
высоко подняв над головой.

Там они, где ближе гибель рыщет,
всюду, где угроза велика.
Не щадить себя — таков обычай
ленинградского большевика.

И идут, в огонь идут за ними,
все идут — от взрослых до ребят,
за безжалостными, за своими,
не щадящими самих себя.

Нет, земля, в неволю, в когти смерти
ты не будешь отдана, пока
бьется хоть единственное сердце
ленинградского большевика.

Сентябрь 1941

210. ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО

Я говорю, держа на сердце руку.
Так на присяге, может быть, стоят.
Я говорю с тобой перед разлукой,
страна моя, прекрасная моя.

Прозрачное, правдивейшее слово
ложится на безмолвные листы.
Как в юности, молюсь тебе сурово
и знаю: свет и радость — это ты.

Я до сих пор была твоим сознаньем.
Я от тебя не скрыла ничего.
Я разделила все твои страданья,
как раньше разделяла торжество.

...Но ничего уже не страшно боле:
сквозь бред и смерть сияет предо мной
твое ржаное дремлющее поле,
ущербной озаренное луной.

Еще я лес твой вижу
и на камне,
над безымянной речкою лесной,
заботливыми свернутый руками
немудрый черпачок берестяной.

Как знак добра и мирного общенья,
лежит черпак на камне у реки,
а вечер тих,
неслышно струй теченье
и на траве мерцают светляки...

О, что мой страх,
что смерти неизбежность,
испепеляющий душевный зной
перед тобой — незыблемой, безбрежной,
перед твоей вечерней тишиной?

Умру, — а ты останешься, как раньше,
и не изменятся твои черты.
Над каждою твоею черной раной
лазоревые вырастут цветы.

И к дому ковыляющий калека
над безымянной речкою лесной
опять сплетет черпак берестяной
с любовной думою о человеке. . .

Сентябрь 1941

211—216. *ИЗ БЛОКНОТА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА*

1

. . .Видим — опять надвигается ночь,
и этому не помочь:
ничем нельзя отвратить темноту,
прикрыть небесную высоту. . .

2

Я не дома, не города житель,
не живой и не мертвый — ничей:
я живу между двух перекрытий,
в груде сложенных кирпичей. . .

3

О, это явь — не чудится, не снится:
сирены вопль, и тихо — и тогда
одно мгновенье слышно — птицы, птицы
поют и свищут в городских садах.

Да, в тишине предбоевой, в печали,
так торжествуют хоры вешних птиц,
как будто б рады, что перекричали
огромный город, падающий ниц. . .

4

В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят. . .
Быть может, нас сейчас завалит.
Кругом о бомбах говорят. . .

. . . .

...Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была...

5

Да, я солгу, да, я тебе скажу:
«Не знаю, что случилося со мной,
но так легко я по земле хожу,
как не ходила долго и давно.
И так мила мне вся земная твердь,
так песнь моя чиста и высока...
Не потому ль, что в город входит смерть,
а новая любовь недалека?..»

6

...Сидят на корточках и дремлют
под арками домов чужих.
Разрывам бомб почти не внемлют,
не слышат, как земля дрожит.
Ни дум, ни жалоб, ни желаний...
Одно стремление — уснуть,
к чужому городскому камню
щекой горящею прильнуть...

Сентябрь 1941

217. ПЕСНЯ О ЛЕОНИДЕ КОРОТКИ́Х

О нем говорили — «наш».
Он был из таких людей,
которым ты всё отдашь
и в счастье своем, и в беде.

Затем, что себя не жалел,
ни юность, ни жизнь свою.
Легко ходил по земле,
других выручал в бою.

Ты имя его сохрани.
Он родом с сибирской реки,
меж сверстников — «наш Леонид»,
в строю — лейтенант Коротки́х.

Я песню веду с рубежа,
откуда вечерней порой
в атаку, в атаку бежал
неистовый взвод молодой.

А он, как всегда, — впереди.
Ревут автоматы в дыму.
Он падает с пулей в груди,
и бросились люди к нему.

Но миг остановки — беда,
в атаке мгновенье в цене.
«Вперед, — закричал он тогда, —
не сметь подходить ко мне!»

И, вздрогнув, послушался взвод.
Рыданье сдавил на бегу.
И, прыгая через него,
ударил, как смерч, по врагу.

И песнь, обрываясь, звенит
на самой высокой струне.
Пусть имя твое, Леонид,
запомнится нашей стране.

Затем, что себя не жалел,
ни юность, ни жизнь свою.
Легко ходил по земле,
других выручал в бою.

. . . .

Я жадно, ревниво коплю
свидетельства чести людской.
Мой друг, я тебя люблю
за то, что и ты — такой.

Сентябрь 1941

Фашистам не удалось взять Ленинград штурмом. Они замкнули вокруг него кольцо блокады.

218

...Я буду сегодня с тобой говорить,
товарищ и друг ленинградец,
о свете, который над нами горит,
о нашей последней отраде.

Товарищ, нам горькие выпали дни,
грозят небывалые беды,
но мы не забыты с тобой, не одни, —
и это уже победа.

Смотри — материнской тоскою полна,
за дымной грядою осады,
не сводит очей воспаленных страна
с защитников Ленинграда.

Так некогда, друга отправив в поход,
на подвиг тяжелый и славный,
рыдая, глядела века напролет
со стен городских Ярославна.

Молила, чтоб ветер хоть голос домчал
до друга сквозь дебри и выси...
А письма летят к Ленинграду сейчас,
как в песне, десятками тысяч.

Сквозь пламя и ветер летят и летят,
их строки размыты слезами.
На ста языках об одном говорят:
«Мы с вами, товарищи, с вами!»

А сколько посылок приходит с утра
сюда, в ленинградские части!
Как пахнут и варежки и свитера
забытым покоем и счастьем...

И нам самолеты послала страна, —
да будем еще неустанней! —
их мерная, гулкая песня слышна,
и видно их крыльев блистанье.

Товарищ, прислушайся, встань, улыбнись
и с вызовом миру поведай:
— За город сражаемся мы не одни, —
и это уже победа.

Спасибо. Спасибо, родная страна,
за помощь любовью и силой.
Спасибо за письма, за крылья для нас,
за варежки тоже спасибо.

Спасибо тебе за тревогу твою —
она нам дороже награды.
О ней не забудут в осаде, в бою
защитники Ленинграда.

Мы знаем — нам горькие выпали дни,
грозят небывалые беды.
Но Родина с нами, и мы не одни,
и нашею будет победа.

4 октября 1941

219. БАЛЛАДА О МЛАДШЕМ БРАТЕ

Его ввели в германский штаб,
и офицер кричал:
«Где старший брат? Твой старший брат?
Ты знаешь — отвечай!»

А он любил ловить щеглят,
свистать и петь любил,
и знал, что пленники молчат, —
так брат его учил.

Сгорел дотла родимый дом,
в лесах с отрядом брат.
«Живи, — сказал, — а мы придем,
мы всё вернем назад.
Живи, щегленок, не скучай,
пробьет победный срок. . .
По этой тропочке таскай
с картошкой котелок».

В свинцовых пальцах палача
безжалостны ножи.

Его терзают и кричат:
«Где старший брат? Скажи!»

Молчать — нет сил. Но говорить —
нельзя... И что сказать?
И гнев бессмертный озарил
мальчишечьи глаза.
«Да, я скажу, где старший брат.
Он тут, и там, и здесь.
Везде, где вас, врагов, громят,
мой старший брат — везде.
Да, у него огромный рост,
рука его сильна.
Он достает рукой до звезд
и до морского дна.
Он водит в небе самолет,
на крыльях — по звезде,
из корабельных пушек бьет
и вражий танк гранатой рвет...
Мой брат везде, везде.
Его глаза горят во мгле
всевидящим огнем.
Когда идет он по земле,
земля дрожит кругом.
Мой старший брат меня любил.
Он всё возьмет назад...»
...И штык фашист в него вонзил.
И умер младший брат.
И старший брат о том узнал.
О, горя тишина!..
«Прощай, щегленок, — он сказал, —
ты постоял за нас!»

Но стисни зубы, брат Андрей,
молчи, как он молчал.
И вражьей крови не жалей,
огня и стали не жалей, —
отмщенье палачам!
За брата младшего в упор
рази врага сейчас,
за младших братьев и сестер,
не выдававших нас!

Между 3 и 15 октября 1941

Шестнадцатое октября 1941 года. Враг рвется к Москве. «Линия обороны Москвы проходит через сердце каждого ленинградца», — говорили в Ленинграде.

220

К сердцу Родины руку тянет
трижды пр́оклятый миром враг.
На огромнейшем поле брани
кровь отметила каждый шаг.

О, любовь моя, жизнь и радость,
дорогая моя земля!
Из отрезанного Ленинграда
вижу свет твоего Кремля.

Пятикрылые вижу звезды,
точно стали еще алей.
Сквозь дремучий, кровавый воздух
вижу Ленинский Мавзолей.

И зарю над стеною старой,
и зубцы ее, как мечи.
И нетленный прах коммунаров
снова в сердце мое стучит.

Наше прошлое, наше дерзанье,
всё, что свято нам навсегда, —
на разгром и на поруганье
мы не смеем врагу отдать.

Если это придется взять им,
опозорить свистом плетей,
пусть ложится на нас проклятье
наших внуков и их детей!

Даже клятвы сегодня мало.
Мы во всем земле поклялись.
Время смертных боев настало —
будь неистов. Будь молчалив.

Всем, что есть у тебя живого,
чем страшна и прекрасна жизнь —
кровью, пламенем, сталью,
                                        словом, —
задержи врага. Задержи!

16 октября 1941

221. СТИХИ О ВООРУЖЕННОМ НАРОДЕ

...Ночь, триумфальной арки колоннада,
и у костра — красногвардейский взвод...
Сегодня на защиту Петрограда
вооруженный выступил народ.

У каждого чуть видимого зданья,
на перекрестках встали, по мостам,
и невских звезд осеннее сиянье,
холодное, струится по штыкам.

О, гневные полночные дозоры,
негромкий окрик:
                                «Кто на фронт идет?»
А фронт за пустырем, за тем забором...
И отвечают: «Мы идем, народ».

Путиловцы, наборщики, студенты
сражаются у Пулковских высот,
не зная, что свершаются легенды,
когда вооружается народ.

И штык разит, зазубренный и ржавый,
и мечет смерть калека-пулемет.
Все в действии. На бой святой и правый
вооруженный выступил народ.

Так были смяты юнкера Краснова,
Юденич был отброшен и разбит.
И годы шли. Но враг заклятый снова
орденоносцу-городу грозит.

Вот он ползет в коричневой рубахе,
в безжизненном мерцании ночей.
Он тащит плети, виселицы, плахи,
ведет тюремщиков и палачей...

Нет, врешь, не выйдет!
                                        Врешь, еще завоешь.
И не сегодня-завтра час придет —
ты сам узнаешь, что это такое,
когда вооружается народ.

Уже в руках нагрелися приклады,
уже штыки устремлены вперед.
Железом пахнут ночи Ленинграда,
когда вооружается народ.

И страшного оружия немало
у ленинградских граждан про запас.
Да не иссякнут недра Арсенала,
открытые и щедрые — для нас.

И мужество сердцам да не изменит,
скорбь о погибших да не замолчит.
В своей крови, в своей предсмертной пене
вы сами захлебнетесь, палачи.

Вас втопчет в землю вставшая громада,
раздавит, растерзает, разотрет.
На грозную защиту Ленинграда
вооруженный выступил народ.

Октябрь 1941

222

И под огнем на черной шаткой крыше
ты крикнул мне,
                        не отводя лица:
«А если кто-нибудь из нас...
                                        Ты слышишь?
Другой трагедию досмотрит до конца».
Мы слишком рано вышли —
                                        в первом акте,
но помнил ты, что оставлял.
И я не выйду до конца спектакля —
                        его актер, и зритель, и судья.
Но, господи, дай раньше умереть,
                                        чем мне сказать:
«Не стоило смотреть».

Октябрь (?) 1941

223

И мы справляли, как могли,
великий день...
И, как дерзанье,
в бомбоубежищах прошли
торжественные заседанья.
Сюда, под землю, принесли
мы наши гордые знамена.
А бомбы с грохотом рвались,
и с пением мешались стоны...
Мы под землею пронесли
знамена наши, песни, силу...
Мы праздновали, как могли,
великий день для всей России...
Да, зубы сжав и брови сдвинув,
не отведя от смерти глаз,
мы отмечали грозный час
Двадцать четвертой годовщины.

И вот сейчас, когда в огнях,
в живых огнях трепещет Невский;
мне не забыть об этих днях,
подобных мужественной песне.

6 ноября 1941, 1945

224

Покуда небо сумрачное меркнет,
мой дальний друг, прислушайся, поверь.
Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны,
мы, смертью попирающие смерть.
Мы защищаем город наш любимый,
все испытанья поровну деля.
Клянусь тебе, что мы неистребимы,
за нами — наша русская земля.
Она могучая, она у нас большая.
Припомни-ка простор ее сплошной.
Клянусь тебе, мы подвиг совершаем
во имя всей земли своей родной.
Мы, ленинградцы, ныне держим знамя,
мы — Родины передовой отряд.

Весь шар земной сейчас следит за нами,
пароль и отзыв мира: «Ленинград».
Клянусь тебе, у нас не будет трусов.
Мы закричим бегущему вослед:
«Ты предал нас фашистам. Ты не русский».
И не оставим труса на земле.
Клянусь тебе, мы страшно будем биться,
клянусь тебе — мы скоро победим,
и даже смерть отступит, устрашится
и рухнет наземь остовом своим.

Осень 1941

225. ГВАРДЕЙЦЫ

Сорок пятой гвардейской посвящаю

Никто из них не помышлял о славе.
О ней ли думать в страшный час, когда
родную землю топчет и кровавит
проклятая германская орда?

Они дрались — и не могли иначе.
Они забыли жалость, боль и страх.
Что значит боль, когда ребенок плачет,
когда молчит под пыткою сестра.

Что значит страх, когда с клеймом, с цепями
крадется к женщинам и детям враг,
чтобы сослать — пожизненно — рабами...
Они забыли, что такое страх.

Республиканцы, граждане, солдаты
красногвардейской выправки былой,
их каждый бой кровавой был расплатой
за боль и кровь земли своей родной.

И, чуя в них свою и мощь и силу,
ту, что врага испепелит дотла,
отчизна их сама вознаградила
и гвардией своею назвала.

О гвардия, твоими именами
она гордится в горестные дни,
особое тебе вручает знамя:
борись под ним, лелей его, храни.

О гвардия, где каждый ныне рыцарь,
настанет день — и, радуясь, народ
простые их, обветренные лица
на бронзовых медалях отольет.

Не нам искать и добиваться славы.
Единственная слава — жизнь твоя.
Твое, страна, незыблемое право
дарить бессмертье верным сыновьям.

1941

226

О, если бы дожить —
                    дожить с тобою
до самого последнего отбоя.
Как долго будет петь тогда рожок
в прозрачной и печальной тишине.
Живые лягут на́ землю ничком,
уткнув лицо в кровавые ладони,
а всех убитых на спину положат,
чтобы они смотрели прямо в небо
и видели — там нету ничего,
и больше самолетов не боялись.
Кому дадут сыграть отбой последний,
ребенку? Матери?
                    Седому старику?
Кому ж доверят
                    возвестить о мире,
кому не стыдно будет
                    взять рожок?
Глухонемой,
                    незрячий пастушок, —
ему, наверное, дадут рожок.

1941

227. СТАРАЯ ГВАРДИЯ

В дни, когда на фронт пошли полки,
чтоб воздать злодеям полной мерой, —
на завод вернулись старики,
персональные пенсионеры.

Их вернулось двадцать, как один,
к агрегатам старого завода,
все — в суровой красоте седин,
верная рабочая порода.
Кавалеры многих орденов,
выправку хранящие поныне,
бившие сегодняшних врагов
в восемнадцатом на Украине.
«Разве, — говорят они, — сейчас
можем отдыхать мы без заботы?
В этот славный и опасный час
руки наши требуют работы.
У тисков, вагранок и станков,
там, где только это будет нужно, —
мы заменим воинов-сынов,
мы дадим сынам своим оружье».
И на приумолкшие станки,
не забытые за дни разлуки,
тихо положили старики
мудрые и любящие руки.
И запели светлые резцы,
мастеров узнав прикосновенье...
Было утро. Шли на фронт бойцы,
чтоб принять и выиграть сраженье.

1941

Пятое декабря 1941 года. Идет четвертый месяц блокады. До пятого декабря воздушные тревоги длились по десять — двенадцать часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба.

228. РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа —
наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке...

Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист —
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви...

Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»
— «Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь».

Дарья Власьевна, еще немного,
день придет — над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной...
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.

А тебе — да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она!

5 декабря 1941

229. ВТОРОЕ ПИСЬМО НА КАМУ

. . .Вот я снова пишу на далекую Каму.
Ставлю дату: двадцатое декабря.
Как я счастлива,
что горячо и упрямо
штемпеля Ленинграда
на конверте горят.
Штемпеля Ленинграда! Это надо понять.
Все защитники города
понимают меня.
Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад,
в полугодье войны, изумляясь себе:
мы ведь смерти самой поглядели в глаза.
Мы готовились к самой последней борьбе.
Ленинград в сентябре, Ленинград
в сентябре. . .
Златосумрачный, царственный листопад,
скрежет первых бомбежек, рыданье сирен,
темно-ржавые контуры баррикад.
Только всё, что тогда я на Каму писала,
всё, о чем я так скупо теперь говорю, —
ленинградец, ты знаешь, — было только
началом,
было только вступленьем
к твоему декабрю.
Ленинград в декабре, Ленинград
в декабре!
О, как ставенки стонут на темной заре,
как угрюмо твое ледяное жилье,
как врагами изранено тело твое. . .
Мама, Родина светлая, из-за кольца
ты твердишь:
«Ежечасно гордимся тобой».
Да, мы вновь не отводим от смерти лица,
принимаем голодный и медленный бой.

Ленинградец, мой спутник,
мой испытанный друг,
нам декабрьские дни сентября тяжелей.
Всё равно не разнимем
слабеющих рук:
мы и это, и это должны одолеть.
Он придет, ленинградский торжественный
полдень,
тишины, и покоя, и хлеба душистого
полный.
О, какая отрада,
какая великая гордость
знать, что в будущем каждому скажешь
в ответ:
«Я жила в Ленинграде
в декабре сорок первого года,
вместе с ним принимала
известия первых побед».
...Нет, не вышло второе письмо
на далекую Каму!
Это гимн ленинградцам — опухшим,
упрямым, родным.
Я отправлю от имени их
за кольцо телеграмму:
«Живы. Выдержим. Победим!»

20 декабря 1941

230. НОВОГОДНИЙ ТОСТ

В еще невиданном уборе
завьюженный огромный дот —
так Ленинград — гвардеец-город —
встречает этот Новый год.
Как беден стол, как меркнут свечи!
Но я клянусь — мы никогда
правдивей и теплее встречи
не знали в прежние года.
Мы, испытавшие блокаду,
все муки ратного труда,
друг другу счастья и отрады
желаем так, как никогда.
С безмерным мужеством и страстью
ведущие неравный бой,

мы знаем, что такое счастье,
что значит верность и любовь.
Так выше головы и чаши
с глотком вина — мы пьем его
за человеческое наше
незыблемое торжество!
За Армию — красу и гордость
планеты страждущей земной.
За наш угрюмый, темный город,
втройне любимый и родной.
Мы в чаянье тепла и света
глядим в грядущее в упор...
За горе, гибель и позор
врага!
За жизнь! За власть Советов!

31 декабря 1941

231. АРМИЯ

Мне скажут — Армия...
Я вспомню день — зимой,
январский день сорок второго года.
Моя подруга шла с детьми домой —
они несли с реки в бутылках воду.
Их путь был страшен,
хоть и недалек.
И подошел к ним человек в шинели,
взглянул —
и вынул хлебный свой паек,
трехсотграммовый, весь обледенелый.
И разломил, и детям дал чужим,
и постоял, пока они поели.
И мать рукою серою, как дым,
дотронулась до рукава шинели.
Дотронулась, не посветлев в лице...
Не ведал мир движенья благодарней!
Мы знали всё о жизни наших армий,
стоявших с нами в городе, в кольце.
...Они расстались. Мать пошла направо,
боец вперед — по снегу и по льду.
Он шел на фронт, за Нарвскую заставу,
от голода качаясь на ходу.

Он шел на фронт, мучительно палим
стыдом отца, мужчины и солдата:
огромный город умирал за ним
в седых лучах январского заката.
Он шел на фронт, одолевая бред,
всё время помня — нет, не помня — зная,
что женщина глядит ему вослед,
благодаря его, не укоряя.
Он снег глотал, он чувствовал с досадой,
что слишком тяжелеет автомат,
добрел до фронта и пополз в засаду
на истребленье вражеских солдат...
...Теперь ты понимаешь — почему
нет Армии на всей земле любимей,
нет преданней ее народу своему,
великодушней и непобедимей!

Январь 1942

232. 29 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

Памяти друга и мужа Николая Степановича Молчанова

Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.

Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мýка
и немота понятнее всего.

Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.

И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна — везде и всюду
в твоем последнем пасмурном бреду...

Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила
всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.
На страсть и ревность — пусть придет другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землей.

Ну что ж, пусть будет так...

Конец января 1942

233. ФЕВРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

1

Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова,
я тоже — ленинградская вдова.

Мы съели хлеб,
что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном...

И стыли ноги, и томилась свечка.
Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,
похожее на радугу слегка.

Когда немного посветлело небо,
мы вместе вышли за водой и хлебом
и услыхали дальней канонады
рыдающий, тяжелый, мерный гул:
то Армия рвала кольцо блокады,
вела огонь по нашему врагу.

2

А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных...

Так с декабря кочуют горожане
за много верст, в густой туманной мгле,
в глуши слепых, обледеневших зданий
отыскивая угол потеплей.

Вот женщина ведет куда-то мужа.
Седая полумаска на лице,
в руках бидончик — это суп на ужин.
Свистят снаряды, свирепеет стужа...
«Товарищи, мы в огненном кольце».

А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтинское кладбище везет.

Везет, качаясь, — к вечеру добраться б...
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин!
Провозят ленинградца,
погибшего на боевом посту.

Скрипят полозья в городе, скрипят...
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведет.

О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на Охтинском, на правом берегу.

3

Как мы в ту ночь молчали, как молчали...
Но я должна, мне надо говорить
с тобой, сестра по гневу и печали:
прозрачны мысли и душа горит.

Уже страданьям нашим не найти
ни меры, ни названья, ни сравненья.
Но мы в конце тернистого пути
и знаем — близок день освобожденья.

Наверно, будет грозный этот день
давно забытой радостью отмечен:
наверное, огонь дадут везде,
во все дома дадут, на целый вечер.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце, во мраке, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним,
свободным, щедрым днем,
мы этот день уже завоевали.

4

Враги ломились в город наш свободный, —
крошились камни городских ворот...
Но вышел на проспект Международный
вооруженный трудовой народ.

Он шел с бессмертным
возгласом в груди:
«Умрем, но Красный Питер
не сдадим!..»
Красногвардейцы, вспомнив о былом,
формировали новые отряды,
и собирал бутылки каждый дом
и собственную строил баррикаду.

И вот за это долгими ночами
пытал нас враг железом и огнем...
«Ты сдашься, струсишь, — бомбы нам
кричали, —
забьешься в землю, упадешь ничком.
Дрожа, запросят плена, как пощады,
не только люди — камни Ленинграда!»

Но мы стояли на высоких крышах
с закинутою к небу головой,
не покидали хрупких наших вышек,
лопату сжав немеющей рукой.

...Настанет день,
и, радуясь, спеша,
еще печальных не убрав развалин,
мы будем так наш город украшать,
как люди никогда не украшали.

И вот тогда на самом стройном зданье,
лицом к восходу солнца самого
поставим мраморное изваянье
простого труженика ПВО.

Пускай стоит, всегда зарей объятый,
так, как стоял, держа неравный бой:
с закинутою к небу головой,
с единственным оружием — лопатой.

5

О древнее орудие земное,
лопата,
верная сестра земли!
Какой мы путь немыслимый с тобою
от баррикад до кладбища прошли!

Мне и самой порою не понять
всего, что выдержали мы с тобою...
Пройдя сквозь пытки страха и огня,
мы выдержали испытанье боем.

И каждый, защищавший Ленинград,
вложивший руку в пламенные раны,

И ночь ли будет, полдень или вечер, -
Но в тот день мы, как один, пойдем
Воительнице-армии навстречу
В освобожденном городе своем.

Мы выйдем без цветов,
в пожарных касках,
В тяжелых ватниках, морозных
в ~~[illegible]~~ полумасках

Как равные, приветствуя войска
И крылья мечевидные расправив
Над нами встанет бронзовая слава,
Держа венок в [illegible] руках

не просто горожанин, а солдат,
по мужеству подобный ветерану.

Но тот, кто не жил с нами, — не поверит,
что в сотни раз почетней и трудней
в блокаде, в окруженье палачей
не превратиться в оборотня, в зверя...

. . . .

6

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что как роса сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.

И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть как тень тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

О да, мы счастье страшное открыли —
достойно не воспетое пока, —
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака;
когда вели полночные беседы
у бедного и дымного огня,
как будем жить,
когда придет победа,
всю нашу жизнь по-новому ценя.

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
как полдень жизни, будешь вспоминать
дом на проспекте Красных Командиров,
где тлел огонь и дуло от окна.

Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод.
Ликуя, плача, сердце позовет
и эту тьму, и голос мой, и холод,
и баррикаду около ворот.

Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда!

Да здравствует суровый и спокойный,
глядевший смерти в самое лицо,
удушливое вынесший кольцо
как Человек,
                    как Труженик,
                                        как Воин!

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют — Ленинград,
и шар земной гордится Ленинградом.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце и стуже, в голоде, в печали,
мы дышим завтрашним,
                              счастливым, щедрым днем, —
мы сами этот день завоевали.

И ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.

Мы выйдем без цветов,
                              в помятых касках,
в тяжелых ватниках, в промерзших
                                        полумасках,
как равные, приветствуя войска.

И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая Слава,
держа венок в обугленных руках.

Январь — февраль 1942

234

Нам от тебя теперь не оторваться.
Одною небывалою борьбой,
одной неповторимою судьбой
мы все отмечены. Мы — ленинградцы.

Нам от тебя теперь не оторваться:
куда бы нас ни повела война —
душа твоею жизнию полна,
и мы везде и всюду — ленинградцы.

Нас по морщинам узнают надменным
у бледных губ, у сдвинутых бровей.
По острым, не согнувшимся коленам,
по пальцам, почерневшим от углей.

Нас по улыбке узнают! Не частой,
но дружелюбной, ясной и простой.
По вере в жизнь. По страшной жажде счастья.
По доблестной привычке трудовой.

Мы не кичимся буднями своими.
Наш путь угрюм и ноша нелегка,
но знаем, что завоевали имя,
которое останется в веках.

Да будет наше сумрачное братство
отрадой мира лучшею навек,
чтоб даже в будущем по ленинградцам
равнялся самый смелый человек.

Да будет сердце счастьем озаряться
у каждого, кому проговорят:
«Ты любишь так, как любят
ленинградцы. . .»
Да будет мерой чести Ленинград.

Да будет он любви бездонной мерой
и силы человеческой живой,
чтоб в миг сомнения,
как символ веры,
твердили имя горькое его.

Нам от него теперь не оторваться:
куда бы нас ни повела война —
его величием
душа полна,
и мы везде и всюду — ленинградцы.

Апрель 1942

235. ДОРОГА НА ФРОНТ

. . .Мы шли на фронт по улицам знакомым,
припоминали каждую, как сон:
вот палисад отеческого дома,
здесь жил, шумя, огромный добрый клен.

Он в форточки тянулся к нам весною,
прохладный, глянцевитый поутру.
Но этой темной ледяной зимою
и ты погиб, зеленый шумный друг.

Зияют окна вымершего дома.
Гнездо мое, что сделали с тобой!
Разбиты стены старого райкома,
его крылечко с кимовской звездой.

Я шла на фронт сквозь детство — той дорогой,
которой в школу бегала давно.
Я шла сквозь юность,
сквозь ее тревогу,
сквозь счастие свое — перед войной.

Я шла сквозь хмурое людское горе —
пожарища,
развалины,
гробы. . .
Сквозь новый,
только возникавший город,
где здания прекрасны и грубы.

Я шла сквозь жизнь, сведя до боли пальцы.
Твердил мне путь давнишний и прямой:
«Иди. Не береги себя. Не сжалься,
не плачь, не умиляйся над собой».

И вот — река,
                    лачуги,
                              ветер жесткий,
челны рыбачьи, дымный горизонт,
землянка у газетного киоска —
наш
      ленинградский
                              неприступный фронт.

Да. Знаю. Всё, что с детства в нас горело,
всё, что в душе болит, поет, живет, —
всё шло к тебе,
                    торжественная зрелость,
на этот фронт у городских ворот.
Ты нелегка — я это тоже знаю,
но всё равно — пути другого нет.

Благодарю ж тебя, благословляю,
жестокий мой,
                    короткий мой расцвет,
за то, что я сильнее, и спокойней,
и терпеливей стала во сто крат
и всею жизнью защищать достойна
великий город жизни — Ленинград.

Май 1942

236. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОЭМА

1

Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
«Сменяй на платье, — говорит, —
менять не хочешь — дай по дружбе.

Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала. . .»
И я сказала: «Не отдам».
И бедный ломоть крепче сжала.
«Отдай, — она просила, — ты
сама ребенка хоронила.
Я принесла тогда цветы,
чтоб ты украсила могилу».
. . .Как будто на краю земли,
одни, во мгле, в жестокой схватке,
две женщины, мы рядом шли,
две матери, две ленинградки.
И, одержимая, она
молила долго, горько, робко.
И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик.
И сил хватило — привести
ее к себе, шепнув угрюмо:
«На, съешь кусочек, съешь. . . прости!
Мне для живых не жаль — не думай».
. . .Прожив декабрь, январь, февраль,
я повторяю с дрожью счастья:
мне ничего живым не жаль —
ни слез, ни радости, ни страсти.
Перед лицом твоим, Война,
я поднимаю клятву эту,
как вечной жизни эстафету,
что мне друзьями вручена.
Их множество — друзей моих,
друзей родного Ленинграда.
О, мы задохлись бы без них
в мучительном кольце блокады.

2

Вот предо мной письмо бойца.
Он — с Ладоги, а сам — волжанин.
Я верных рук ему не жала,
не видела его лица.
Но знаю — друга нет верней,
надежней, преданней, бесстрашней,

его письмо — письмо к жене —
твердит о давней дружбе нашей.
Он пишет: «Милая Наташа,
прочти и всей родне скажи:
спасибо вам за ласку вашу,
за вашу правильную жизнь.
Но я прошу, Наташа, очень:
ты не пиши, как прошлый раз,
мол, «пожалей себя для дочки,
побереги себя для нас. . .»
Мне стыдно речи эти слушать!
Прости, любимая, пойми,
что Ленинград ожег мне душу
своими бедными детьми.
Я в Ленинграде, правда, не был,
но знаю — говорят бойцы:
там дети плачут, просят хлеба,
а хлеба нет. . . А мы отцы. . .
И я, как волка, караулю
фашиста — сутками в снегу,
и от моей свирепой пули
пощады не было врагу.
Лежу порою — до костей
достигнет снег. Дрожу, устану. . .
Уйти? А вспомню про детей —
зубами скрипну — и останусь.
«Нет, — говорю, — позорный гад,
палач детей, я здесь, я слышу.
На, получай еще заряд
за ленинградских ребятишек».
. . .Наташа, береги Катюшу,
но не жалей меня, жена.
Не обижай тревогой душу,
в которой ненависть одна.
Нельзя дышать, нельзя, жена,
когда дитя за хлебом плачет. . .
Да ты не бойся за меня.
А как я жить могу — иначе?»

3

О да — иначе не могли
ни те бойцы, ни те шоферы,
когда грузовики вели
по озеру в голодный город.

Холодный ровный свет луны,
снега сияют исступленно,
и со стеклянной вышины
врагу отчетливо видны
внизу идущие колонны.
И воет, воет небосвод,
и свищет воздух, и скрежещет,
под бомбами ломаясь, лед,
и озеро в воронки плещет.
Но вражеской бомбежки хуже,
еще мучительней и злей —
сорокаградусная стужа,
владычащая на земле.
Казалось — солнце не взойдет.
Навеки ночь в застывших звездах,
навеки лунный снег, и лед,
и голубой свистящий воздух.
Казалось, что конец земли...
Но сквозь остывшую планету
на Ленинград машины шли:
он жив еще. Он рядом где-то.
На Ленинград, на Ленинград!
Там на два дня осталось хлеба,
там матери под темным небом
толпой у булочной стоят,
и дрогнут, и молчат, и ждут,
прислушиваются тревожно:
«К заре, сказали, привезут...»
— «Гражданочки, держаться можно...»
И было так: на всем ходу
машина задняя осела.
Шофер вскочил, шофер на льду.
«Ну, так и есть — мотор заело.
Ремонт на пять минут, пустяк.
Поломка эта — не угроза,
да рук не разогнуть никак:
их на руле свело морозом.
Чуть разогнешь — опять сведет.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?
А хлеб — две тонны? Он спасет
шестнадцать тысяч ленинградцев».
И вот — в бензине руки он
смочил, поджег их от мотора,
и быстро двинулся ремонт

в пылающих руках шофера.
Вперед! Как ноют волдыри,
примерзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, пригонит
к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.

...О, мы познали в декабре —
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех —
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский.

4

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.
И я навек тобой горда,
сестра моя, москвичка Маша,
за твой февральский путь сюда,
в блокаду к нам, дорогой нашей.
Золотоглаза и строга,
как прутик, тоненькая станом,
в огромных русских сапогах,
в чужом тулупчике, с наганом,—
и ты рвалась сквозь смерть и лед,
как все, тревогой одержима, —
моя отчизна, мой народ,
великодушный и любимый.
И ты вела машину к нам,
подарков полную до края.
Ты знала — я теперь одна,
мой муж погиб, я голодаю.
Но то же, то же, что со мной,
со всеми сделала блокада.

И для тебя слились в одно
и я и горе Ленинграда.
И, ночью плача за меня,
ты забирала на рассветах
в освобожденных деревнях
посылки, письма и приветы.
Записывала: «Не забыть:
деревня Хохрино. Петровы.
Зайти на Мойку, сто один,
к родным. Сказать, что все здоровы,
что Митю долго мучил фриц,
но мальчик жив, хоть очень слабый. . .»
О страшном плене до зари
тебе рассказывали бабы
и лук сбирали по дворам,
в холодных, разоренных хатах:
«На, питерцам свезешь, сестра.
Проси прощенья — чем богаты. . .»
И ты рвалась — вперед, вперед,
как луч, с неодолимой силой.
Моя отчизна, мой народ,
родная кровь моя, — спасибо!

5

О, сквозь кольцо пробитый путь,
единственный просвет в отчизну!
Но враг хотел кольцо замкнуть
совсем. Отнять дорогу к жизни.
Был Тихвин взят. Рыча и злясь,
фашисты лезут к Волховстрою.
Всё туже смертная петля
на горле города-героя.
Нет! Не дадим петлю стянуть!
Дорогу к городу — не троньте!
И бьются за последний путь
солдаты Северного фронта.
Войскам приказ — идти в атаку.
Заданье получает взвод,
где командир Семен Потапов.
Он говорит: «Бойцы, вперед!
Сейчас рубеж займем. За ним
враги. Они хотят прорваться.
Смелей, бойцы! Не предадим
железный подвиг ленинградцев!»

Огонь. Ползут. «Вставай!»
Рванулись.
«За мною!» — крикнул командир
и вдруг упал с немецкой пулей,
с проклятой пулею в груди.
Бойцы — к нему. Но промедленье
в атаке — проигрыш, конец.
И командир в самозабвенье
кричит: «Не подходить ко мне!
За Ленинград — вперед!»
Неистов
его приказ. И верен взвод.
И, прыгая через него,
летит вперед и мнет фашистов.
Штыки вонзает на бегу
в черно-зеленые мундиры...
...А он остался на снегу
как сотни красных командиров,
как сотни тех, кто вел и звал,
к себе не ведая пощады,
своею смертью смерть попрал,
витавшую над Ленинградом.
А он лежал в крови густой,
ничком с простертыми руками,
как будто прикрывал собой
под ним распластанное знамя.
И что же — верно: кровь свою
он, точно стяг, легко и гордо
пронес в решающем бою
за жизнь твою, любимый город.
За дочку, за жену, за мать,
в ком эта жизнь горит и бьется,
кто будет ждать его — так ждать,
как ждут того, кто не вернется.

6

Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из тьмы разлуки
друзья твердили нам: «Живи!»,
друзья протягивали руки.
Оледеневшие, в огне,
в крови, пронизанные светом,
они вручили вам и мне
единой жизни эстафету.

Безмерно счастие мое.
Спокойно говорю в ответ им:
«Друзья, мы приняли ее,
мы держим вашу эстафету.
Мы с ней прошли сквозь дни зимы.
В давящей мгле ее страданий
всей силой сердца жили мы,
всем светом творческих дерзаний.

Да, мы не скроем: в эти дни
мы ели клей, потом ремни;
но, съев похлебку из ремней,
вставал к станку упрямый мастер,
чтобы точить орудий части,
необходимые войне.

Но он точил, пока рука
могла производить движенья,
а если падал — у станка,
как падает солдат в сраженье.

Но люди слушали стихи,
как никогда, — с глубокой верой,
в квартирах черных, как пещеры,
у репродукторов глухих.

И обмерзающей рукой,
перед коптилкой, в стуже адской,
гравировал гравер седой
особый орден — ленинградский.
Колючей проволокой он,
как будто бы венцом терновым,
кругом — по краю — обведен,
блокады символом суровым.
В кольце, плечом к плечу, втроем —
ребенок, женщина, мужчина,
под бомбами, как под дождем,
стоят, глаза к зениту вскинув.
И надпись сердцу дорога, —
она гласит не о награде,
она спокойна и строга:
«Я жил зимою в Ленинграде».
Гравер не получал заказ.
Он просто верил — это надо.

Для тех, кто борется, для нас,
кто должен выдержать блокаду.

Так дрались мы за рубежи
твои, возлюбленная Жизнь!
И я, как вы, — упряма, зла, —
за них сражалась, как умела.
Душа, крепясь, превозмогла
предательскую немощь тела.

И я утрату понесла.
К ней не притронусь даже словом —
такая боль... И я смогла,
как вы, подняться к жизни снова.
Затем, чтоб вновь и вновь сражаться
за жизнь.

Носитель смерти, враг —
опять над каждым ленинградцем
заносит кованый кулак.
Но, не волнуясь, не боясь,
гляжу в глаза грядущим схваткам:
ведь ты со мной, страна моя,
и я недаром — ленинградка.
Под эстафетой вечной жизни,
тобой врученною, отчизна,
иду с тобой путем единым,
во имя мира твоего,
во имя будущего сына
и светлой песни для него.

Для дальней полночи счастливой
ее, заветную мою,
сложила я нетерпеливо
сейчас, в блокаде и в бою.

Не за нее ль идет война?
Не за нее ли ленинградцам
еще бороться, и мужаться,
и мстить без меры?..
Вот она:

«Здравствуй, крестник
красных командиров,
милый вестник,
вестник мира.

Сны тебе спокойные приснятся —
битвы стихли
на земле ночной.
Люди
неба больше не боятся,
неба, озаренного луной.

В синей-синей глубине эфира
молодые облака плывут.
Над могилой красных командиров
мудрые терновники цветут.

Ты проснешься
на земле цветущей,
вставшей не для боя — для труда.
Ты услышишь
ласточек поющих:
ласточки вернулись в города.

Гнезда вьют они — и не боятся!
Вьют в стене пробитой, под окном:
крепче будет
гнездышко держаться,
люди больше не покинут дом.
Так чиста теперь людская радость,
точно к миру прикоснулась вновь.
Здравствуй, сын мой,
жизнь моя,
награда,
здравствуй, победившая любовь!»

Вот эта песнь. Она проста,
она — надежда и мечта.
Но даже и мечту враги
хотят отнять и обесчестить.
Так пусть гремит сегодня гимн
одной неутолимой мести!
Пусть только ненависть сейчас,
как жажда, жжет уста народа,
чтоб возвратить желанный час
любви, покоя и свободы!

Июнь — июль 1942
Ленинград

237. СЕВАСТОПОЛЮ

О, скорбная весть — Севастополь оставлен...
Товарищи, встать, как один, перед ним,
пред городом мужества, городом славы,
пред городом — доблестным братом твоим!

Но мы не хотим и не будем прощаться
с тобой, не смирившийся город-солдат:
ты жив,
        ты в сердцах москвичей,
                                сталинградцев,
дыханье твое бережет Ленинград.

Мы знаем, на всех пламенеющих тропах,
со всеми, кто бьет ненавистных врагов,
идет Севастополь,
                родной Севастополь,
и кровь и огонь от его берегов...

Промчится година железа и горя,
мы кончим победою наши бои, —
у теплого моря, у синего моря
он встанет опять из развалин своих.

Нет, только не плачь,— мы не чтим его память,
и этой минуты великая тишь
затем, чтоб сказать:
                «Севастополь, ты с нами!
Ты с нами,
        ты бьешься,
                ты победишь».

3 июля 1942

238

Я хочу говорить с тобою
о тяжелой нашей вине,
так, чтоб больше не знать покоя
ни тебе, товарищ, ни мне.

Я хочу говорить недолго:
мне мерещится всё больней

Ольга, русская девушка Ольга...
Ты, наверное, знаешь о ней.

На немецкой земле на проклятой
в подлом рабстве томится она.
Это наша вина, солдаты,
это наша с вами вина.

Точно образ моей отчизны,
иссеченной, усталой, больной,
вся — страдание, вся — укоризна, —
так встает она предо мной.

Ты ли пела, певучая? Ты ли
проходила, светлее луча?
Только слезы теперь застыли
в помутневших твоих очах.

Я гляжу на нее, немея,
но молчать уже не могу.
Что мы сделали? Как мы смели
пол-России отдать врагу?

Как мы смели ее оставить
на грабеж, на позор — одну?!
Нет, товарищ, молчи о славе,
если сестры твои в плену.

Я затем говорю с тобою
о тяжелой такой вине,
чтоб не знать ни минуты покоя
ни тебе, товарищ, ни мне.

Чтобы стыдно было и больно,
чтоб забыть о себе, — пока
плачет русская девушка Ольга
у германского кулака.

Август 1942

Август 1942 года. Страна преодолевает второе фашистское наступление: немцы подошли к Волге, Сталинграду, ползут по Кавказу, готовят новый штурм Ленинграда.

239. АВГУСТ 1942 ГОДА

Печаль войны всё тяжелей, всё глубже,
всё горестней в моем родном краю.
Бывает, спросишь собственную душу:
«Ну, как ты, что?»
И слышишь:
«Устаю...»
Но не вини за горькое признанье
души своей и не пугайся, нет.
Она такое приняла страданье
за этот год, что хватит на сто лет.
И только вспомни, вспомни сорок первый:
неудержимо двигался фашист,
а разве — хоть на миг — ослабла вера
не на словах, а в глубине души?
Нет. Боль и стыд нежданных поражений
твоя душа сполна перенесла
и на путях печальных отступлений
невиданную твердость обрела.
...И вот — опять...
О, сводки с юга, утром!
Как будто бы клещами душу рвут.
Почти с молитвой смотришь в репродуктор:
«Скажи, что Грозного не отдадут!»
«Скажи, скажи, что снова стала нашей
Кубань, Ростов и пламенный Донбасс».
«Скажи, что англичане от Ламанша
рванулись на Германию сейчас!»
...Но как полынью горем сводки дышат.
Встань и скажи себе, с трудом дыша:
«Ты, может быть, еще не то услышишь,
и всё должна перенести душа.
Ты устаешь? Ты вся в рубцах и ранах?
Всё так. Но вот сейчас, наедине,
не людям — мне клянись, что не устанешь,
пока твое Отечество в огне.
Ты русская — дыханьем, кровью, думой.

В тебе соединились не вчера
мужицкое терпенье Аввакума
и царская неистовость Петра...»
...Такая, отграненная упорством,
твоя душа нужна твоей земле...
Единоборство? — Пусть единоборство!
Мужайся, стой, крепись и — одолей.

Август — сентябрь 1942

240

Капитану подводной лодки
Грищенко

Подводная лодка уходит в поход
в чужие моря и заливы.
Ее провожают Кронштадт и Кроншлот
и встречи желают счастливой.

Последний привет с боевых катеров,
и вот уж нельзя разглядеть их,
и мы далеко от родных берегов
и близко от славы и смерти.

Нас мало, мы горсточка русских людей
в подводной скорлупке железной.
Мы здесь одиноки средь минных полей
в коварной и гибельной бездне.

Но вот над подлодкой идет караван,
груженный оружьем проклятым.
Ты врешь! Ни эсминцы твои, ни туман
тебя не спасут от расплаты.

Пора, торпедисты! И точно в упор
вонзаются наши торпеды.
Республика, выполнен твой приговор
во имя грядущей победы!

И с берега видит расправу с врагом
земляк наш, томящийся в рабстве.
Мужайся, товарищ, — мы скоро придем,
мы помним о долге и братстве.

Подводная лодка обратно спешит,
балтийское выдержав слово.
Ты долго ее не забудешь, фашист,
и скоро почувствуешь снова...

Заносит команда на мстительный счет
пятерку немецких пиратов.
И гордо подводная лодка идет
в любимые воды Кронштадта.

Август — сентябрь 1942
Кронштадт

Блокада длится... Осенью сорок второго года ленинградцы готовятся ко второй блокадной зиме: собирают урожай со своих огородов, сносят на топливо деревянные постройки в городе. Время огромных и тяжелых работ.

241. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОСЕНЬ

Ненастный вечер, тихий и холодный.
Мельчайший дождик сыплется впотьмах.
Прямой-прямой пустой Международный
в огромных новых нежилых домах.
Тяжелый свет артиллерийских вспышек
то озаряет контуры колонн,
то статуи, стоящие на крышах,
то барельеф из каменных знамен
и стены — сплошь в пробоинах снарядов...
А на проспекте — кучка горожан:
трамвая ждут у ржавой баррикады,
ботву и доски бережно держа.
Вот женщина стоит с доской в объятьях;
угрюмо сомкнуты ее уста,
доска в гвоздях — как будто часть распятья,
большой обломок русского креста.
Трамвая нет. Опять не дали тока,
а может быть, разрушил путь снаряд...
Опять пешком до центра — как далёко!

Пошли... Идут — и тихо говорят.
О том, что вот — попался дом проклятый.
стоит — хоть бомбой дерево ломай.
Спокойно люди жили здесь когда-то,

надолго строили себе дома.
А мы... Поежились и замолчали,
разбомбленное зданье обходя.
Прямой проспект, пустой-пустой, печальный,
и граждане под сеткою дождя.

...О, чем утешить хмурых, незнакомых,
но кровно близких и родных людей?
Им только б доски дотащить до дома
и ненадолго руки снять с гвоздей.
И я не утешаю, нет, не думай, —
я утешеньем вас не оскорблю:
я тем же каменным, сырым путем угрюмым
тащусь, как вы, и, зубы сжав, — терплю.
Нет, утешенья только душу ранят, —
давай молчать...
Но странно: дни придут,
и чьи-то руки пепел соберут
из наших нищих, бедственных времянок.
И с трепетом, почти смешным для нас,
снесут в музей, пронизанный огнями,
и под стекло положат, как алмаз,
невзрачный пепел, смешанный с гвоздями!
Седой хранитель будет объяснять
потомкам, приходящим изумляться:
«Вот это — след Великого Огня,
которым согревались ленинградцы.
В осадных, черных, медленных ночах,
под плач сирен и орудийный грохот,
в их самодельных временных печах
дотла сгорела целая эпоха.
Они спокойно всем пренебрегли,
что не годилось для сопротивленья,
всё отдали победе, что могли,
без мысли о признанье в поколеньях.
Напротив, им казалось по-другому:
казалось им порой — всего важней
охапку досок дотащить до дома
и ненадолго руки снять с гвоздей...

...Так, день за днем, без жалобы, без стона,
невольный вздох — и тот в груди сдавив,
они творили новые законы
людского счастья и людской любви.

И вот теперь, когда земля светла,
очищена от ржавчины и смрада, —
мы чтим тебя, священная зола
из бедственных времянок Ленинграда...»
...И каждый, посетивший этот прах,
смелее станет, чище и добрее,
и, может, снова душу мир согреет
у нашего блокадного костра.

Октябрь 1942

242. ОТРЫВОК

...Октябрьский дождь стучит в квадрат
оконный,
глухие залпы слышатся вдали.
На улицах, сырых и очень темных,
одни сторожевые патрули.

Мерцает желтый слепенький фонарик,
и сердце вдруг сжимается тоской,
когда услышишь:
«Пропуск ваш, товарищ...»
Как будто б ты нездешний и чужой.
«Вот пропуск мой. Пожалуйста, проверьте.
Я здешняя, и этот город — мой.
У нас одно дыханье, дума, сердце...
Я здешняя, товарищ постовой».

...Но я живу в квартире, где зимою
чужая чья-то вымерла семья.
Всё, что кругом, — накоплено не мною.
Всё — не мое, как будто б я — не я.
И точно на других широтах мира,
за целых два квартала от меня,
моя другая — прежняя квартира,
без запаха жилого, без огня.

Я редко прихожу туда, случайно.
Войду — и цепенею, не дыша:
еще не бывшей на земле печалью
без слез, без слов терзается душа...
Да, у печали этой нет названья.
Не выплачешь, не выскажешь ее,

и лишь фанерных ставенек стенанье
негромкое — похоже на нее.
А на стекле — полоски из бумаги,
дождями покороблены, желты:
неведенья беспомощные знаки,
зимы варфоломеевской кресты.
Недаром их весною отдирали
те, кто в жилье случайно уцелел,
и только в нежилых домах остались
бумажные полоски на стекле.

Моя квартира прежняя пуста,
ее окошки в траурных крестах.

Да я ли здесь жила с тобой? Да я ли
кормила здесь когда-то дочерей?
Меня ль, меня ль глаза твои встречали
у теплых, у клеенчатых дверей?
Ты вскакивал, ты выбегал к порогу,
чуть делались шаги мои слышны.
Ты восклицал: «Пришла? Ну, слава богу!»
А было тихо — не было войны.
И странно: в дни обстрелов и бомбежек,
когда свистела смерть на всех углах,
ты ждал меня, ни капли не тревожась,
как будто б я погибнуть не могла;
как будто б я была заговоренной
несокрушимой верностью твоей.
И тот же взгляд — восторженный,
влюбленный —
встречал меня у дорогих дверей.

Я всё отдам — любовь, и вдохновенье,
и славу, щедро данную войной, —
за ту одну минуту возвращенья
к тебе, под кров домашний, старый, мой...
Как будто я ослепла и оглохла:
не услыхать тебя, не увидать.
Я слышу только дождь: он бьется в стекла,
и только дождь такой же, как тогда...

Октябрь 1942

Девятнадцатого ноября 1942 года началось наше наступление на Сталинградском фронте.

243. СТАЛИНГРАДУ

Мы засыпали с думой о тебе.
Мы на заре включали репродуктор,
чтобы услышать о твоей судьбе.
Тобою начиналось наше утро.

В заботах дня десятки раз подряд,
сжимая зубы, затаив дыханье,
твердили мы:
«Мужайся, Сталинград!»
Сквозь наше сердце шло твое страданье.
Сквозь нашу кровь струился горячо
поток твоих немыслимых пожаров.
Нам так хотелось стать к плечу плечом
и на себя принять хоть часть ударов!

...А мне всё время вспоминалась ночь
в одном колхозе дальнем, небогатом,
ночь перед первой вспашкою, в тридцатом,
второю большевистскою весной.

Степенно, важно, радостно и строго
готовились колхозники к утру,
с мечтой о новой жизни,
новом строе,
с глубокой верой
в новый, общий труд.
Их новизна безмерная, тревожа,
еще страшила...
Но твердил народ:
«Нам Сталинградский тракторный поможет...»
«Нам Сталинград коней своих пришлет».

Нет, не на стены зданий и заводов,
проклятый враг, заносишь руку ты:
ты покусился на любовь народа,
ты замахнулся на оплот мечты!
И встала, встала пахарей громада,
как воины они сюда пришли,

чтобы с рабочим классом Сталинграда
спасти любимца трудовой земли.

О том, что было страшным этим летом, —
еще расскажут: песня ждет певца.
У нас в осаде, за чертой кольца,
всё озарялось сталинградским светом.
И, глядя на развалины твои
(о, эти снимки в «Правде» и в «Известьях»!),
мы забывали тяготы свои,
мы об одном молили: «Мести, мести!»
И прóбил час. Удар обрушен первый, —
от Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит верность,
что значит ярость верящих людей.
А мы не удивились, нет! Мы знали,
что будет так: полмесяца назад
не зря солдатской клятвой обменялись
два брата: Сталинград и Ленинград.
Прекрасна и сурова наша радость.
О Сталинград,
в час гнева твоего
прими земной поклон от Ленинграда,
от воинства и гражданства его!

24 ноября 1942

244. ПЕСНЯ О ЖЕНЕ ПАТРИОТА

Хорошие письма из дальнего тыла
сержант от жены получал.
И сразу, покамест душа не остыла,
друзьям по оружью читал.

А письма летели сквозь дымные ветры,
сквозь горькое пламя войны,
в зеленых, как вешние листья, конвертах,
сердечные письма жены.

Писала, что родиной стал из чужбины
далекий сибирский колхоз.
Жалела, что муж не оставил ей сына, —
отца б дожидался да рос...

Читали — улыбка с лица не скрывалась,
читали — слезы́ не сдержав.
«Хорошая другу подружка досталась,
будь счастлив, товарищ сержант!

Пошли ей, сержант, фронтовые приветы,
земные поклоны от нас.
Совет да любовь вам, да ласковых деток,
когда отгрохочет война...»

А ночью прорвали враги оборону, —
отчизне грозила беда.
И пал он обычною смертью героя,
заветный рубеж не отдав.

Друзья собрались и жене написали,
как младшей сестре дорогой:
«Поплачь, дорогая, убудет печали,
поплачь же над ним, над собой...»

Ответ получили в таком же конверте,
зеленом, как листья весной.
И всем показалось, что не было смерти,
что рядом их друг боевой.

«Спасибо за дружбу, отважная рота,
но знайте, — писала она, —
не плачет, не плачет вдова патриота,
покамест бушует война.

Когда же сражений умолкнут раскаты
и каждый к жене заспешит,
в тот день я, быть может, поплачу, солдаты,
по-женски поплачу, навзрыд...»

...Так бейся же насмерть, отважная рота,
готовь же отмщенье свое —
за то, что не плачет вдова патриота,
за бедное сердце ее...

Ноябрь 1942, январь 1943

...Третья зона, дачный полустанок,
у перрона — тихая сосна.
Дым, туман, струна звенит в тумане,
невидимкою звенит струна.

Здесь шумел когда-то детский лагерь
на веселых ситцевых полях...
Всю в ромашках, в пионерских флагах,
как тебя любила я, земля!

Это фронт сегодня. Сотня метров
до того, кто смерть готовит мне.
Но сегодня — тихо. Даже ветра
нет совсем. Легко звучать струне.

И звенит, звенит струна в тумане...
Светлая, невидимая, пой!
Как ты плачешь, радуешься, манишь,
кто тебе поведал, что со мной?

Мне сегодня радостно до боли,
я сама не знаю — отчего.
Дышит сердце небывалой волей,
силою расцвета своего.

Знаю, смерти нет: не подкрадется,
не задушит медленно она, —
просто жизнь сверкнет и оборвется,
точно песней полная струна.

...Как сегодня тихо здесь, на фронте.
Вот среди развалин, над трубой,
узкий месяц встал на горизонте,
деревенский месяц молодой.

И звенит, звенит струна в тумане,
о великой радости моля...
Всю в крови,
в тяжелых, ржавых ранах,
я люблю, люблю тебя, земля!

1942

246. МОРЯКАМ-ЛАДОЖЦАМ

Посвящается морякам Ладожской военной флотилии

Споем, друзья, споем себе на радость
о той дороге синей, водяной.
С Большой земли к герою Ленинграду
она идет по Ладоге родной.

Враги кольцом смертельным окружали
любимый город, нашу колыбель.
«Ты не умрешь, — сказали ладожане, —
страна придет по Ладоге к тебе».

Припев: Звени как бубен, сияй как радуга,
любимой песней живи в сердцах,
Дорога жизни, родная Ладога,
оруженосец города-бойца!

Споем, друзья, о наших капитанах:
в грозу и шторм, и полночью и днем
они бесстрашно водят караваны
под ураганным вражеским огнем.

На берегах унылых и печальных,
где жили чайки да заря,
как в грозной сказке выросли причалы
и корабли бросают якоря.

Припев: Звени как бубен, сияй как радуга *и т. д.*

Здесь каждый грузчик не жалеет силы,
он за погрузку бьется, как солдат.
Пускай скорей дары со всей России
с улыбкой счастья примет Ленинград.

И хоть гремит под грохотом орудий
война на том и этом берегу,
но этот труд Россия не забудет
и ленинградцы в сердце сберегут.

Припев: Звени как бубен, сияй как радуга *и т. д.*

1942

Осенью 1942 года из общежитий при предприятиях и учреждениях ленинградцы возвращаются в жилые дома, покинутые многими в первую блокадную зиму.

247. НОВОСЕЛЬЕ

...И вновь зима: летят, летят метели.
Враг всё еще у городских ворот.
Но я зову тебя на новоселье:
мы новосельем
встретим Новый год.

Еще враги свирепый и бесцельный
ведут обстрел по городу со зла,
и слышен хруст стены и плач стекла, —
но я тебя зову — на новоселье.

Смотри, вот новое мое жилище...
Где старые хозяева его?
Одни в земле,
других нигде не сыщешь,
нет ни следа, ни вести — ничего...

И властно воцарилось запустенье
в когда-то светлом, радостном дому.
Дышала смерть на городские стены,
твердя: «Быть пусту дому твоему».

Здесь холодом несло из каждой щели,
отсюда *человек ушел*...
Но вот
зову тебя сюда, на новоселье,
под этим кровом
встретить Новый год.
Смотри, я содрала с померкших стекол
унылые бумажные кресты,
зажгла очаг, — огонь лучист и тепел.
Сюда вернулись люди: я и ты.
Вот здесь расставим мы библиотеку,
здесь будет столик, стульчик и кровать
для очень маленького человека:
он в этом доме станет подрастать.

О строгие взыскательные тени
былых хозяев дома моего,
благословите наше поселенье,
покой и долголетие его.

И мы тепло надышим в дом, который
был занят смертью, погружен во тьму...
Здесь будет жизнь!
Ты жив, ты бьешься, город, —
не быть же пусту дому твоему!

29 декабря 1942

В ночь на восемнадцатое января 1943 года «Последний час» сообщил всей стране о прорыве блокады Ленинграда.

248. ТРЕТЬЕ ПИСЬМО НА КАМУ

...О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твое лицо.

Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слез своих: теплей
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.

Да будут слезы эти как молитва.
А на врагов — расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты битвы
за всё, за всех, задушенных кольцом.

За девочек, по-старчески печальных,
у булочных стоявших, у дверей,
за трупы их в пикейных одеяльцах,
за страшное молчанье матерей...

О, наша месть — она еще в начале, —
мы длинный счет врагам приберегли:
мы отомстим за всё, о чем молчали,
за всё, что скрыли
от Большой Земли!

Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер
я расскажу подробно, обо всем,
когда вернемся в ленинградский дом,
когда я выбегу тебе навстречу.

О, как мы встретим наших ленинградцев,
не забывавших колыбель свою!
Нам только надо в городе прибраться:
он пострадал, он потемнел в бою.

Но мы залечим все его увечья,
следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях выйдем к вам навстречу,
к «стреле», пришедшей прямо из Москвы.

Я не мечтаю — это так и будет,
минута долгожданная близка,
но тяжкий рев разгневанных орудий
еще мы слышим: мы в бою пока.

Еще не до конца снята блокада...
Родная, до свидания!
Иду
к обычному и грозному труду
во имя новой жизни Ленинграда.

18—19 января 1943

249. ЛЕНИНГРАДКЕ

Еще тебе такие песни сложат,
так воспоют твой облик и дела,
что ты, наверно, скажешь: «Не похоже.
Я проще, я угрюмее была.

Мне часто было страшно и тоскливо,
меня томил войны кровавый путь,
я не мечтала даже стать счастливой,
мне одного хотелось: отдохнуть...

Да, отдохнуть ото всего на свете —
от поисков тепла, жилья, еды.
От жалости к своим исчахшим детям,
от вечного предчувствия беды,

от страха за того, кто мне не пишет
(увижу ли его когда-нибудь),
от свиста бомб над беззащитной крышей,
от мужества и гнева отдохнуть.

Но я в печальном городе осталась
хозяйкой и служанкой для того,
чтобы сберечь огонь и жизнь его.
И я жила, преодолев усталость.

Я даже пела иногда. Трудилась.
С людьми делилась солью и водой.
Я плакала, когда могла. Бранилась
с моей соседкой. Бредила едой.

И день за днем лицо мое темнело,
седины появились на висках.
Зато, привычная к любому делу,
почти железной сделалась рука.

Смотри, как цепки пальцы и грубы!
Я рвы на ближних подступах копала,
сколачивала жесткие гробы
и малым детям раны бинтовала...

И не проходят даром эти дни,
неистребим свинцовый их осадок:
сама печаль, сама война глядит
познавшими глазами ленинградок.

Зачем же ты меня изобразил
такой отважной и такой прекрасной,
как женщину в расцвете лучших сил,
с улыбкой горделивою и ясной?»

Но, не приняв суровых укоризн,
художник скажет с гордостью, с отрадой:
«Затем, что ты — сама любовь и жизнь,
бесстрашие и слава Ленинграда!»

8 марта 1943

250

Ты слышишь ли? Живой и влажный ветер
в садах играет, ветки шевеля!
Ты помнишь ли, что есть еще на свете
земной простор, дороги и поля?

Мне в городе, годами осажденном,
в том городе, откуда нет путей,
всё видится простор освобожденный
в бескрайней, дикой, русской красоте.
Мне в городе, где нет зверей домашних,
ни голубей, — хотя б в одном окне, —
мерещатся грачи на рыжих пашнях
и дед Мазай с зайчатами в челне.

Мне в городе, где нет огней вечерних,
где только в мертвой комнате окно
порою вспыхнет, не затемнено,
а окна у живых — чернее черни, —
так нужно знать, что всё, как прежде, живо,
что где-то в глубине родной страны
всё те же зори, журавли, разливы,
и даже города освещены;
так нужно знать, что всё опять вернется
оттуда, из глубин, сюда, где тьма, —
что я, наверно, не смогла б бороться,
когда б не знала этого сама!

Март 1943

251

Влажен ветер, и небо сине,
древним счастьем душа полна.
Это вновь на равнины России
торжествуя, приходит весна.

С белой вербой, с грачами, с капелью,
с буйным запахом темной земли,
с деревянной пастушьей свирелью
за березовой рощей вдали.

Петухи кричат торопливо —
солнце красное, глянь в окно,

выйди, пахарь, на милую ниву,
выйди, сеятель, кинь зерно.

Ты приходишь такой же, как прежде,
Ярославна, княгиня, весна.
Только ныне ты в ратной одежде
и названье твое — Война.

На огромные нивы Отчизны,
где смертельные битвы прошли,
выйди, пахарь, во имя жизни,
ради жаждущей жизни земли.

Выйди, пахарь, и встань, как воин,
к плугу верному своему,
ржавый Марс горит над тобою
в боевом весеннем дыму.

Выйди, сеятель, горстью щедрой
животворное брось зерно
в эти борозды, в эти недра,
грозно вспаханные войной.

Чтоб в росе, в золотистом глянце,
не ломаяся под грозой,
каждый колос встал новобранцем,
рыжеусый и молодой.

Плодоносный взыграет ветер,
гордо радуги окружат
нашу силу, наше бессмертье,
наш воинственный урожай.

Весна 1943 (?)

Третьего июня 1943 года тысячам ленинградцев были вручены первые медали «За оборону Ленинграда».

252. МОЯ МЕДАЛЬ

. . .Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.

Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и всё могла снести:
медаль «За оборону Ленинграда»
со мной как память моего пути.
Ревнивая, безжалостная память!
И если вдруг согнет меня печаль,
я до тебя тогда коснусь руками,
медаль моя, солдатская медаль.
Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо,
чтоб стать еще упрямей и сильней...
Взывай же чаще к памяти моей,
медаль «За оборону Ленинграда».

...Война еще идет, еще — осада.
И, как оружье новое в войне,
сегодня Родина вручила мне
медаль «За оборону Ленинграда».

3 июня 1943

В сентябре 1943 года войска Ленинградского фронта заняли высоту около Синявино, с которой враг вел обстрел единственной железной дороги в Ленинград... Это было в дни блистательных наших побед на Украине.

253. ПОБЕДА

Мой друг пришел с Синявинских болот
на краткий отдых, сразу после схватки,
еще не смыв с лица горячий пот,
не счистив грязь с пробитой плащ-палатки.
Пока в передней, тихий и усталый,
он плащ снимал и складывал пилотку, —
я, вместо «здравствуй», крикнула:
«Полтава!»
— «А мы, — сказал он, — заняли высотку...»

В его глазах такой хороший свет
зажегся вдруг, что стало ясно мне:
нет ни больших, ни маленьких побед,
а есть одна победа на войне.
Одна победа, как одна любовь,
единое народное усилье.

Где б ни лилась родная наша кровь,
она повсюду льется за Россию.
И есть один — один военный труд,
вседневный, тяжкий, страшный, невоспетый,
но в честь **него** Москва дает салют
и, затемненная, исходит светом.
И каждый вечер, слушая приказ
иль торжество пророчащую сводку,
я радуюсь, товарищи, за вас,
еще не перечисленных сейчас,
занявших безымянную высотку...

22 сентября 1943

254. ТВОЯ МОЛОДОСТЬ

Ленинградским комсомольцам

Будет вечер — тихо и сурово
о военной юности своей
ты расскажешь комсомольцам новым —
сыновьям и детям сыновей.

С жадностью засмотрятся ребята
на твое солдатское лицо,
так же, как и ты смотрел когда-то
на седых буденновских бойцов.

И с прекрасной завистью, с порывом
тем, которым юные живут,
назовут они тебя счастливым,
сотни раз героем назовут.

И, окинув памятью ревнивой
не часы, а весь поток борьбы,
ты ответишь:
«Да, я был счастливым.
я героем в молодости был.

Наша молодость была не длинной,
покрывалась ранней сединой.
Нашу молодость рвало на минах,
заливало таллинской водой.
Наша молодость неслась тараном —
сокрушить германский самолет,

Чтоб огонь ослабить ураганный —
падала на вражий пулемет.
Прямо сердцем дуло прикрывая,
падала, чтоб Армия прошла...
Страшная, неистовая, злая —
вот какая молодость была.

А любовь — любовь зимою адской,
той зимой, в осаде, на Неве,
где невесты наши ленинградские
были не похожи на невест...
Лица их — темней свинцовой пыли,
руки — тоньше, суше тростника...
Как мы их жалели,
как любили.
Как молились им издалека.
Это их сердца неугасимые
нам светили в холоде, во мгле.
Не было невест еще любимее,
не было красивей на земле.
...И под старость, юность вспоминая,
„Возвратись ко мне, — проговорю. —
Возвратись ко мне опять такая,
я такую трижды повторю.
Повторю со всем страданьем нашим,
с той любовью, с тою сединой;
яростную, горькую, бесстрашную
молодость, крещенную войной“».

29 октября 1943

255. ЖЕЛАНИЕ

Я давно живу с такой надеждой:
вот вернется
город Пушкин к нам, —
я пешком пойду к нему, как прежде
пилигримы шли к святым местам.

Незабытый мною, дальний-дальний,
как бы сквозь войну обратный путь,
путь на Пушкин, выжженный, печальный,
путь к тому, чего нельзя вернуть.

Милый дом с крутой зеленой крышей,
рядом липы круглые стоят...
Дочка здесь жила моя, Ириша,
рыжеватая была, как я.

Все дорожки помню, угол всякий
в пушкинских таинственных садах:
с тем, кто мной доныне не оплакан,
часто приходила я сюда.

Я пешком пойду в далекий Пушкин
сразу, как узнаю — возвращен.
Я на черной парковой опушке
положу ему земной поклон.

Кланяюсь всему, что здесь любила, —
сердце, не прощай, не позабудь!
Кланяюсь всему, что возвратила,
трижды — тем, кого нельзя вернуть.

Ноябрь 1943

256. СТИХИ О ДРУГЕ

Вечер. Воет, веет ветер,
в городе темно.
Ты идешь — тебе не светит
ни одно окно.
Слева — вьюга, справа — вьюга,
вьюга — в высоте...
Не пройди же мимо друга
в этой темноте.
Если слышишь — кто-то шарит,
сбился вдруг с пути, —
не жалей, включи фонарик,
встань и посвети.
Если можешь, даже руку
протяни ему.
Помоги в дороге другу,
другу своему,
и скажи: «Спокойной ночи,
доброй ночи вам...»
Это правильные очень,
нужные слова.

Ведь еще в любой квартире
может лечь снаряд,
и бушует горе в мире
третий год подряд.
Ночь и ветер, веет вьюга,
смерть стоит кругом.
Не пройди же мимо друга,
не забудь о нем...

31 декабря 1943

257. ВСТРЕЧА 1944 ГОДА

Новогодняя полночь снова
в осажденный город пришла,
как посланница края родного,
хороша, строга и светла.

Снег на шлеме ее синеет,
на тулупе — звездный узор,
и клубится и блещет за нею
невозможный российский простор, —

тот простор без конца, без огляда,
неразгаданный, сказочный, свой,
тот, который давно в Ленинграде
называют Большою землей.

Часовые полночь встречали
возле всех ленинградских застав
и, приветствуя, сообщали,
как велит новогодний устав,

что на вверенных ей участках —
многотрудные битвы идут,
но, как встарь, ожидается счастье
в наступающем Новом году...

...Прямо с ходу, прямо с дороги
полночь к нашим домам подошла,
отряхнула снег у порога
и у каждого села стола.

И сказала, из кованой фляги
все стаканы наполнив подряд:
«Пью за грозный военный лагерь,
именуемый — Ленинград».

Но не кубок с вином, а сердце
подняла б я над головой
за солдат и за офицеров
наших армий, идущих в бой.

Всю бы жизнь свою подняла я, —
осуши ее всю — до дна, —
за победу твою и славу,
дорогая моя страна.

Чтобы в Новом году светлее
эту полночь встречала ты,
чтобы раны твои скорее
полевые укрыли цветы,

чтоб, врачуя тебя, украшая,
тишина снизошла на поля...
С Новым годом, большая-большая
побеждающая Земля.

31 декабря 1943

19 января 1944 года нашими наступающими войсками Ленинградского фронта были освобождены Петергоф, Красное Село, Ропша. 24 января — города Пушкин, Павловск и другие...

258. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вошли — и сердце дрогнуло: жестоко
зияла смерть, безлюдье, пустота...
Где лебеди? Где музы? Где потоки?
С младенчества родная красота?

Где люди наши — наши садоводы,
лелеявшие мирные сады?
Где их благословенные труды
на счастье человека и природы?

И где мы сами — прежние, простые,
доверчиво глядевшие на свет?
Как страшно здесь!
Печальней и пустынней
селения, наверно, в мире нет...

И вдруг в душе, в ее немых глубинах
опять звучит надменно и светло:
«Всё те же мы: нам целый мир
чужбина,
Отечество нам Царское Село».

25 января 1944

259. НАШ САД

Ты помнишь ли сиянье Петергофа,
дремучие петровские сады
и этот влажный лепет, бред и вздохи
всегда живой, хлопочущей воды?

Так много было здесь тепла и света,
что в городе зимою, в пору вьюг,
всё мнилось мне: а в Петергофе — лето,
алмазный, синий праздничный июль.

Молчи, — увы! Волшебный сад изрублен,
мертвы источники с живой водой,
и праздник человечества поруган
свирепой чужеземною ордой.

...Но мы пришли к тебе, земная радость, —
тебя не вытоптать, не истребить.
Но мы пришли к тебе, стоящей рядом,
тысячеверстною дорогой битв.

Пришли — и, символом свершенной мести,
в знак человеческого торжества
воздвигнем вновь, на том же самом месте,
Самсона, раздирающего льва.

И вновь из пепла черного, отсюда,
где смерть и прах, восстанет прежний сад.
Да будет так! Я твердо верю в чудо:
ты дал мне эту веру, Ленинград.

26 января 1944

27 января 1944 года Ленинград салютовал 24 залпами из 324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады — разгрома немцев под Ленинградом.

260. ЛЕНИНГРАДСКИЙ САЛЮТ

...И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!

...Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
«Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!»

А та зима... Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек —
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской —
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!

Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
«Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!»

Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!

Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит
победоносный Ленинград!

27 января 1944

261. ВТОРОЙ РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Дарья Власьевна,
соседка,
здравствуй.
Вот мы встретились с тобой опять.
В дни весны желанной ленинградской
надо снова нам потолковать.

Тихо-тихо. Небо золотое.
В этой долгожданной тишине
мы пройдем по Невскому с тобою,
по былой «опасной стороне».

Как истерзаны повсюду стены!
Бельма в каждом выбитом окне.
Это мы тут прожили без смены
целых девятьсот ночей и дней.

Мы с тобою танков не взрывали.
Мы в чаду обыденных забот
безымянные высоты брали, —
но на карте нет таких высот.

Где помечена твоя крутая
лестница, ведущая домой,
по которой, с голоду шатаясь,
ты ходила с ведрами зимой?

Где помечена твоя дорога,
по которой десять раз прошла
и сама — в пургу, в мороз, в тревогу —
пятерых на кладбище свезла?

Только мы с тобою, мы, соседка,
помним наши тяжкие пути.
Сами знаем, в картах или в сводках
их не перечислить, не найти.

А для боли нашей молчаливой,
для ранений — скрытых, не простых —
не хватило б на земле нашивок,
ни малиновых, ни золотых.

На груди, над сердцем опаленным,
за войну принявшим столько ран,
лишь медаль на ленточке зеленой,
бережно укрытой в целлофан.

Вот она — святая память наша,
сбереженная на все века...
Что ж ты плачешь,
что ты, тетя Даша?
Нам еще нельзя с тобой пока.

Дарья Власьевна, не мы, так кто же
отчий дом к победе приберет?
Кто ребятам-сиротам поможет,
юным вдовам слезы оботрет?

Это нам с тобой, хлебнувшим горя,
чьи-то души греть и утешать.
Нам, отдавшим всё за этот город, —
поднимать его и украшать.

Нам, не позабыв о старых бедах,
сотни новых вынести забот,
чтоб сынов, когда придут с победой,
хлебом-солью встретить у ворот.

Дарья Власьевна, нам много дела,
точно под воскресный день в дому.
Ты в беде сберечь его сумела,
ты и счастие вернешь ему.

Счастие извечное людское,
что в бреду, в крови, во мгле боев
сберегло и вынесло простое
сердце материнское твое.

Апрель — май 1944

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

262. ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ [1]

1

В дни наступленья армий ленинградских,
в январские свирепые морозы,
ко мне явилась девушка чужая
и попросила написать стихи...

Она пришла ко мне в тот самый вечер,
когда как раз два года исполнялось
со дня жестокой гибели твоей.

Она не знала этого, конечно.
Стараясь быть спокойной, строгой, взрослой,
она просила написать о брате,
три дня назад убитом в Дудергофе.

Он пал, Воронью гору атакуя,
ту высоту проклятую, откуда
два года вел фашист корректировку
всего артиллерийского огня.

Стараясь быть суровой, как большие,
она портрет из сумочки достала:
«Вот мальчик наш,
мой младший брат Володя...»
И я безмолвно ахнула: с портрета
глядели на меня твои глаза.

Не те, уже обугленные смертью,
не те, безумья полные и муки,
но те, которыми глядел мне в сердце
в дни юности, тринадцать лет назад.

---

[1] Эта поэма написана по просьбе ленинградской девушки Нины Нониной о брате ее, двадцатилетнем гвардейце Владимире Нонине, павшем смертью храбрых в январе 1944 года под Ленинградом, в боях по ликвидации блокады.

Она не знала этого, конечно.
Она просила только: «Напишите
не для того, чтобы его прославить,
но чтоб над ним могли другие плакать
со мной и мамой — точно о родном...»

Она, чужая девочка, не знала,
какое сердцу предложила бремя, —
ведь до сих пор еще за это время
я реквием тебе — тебе! — не написала...

2

Ты в двери мои постучала,
доверчивая и прямая.
Во имя народной печали
твой тяжкий заказ принимаю.
Позволь же правдиво и прямо,
своим неукрашенным словом
поведать сегодня
о самом
обычном,
простом и суровом...

3

Когда прижимались солдаты, как тени,
к земле и уже не могли оторваться, —
всегда находился в такое мгновенье
один безымянный, Сумевший Подняться.

Правдива грядущая гордая повесть:
она подтвердит, не прикрасив нимало, —
один поднимался, но был он — как совесть.
И всех за такими с земли поднимало.

Не все имена поколенье запомнит.
Но в тот исступленный, клокочущий полдень
безусый мальчишка, гвардеец и школьник,
поднялся — и цепи штурмующих поднял.

Он знал, что такое Воронья гора.
Он встал и шепнул, а не крикнул: «Пора!»

Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся,
он звал, и хрипел, и карабкался в гору,
он первым взлетел на нее, обернулся
и ахнул, увидев открывшийся город!

И, может быть, самый счастливый на свете,
всей жизнью в тот миг торжествуя победу, —
он смерти мгновенной своей не заметил,
ни страха, ни боли ее не изведав.

Он падал лицом к Ленинграду.
Он падал,
а город стремительно мчался навстречу...
...Впервые за долгие годы снаряды
на улицы к нам не ложились в тот вечер.

И звезды мерцали, как в детстве, отрадно
над городом темным, уставшим от бедствий...
«Как тихо сегодня у нас в Ленинграде», —
сказала сестра и уснула, как в детстве.

«Как тихо», — подумала мать и вздохнула.
Так вольно давно никому не вздыхалось.
Но сердце, привыкшее к смертному гулу,
забытой земной тишины испугалось.

4

...Как одинок убитый человек
на поле боя, стихшем и морозном.
Кто б ни пришел к нему,
кто ни придет, —
ему теперь всё будет поздно, поздно.

Еще мгновенье, может быть, назад
он ждал родных, в такое чудо веря...
Теперь лежит — всеобщий сын и брат,
пока что не опознанный солдат,
пока одной лишь Родины потеря.

Еще не плачут близкие в дому,
еще, приказу вечером внимая,
никто не слышит и не понимает,

что ведь уже о нем,
уже к нему
обращены от имени Державы
прощальные слова любви и вечной славы.

Судьба щадит перед ударом нас,
мудрей, наверно, не смогли бы люди...
А он —
он отдан Родине сейчас,
она одна сегодня с ним пробудет.

Единственная мать, сестра, вдова,
единственные заявив права, —
всю ночь пробудет у сыновних ног
земля распластанная,
тьма ночная,
одна за всех горюя, плача, зная,
что сын —
непоправимо одинок.

5

Мертвый, мертвый...
Он лежит и слышит
всё, что недоступно нам, живым:
слышит — ветер облако колышет,
высоко идущее над ним.

Слышит всё, что движется без шума,
что молчит и дремлет на земле;
и глубокая застыла дума
на его разглаженном челе.

Этой думы больше не нарушить...
О, не плачь над ним — не беспокой
тихо торжествующую душу,
услыхавшую земной покой.

6

Знаю: утешеньем и отрадой
этим строчкам быть не суждено.
Павшим с честью — ничего не надо,
утешать утративших — грешно.

По своей, такой же, скорби — знаю,
что, неукротимую, ее
сильные сердца не обменяют
на забвенье и небытие.

Пусть она, чистейшая, святая,
душу нечерствеющей хранит.
Пусть, любовь и мужество питая,
навсегда с народом породнит.

Незабвенной спаянное кровью,
лишь оно — народное родство —
обещает в будущем любому
обновление и торжество.

. . .Девочка, в январские морозы
прибегавшая ко мне домой, —
вот — прими печаль мою и слезы,
реквием несовершенный мой.

Всё горчайшее в своей утрате,
всё, душе светившее во мгле,
я вложила в плач о нашем брате,
брате всех живущих на земле. . .

. . .Неоплаканный и невоспетый,
самый дорогой из дорогих,
знаю, ты простишь меня за это,
ты, отдавший душу за других.

Апрель — май 1944

263. МОЛИТВА

Полземли в пожаре и крови,
светлые потушены огни. . .

Господи, прости, что в эти дни
начала я песню о любви.

Слышу стон людской и детский плач,
но кого-то доброго молю:
там, где смерть, и горе, и зола,
да возникнет песнь моя светла,
потому что я его люблю.

Потому что я его нашла
прежде как солдат, а не жена,
там, где горе было и зола,
там, где властвовала смерть одна.

Может быть, когда-нибудь казнишь
тем, что на земле страшней всего, —
пусть, — я не скрываю, — в эти дни
пожелала я любви его.

Матери просили одного, —
чтобы на детей не рухнул кров;
я вымаливала — сверх всего —
неизвестную его любовь.

Воины просили одного, —
чтоб не дрогнуть в тягостных боях,
я вымаливала — сверх всего —
пусть исполнится любовь моя.

Господи, я не стыжусь — о, нет, —
ни перед людьми, ни пред тобой,
и готова я держать ответ
за свершенную свою любовь...

1944

264. 27 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

...Сегодня праздник в городе.
Сегодня
мы до утра, пожалуй, не уснем.
Так пусть же будет как бы новогодней
и эта ночь, и тосты за столом.

Мы в эту ночь не раз поднимем чаши
за дружбу незапятнанную нашу,
за горькое блокадное родство,
за тех,
кто не забудет ничего.

И первый тост, воинственный и братский,
до капли, до последнего глотка, —
за вас, солдаты армий ленинградских,
осадою крещенные войска,

за вас, не дрогнувших перед проклятым
сплошным потоком стали и огня...
Бойцы Сорок второй,
Пятьдесят пятой,
Второй Ударной, —
слышите ль меня?

В далеких странах,
за родной границей,
за сотни верст сегодня вы от нас.
Чужая вьюга
хлещет в ваши лица,
чужие звезды
озаряют вас.

Но сердце наше — с вами. Мы едины,
мы неразрывны, как и год назад.
И вместе с вами подошел к Берлину
и властно постучался Ленинград.

Так выше эту праздничную чашу
за дружбу незапятнанную нашу,
за кровное военное родство,
за тех,
кто не забудет ничего...

А мы теперь с намека, с полуслова
поймем друг друга и найдем всегда.
Так пусть рубец, почетный и суровый,
с души моей не сходит никогда.
Пускай душе вовеки не позволит
исполниться ничтожеством и злом,
животворящей, огненною болью
напомнит о пути ее былом.

Пускай всё то же гордое терпенье
владеет нами ныне, как тогда,
когда свершаем подвиг возрожденья,
не отдохнув от ратного труда.

Мы знаем, умудренные войною:
жестоки раны — скоро не пройдут.
Не все сады распустятся весною,
не все людские души оживут.

Мы трудимся безмерно, кропотливо...
Мы так хотим, чтоб, сердце веселя,
воистину была бы ты счастливой,
обитель наша, отчая земля!

И верим: вновь
пути укажет миру
наш небывалый,
тяжкий,
дерзкий труд.
И к Сталинграду,
к Северной Пальмире
во множестве паломники придут.

Придут из мертвых городов Европы
по неостывшим, еле стихшим тропам,
придут, как в сказке, за живой водой,
чтоб снова землю сделать молодой.

Так выше, друг, торжественную чашу
за этот день,
за будущее наше,
за кровное народное родство,
за тех,
кто не забудет ничего...

27 января 1945

265. НАКАНУНЕ

Запомни эти дни.
Прислушайся немного,
и ты — душой — услышишь в тот же час:
она пришла и встала у порога,
она готова в двери постучать.

Она стоит на лестничной площадке,
на темной,
на знакомой без конца,
в солдатской, рваной, дымной
плащ-палатке,
кровавый пот не вытерла с лица.

Она к тебе спешила из похода
столь тяжкого,
что слов не обрести.
Она ведь знала: все четыре года
ты ждал ее,
ты знал ее пути.

Ты отдал всё, что мог, ее дерзанью:
всю жизнь свою,
всю душу,
радость,
плач.
Ты в ней не усомнился
в дни страданья,
не возгордился праздно в дни удач.
Ты с этой самой лестничной площадки
подряд четыре года провожал
тех — самых лучших,
тех, кто без оглядки
ушел к ее бессмертным рубежам.
И вот — она у твоего порога.
Дыханье переводит и молчит.
Ну, день, ну, два, еще совсем немного,
ну, через час — возьмет и постучит.
И в тот же миг серебряным звучаньем
столицы позывные запоют.
Знакомый голос вымолвит:
«Вниманье...» —
а после трубы грянут, и салют,
и хлынет свет,
зальет твою квартиру,
подобный свету радуг и зари,
и всею правдой,
всей отрадой мира
твое существованье озарит.

Запомни ж всё.
Пускай навеки память
до мелочи, до капли сохранит
всё, чем ты жил,
что говорил с друзьями,
всё, что видал,
что думал в эти дни.
Запомни даже небо и погоду,

всё впитывай в себя,
всему внемли:
ведь ты живешь весной такого года,
который назовут — Весной Земли.

Запомни ж всё! И в будничных тревогах
на всем чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоем пороге.
Сейчас она войдет к тебе.
Встречай!

22 апреля 1945

266. ТВОЙ ПУТЬ

1

...И всё осталось там — за белым-белым,
за тем январским ледовитым днем.
О, как я жить решилась, как я смела!
Ведь мы давно условились: вдвоем.

. . . .

А тот, который с августа запомнил
сквозь рупора звеневший голос мой, —
зачем-то вдруг нашел меня и поднял,
со снега поднял и привел домой.

Как в притчах позабытых и священных,
пред путником, который изнемог,
ты встал передо мною на колено
и обувь снял с моих отекших ног;
высокое сложил мне изголовье,
чтоб легче сердцу было по ночам,
и лег в ногах, окоченевший сам,
и ничего не называл любовью...

2

Я знаю, слишком знаю это зданье.
И каждый раз, когда иду сюда,
всё кажется, что вышла на свиданье
сама с собой, такой же, как тогда.

Но это больше, чем воспоминанье.

Я не боюсь самой себя — вчерашней.
На всё отвечу, если уж пришла, —
вот этой серой, беспощадной, страшной,
глядящей из блокадного угла.

Я той боюсь, которая однажды
на Мамисоне[1]
искрящимся днем
глядела в мир с неукротимой жаждой
и верила во всем ему, во всем...

Но это больше, чем воспоминанье.
Я не о ней.
Я о гранитном зданье.

Здесь, как в бреду, всё было смещено:
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще
вставать с постелей,
пораньше утром,
растемнив окно,
в кружок усевшись,
перьями скрипели.

Отсюда передачи шли на город —
стихи, и сводки,
и о хлебе весть.
Здесь жили дикторы и репортеры,
поэт, артистки...
Всех не перечесть.

Они давно покинули жилища
там, где-то в недрах города,
вдали;
они одни из первых на кладбища
последних родственников отвезли
и, спаяны сильней, чем кровью рода,
родней, чем дети одного отца,
сюда зимой сорок второго года
сошлись — сопротивляться до конца.

---

[1] Мамисонский перевал — один из самых высоких и красивых перевалов на Кавказе.

Здесь, на походной койке-раскладушке,
у каменки, блокадного божка,
я новую почувствовала душу,
самой мне непонятную пока.

Я здесь стихи горчайшие писала,
спеша, чтоб свет использовать дневной...
Сюда, в тот день,
когда я в снег упала,
ты и привел бездомную — домой.

3

...По сумрачным утрам
ты за водой ходил на льдистый Невский,
где выл норд-вест,
седой, косматый, резкий,
и запах гари стлался по дворам.
Стоял, пылая, город.
В семь утра
темнел скелет
Гостиного двора.

. . . .

И на Литейном был один источник.
Трубу прорвав, подземная вода
однажды с воплем вырвалась из почвы
и поплыла, смерзаясь в глыбы льда.
Вода плыла, гремя и коченея,
и люди к стенам жались перед нею,
но вдруг один, устав пережидать, —
наперерез пошел
по корке льда,
ожесточась пошел,
но не прорвался,
а, сбит волной,
свалился на ходу,
и вмерз в поток,
и так лежать остался
здесь,
на Литейном,
видный всем, —
во льду.

А люди утром прорубь продолбили
невдалеке
и длинною чредой
к его прозрачной ледяной могиле
до марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь
ходить сюда, — не говори: «Забудь».
Я знаю всё. Я тоже там была,
я ту же воду жгучую брала
на улице, меж темными домами,
где человек, судьбы моей собрат,
как мамонт, павший сто веков назад,
лежал, затертый городскими льдами.

. . .Вот так настал,
одетый в кровь и лед,
сорок второй, необоримый год.
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть,
насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда,
год его зимы,
год Сталинградского
единоборства.

4

В те дни исчез, отхлынул быт.
И смело
в права свои вступило бытие.
А я жила.
Изнемогало тело,
и то сияло, то бессильно тлело
сознание смятенное мое.
Сжималась жизнь во мне...
Совсем похоже,
как древняя шагреневая кожа
с неистовой сжималась быстротою,
едва владелец — бедный раб ее —
любое, незапретное, простое
осуществлял желание свое.
Сжималась жизнь...
Так вот что значит — смерть:
не сметь желать.
Самой — совсем не сметь.

Ну что же, пусть.
Я всё равно устала,
я всё равно не этого ждала
на тех далеких горных перевалах,
под небосводом синего стекла,
там, где цветок глядел из-за сугроба,
где в облаках, на кромке крутизны,
мы так тогда прекрасны были оба,
так молоды, бесстрашны и сильны...

...Всё превратилось вдруг в воспоминанье:
вся жизнь,
все чувства,
даже я сама,
пока вокруг в свирепом ожиданье
стоят враги, безумствует зима,
и надо всем —
сквозь лед, и бред, и ночи,
не погасить его, не отойти —
рублевский лик и стынущие очи
того, кому не сказано:
«Прости!»
Того, кто был со мной на перевале,
на одиноком блещущем пути,
и умер здесь, от голода, в подвале,
а я —
я не могла его спасти...
...Еще хотелось повидать сестру.
Я думала о ней с такой любовью,
что стало ясно мне: на днях — умру.
То кровь тоскует по родимой крови.
Но незнакомый, чей-то, не родной,
ты ближе всех, ты рядом был со мной.
И ты не утешал меня.
Ночами,
когда, как все, утратив радость слез,
от горя корчась, я почти мычала,
ни рук моих не гладил, ни волос.
Ты сам, без просьб,
как будто б стал на страже
глухого отчужденья моего;
ты не коснулся ревностью его
и не нарушил нежностию даже.

Ты просто мне глоток воды горячей
давал с утра,
и хлеба,
и тетрадь
и заставлял писать для передачи:
ты просто не давал мне умирать...

Не знаю — как, но я на дне страданья,
о мертвом счастье бредя, о тепле,
открыла вдруг, что ты — мое желанье,
последнее желанье на земле.

Я так хочу.
Я так хочу сама.

Пускай, озлясь, грозится мне зима,
что радости вместить уже не сможет
остаток жизни —
мстительная кожа, —
я так хочу.
Пускай сойдет на нет:
мне мерзок своеволия запрет.

Я даже пела что-то в этот вечер,
почти забытое, у огонька,
цветным платком плотней укрыла плечи
и темный рот подкрасила слегка.

В тот самый день сказал ты мне смущаясь:
«А все считают, ты — моя жена...»
И люди нас не попрекнули счастьем
в том городе,
где бредила война.

5

Мы жили высоко — седьмой этаж.
Отсюда был далёко виден город.
Он обгоревший, тихий был и гордый,
пустынный был
и весь, до пепла, — наш.

А мы ходили в Летний по грибы,
где, как в бору, кукушка куковала.

Возили реже мертвых.
Но гробы
не появлялись: сил недоставало
на этот древний горестный обряд.
О нем забыл блокадный Ленинград.
И первый гроб, обитый кумачом,
проехавший на катафалке красном,
обрадовал людей: нам стало ясно,
что к жизни возвращаемся и мы
из недр нечеловеческой зимы.

О нет, я не кощунствую!
Так было!
Нам всё о жизни яростно твердило,
и, точно дар торжественный, — для нас
всё на земле
явилось
в первый раз.
И солнце мы впервые увидали,
и с наших крыш,
постов сторожевых, —
Большой земли мерцающие дали
в румяных зорях,
в дымке синевы.

До стона,
до озноба,
до восторга
мы вглядывались в эту синеву...
Прекрасная!
Нельзя тебя отторгнуть.
Ты — это жизнь.
Ты есть — и я живу.

...Я помню час, когда, толкнув рукой
окошко, перекрещенное слепо,
я в одичавший зимний угол свой
впустила полднем дышащее небо.
Я отойти не смела от окна!
Слепорожденный
в первый день прозренья
глядел бы так,
с таким же изумленьем
на всё, что знал под именем «весна»!

6

. . .А в темноте, почти касаясь кровли,
всю ночь снаряды бешеные шли,
так метров семь над сонной нашей кровью,
и рушились то близко, то вдали.
Ты рядом спал, как спал весь город — камнем,
сменясь с дежурства.
Мы с утра в бою. . .
Как страшно мне.
Услышав свист, руками
я прикрываю голову твою.
Невольный жест, напрасный — знаю, знаю. . .
А ночь светла.
И над лицом твоим
с тысячелетней нежностью склоняясь,
я тороплюсь налюбоваться им.
Я тороплюсь, я знаю, что сосчитан
свиданья срок.
                                        Разлука настает.
Но ты не знай. . .
                                             Спи под моей защитой,
солдат уставший,
                                             муж,
                                                       дитя мое. . .

Три выстрела — три грохота подряд.
Поблизости. . . Пока не в наш квадрат. . .
. . .А рядом, в изголовье надо мною,
охапка веток, полная весною, —
ты с фронта, из Рыбацкого, принес. . .
Как пахнут листья, господи, — до слез!
Так ты вернулась, встала в изголовье,
о молодость. . . твой запах узнаю.
Сплети ж с моей сегодняшней любовью
всю чистоту и трепетность твою,
верни мне всё. . .
                                            Свистит. Опять фугас!
Сюда идет. . . Враг обнаружил нас,
засек,
          нашел,
                       сюда кладет снаряды,
невидимый,
                     нацелился в упор
откуда-то из гатчинского сада,

от царскосельских дремлющих озер, —
сюда идет...
В ночной молочной дымке
я узнаю, безносый невидимка,
тебя.
Ты приходил ко мне зимой.
Свистишь?
Свисти.
Я принимаю бой.

Ты утопить хотел меня в отеке.
Ты до костей обтягивал мне щеки.
Ты мне глаза мои вдавил в глазницы,
ты зубы мне расшатывал во рту,
ты гнал меня в подвалы,
в темноту,
под свод психиатрической больницы...
Но меж развалин горестных и дымных,
в ожогах вся,
в рубцах, в крови, в золе,
я поднялась,
как все, — неистребима,
с неистребимой верностью Земле,
и здесь, под этой обреченной крышей,
нашла возлюбленного своего.
Он рядом спит.
Он жив.
Он мирно дышит.
Я ни за что не разбужу его.

Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,
чтоб всю ее,
как дань людскому братству,
на жертвенник всемирный положить.
Грозишь?
Грози.
Свисти со всех сторон.
Мы победили.
Ты приговорен.

Обстрел затих.
Зарею полон город,
сменяются усталые дозоры,
на улицах пустынно и светло.
Сметают в кучи дворники стекло,
и неустанным эхом повторен
щемящий, тонкий, шаркающий звон,
и радуги бегут по тротуарам
в стеклянных брызгах.
В городе весна,
разбитым камнем пахнет и пожаром,
в гранитный берег плещется волна,
как сотни лет плескалась. Тишина.

...О девочка с вершины Мамисона,
что знала ты о счастии?
Оно
неласково,
сурово и бессонно
и с гибелью порой сопряжено.
Пред ним ничто — веселье.
Радость — прах.
Пред ним бессилен враг,
и тлен,
и страх.
Оно несет на крыльях лебединых
к таким неугасающим вершинам,
к столь одиноким, нежным и нагим,
что боги позавидовали б им.

Я счастлива.
И всё яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.
И гордости своей не утаю,
что рядовым вошла
в судьбу твою,
мой город,
в званье твоего поэта.
Не ты ли сам зимой библейски грозной
меня к траншеям братским подозвал
и, весь окостеневший и бесслезный,
своих детей оплакать приказал.

И там, где памятников ты не ставил,
где счесть не мог,
где никого не славил,
где снег лежал
от зарев розоватый,
где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришел,
чтоб землю вздыбить под могилы, —
там я приказ твой гордый выполняла...
Неся избранье трудное свое,
из недр души
я стих свой выдирала,
не пощадив живую ткань ее...

И ясно мне судьбы моей веленье:
своим стихом на много лет вперед
я к твоему пригвождена виденью,
я вмерзла
в твой неповторимый лед.

...А тот,
над кем светло и неустанно
мне горевать, печалиться, жалеть,
кого прославлю славой безымянной —
немою славой, высшей на земле, —
ты слит со всем, что больше жизни было —
мечта,
душа,
отчизна,
бытие, —
и для меня везде твоя могила
и всюду — воскресение твое.

Твердит об этом
трубный глас Москвы,
когда она,
колебля своды ночи,
как равных — славит павших и живых
и Смерти — смертный приговор пророчит.

Апрель 1945

267. ВСТРЕЧА С ПОБЕДОЙ

«Здравствуй...»
Сердцем, совестью, дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:
«Здравствуй, здравствуй.
Пробил час свиданья,
светозарный час в людской судьбе.

Я четыре года самой гордой —
русской верой — верила, любя,
что дождусь —
живою или мертвой,
всё равно, —
но я дождусь тебя.
Вот я дождалась тебя — живою...
«Здравствуй...»
Что еще тебе сказать?
Губы мне свело священным зноем,
слезы опаляют мне глаза.

Ты прекраснее, чем нам мечталось, —
свет безмерный,
слава,
сила сил.
Ты — как день, когда Земля рождалась,
вся в заре, в сверкании светил.

Ты цветеньем яблоневым белым
осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней песни колыбельной,
полная надежды и мечты.
Ты — такая... Ты пришла такая...
Ты дохнула в мир таким теплом...
Нет, я слова для тебя не знаю.
Ты — Победа. Ты превыше слов.

Счастье грозное твое изведав,
зная тернии твоих путей,
я клянусь тебе, клянусь, Победа,
за себя и всех своих друзей, —
я клянусь, что в жизни нашей новой
мы не позабудем ничего:
ни народной драгоценной крови,
пролитой за это торжество,

ни твоих бессмертных ратных буден,
ни суровых праздников твоих,
ни твоих приказов не забудем,
но во всем достойны будем их.

Я клянусь так жить и так трудиться,
чтобы Родине цвести, цвести...
Чтоб вовек теперь ее границы
никаким врагам не перейти.

Пусть же твой огонь неугасимый
в каждом сердце светит и живет
ради счастья Родины любимой,
ради гордости твоей, Народ.

10 мая 1945

268—269. *ИЗ ЦИКЛА «ПРОХОД ГВАРДЕЙЦЕВ»*

1

...Прости, но я сегодня не с тобой.
Я с тем, кого увидеть не надеюсь.
Я услыхала шаг его глухой
среди шагов вернувшихся гвардейцев.

Его последний в этом мире шаг.
Они пройдут. Потом наступит вечер.
Всё кончено. Уже не будет встречи.
Не увидать нигде его, никак...

А после жизнь пойдет своей чредою,
и я такой же буду, как была...
Но нынче в город Гвардия вошла.
Прости, но я сегодня не с тобою.

2

Полковник ехал на гнедом коне,
на тонконогом, взмыленном, атласном.
Вся грудь бойца горела, как в огне, —
была в нашивках, золотых и красных.
На темной меди строгого лица
белел рубец, как след жестокой боли,

а впереди, держась за грудь отца,
сидела дочка — лет пяти, не боле.
Пестрей, чем вешний полевой цветок,
с огромным бантом цвета голубого,
нарядная, как легкий мотылек,
и на отца похожа до смешного.
Мы слишком долго видели детей
седых, блуждающих среди углей,
не детски мудрых и не детски гневных.
А эта — и румяна и бела,
полна ребячьей прелести была,
как русских сказок милая царевна.

Мы так рукоплескали!
Мы цветы
бросали перед всадником отважным.
И девочка народу с высоты
кивала гордо, ласково и важно.
Ну да, конечно, думала она,
что *ей* — цветы, и музыка, и клики,
ей — не тому, кто, в шрамах, в орденах.
везет ее,
свершив поход великий.

И вот, глазами синими блестя,
одарено какой-то светлой властью, —
за всех гвардейцев приняло дитя
восторг людской, и слезы их, и счастье.
И я слыхала — мудрые слова
сказала женщина одна соседу:
«Народная наследница права, —
всё — для нее. Ее зовут Победа».

8 июля 1945

270

. . .Так вот она какая. Вот какой
мой город, воскресающий весной.

Трава — зеленая. А неба купол
не черный и не серо-голубой.
Какой же я бесцветный мир нащупал
незрячею, неверною рукой.

Прозревший недоверчив: он испуган,
он так обжился в сумраке своем.
Он опознать не сразу может друга,
того, кто был его поводырем.
Он быстро утомляется на пире
цветов и света, правды и щедрот.
Он долго одиночествует в мире
и всё на ощупь пробует вперед...

1945

271

...О да — простые, бедные слова
мы точно в первый раз произносили,
мы говорили: солнце, свет, трава,
как произносят: жизнь, любовь и сила.

А помнишь ли, как с города ледник
сдирали мы, четырежды проклятый,
как бил в панель ногой один старик
и всё кричал: «Асфальт, асфальт, ребята!..»

Так, милый берег видя с корабля,
кричали в старину: «Земля, земля!..»

1945

272

Н. М.

Мне не поведать о моей утрате...
Едва начну — и сразу на уста
в замену слов любви, тоски, проклятий
холодная ложится немота.

Мне легче незнакомых, неизвестных,
мне легче мир оплакать, чем тебя.

И всё, что говорю, — одни подобья,
над песней неродившейся надгробье...

1945

273

Я знала мир без красок и без цвета.
Рукой, протянутой из темноты,
нащупала случайные приметы,
невиданные, зыбкие черты.

Так, значит, я слепой была от роду,
или взаправду стоило прийти
ко мне такой зиме, такому году,
чтоб даже небо снова обрести...

1945

274

...Не потому ли сплавила печаль я
с подспудной жаждой счастья и любви
и песнь моя над кладбищем звучала
призывом к жизни,
                                        клятвой на крови?

Не потому ли горечь, как усталость,
доныне на губах моих осталась...
Но кто солдат посмеет обвинить
за то, что искалечены они?..

1945

275. СТИХИ О СЕБЕ

...И вот в послевоенной тишине
к себе прислушалась наедине.
. . . .

Какое сердце стало у меня,
сама не знаю — лучше или хуже:
не отогреть у мирного огня,
не остудить на самой лютой стуже.

И в черный час зажженные войною
затем, чтобы не гаснуть, не стихать,
неженские созвездья надо мною,
неженский ямб в черствеющих стихах...

...И даже тем, кто всё хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.

И как стволы, поднявшиеся рядом,
сплетают корни в душной глубине
и слили кроны в чистой вышине,
даря прохожим мощную прохладу, —
так скорбь и счастие живут во мне —
единым корнем — в муке Ленинграда,
единой кроною — в грядущем дне.

И всё неукротимей год от года
к неистовству зенита своего
растет свобода сердца моего —
единственная на земле свобода.

1945

Весной сорок второго года множество ленинградцев носили на груди жетон — ласточку с письмом в клюве.

276. БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА

Сквозь года, и радость, и невзгоды
вечно будет мне сиять одна
та весна сорок второго года,
в осажденном городе весна.

Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало — «жду письма».

Этот знак придумала блокада:
знали мы, что только самолет,
только птица к нам до Ленинграда
с милой-милой Родины дойдет...

...Сколько писем с той поры мне было!
Отчего же кажется самой,
что доныне я не получила
самое желанное письмо...

Чтобы к жизни, вставшей за словами,
к правде, влитой в каждую строку,
совестью припасть бы, как устами
в раскаленный полдень — к роднику.

Кто не написал его, не выслал?
Счастье ли? Победа ли? Беда?
Или друг, который не отыскан
и не узнан мною навсегда?

Или где-нибудь доныне бродит
то письмо, желанное как свет,
ищет адрес мой, и не находит,
и, томясь, тоскует: где ж ответ?

Или близок день — и непременно
в час большой душевной тишины
я приму неслыханной, нетленной
весть, идущую еще с войны?

О, найди меня, гори со мною
ты, давно обещанная мне
всем, что было, — даже той смешною
ласточкой — в осаде, на войне...

1946

277

Я никогда не напишу такого.
В той потрясенной, вещей немоте
ко мне тогда само являлось слово
в нагой и неподкупной чистоте.

Уже готов позорить нашу славу,
уже готов на мертвых клеветать
герой прописки
                    и стандартных справок...

Но на асфальте нашем —
                    след кровавый,
не вышаркать его, не затоптать...

1946

278. ИЗМЕНА

Не наяву, но во сне, во сне
я увидала тебя: ты жив.
Ты вынес всё и пришел ко мне,
пересек последние рубежи.

Ты был землею уже, золой,
славой и казнью моею был.
Но, смерти назло
                    и жизни назло,
ты встал из тысяч
                    своих могил.

Ты шел сквозь битвы, Майданек, ад,
сквозь печи, пьяные от огня,
сквозь смерть свою ты шел в Ленинград,
дошел, потому что любил меня.

Ты дом нашел мой, а я живу
не в нашем доме теперь, в другом,
и новый муж у меня — наяву...
О, как ты не догадался о нем?!

Хозяином переступил порог,
гордым и радостным встал, любя.
А я бормочу: «Да воскреснет бог»,
а я закрещиваю тебя
крестом неверующих, крестом
отчаянья, где не видать ни зги,
которым закрещен был каждый дом
в ту зиму, в ту зиму, как ты погиб...

О друг, — прости мне невольный стон:
давно не знаю, где явь, где сон...

1946

279

Как я жажду обновленья,
оправданья этих дней,
этой крови искупленья
счастьем будущим детей!

Но душа мне отвечает,
темно-ржавая от ран:
искупленья не бывает,
искупление — обман.
. . . .
И когда меня зароют
возле милых сердцу мест, —
крест поставьте надо мною,
деревянный русский крест!

P. S. ...А было всё не так, как мне казалось.
Еще страшнее было, не похоже.
Потом Победа нам сполна досталась,
ее священно-жаркий свет...
И всё же —
так мало в мире нас, людей, осталось,
что можно шепотом произнести
забытое людское слово «жалость»,
чтобы опять друга друга обрести.

1940, 1946

280. МОЙ ДОМ

А в доме, где жила я много лет,
откуда я ушла зимой блокадной,
по вечерам опять в окошках свет.
Он розоватый, праздничный, нарядный.

Взглянув на бывших три моих окна,
я вспоминаю: здесь была война.

О, как мы затемнялись! Ни луча...
И всё темнело, всё темнело в мире...
Потом хозяин в дверь не постучал,
как будто путь забыл к своей квартире.
Где до сих пор беспамятствует он,
какой последней кровлей осенен?

Нет, я не знаю, кто живет теперь
в тех комнатах, где жили мы с тобою,
кто вечером стучится в ту же дверь,
кто синеватых не сменил обоев —
тех самых, выбранных давным-давно...
Я их узнала с улицы в окно.

Но этих окон праздничный уют
такой забытый свет в сознанье будит,
что верится: там добрые живут,
хорошие, приветливые люди.
Там даже дети маленькие есть
и кто-то юный и всегда влюбленный,
и только очень радостную весть
сюда теперь приносят почтальоны.
И только очень верные друзья
сюда на праздник сходятся шумливый.
Я так хочу, чтоб кто-то был счастливым
там, где безмерно бедствовала я.

Владейте всем, что не досталось мне,
и всем, что мною отдано войне...

...Но если вдруг такой наступит день —
тишайший снег и сумерек мерцанье,
и станет жечь, нагнав меня везде,
блаженное одно воспоминанье,
и я не справлюсь с ним, и, постучав,
приду в мой дом и встану на пороге,
спрошу... ну, там спрошу: «Который час?» —
или воды, как на войне в дороге, —
то вы приход не осуждайте мой,
ответьте мне доверьем и участьем:
ведь я пришла сюда к себе домой,
и помню всё, и верю в наше счастье...

1946

281—283. *СТИХИ О ЛЮБВИ*

1

Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным, с темной думою,
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя.

1942

2

Я тайно и горько ревную,
угрюмую думу тая:
тебе бы, наверно, иную —
светлей и отрадней, чем я...

За мною такие утраты
и столько любимых могил!
Пред ними я так виновата,
что если б ты знал — не простил.
Я стала так редко смеяться,
так злобно порою шутить,
что люди со мною боятся
о счастье своем говорить.
Недаром во время беседы,
смолкая, глаза отвожу,
как будто по тайному следу
далеко одна ухожу.
Туда, где ни мрака, ни света —
сырая рассветная дрожь...
И ты окликаешь: «Ну, где ты?»
О, знал бы, откуда зовешь!
Еще ты не знаешь, что будут
такие минуты, когда
тебе не откликнусь оттуда,
назад не вернусь никогда.

Я тайно и горько ревную,
но ты погоди — не покинь.
Тебе бы меня, но иную,
не знавшую этих пустынь:
до этого смертного лета,
когда повстречалися мы,
до горестной славы, до этой
полсердца отнявшей зимы.

Подумать — и точно осколок,
горя, шевельнется в груди...
Я стану простой и веселой, —
тверди ж мне, что любишь, тверди!

1947

3

Ни до серебряной и ни до золотой,
всем ясно, я не доживу с тобой.
Зато у нас железная была —
по кромке смерти на войне прошла.
Всем золотым ее не уступлю:
всё так же, как в железную, люблю...

1949

284. ФЕОДОСИЯ

Юрию Герману

Когда я в мертвом городе искала
ту улицу, где были мы с тобой,
когда нашла — и всё же не узнала
. . . .
А сизый прах и ржавчина вокзала!

...Но был когда-то синий-синий день,
и душно пахло нефтью, и дрожала
седых акаций вычурная тень...
От шпал струился зной — стеклянный,
зримый, —
дышало море близкое, а друг,
уже чужой, но всё еще любимый,
не выпускал моих холодных рук.
Я знала: всё. Уже ни слов, ни споров,
ни милых встреч...
И всё же будет год:
один из нас приедет в этот город
и всё, что было, вновь переживет.
Обдаст лицо блаженный воздух юга,
подкатит к горлу незабытый зной,
на берегу проступит облик друга —
неистребимой радости земной.
О, если б кто-то, вставший с нами рядом,
шепнул, какие движутся года!
Ведь лишь теперь, на эти камни глядя,
я поняла, что значит — «никогда»,
что прошлого — и то на свете нет,
что нет твоих свидетелей отныне,
что к самому себе потерян след
для всех, прошедших зоною пустыни...

1935, 1947
Феодосия

О, не оглядывайтесь назад,
на этот лед,
на эту тьму;
там жадно ждет вас
чей-то взгляд,
не сможете вы не ответить ему.

Вот я оглянулась сегодня... Вдруг
вижу: глядит на меня изо льда
живыми глазами живой мой друг,
единственный мой — навсегда, навсегда.

А я и не знала, что это так.
Я думала, что дышу иным.
Но, казнь моя, радость моя, мечта,
жива я только под взглядом твоим!

Я только ему еще верна,
я только этим еще права:
для всех живущих — его жена,
для нас с тобою — твоя вдова.

1947

286. ПУСТЬ ГОЛОСУЮТ ДЕТИ

Я в госпитале мальчика видала.
При нем снаряд убил сестру и мать.
Ему ж по локоть руки оторвало.
А мальчику в то время было пять.

Он музыке учился, он старался.
Любил ловить зеленый круглый мяч...
И вот лежал — и застонать боялся.
Он знал уже: в бою постыден плач.

Лежал тихонько на солдатской койке,
обрубки рук вдоль тела протянув...
О, детская немыслимая стойкость!
Проклятье разжигающим войну!

Проклятье тем, кто там, за океаном,
за бомбовозом строит бомбовоз,
и ждет невыплаканных детских слез,
и детям мира вновь готовит раны.

О, сколько их, безногих и безруких!
Как гулко в черствую кору земли,
не походя на все земные звуки,
стучат коротенькие костыли.

И я хочу, чтоб, не простив обиды,
везде, где люди защищают мир,
являлись маленькие инвалиды,
как равные с храбрейшими людьми.

Пусть ветеран, которому от роду
двенадцать лет,
когда замрут вокруг,
за прочный мир,
за счастие народов
подымет ввысь обрубки детских рук.

Пусть уличит истерзанное детство
тех, кто войну готовит, — навсегда,
чтоб некуда им больше было деться
от нашего грядущего суда.

1949

287. ОБРАЩЕНИЕ К ПОЭМЕ

...и я с упованием и с любовью обернулся назад...

А. И. Герцен

— Спаси меня!
Снова к тебе обращаюсь.
Не так, как тогда, — тяжелей и страшней:
с последней любовью своею прощаюсь,
с последней, заветною правдой своей.

Как холодно, как одиноко на свете...
Никто не услышит, никто не придет...

О, пусть твой орлиный,
твой юный,
твой ветер
дохнет на меня,
загремит —
запоет...

1949

288—289. *ТАШКЕНТСКИЕ СТИХИ*

К. С.

1

Есть в сердце Средней Азии чертог.
Кто видел, тот забыть его не смог.

Нет, он не стар — как новолунье юн.
В нем воздух полон вечной думой струн,

дыханьем песен, ропотом стихов,
сверканьем в пляске взвихренных шелков,

и если кто не знал, то знай, что он
из легких кружев каменных сплетен.

Таким явился он тебе и мне,
театр в Ташкенте, в золотой стране.

Он был задуман до войны. И вот
война, беда. Но говорит народ:

«Нет, мирных мы не прекратим работ.
Пусть воплотится чудо — и живет».

Уже сражались, доблестью полны,
Узбекистана лучшие сыны,
когда в театр явились их отцы
и, взяв свои волшебные резцы,
и стиснув зубы, и прищурив взор,
на камне стали высекать узор.
Враги свирепо рвутся на восток,
но мастер режет за цветком цветок,
и сколько б сердце ни терзала боль,

и сколько б глаз ни разъедала соль,
ни разу не дрожит его рука,
верна, трудолюбива и жестка:
он знает, что усталые сыны
сюда прийти с победою должны.

Идут сражения. Идут года.
Пылая, исчезают города.
Но сказочный в мерцании зеркал
уже рождается Бухарский зал, —
из легких кружев каменных сплетен,
нежнейшим светом белым напоен.

Да, мастер знал — усталые сыны
сюда прийти с победою должны.

Приди ж и взгляд на нем останови —
единоборстве камня и любви,
знай: никакие силы не согнут
народ, влюбленный в красоту и труд.

2

Да, это случилось семь лет назад, —
я помню об этом — и рада:
мне в сорок втором на линкоре «Марат»
пришлось побывать с бригадой.

Раскрашен под камень и к стенке прижат,
сетями укрыт, изувечен,
оружия не positionживший «Марат», —
таким ты запомнишься вечно.

А личный состав говорил об одном,
как будто б забыв про блокаду:
«Туда! По-балтийски сразиться с врагом,
на улицы Сталинграда!»

О чем же еще мы могли говорить
в августе сорок второго?
Что фронта «союзник» не хочет открыть?
Мы знали — теперь не откроет.

Мы слышали отзвук обвалов глухих
оттуда, с приволжских откосов!
О, как мы читали в тот вечер стихи, —
солдаты, поэты, матросы.

И вдруг, изумляя и радуя взгляд,
за ужином скудным и странным,
на маленьком блюде — сухой виноград
и даже вино — по стакану.

Мы так наслаждались!
«Скажи, капитан,
такое богатство — откуда?»
— «А это от шефов. Узбекистан.
Вы правы — похоже на чудо.
Мы в дружбе давнишней — Ташкент
и «Марат».

В осаде о нас не забыли.
Сквозь тысячи верст — привезли виноград
и сирот, маратовских малых ребят,
заботливо усыновили».

И медленно, тихо поднял капитан,
как будто б огромную чашу,
неполный и маленький легкий стакан
за верность народную нашу.

Ташкент, я припомнила этот глоток,
как мира, победы и счастья залог,
когда мы собрались под кущи твои
на праздники в честь Навои.

Он длился — щедрейший, обильнейший пир,
поэзии торжество...
За этот творящий и мыслящий мир —
как бились мы все за него!

И розы клубились, сияло вино,
и воздух звенел от стихов...
О родина света, где слиты давно
поэзия жизни и строф!

О родина дружбы, где счастье роднит,
где не разлучает беда!
О родина мира, — твой мир сохранит
народ навсегда, навсегда...

1949

290

Во имя лучшего слова,
одного с тобою у нас,
ты должен
влюбиться снова,
сказать мне об этом сейчас.

Смотри, ты упустишь время!
Тяжелой моей любви
счастливое, гордое бремя,
не медля, обратно зови.

Ты лучшей не сыщешь доли,
высот не найдешь других,
ибо в ней — последняя воля,
последний воздух Двоих.

1949

291. НАДЕЖДА

Я всё еще верю, что к жизни вернусь, —
однажды на раннем рассвете проснусь.
На раннем, на легком, в прозрачной росе,
где каплями ветки унизаны все,
и в чаше росянки стоит озерко́,
и в нем отражается бег облаков,
и я, наклоняясь лицом молодым,
смотрю, как на чудо, на каплю воды,
и слезы восторга бегут, и легко,
и виден весь мир далеко-далеко...

Я всё еще верю, что раннее утро,
знобя и сверкая, вернется опять
ко мне — обнищавшей,
безрадостно-мудрой,
не смеющей радоваться и рыдать...

1949

Ничто не вернется.
Всему предназначены сроки.
Потянутся дни,
в темноту и тоску обрываясь,
как тянутся эти угрюмые, тяжкие строки,
которые я от тебя почему-то скрываю.

Но ты не пугайся. Я договор наш не нарушу.
Не будет ни слез, ни вопросов,
ни даже упрека.
Я только покрепче замкну
опустевшую душу,
получше пойму, что теперь
навсегда одинока.

Она беспощадней всего,
недоверья отрава.
Но ты не пугайся,
ведь ты же спокоен и честен?
Узнаешь печали и радости собственной славы,
совсем не похожей на славу отверженных песен.

Я даже не буду
из дому теперь отлучаться,
шататься по городу
в поисках света людского.
Я всё потеряла —
к чему же за малость цепляться.
Мне не во что верить,
а веры — не выдумать снова.

Мы дачу наймем и украсим
как следует дачу —
плетеною мебелью,
легкой узорчатой тканью.
О нет, ты не бойся.
Я так, как тогда, не заплачу.
Уже невозможно — уже совершилось прощанье...

Всё будет прекрасно,
поверь мне, всё будет прекрасно,
на радость друзьям и на зависть
семействам соседним.

И ты никогда не узнаешь,
что это — мертво и напрасно...
Таков мой подарок тебе — за измену —
последний!

1949

293

Сегодня вновь растрачено души
на сотни лет,
на тьмы и тьмы ничтожеств...
Хотя бы часть ее в ночной тиши,
как пепел в горсть, собрать в стихи...
И что же?
Уже не вспомнить и не повторить
высоких дум, стремительных и чистых,
которыми посмела одарить
лжецов неверующих и речистых.
И щедрой доброте не просиять,
не озарить души потайным светом;
я умудрилась всю ее отдать
жестоким, не нуждающимся в этом.

Всё роздано: влачащимся — полет,
трусливым и безгласным — дерзновенье,
и тем, кто всех глумливей осмеет, —
глубинный жемчуг сердца — умиленье.
Как нищенка, перед столом стою.
Как мать, дитя родившая до срока.
А завтра вновь иду и отдаю
всё, что осталось, не приняв урока.
А может быть — мечты заветней нет, —
вдруг чье-то сердце просто и открыто
такую искру высечет в ответ,
что будут все утраты позабыты?

1949

294. ИЗ ЦИКЛА «ИСПЫТАНИЕ»

Я не люблю звонков по телефону,
когда за ними разговора нет.
«Кто говорит? Я слушаю!»
В ответ
молчание и гул, подобный стону.

Кто позвонил и испугался вдруг,
кто замолчал за комнатной стеною?
«Далекий мой,
желанный,
верный друг,
не ты ли смолк? Нет, говори со мною!
Одною скорбью мы разлучены,
одной безмолвной скованы печалью,
и все-таки средь этой тишины
поговорим... Нельзя, чтоб мы молчали!»

А может быть, звонил мой давний враг?
Хотел узнать, я дома иль не дома?
И вот, услышав голос мой знакомый,
спокоен стал и отошел на шаг.
Нет, я скрываться не хочу, не тщусь.
Я всем открыта, точно домочадцам...
Но так привыкла с домом я прощаться,
что, уходя, забуду — не прощусь.
Разлука никакая не страшна:
я знаю — я со всеми, не одна...
Но, господи, как одиноко вдруг,
когда такой настигнут тишиною...
Кто б ни был ты,
мой враг или мой друг, —
я слушаю! Заговори со мною!

1949

295. ⟨ИЗ ЦИКЛА «ПЯТЬ ОБРАЩЕНИЙ К ТРАГЕДИИ»⟩

Друзья твердят: «Все средства хороши,
чтобы спасти от злобы и напасти
хоть часть Трагедии,
хоть часть души...»
А кто сказал, что я делюсь на части?

И как мне скрыть — наполовину — страсть,
чтоб страстью быть она не перестала?
Как мне отдать на зов народа часть,
когда и жизни слишком мало?
Нет, если боль, то вся душа болит,
а радость — вся пред всеми пламенеет.

И ей не страх открытой быть велит —
ее свобода,
та, что всех сильнее.
Я так хочу, так верю, так люблю.
Не смейте проявлять ко мне участья.
Я даже гибели своей не уступлю
за ваше принудительное счастье...

1949

296

Какая темная зима,
какие долгие метели!
Проглянет солнце еле-еле —
и снова ночь, и снова тьма...

Какая в сердце немота,
ни звука в нем, ни стона даже...
Услышит смерть — и то не скажет.
И кто б ответил? Пустота...
О нет, не та зима, не та...

И даже нежности твоей
возврат нежданный и летучий,
зачем он мне? Как эти тучи:
под ними жизнь еще темней,
а мне уже не стать певучей.

Но разве же не я сама
себе предсказывала это,
что вот придет совсем без света,
совсем без радости зима?..

1949

297. СУДЬБЕ

Сохраню ль к судьбе презренье?..

А. Пушкин

Раскаиваться? Поздно. Да и в чем?
В том, что не научилась лицемерить?
Что, прежде чем любить, и брать, и верить,
не спрашивала, как торгаш, — «почем?»

Ты так сама учила... Как могла
помыслить, что придешь заимодавцем,
что за отказ — продать и распродаться —
отнимешь всё и разоришь дотла.

Что ж, продавай по рыночной цене
всё то, что было для души бесценно.
Я всё равно богаче и сильней
и чище — в нищете своей надменной.

Конец 40-х

298. ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

(Дума)

1

Меня никто не встретит здесь. Одна
бреду по этой улице. Со мною
лишь ранняя, знобящая весна
да чей-то шепот сразу за спиною, —
наверно, время или тишина...
Нет, знаю, знаю, — это вновь она,
струна в тумане, полная весною,
старинная заставская струна.

Меня никто не знает здесь. А я
здесь родилась. Здесь молодость моя
оперилась. Здесь первый дом и школа,
и первая ячейка комсомола,
и первая влюбленность и семья,
бессонницы студенческих ночей,
и в клубах на торжественных собраньях
рассказы старых палевских ткачей —
бессмертные бунтарские преданья.

Здесь первый твой неукротимый зов —
отчизна, революция, любовь,
и первый смутный жгучий призрак славы...
Истоки жизни — Невская застава.
Здесь полдень был...
                    Да, был такой один,
наполненный сиянием безмерным,
его я называю днем вершин,
а было это летом в сорок первом.

И было это вновь за Невской, тут —
в отцовском старом доме...
Тут, где ныне
тропинки вместо улицы бегут
и горько пахнет зоною пустыни...
Так где ж мои свидетели, о, где?
Кто подтвердит над пеплом стольких бедствий,
что вправду были молодость и детство,
и день вершин — мой первый зрелый день?
Кто подтвердит?
И, ревность не тая, —
струна в тумане отвечает:
«Я!»

2

Как в полдень тот клубились облака,
стеной с земли вздымались величавой,
и к ним, в их дебри,
шли и шли войска
на ближний подступ, Невскою заставой.
Как трясся дом! Уже недалеко,
в тех облаках, урча, клубились взрывы,
а в комнате,
среди седых икон,
спокойно, истово, неторопливо
кончалась бабка наша, мать отца.
Чуть видный в солнце, алый луч лампады
мерцал на сухоньких чертах лица
и на руках, уложенных как надо.

Вдова обуховского пушкаря
(девятого расстрелян января),
мать металлистов невских, богомолка,
свекровь ткачих и крестная солдат,
прабабка некрещеных октябрят
и бабка многих первых комсомолок, —
в свой смертный час,
в последний свой
земной, —
она, как мы, жила одним: войной.

Не трубам дряхлых ангелов своих
она внимала обостренным слухом,

но взрывам бомб,
в окошки бившим глухо
из облаков, где пенились бои...

А что она могла?
Сражались внуки,
шли в ополченье старики, сыны...
...И вдруг для гроба сложенные руки
она разжала, властию полны.

«А где Москва?» — она меня спросила.
Я указала вдаль, в окно...
Тогда
трикрат она Москву благословила
огромною рукою в темных жилах,
и в ней — почти столетием труда.
«А море где?»
Я указала вправо,
и сторону, где Финский был залив,
она благословила величаво,
а там уже пылали корабли,
а где-то в этот миг или позднее —
ведь времени не стало в эти дни —
уже Гастелло падал, пламенея,
на стан врагов...
И дрогнули они.

Она благословила юг и север,
всё, что могла, старуха, мать отцов,
и лишь тогда, светлея перед всеми,
окостенело намертво лицо.

3

Я в город шла пешком, — была тревога.
Я долго через всю заставу шла.
С младенчества знакомая дорога
сейчас неузнаваемой была.
Росли, вздымаясь бурно, баррикады,
и окна сузились до амбразур,
и был жесток монгольский их прищур,
а мимо шли рабочие отряды,
шли прямо в бой и прямо под огнем,

шли с песнею, по-новому пропетой, —
«И как один умрем
за власть Советов...»
И диабаз гремел под их ногами,
и кто-то нес на новеньком древке
старинное завкомовское знамя,
хранившееся в красном уголке.

И оттого, что отблеск исступленья
лежал на всем
и смертью путь грозил, —
пронзил меня озноб ожесточенья,
восторг единоборства охватил.

И вдруг всей жизнью — всею, а не частью
сегодняшней —
я стала жить, спеша,
и только полднем, только чистым счастьем,
ликуя, переполнилась душа.

Как будто б шла я по одним вершинам,
как будто б вечным праздником была
вся жизнь моя, не зная ни единой
печали,
горести,
сомнений, зла.

Всё, что дарил мне труд, любовь, искусство,
как в мощный луч, стремительно слилось
в одно всепоглощающее чувство
и именем Отчизны назвалось.

...И вновь я пионеркою стояла
под знаменем, чтоб обещанье дать.
Значок костра на галстуке на алом,
и онемевших пальцев не разнять.

«Даю торжественное обещанье,
что буду делу партии верна...
О, только бы скорей на испытанье —
на страшное — отправила страна!
Отправь на баррикады, — так, как в песне, —
на баррикады, в ураган огня,
как в дни Коммуны, — нет, на Красной Пресне,
нет, как в Семнадцатом, — отправь меня!»

И наступает юность. И проходит
вся в жажде подвига,
в работе неустанной —
в порту, на новостройках, на заводе,
в пустынях и колхозах Казахстана.
Я вспомнила — вернее, я вдохнула
степной, полынный, суховатый воздух,
и узкий полумесяц над аулом
и на рассвете розовые звезды.

Она со мною, молодость, со мной,
она, как детство, призвана войной,
она была бродячей, беспокойной,
но за горенье сердца,
за труды
признала партия — она достойна
войти в ее суровые ряды.
И точно вновь в тот день я получала
пред совестью партийный свой билет,
и он, как знамя маленькое, — алый,
костер на сердце, животворный свет.

О наши справедливые знамена,
костры, неугасимые вовек!
Как много лет, светло и непреклонно,
несет вас в мир советский человек.

4

О, как звенит заставская струна —
старинная любимица гитара!
Пятидесятый год, весна, весна,
а сорок первый вспомнился недаром.
Затем, что миром дышит этот вечер,
как и везде, по всей родной земле,
что легкий пух садится мне на плечи,
нежнейший пух цветущих тополей,
что радостно его прикосновенье,
что пахнет влагой, листьями — весной,
что ожиданье счастья, нетерпенье,
как в юности, овладевает мной.
Ты рядом, счастье, ты — за той калиткой,
за этим поворотом, за углом,
вот здесь, под этой старой мудрой липой,

где был когда-то милый отчий дом,
где прародительница всей семьи
в свой смертный час, смятенья не изведав,
четыре стороны родной земли
благословила, завещав победу.

И кто сказал неправду, будто б тут
меня никто не встретит и не знает?
Все любят, помнят, верят, узнают,
всё новизной безмерною встречает.

Мой дом разрушен восемь лет назад, —
а ныне здесь глубоко взрыта почва:
здесь будет сад,
дремучий новый сад,
он вырастет стремглав однажды ночью.

Так научились мы сажать сады
и создавать подоблачные зданья...
Что не под силу было молодым —
доступно возмужалому дерзанью.

Прекрасна юность. Радостней всего
ее полет, еще не позабытый...
Но нету горделивей ничего,
чем ощущенье своего зенита.

Как много сил, а всё еще вначале!
Всё выстрадано, взято навсегда,
всё — правда, жизнь!
Богатство за плечами —
пути войны, и мира, и труда.
И пусть рубцы...
Когда боялась ран я?
За счастие служить своей стране
я всё приму, любое испытанье,
как знак ее доверия ко мне.
И славою считаться мы не будем!
Мы просто отдадим, не пожалев,
всё, что еще понадобится людям,
чтоб коммунизм
построить
на земле.

1950

299. К ПЕСНЕ

Очнись, как хочешь, но очнись во мне —
в холодной, онемевшей глубине.

Я не мечтаю — вымолить слова.
Но дай мне знак, что ты еще жива.

Я не прошу надолго, — хоть на миг.
Хотя б не стих, а только вздох и крик.

Хотя бы шепот только или стон.
Хотя б цепей твоих негромкий звон.

1951

300. ОТРЫВОК

Достигшей немого отчаянья,
давно не молящейся богу,
иконку «Благое Молчание»
мне мать подарила в дорогу.

И ангел Благого Молчания
ревниво меня охранял.
Он дважды меня не нечаянно
с пути повернул. Он знал...

Он знал, никакими созвучьями
увиденного не передать.
Молчание душу измучит мне,
и лжи заржавеет печать...

1952

301. ОБЕЩАНИЕ

...Я недругов смертью своей не утешу,
чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.
Не вбит еще крюк, на котором повешусь.
Не скован. Не вырыт рудой из земли.
Я встану над жизнью бездонной своею,
над страхом ее, над железной тоскою...
Я знаю о многом. Я помню. Я с м е ю.
Я тоже чего-нибудь страшного стою...

1952

302—303. *ИЗ «ПИСЕМ С ДОРОГИ»*

1

Темный вечер легчайшей метелью увит,
волго-донская степь беспощадно бела...
Вот когда я хочу говорить о любви,
о бесстрашной, сжигающей душу дотла.

Я ее, как сейчас, никогда не звала.

Отыщи меня в этой февральской степи,
в дебрях взрытой земли, между свай эстакады.
Если трудно со мной — ничего, потерпи.
Я сама-то себе временами не рада.

Что мне делать, скажи, если сердце мое
обвивает, глубоко впиваясь, колючка,
и дозорная вышка над нею встает,
и о штык часового терзаются низкие тучи?
Так упрямо смотрю я в заветную даль,
так хочу разглядеть я далекое, милое
солнце...
Кровь и соль на глазах!
Я смотрю на него сквозь большую печаль,
сквозь колючую мглу,
сквозь судьбу волгодонца...

Я хочу, чтоб хоть миг постоял ты со мной
у ночного костра — он огромный,
трескучий и жаркий,
где строители греются тесной гурьбой
и в огонь, неподвижные, смотрят овчарки.
Нет, не дома, не возле ручного огня,
только здесь я хочу говорить о любви.
Если помнишь меня, если понял меня,
если любишь меня — позови, позови!
Ожидаю тебя так, как моря в степи
ждет ему воздвигающий берега
в ночь, когда окаянная вьюга свистит,
и смерзаются губы, и душат снега;
в ночь, когда костенеет от стужи земля, —
ни костры, ни железо ее не берут.
Ненавидя ее, ни о чем не моля,
как любовь, беспощадным становится труд.

Здесь пройдет, озаряя пустыню, волна.
Это всё про любовь. Это только она.

1952

2

О, как я от сердца тебя отрывала!
Любовь свою — не было чище и лучше —
сперва волго-донским степям отдавала...
Клочок за клочком повисал на колючках.
Полынью, полынью горчайшею веет
над шлюзами, над раскаленной землею...
Нет запаха бедственнее и древнее,
и только любовь, как конвойный, со мною.
Нас жизнь разводила по разным дорогам.
Ты умный, ты добрый, я верю доныне.
Но ты этой жесткой земли не потрогал,
и ты не вдыхал этот запах полыни.
А я неустанно вбирала дыханьем
тот запах полынный, то горе людское,
и стало оно, безысходно простое,
глубинным и горьким моим достояньем.
...Полынью, полынью бессмертною веет
от шлюзов бетонных до нашего дома...
Ну как же могу я, ну как же я смею,
вернувшись, «люблю» не сказать по-другому!

1952, 1960

304—305. *ИЗ ЦИКЛА «ВОЛГО-ДОН»*

1

Я сердце свое никогда не щадила:
ни в песне, ни в горе, ни в дружбе,
ни в страсти...
Прости меня, милый. Что было — то было.
Мне горько.
И все-таки всё это — счастье.

И то, что я страстно, горюче тоскую,
и то, что, страшась неизбежной напасти,
на призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно...
И все-таки всё это — счастье.

О, пусть эти слезы и это удушье,
пусть хлещут упреки, как ветки в ненастье.
Страшней — всепрощенье. Страшней —
равнодушье.
Любовь не прощает. И всё это — счастье.

Я знаю теперь, что она убивает,
не ждет состр729данья, не делится властью.
Покуда прекрасна, покуда живая.
Покуда она не утеха, а — счастье.

1952

2

...И вновь одна, совсем одна — в дорогу.
Желанный путь неведом и далек,
и сердце жжет свобода и тревога,
а в тамбуре — свистящий холодок.

Как будто еду юности навстречу...
Где встретимся? Узна́ю ли? Когда?
Таким ли синим будет этот вечер?
Такой ли нежной первая звезда?

Она т о г д а была такой. Несмело,
тихонько зажигалась в вышине,
и разгоралась, и потом летела
всё время рядом с поездом — в окне.

А полустанок, где всегда хотелось
вдруг соскочить
и по крутой дорожке
уйти в лесок, сквозной, зелено-белый,
и жить вон в той бревенчатой сторожке?

А пристань незнакомая, ночная,
огни в воде, огни на берегу...
Там кто-то ждет, и я его не знаю,
но даже издали узнать смогу.

Еще минута — подойдет и скажет:
«Ну, наконец ты здесь! А я — к тебе».
И я сначала не отвечу даже,
я только руки протяну судьбе.

Пусть этого не будет, пусть,
но может,
ведь может быть?!
И, сердце веселя,
всё обещает счастье, всё тревожит
в пути к труду, большому, как Земля.

Мне встретится ль такой же полустанок,
такая ж пристань, с той же ворожбой,
мне, знающей давно, что не расстанусь
ни с городом, ни с домом, ни с тобой?..

...И все-таки я юность повстречала —
мою, прекрасную, но ставшую иной:
мы встретились у черных свай причала,
в донской степи, завьюженной, ночной;
там, где до звезд белы снега лежали,
там, где рыдал бубенчик-чародей,
где ямщики под песню замерзали,
под ту, что нет печальней и светлей.
Не в той юнгштурмовке темно-зеленой,
в другой одежде, с поступью иной, —
как рядовой строитель Волго-Дона,
так повстречалась молодость со мной.
. . . .
И долго буду жить я этой встречей,
суровой встречей, гордой и простой.
Нет, был не ласков тот февральский вечер —
он был железным трепетом отмечен
и высшей — трагедийной — красотой.

Нас было трое около причала,
друг друга мы не знали до сих пор.
Мы молча грелись у костра сначала,
не сразу завязался разговор.
Но были мы ровесники — все трое,
всю жизнь свою мечтали об одном.
Один, в тридцатом Тракторный построив,
оборонял его в сорок втором.
Другой, надвинув шапку на седины,
сказал, что ровно десять лет назад
в такие ж выоги он водил машины
по Ладоге в голодный Ленинград.

Мы даже детство вспомнили — все трое:
гражданскую, воззвания Помго́ла
и первый свет — он хлынул с Волховстроя
и прямо в юность,
прямо в зданье школы!

Потом, оставив младшим братьям парты,
мы вышли в жизнь, к труду,
и перед нами
родной земли распахнутая карта
сверкнула разноцветными огнями.

Потом страна, от взрослых до ребенка,
с волнением следила за рожденьем
бетонной днепрогэсовской гребенки...
Она была эмблемой поколенья!

Потом пылал Мадрид.
К нему на помощь в бури
шел караван советский напролом,
и голосом Долорес Ибаррури
Испания твердила: «Мы пройдем!»
...За нами были войны, труд, утраты,
судьбы неоднократный перелом;
мы знали День Победы в сорок пятом
и ждали моря в пятьдесят втором.
Причал простерся над земною сушей,
под ним мела поземка злей и злей,
но как живой — как мы —
он чуял душу
издалека идущих кораблей.

Они придут — мы знали срок прихода.
Их высоко над миром вознесут,
поднимут на себе донские воды
и волжскому простору отдадут.
И мы глаза невольно поднимали
с земли, со дна, где снег летел, пыля,
как будто б днище и огни видали
идущего над нами корабля...
Вот он проходит над судьбою нашей...
Рожденный нами!
Доброго пути!

Тебе к Москве,
из водной чаши в чашу,
сквозь арки триумфальные идти.
Держи спокойно небывалый путь!
На каждом шлюзе, у любых причалов
будь горд и светел, но не позабудь
о рядовых строителях канала...

А Дон качался близ насосных башен,
за плотною бетонною стеной.
Он подошел, он ждал —
в морскую чашу
скорей ударить первою волной.

И — берег моря — дыбилась плотина,
огромная, как часть самой Земли.
Гряда холмов суровые вершины
вздымала и терялася вдали,
там, где сквозь мглу, заметная с причала,
как врезанная в небо навсегда,
над лучшим экскаватором мерцала
тяжелая багровая звезда.

Плотина будет тверже, чем гранит:
она навеки море сохранит.
Тут вся земля испытана на сдвиг
не только в тишине лабораторий, —
всей тяжестью страданий и любви,
неумолимой поступью Истории.
И камень выбран. В разных образцах
его пытали холодом и зноем
и выбрали надежный, как сердца,
испытанные и трудом и боем.
Не сдвинутся, не дрогнут берега,
навек воздвигнутые на равнине,
но примут море, сберегут снега,
снега степей, бессмертные отныне.

А на плотине возвышалось зданье
легчайшее, из белых кирпичей.
Шло от него жемчужное сиянье,
туман пронзая сотнями лучей.

Туман, туман светящийся, морозный,
костры и снег, столпившийся народ,
земля в холмах,
хребет плотины грозный,
звезда вдали, и возглас:
«Дон идет!»

И вздрогнул свет, чуть изменив оттенок...
Мы замерли — мотор уже включен!
За водосбросом, за бетонной стенкой
всхрапнул и вдруг пошевелился Дон.

И клочьями, вся в пене, ледяная,
всей силой человеческой сильна,
с высокой башни ринулась донская —
в дорогу к Волге — первая волна.

...Я испытала многие невзгоды.
Судьбе прощаю все, а не одну —
за ночь,
когда я приняла с народом
от Дона к Волге первую волну...

От Дона к Волге первая волна, —
как нелегко досталась нам она...

И странно было знать, что — пусть не рядом,
но там, где бьет Атлантики волна, —
холодным, пристальным, змеиным взглядом
следит за этим вечером война.
И видит всё, во что вложили души...
И это зданье, этот водоем
она уже наметила — разрушить,
как Тракторный тогда,
в сорок втором.

Но мы — мы тоже помним эти годы.
Мы помним — в сорок третьем, в феврале,
на этой же недрогнувшей земле,
здесь, где мы встретили донские воды,
где море, точно памятник, встает
над кровью воинов —
над рубежами славы, —
здесь был навеки перебит хребет
фашистской бронированной державы.

Пусть ни на миг об этом не забудет
тот, кто грозится, что война близка.
У нас развалин на земле не будет.
Мы строим прочно. Строим на века.

Апрель 1952

306

Ленинград — Сталинград — Волго-Дон...
Незабвенные дни февраля...
Вот последний души перегон,
вновь открытая мной земля.

Нет, — не так! Не земля, а судьба.
Не моя, а всего поколенья:
нарастающая борьба,
восходящее вдохновенье.

Всё, что думалось, чем жилось,
всё, что надо еще найти, —
точно в огненный жгут, сплелось
в этом новом моем пути.

Снег блокадный и снег степной,
сталинградский бессмертный снег;
весь в движении облик земной
и творец его — человек...

Пусть, грубы и жестки, слова
точно сваи причалов стоят, —
лишь бы только на них, жива,
опиралась правда твоя...

1952

307. ПОБРАТИМЫ

Михаилу Светлову

Мы шли Сталинградом, была тишина,
был вечер, был воздух морозный кристален.
Высоко крещенская стыла луна
над стрелами строек, над щебнем развалин.

Мы шли по каленой гвардейской земле,
по набережной, озаренной луною,
когда перед нами в серебряной мгле,
чернея, возник монумент Хользунова.
Так вот он, земляк сталинградцев, стоит,
участник воздушных боев за Мадрид...

И вспомнилась песня как будто о нем,
о хлопце, солдате гражданской войны,
о хлопце, под белогвардейским огнем
мечтавшем о счастье далекой страны.
Он пел, озирая
родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!..»
Но только, наверно, ошибся поэт:
тот хлопец — он белыми не был убит.
Прошло девятнадцать немыслимых лет, —
он все-таки дрался за город Мадрид.
И вот он — стоит к Сталинграду лицом
и смотрит, бессмертный,
сквозь годы,
сквозь бури
туда, где на площади Павших Борцов
испанец лежит — лейтенант Ибаррури.
Пасионарии сын и солдат,
он в сорок втором защищал Сталинград,
он пел, умирая
за эти края:
«Россия, Россия,
Россия моя...»

И смотрят друг другу в лицо — на века —
два побратима, два земляка.

1952

308. В ЛОЖЕ ЦИМЛЯНСКОГО МОРЯ

Как здесь прекрасно, на морском
просторе,
на новом, осиянном берегу.
Но я видала всё, что скрыло море,
я в недрах сердца это сберегу.
В тех молчаливых глубочайших недрах,
где уголь превращается в алмаз,
которыми владеет только щедрый...
А щедрых много на земле у нас.

Этот лес посажен был при нас, —
младшим в нем не больше двадцати.
Но зимой пришел сюда приказ:
«Море будет здесь. Леса — снести.
Морю надо приготовить ложе,
ровное, расчищенное дно.
Те стволы, что крепче и моложе,
высадить на берег, над волной.
Те, которые не вынуть с ко́мом, —
вырубить и выкорчевать пни.
Строится над морем дом за домом,
много тесу требуют они.
Чтобы делу не было угрозы
(море начинало подходить), —
вам, директору лесопромхоза,
рубкой самому руководить.
Ложе расчищать и днем и ночью.
Сучья и кустарник — жечь на дне.
Море наступает, море хочет
к горизонту подойти к весне».

У директора лесопромхоза
слез не навернулось: он солдат.
Есть приказ — так уж какие слезы.
Цель ясна: вперед, а не назад.
Он сказал, топор приподнимая,
тихо, но слыхали и вдали:
«Я его сажал, я лучше знаю,
где ему расти... А ну, пошли!»

Он рубил, лицо его краснело,
таял на щеках
колючий снег,
легким пламенем душа горела, —
очень много думал человек.

Думал он:
«А лес мой был веселым...
Дружно, буйно зеленел весной.
Трудно будет первым новоселам,
высаженным прямо над волной...
Был я сам на двадцать лет моложе,
вместе с этим лесом жил и рос...
Нет! Я счастлив, что морское ложе
тоже мне готовить привелось».
Он взглянул —
костры пылали в ложе,
люди возле грелись на ходу.

Что-то было в тех кострах похоже
на костры в семнадцатом году
в Питере, где он красногвардейцем
грелся, утирая снег с лица,
и штыки отсвечивали, рдеясь,
перед штурмом Зимнего дворца.

Нынче в ночь,
по-новому тверда,
мир преображала
власть труда.

1952

309—310. *БАЛКА СОЛЯНКА*

1

...А балку недаром Солянкой назвали.
Здесь речка когда-то жила, хорошея.
Жила, но исчезла: ее затерзали
колючие, мглистые суховеи.

И почва соленою стала навечно,
как будто б насквозь пропиталась слезами,
горючей печалью исчезнувшей речки,
бегущей, быть может, чужими краями.

А может быть, люди в слезах горевали
о светлой, о доброй, несущей прохладу,
над высохшим руслом ее вспоминали,
простую, бесценную давнюю радость.

И люди нашли и вернули беглянку...
И мне ли не помнить сверкающий полдень,
когда в омертвелую балку Солянку
из камеры шлюза рванулися волны.

И пахло горячей полынью. И мрели
просторы в стеклянном струящемся зное,
и жаворонки исступленно звенели
в дуге небосвода над бурой волною.

Река возвращалась сюда не такою,
какою отсюда давно уходила:
со всею столетьями зревшей тоскою,
достигшей бесстрашья и творческой силы.

Вначале она узнавала. Вначале
всё трогала волнами, точно руками:
— Здесь дикие лебеди в полночь кричали...
— Здесь был острогрудый, неласковый камень...

— Здесь будут затоны, ракиты, полянки.
— Здесь луг, домоткаными травами устлан...—
О, как не терпелося речке Солянке
обжить, обновить незабытое русло!

И, властно смывая коросту из соли
и жаворонков неостывшие гнезда,
река разливалась всё шире, всё боле,
уже колыхала тяжелые звезды,
сносила угрюмых поселков останки,
врывалась в пруды молодого селенья...

...Прости, что я плачу над речкой Солянкой,
предчувствуя день своего возвращенья...

2

Мы шли вдоль речки,
а она рождалась
при всех, в степи полынно-голубой.
В какой-то выбоинке задержалась,
кружилась там, играла и дрожала,
потом опередила нас с тобой.

И к Волге, вдаль пошла нетерпеливо,
валы росли, вздымая гребешок,
и кто-то мне сказал, как я — счастливый:
«Ну, дай же руку! Видишь — хорошо. . .»

Да, так хотелось — видя эту реку,
рожденную людьми, в степи, в песке,
идти за ней
и руку человека,
хоть незнакомого, — держать в руке.

1952

311. В СТАЛИНГРАДЕ

Здесь даже давний пепел так горяч,
что опалит — вдохни,
припомни,
тронь ли. . .
Но ты, ступая по нему, не плачь
и перед пеплом будущим не дрогни. . .

1952

312. В ДОМЕ ПАВЛОВА

В твой день мело, как десять лет назад.
Была метель такой же, как в блокаду.
До сумерек, без цели, наугад
бродила я одна по Сталинграду.

До сумерек — до часа твоего.
Я даже счастью не отдам его.

Но где сказать, что нынче десять лет,
как ты погиб? . .
Ни друга, ни знакомых. . .
И я тогда пошла на первый свет,
возникший в окнах павловского дома.

Давным-давно мечтала я о том —
к чужим прийти как близкой и любимой.
А этот дом — совсем особый дом.
И стала вдруг мечта неодолимой.

Весь изрубцован, всем народом чтим,
весь в надписях, навеки неизменных...
Вот возглас гвардии,
вот вздох ее нетленный:
«Мать Родина! Мы насмерть здесь стоим...»

О да, как вздох — как выдох, полный дыма,
чернеет букв суровый тесный ряд...
Щепоть земли твоей непобедимой
берут с собой недаром, Сталинград.

И в тот же дом, когда кругом зола
еще хранила жар и запах боя,
сменив гвардейцев, женщина пришла
восстановить гнездо людское.

Об этом тоже надписи стоят.
Год сорок третий; охрой скупо, сжато
начертано: «Дом годен для жилья».
И подпись легендарного сержанта.

Кто ж там живет
и как живет — в постройке,
священной для народа навсегда?
Что скажут мне наследники героев,
как объяснить — зачем пришла сюда?

Я, дверь не выбирая, постучала.
Меня в прихожей, чуть прибавив света,
с привычною улыбкой повстречала
старуха, в ватник стеганый одета.

«Вы от газеты или от райкома?
В наш дом частенько ходят от газет...»
И я сказала людям незнакомым:
«Я просто к вам. От сердца. Я — поэт».
— «Нездешняя?»
— «Нет... Я из Ленинграда.
Сегодня память мужа моего:
он десять лет назад погиб в блокаду...»
И вдруг я рассказала про него.

И вот в квартире, где гвардейцы бились
(тут был КП, и пулемет в окне),

приходу моему не удивились,
и женщины обрадовались мне.

Старуха мне сказала: «Раздевайся,
напьемся чаю, — вон, уже кипит.
А это — внучки, дочки сына Васи,
он был под Севастополем убит.
А Миша — под Японией. . .»

Старуха
уже не плакала о сыновьях:
в ней скорбь жила бессрочно, немо, глухо,
как кровь и как дыханье, — как моя.

Она гордилась только тем, что внучек
из-под огня сумела увезти.
«А старшая стишки на память учит
и тоже сочиняет их. . .
Прочти!»

И рыженькая девочка с волненьем
прочла стихи, сбиваясь второпях,
о том, чем грезит это поколенье, —
о парусе, белеющем в степях.

Здесь жили рядовые сталинградцы:
те, кто за Тракторный держали бой,
и те, кто знали боль эвакуаций
и возвратились первыми домой. . .

Жилось пока что трудно: донимала
квартирных неполадок маета.
То свет погас, то вдруг воды не стало,
и, что скрывать, — томила теснота.

И, говоря то с лаской, то со смехом,
что каждый, здесь прописанный, — герой,
жильцы уже мечтали — переехать
в дома, что рядом поднял Гидрострой.

С КП, из окон маленькой квартиры,
нам даже видно было, как плыла
над возникавшей улицею Мира
в огнях и выюге — узкая стрела.

«А к нам недавно немки прилетали, —
сказала тихо женщина одна, —
подарок привозили — планетарий.
Там звезды, и планеты, и луна...»

«И я пойду взглянуть на эти звезды, —
промолвил, брови хмуря, инвалид. —
Вот страшно только, вдруг услышу:
«Во-оздух!»
Семья сгорела здесь... Душа болит».

И тут ворвался вдруг какой-то парень,
крича: «Привет, товарищи! Я к вам...
Я — с Карповской... А Дон-то как ударит!
И — двинул к Волге!.. Прямо по снегам...»

И девочка схватилась за тетрадку
и села в угол: видимо, она
хотела тотчас написать украдкой
стихотворенье «Первая волна»...

Здесь не было гвардейцев обороны,
но мнилось нам,
что общий наш рассказ
о будущем, о буднях Волго-Дона
они ревниво слушают сейчас.

...А дом — он будет памятником.
Знамя —
огромное, не бархат, но гранит,
немеркнущее каменное пламя —
его фасад суровый осенит.

Но памятника нет героям краше,
чем сердце наше,
жизнь простая наша,
обычнейшая жизнь под этой кровлей,
где каждый камень отвоеван кровью,
где можно за порогом каждой двери
найти доверье за свое доверье
и знать, что ты не будешь одинок,
покуда в мире есть такой порог...

Ноябрь 1952

313. ПОСЛЕСЛОВИЕ

...И это — вступленье к поэме,
к той, что пока в груди,
к той, что в любое время,
всегда — впереди, впереди.
Не раз меня обжигала
начатая строка:
«Это ее начало.
Это ее рука».

Но, завершив работу,
перечитав листы,
свой же слыхала шепот:
«Это еще не ты».

И в тайном этом признанье
не только печаль одна,
но редкостное сознанье,
что вся впереди она,
что мне заветную тему
вновь воплощать и вновь,
что я назову поэму
по праву: «Скала Любовь».

1952

314

И все, кто порицал
    и кто хвалил,
те, что преследовали,
    что любили, —
равно печальные
    придут к моей могиле,
и каждый бросит в яму горсть земли.
Последний дар,
    вручаемый людьми.
Но ты не делай этого, — не надо.
Ты мне когда-то подарил весь мир,
всю горечь мира, всю его отраду.
Нет, даже мертвой — мне не нужен прах
    из рук твоих...

...А уж живой — тем боле.
Я лучше захлебнусь —
в вине, в обиде, в боли,
в своих пустых и темных вечерах.

1953

315. ПЕСНЯ О «ВАНЕ-КОММУНИСТЕ»

Памяти Всеволода Вишневского, служившего пулеметчиком на «Ване-коммунисте» в 1918 году.

Был он складный волжский пароходик,
рядовой царицынский бурлак.
В ураган семнадцатого года
сразу поднял большевистский флаг.

И когда на волжские откосы
защищать новорожденный мир
прибыли кронштадтские матросы—
приглянулся им лихой буксир.

И проходит срок совсем недолгий, —
тот буксир — храбрей команды нет! —
флагманом флотилии на Волге
назначает Реввоенсовет.

Выбирали флагману названье, —
дважды гимн исполнил гармонист.
Дали имя ласковое — Ваня,
уточнив партийность: коммунист.

«Ваня» был во всем слуга народа,
свято Революции служил.
«Ваня» в легендарные походы
волжскую флотилию водил.

А страна истерзана врагами...
И пришел, пришел момент такой —
у деревни Пьяный Бор на Каме
флагман в одиночку принял бой...

Ой ты, красное, родное знамя,
над рекой на миг один склонись:
у деревни Пьяный Бор на Каме
тонет, тонет «Ваня-коммунист».

Он лежал на дне четыре года,
но когда оправилась страна,
«Ваня-коммунист», слуга народа,
поднят был торжественно со дна.

Дышит Родина трудом и миром,
и по милой Волге вверх и вниз
девятнадцать лет простым буксиром
ходит, ходит «Ваня-коммунист».

Тянет грузы — все, что поручают,
работящ, прилежен, голосист...
Люди понемножку забывают,
чем он славен — «Ваня-коммунист».

Только взглянут — что́ за пароходик,
с виду старомоден, неказист?
Точно всё еще в кожанке ходит
бывший флагман «Ваня-коммунист».

Он живет — не тужит, воду роет,
многих непрославленных скромней, —
вплоть до августа сорок второго,
вплоть до грозных сталинградских дней.

Дни огня, страдания и славы,
ливни бомб, и скрежет их, и свист...
И становится на переправу
старый флагман — «Ваня-коммунист».

Из пылающего Сталинграда
он вывозит женщин и ребят,
а гранаты, мины и снаряды
тащит из-за Волги в Сталинград.

Так он ходит, ветеран «гражданки»,
точно не был никогда убит,
в комиссарской старенькой кожанке,
лентой пулеметною обвит.

Так при выполнении заданья,
беззаветен, всей душою чист,
ночью от прямого попаданья
погибает «Ваня-коммунист».

Тонет, тонет вновь — теперь навеки, —
обе жизни вспомнив заодно,
торжествуя, что родные реки
перейти врагам не суждено...

...Друг, не предавайся грустной думе!
Ты вздохни над песней и скажи:
«Ничего, что «Ваня» дважды умер.
Очень хорошо, что дважды жил!»

1953

316. ЦЕРКОВЬ «ДИВНАЯ» В УГЛИЧЕ

Евгению Ефремову

А церковь всеми гранями своими
такой прекрасной вышла, что народ
ей дал свое — незыблемое — имя, —
ее доныне «Дивною» зовет.
Возносятся все три ее шатра
столь величаво, просто и могуче,
что отблеск дальних зорь
лежит на них с утра,
а в час грозы
их осеняют тучи.

Но время шло — все три столетья шло...
Менялось всё — любовь, измена, жалость.
И «Дивную» полынью занесло,
она тихонько, гордо разрушалась.
Там в трещине березка проросла,
там обвалилась балка, там другая...
О нет, мы «Дивной» не желали зла.
Ее мы просто не оберегали.

...Я знаю, что еще воздвигнут зданья,
где стоит кнопку малую нажать —
возникнут сонмы северных сияний,
миры друг друга станут понимать.
А «Дивную» — поди восстанови,
когда забыта древняя загадка,
на чем держалась каменная кладка:
на верности, на правде, на любви?

Узнала я об этом не вчера
и ложью подправлять ее не смею.
Пусть рухнут на меня
все три ее шатра
всей неподкупной красотой своею.

1953

317. УКРАИНА

Ты с детства мне в сердце вошла, Украина,
пленительной ночью под рождество,
душевною думой певца Катерины,
певучестью говора своего.

Ты с детством слилась, Украина, как сказка.
Я знала, невиданная земля,
что вечер в Диканьке волшебен и ласков,
что чуден твой Днепр, в серебре тополя.

Ты в юность вошла, Украина, как песня,
за сердце берущая, с первой любовью...
...Он мне напевал их в дороге безвестной,
немножко сдвигая высокие брови.

Ты в юность входила трудом, Украина,
прямым, опаляющим, как вдохновенье:
была Днепростроевская плотина
эмблемою нашего поколенья.

Я рада, что в молодости вложила
хоть малую каплю в неистовый труд,
когда ленинградская «Электросила»
сдавала машину Большому Днепру.

Гудят штурмовые горящие ночи, —
проходит днепровский заказ по заводу,
и утро встречает прохладой рабочих...
Тридцатые годы, тридцатые годы!

Ты в зрелость входила с военным мужаньем,
жестокие ты испытала удары.
О, взрыв Днепрогэса — рубеж для сознанья,
о, страшные сумерки Бабьего Яра,

Фронты твои грозной овеяны славой,
все победившие, все четыре.
Ночные днепровские переправы
седою легендой останутся в мире.

...И снова зажгли мы огни Днепрогэса.
Он «старым»
любовно
наименован.
Да, старый товарищ, ты вправду — как детство
пред тем, что возводится рядом, пред новым.

Нам вместе опять для Каховки трудиться, —
по-новому стала она знаменитой, —
и вместе расти,
и дружить,
и гордиться
твоею пшеницей, твоим антрацитом.

Не праздника ради, но жизнь вспоминая,
так радостно думать, что судьбы едины,
что в сердце живешь ты, навеки родная,
моя Украина, моя Украина.

22 мая 1954

318. ТОТ ГОД

И я всю жизнь свою припоминала,
и всё припоминала жизнь моя
в тот год, когда со дна морей, с каналов
вдруг возвращаться начали друзья.

Зачем скрывать — их возвращалось мало.
Семнадцать лет — всегда семнадцать лет.
Но те, кто возвращались, — шли сначала,
чтоб получить свой старый партбилет.

Я не прибавлю к этому ни звука,
ни стона даже: заново живем.
Ну, что ж еще? Товарищ, дай мне руку!
Как хорошо, что мы опять вдвоем.

1955

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
они защищали тебя, Ленинград,
колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
никто не забыт, и ничто не забыто.

В город ломились враги, в броню и железо одеты,
но с армией вместе встали
рабочие, школьники, учителя, ополченцы.
И все, как один, сказали они:
«Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти».
Не забыта голодная, лютая, темная
зима сорок первого — сорок второго,
ни свирепость обстрелов,
ни ужас бомбежек в сорок третьем.
Вся земля городская пробита.

Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто.
Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды
подвиг свой ежедневный
вы свершали достойно и просто,
и вместе с отчизной своей
вы все одержали победу.

Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
на этом печально-торжественном поле
вечно склоняет знамена народ благодарный,
Родина-мать и город-герой Ленинград.

1956

320—321. *ЕВГЕНИЮ ЛЬВОВИЧУ ШВАРЦУ*

1

В ДЕНЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

Не только в день этот праздничный —
в будни не позабуду:
живет между нами сказочник,
обыкновенное Чудо.

И сказочна его доля,
и вовсе не шестьдесят
лет ему — много более!
Века-то летят, летят...

Он ведь из мира древнейшего,
из недр человеческих грез
свое волшебство вернейшее,
слово свое нежнейшее
к нашим сердцам пронес.

К нашим сердцам, закованным
в лед (тяжелей брони!),
честным путем, рискованным
дошел,
        растопил,
                приник.

Но в самые темные годы
от сказочника-поэта
мы столько вдохнули свободы,
столько видали света.
Поэзия — не стареется.
Сказка — не «отстает».
Сердце о сказку греется,
тайной ее живет.

Есть множество лживых сказок, —
нам ли не знать про это!
Но не лгала ни разу
мудрая сказка поэта.
Ни словом, ни помышлением
она не лгала, суровая.

Спокойно готова к гонениям,
к народной славе готовая.

Мы день твой с отрадой празднуем,
нам день твой и труд — ответ,
что к людям любовь — это правда.
А меры для правды нет.

21 октября 1956

2

Простите бедность этих строк,
но чем я суть их приукрашу?
Я так горжусь, что дал мне бог
поэзию и дружбу Вашу.
Неотторжимый клин души,
часть неплененного сознанья,
чистейший воздух тех вершин,
где стало творчеством — страданье, —
вот надо мною Ваша власть,
мне всё желаннее с годами...
На что бы совесть оперлась,
когда б Вас не было меж нами?!

21 октября 1957

322. ОТВЕТ

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной, —
ее нетленно-чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.
И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.

1952, 1960

323. БАБЬЕ ЛЕТО

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и темною нивой...
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И всё же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды всё строже...

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться...

1956, 1960

324. СИБИ́РИНКА

Я вернулась, миленький,
на короткий срок,
а в глазах — сиби́ринка,
таежный огонек.

Тот, что мне высвечивал,
темно-золотой,
енисейским вечером
с той горы крутой.

Ты не сам ли, миленький,
отпустил меня?

Ты не ждал сибиринки —
нового огня.

Руки мои жадные
ты не удержал.
Слова долгожданного
ты мне не сказал...

Путь наш пройден — вымерен,
как река Нева:
ведь в глазах — сибиринка,
и она права.

Сыплет дождик сыренький,
дождик городской.
...Не покинь, сибиринка,
поздний праздник мой.

1959

325. СТИХИ О ХЕРСОНЕССКОЙ ПОДКОВЕ

Есть у меня подкова, чтоб счастливой —
по всем велениям примет — была.
Ее на Херсонесе, на обрыве,
на стихшем поле боя я нашла.

В ней пять гвоздей,
она ко мне по ходу
лежала
на краю земном.
Наверно, пятясь, конь сорвался в воду
с отвесной кручи,
вместе с седоком.

Шестнадцать лет хранила я подкову, —
недавно поняла,
какое счастье — щедро и сурово —
она мне принесла.

Был долгий труд.
Того, что написала,
не устыжусь на миг — за все года, —
того, что думала и что сказала
раз навсегда.

Нескованная мысль, прямое слово,
вся боль и вся мечта земли родной, —
клянется херсонесская подкова,
что это счастие — всегда со мной.

А ты, моя любовь!
Ведь ты была готова
на всё: на гибель, кручу, зной...
Клянется херсонесская подкова,
что это счастие — всегда со мной.

Нет, безопасных троп не выбирает
судьба моя,
как всадник тот и конь —
тот, чью подкову ржавую сжимает,
как символ счастия, моя ладонь.

Дойду до края жизни, до обрыва
и возвращусь опять.
И снова буду жить.
А так, как вы, — счастливой
мне не бывать.

1959

326—327. *Перед разлукой*

1

...Пусть падают листки календаря,
пусть будет долог жизненный твой путь.
Но день двадцать шестого октября,
но первый снег его — забудь.
Совсем забудь.

Как не было... Тот мокрый, вьюжный снег,
застывшее движенье городское
и до смерти счастливый человек,
под артогнем бредущий человек
в жилье чужое, но еще людское.

Как буйствовала в подворотне мгла,
голодная, в багровых вспышках вьюга!
Как я боялась в доме — как ждала
войной-судьбою суженого друга.

О, первый грозный, нищий наш ночлег,
горсть чечевицы, посвист канонады
и первый сон вдвоем...
Забудь о нем навек.
Совсем забудь. Как не было. Так надо.

1960

2

Я всё оставляю тебе при уходе:
всё лучшее
в каждом промчавшемся годе.
Всю нежность былую,
всю верность былую,
и краешек счастья, как знамя, целую:
военному, грозному
вновь присягаю,
с колена поднявшись, из рук отпускаю.

Уже не узнаем — ни ты и ни я —
такого же счастья, владевшего нами.
Но верю, что лучшая песня моя
навек сбережет отслужившее знамя...

...Я ласточку тоже тебе оставляю
из первой, бесстрашно вернувшейся стаи, —
блокадную нашу, под бедственной крышей.
В свой час одинокий
ее ты услышишь...
А я забираю с собою все слезы,
все наши утраты,
удары,
угрозы,
все наши смятенья,
все наши дерзанья,
нелегкое наше большое мужанье,
не спетый над дочкой
напев колыбельный,
задуманный ночью военной, метельной,
неспетый напев — ты его не услышишь,
он только со мною — ни громче, ни тише...

Прощай же, мой щедрый! Я крепко любила.
Ты будешь богаче — я так поделила.

1956, 1960

328. КОСМОНАВТУ

Только мы,
только мы
с тобою знаем,
космонавт,
что такое —
эта гибель
мимо нас!
Только мы
с тобою знаем,
как берет
эта гибель
всё дыханье в оборот.
(Не прогулка, не гуляние
на час —
это вечность пролетает
мимо нас.)
А уж как она, та вечность,
холодна,
а уж как она,
проклятая, черна,
только мы
с тобою знаем, космонавт,
и никто еще не знает
ничего,
кроме нас...

Только мы да, может быть, и бог...
Да и он еще не ступит за порог.

1960-е годы

329. ПОЛЕТ

Утро. Больше половины Века.
Над землей — притихший звездный кров.
К звездам отправляют человека.
Человек вернулся. Жив-здоров.
Мы глядим, робея... Неужели
он — как мы,
а мы — под стать ему?
Неужели это мы летели
сквозь десятки зорь,
и стран, и тьму?

Да, — все мы. Вся плоть и кровь народа.
Наш Семнадцатый крылатый год.
Это все сорок четыре года
продолжается его полет.
И сегодня за чертой вселенной
побывал, вернувшись на ночлег
на родную Землю, — наш смоленский,
наш простой,
наш звездный человек.

13 апреля 1961
Ленинград

330. О ДОЖДЕ

Не плачем, не молим, не просим,
спокойно на небо глядим...
Но вдруг небосвод смертоносен!!
О, как одиноко под ним.

Льет ливень. Могуч и несносен,
и как несвободно под ним.
О, вдруг этот дождь смертоносен!
И как одиноко под ним.

. . . .

Настанет прекрасная осень,
и ливень прольется над нами.
Да будет тот дождь светоносен,
как правда, как небо и знамя!

⟨1962⟩

331. ТЫ ВЕРНУЛСЯ

Андрияну Николаеву

Вся в заре,
вся в тумане Цивиль-река,
птицы громко кричат: «Цивиль,
Цивиль...»
Что за утро!
Сбылась вековая быль:
сын вернулся уж очень издалека,

НИ ОДНОЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ТОВАРИЩИ, НЕ ПОЗАБЫТО
ПОДВИГ СВОЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ВЫ СВЕРШАЛИ ДОСТОЙНО И ПРОСТО
ВЫ ВСЕ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
ЖЕ ПРЕД ЖИЗНЬЮ БЕССМЕРТНОЮ ВАШЕЙ
ЯЕТ ЗНАМЕНА НАРОД БЛАГОДАРНЫЙ
ТЬ И ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД


ТЕТЯ ДАША НА ПОСТУ.
ПОСТ — НА ЭНСКОМ ЧЕРДАКЕ.
ДАША СМОТРИТ В ВЫСОТУ,
КЛЕЩИ СТИСНУЛА В РУКЕ.


ОКНО ТАСС
Чтобы знали щедрость нашу,
Вспоминали тетю Дашу!


Наши сбережения-
На поля сражения!
Будет наше золото
Пулей немцу вколото!

Ах, вернулся он из-под самой Луны,
а корабль его звездный
звездой бродил,
отражаясь в тиши, в глубине волны
на Цивиль-реке,
где он щук удил.
Будь же счастлив ты
на Цивиль-реке,
Вечно счастлив в Чистых Ключах...
Держит Родина
сердце твое в руке,
о победе птицы
и дети
кричат.

16 августа 1962

332. В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

Ну и диво!
Сколько поэтов
навострилось писать... ни о чем.
Есть про то, бывает об этом,
подпирают н и ч т о плечом.
Кто моложе — тот в геологию
ударяется: поле, маршрут,
комары, посланья с дороги ей...

Всё — правдиво,
а в общем — врут.
Кто солидней — тот в размышления
погружается всем челом:
кое-где, мол, бывает тление,
даже смерть... А вот мы — живем!
Виртуозы есть, упоенные,
что не схожи фигурой с другими.
Всё опишут, самовлюбленные, —
только дайте пройтиться нагими!

Ну, а некоторым подарено
дико-творческое раздолье:
может (с пафосом) — про Гагарина,
тут же вдруг — о вреде травополья.

И текут слова бесконечные...
Всем такие стишки хороши,
всё на месте...
                    И нет человеческой
неразменной судьбы — души.

Как люблю вас, мои нераздельные,
Антокольский,
                    Твардовский,
                                        Светлов,
ограничившиеся беспредельностью
лишь немногих насущных слов...

1962

333. МИХАИЛУ СВЕТЛОВУ

Девушка, что пела за заставой,
Может быть, сегодня умерла...

В. Саянов

...Девочка за Невскою заставой,
та, что пела, счастия ждала,
знаешь, ты судить меня
                    не вправе
за мои нескладные дела.
Потому что я не разлюбила
чистого горенья твоего,
в бедствии ему не изменила
и не отрекалась от него.
Юности великая гордыня!
Всё — во имя дерзостной
                    Мечты,
это ты вела меня в пустыне,
в бессердечных зонах
                    мерзлоты...
И твердили снова мы и снова:
«Сердце, сердце, не робей, стерпи!»
И военная свирель Светлова
пела нам из голубой степи...

1940

P.S. ...Потом была Война...
                    И мы, как надо,
как Родина велела, шли в бои.

И с нами шли «Каховка» и «Гренада»,
прекрасные ровесники твои.
О, как вело,
как чисто пело Слово!
Твердили мы:
«Не сдай! Не уступи!»
...Звени, военная свирель Светлова,
из голубой, из отческой степи...

1940, 1963

334. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОСПЕКТ

Есть на земле Московская застава.
Ее от скучной площади Сенной
проспект пересекает, прям, как слава,
и каменист, как всякий путь земной.

Он столь широк,
он полн такой природной,
негородской свободою пути,
что назван в Октябре — Международным:
здесь можно целым нациям пройти.
«И нет сомненья, что единым шагом,
с единым сердцем, под единым флагом
по этой жесткой светлой мостовой
сойдемся мы на Праздник мировой...»

Так верила, так пела, так взывала
эпоха наша, вся — девятый вал,
так улицы свои именовала
под буйный марш «Интернационала»...
Так бог когда-то мир именовал.
А для меня ты — юность и тревога,
Международный, вечная мечта.
Моей тягчайшей зрелости дорога
и старости грядущей красота.
Здесь на моих глазах росли массивы
Большого Ленинграда.
Он мужал,
воистину большой, совсем красивый,
уже огни по окнам зажигал!
А мы в ряды сажали тополя,

люд комсомольский,
дерзкий и голодный.
Как хорошела пустырей земля!
Как плечи расправлял Международный!
Он воплощал всё зримей нашу веру...
И вдруг, с размаху, сорок первый год, —
и каждый дом уже не дом, а дот,
и — фронт Международный в сорок первом.

И снова мы пришли сюда... Иная
была работа: мы здесь рыли рвы
и трепетали за судьбу Москвы,
о собственных терзаньях забывая.

...Но этот свист, ночной сирены стоны
и воздух, пойманный горящим ртом...
Как хрупки ленинградские колонны!
Мы до сих пор не ведали о том.

...В ту зиму по фронтам меня носило, —
по улицам, где не видать ни зги.
Но мне фонарь дала «Электросила»,
а на «Победе» сшили сапоги.
(Фонарь — пожалуй, громко, так, фонарик:
в моей ладони умещался весь.
Жужжал, как мирною весной комарик,
но лучик слал— всей тьме наперевес...)
А в госпиталях, где стихи читала
я с горсткою поэтов и чтецов,
овацией безмолвной нам бывало
по малой дольке хлеба от бойцов...
О, да не будет встреч подобных снова!
Но пусть на нашей певческой земле
да будет хлеб — как Творчество и Слово,
и Слово наше — как в блокаду хлеб.

Я вновь и вновь твоей святой гордыне
кладу торжественный земной поклон,
не превзойденный в подвиге доныне
и видный миру с четырех сторон.

. . . .

Пришла Победа...
И ее солдат,
ее Правофланговый — Ленинград,

он возрождает свой Международный
трудом всеобщим,
тяжким,
благородным.
И на земле ничейной... да, ничья!
Ни зве́рья и ни птичья, не моя,
и не полынная, и не ржаная,
и все-таки моя — одна, родная:
там, где во младости сажали тополя,
земля — из дикой ржавчины земля, —
там, где мы недостроили когда-то,
где,умирая, корчились солдаты,
где почва топкая от слез вдовиц,
где, что ни шаг, то Славе падать ниц, —
здесь, где пришлось весь мрак и свет изведать,
среди руин, траншеи закидав,
здесь мы закладывали Парк Победы
во имя горького ее труда.
Всё было сызнова, и вновь на пустыре,
и всё на той же розовой заре,
на юношеской,
зябкой и дрожащей;
и вновь из пепла вставшие дома,
и взлеты вдохновенья и ума,
и новых рощ младенческие чащи...

Семнадцать лет над миром протекло
с поры закладки, с памятного года.
Наш Парк шумит могуче и светло —
Победою рожденная природа.
Приходят старцы под его листву —
те, что в тридцатых были молодыми,
и матери с младенцами своими
доверчиво садятся на траву
и кормят грудью их...
И семя тополей —
летучий пух — им покрывает груди...
И веет ветер зреющих полей,
и тихо, молча торжествуют люди...

И я доныне верить не устала
и буду верить — с белой головой, —
что этой жесткой светлой мостовой

под грозный марш «Интернационала»
сойдемся мы на Праздник мировой.

Мы вспомним всё: блокаду, мрак и беды,
за мир и радость трудные бои, —
и вечером над нами Парк Победы
расправит ветви мощные свои...

⟨1946⟩, 1956, 1963

335

Но я всё время помню про одну,
про первую блокадную весну.

. . . .

А сколько ржавых коек и кроватей
на улицах столпилось в эти дни!
Вокруг развалин горбились они,
бессмысленно пытаясь прикрывать их.
Костлявый их, угрюмый хоровод
кружил везде, где рыли огород...
И просто так толпились тут и там
на набережной —
черные, нагие,
как будто б отдыхала по ночам
на них сама врагиня Дистрофия.
Идешь, считаешь, и — не сосчитать...
Не спать на них хозяевам, не спать!
Железным пухом ложе им стеля,
покоит их державная земля.

. . . .

Я столько раз сердца терзала ваши
неумолимым перечнем утрат.
Я говорила вслух о самом страшном,
о чем и шепотом не говорят.
Но Ленинград,
отец мой,
дом и путь,
всё в новые пространства посылая,
ты говоришь мне:
«Только не забудь!»
И вот — ты видишь:
я не забываю.

1963—1964

Я иду по местам боев.
Я по улице нашей иду.
Здесь оставлено сердце мое
в том свирепо-великом году.

Здесь мы жили тогда с тобой.
Был наш дом не домом, а дотом,
окна комнаты угловой —
амбразурами пулеметам.
И всё то, что было вокруг —
огнь и лед
                    и шаткая кровля, —
было нашей любовью, друг,
нашей гибелью, жизнью, кровью.

В том году,
                    в том бреду,
                                        в том чаду,
в том, уже первобытном, льду,
я тебя, мое сердце, найду,
может быть, себе на беду.
Но такое,
                    в том льду,
                                        в том огне,
ты всего мне сейчас нужней.
Чтоб сгорала мгновенно ложь —
вдруг осмелится подойти, —
чтобы трусость бросало в дрожь,
в леденящую — не пройдешь! —
если встанет вдруг на пути.
Чтобы лести сказать: не лги!
Чтоб хуле сказать: не твое!
Друг, я слышу твои шаги
рядом, здесь, на местах боев.
Друг мой,
                    сердце мое, оглянись:
мы с тобой идем не одни.
Да, идет по местам боев
поколенье твое и мое,

и еще неизвестные нам —
все пройдут по тем же местам,
так же помня, что́ было тут,
с той железной молитвой пройдут...

1964

337

Вновь тебя увидала во сне я.
Не просила я этого сна...
Мне довольно того,
что имею.
Этот город, стихи и война.
Не смущай же меня,
не забытый,
не достойный моей строки,
не оплаканный,
не убитый,
не подавший в беде руки.

Между 1965 и 1968 (?)

338—339. *ИЗ ЦИКЛА «АННЕ АХМАТОВОЙ»*

1

...Она дарить любила.
Всем. И — разное.
Надбитые флаконы и картинки,
и жизнь свою, надменную, прекрасную,
до самой той, горючей той кровинки.
Всю — без запинки.
Всю — без заминки.

...Что же мне подарила она?
Свою нерекламную твердость.
Окаяннейшую свою,
молчаливую гордость.
Волю — не обижаться на тех,
кто желает обидеть.
Волю — видеть до рези в глазах,
и все-таки видеть.

Волю — тихо, своею рукой задушить
подступившее к сердцу отчаянье.
Волю — к чистому, звонкому слову.
И грозную волю — к молчанию.

1970

2

АННА АХМАТОВА В 1941 ГОДУ В ЛЕНИНГРАДЕ

У Фонтанного дома, у Фонтанного дома,
у подъездов, глухо запахнутых,
у резных чугунных ворот
гражданка Анна Андреевна Ахматова,
поэт Анна Ахматова
на дежурство ночью встает.

На левом бедре ее
тяжелеет, обвиснув, противогаз,
а по правую руку, как всегда, налегке,
в покрывале одном,
приоткинутом
над сиянием глаз,
гостья милая — Муза
с легкою дудочкою в руке.
А напротив, через Фонтанку, —
немые сплошные дома,
окна в белых крестах. А за ними ни искры,
ни зги.
И мерцает на стеклах
жемчужно-прозрачная тьма.
И на подступах ближних отброшены
снова враги.
О, кого ты, кого, супостат, захотел
превозмочь?
Или Анну Ахматову,
вставшую у Фонтанного дома,
от Армии невдалеке?
Или стражу ее, ленинградскую эту бессмертную
белую ночь?
Или Музу ее со смертельным оружьем,
с легкой дудочкой в легкой руке?

1970 или 1971

340.

О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!
Пеплом ее трагедий, пеплом ее души...
Из зыбкой своей могилы «Милый, — кричу я, —
милый, спаси,
хотя бы внемли!..»
Из жаркой своей могилы кричу: «Что было, то
было.
То, что свершается, свершается не при нас...
Но — с моего согласья!..»

1970-е годы

341. ⟨ИЗ «КНИГИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ»⟩

Великое,
незримое,
прими мое смиренье.
Почти окостенев,
благословляюсь.
Прими терпенье
и прими забвенье,
прими гордыню.
Я — восстановляюсь,
Восстановляю всё,
о чем мечталось,
о чем нам плакалось
и что хотелось...
Восстановляю
страх,
любовь
и жалость,
и всё, что не было,
и всё, что вдруг имелось.
Восстановляю
все свои утраты:
заветнейшие (лучших не имелось!).
Восстановляю
имена и даты,
но имя им одно —
любовь
и смелость.

1970-е годы (?)

342—346. ⟨*ИЗ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЙ КНИГИ «ВЕЛИКИЕ ПОЭТЫ ВЕКА»*⟩

АХМАТОВОЙ

1

Здесь только крест из дерева
невиданной породы
и над холмом
одни трилистники встают.

Здесь —
только Ты.
Ты — как сама природа.
Ты и твоя последняя свобода...
Бездомный, как всегда,
твой мировой уют...

1967

2

О, живущая нестерпимо,
о, идущая неизгладимо,
оставляющая светоносный след.
Что за благость ко мне явилась?
Божья ль это,
людская милость?
Рядом быть с твоею судьбой,
заслонять хоть на миг собой.
Что ж, что это было напрасно?
Часто робким, чаще безгласным,
по своим законам живем.
По кремнистым путям идем.

Я иду за тобою
след в след.
Я целую его
свет в свет.
Я бессонна, как ты,
бред в бред.
Знаю так же, как ты,
что смерти нет.

Между 1973 и 1975 (?)

ТВАРДОВСКОМУ

1

Ты, как острастка
вечному злословью
равнодушья.
Ты — совесть и гордыня поколенья.

2

Праправнук
протопопа
Аввакума —
нежнейший,
беспощадный,
чистый свет...

СВЕТЛОВУ

Юности великая гордыня,
Знамя и свобода —
только ты.
Знаю — ты ведешь меня
доныне
через разведенные мосты...

347. ЛЕНИНГРАДУ

Но для меня не существует дат.

Теперь уж навеки,
теперь до конца
незыблемо наше единство.
Я мужа тебе отдала и отца
и радость свою — материнство.

И нет мне дороже награды,
чем в годы военной угрозы
моих благородных сограждан
скупые и светлые слезы.

За всё и за всех виноватой,
душе не сказавшей «прости»,
одной мне из этой палаты,
одной никогда не уйти.



II

348. ВЕРНОСТЬ

Трагедия

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ТРАГЕДИИ

О т с е р д ц а к с е р д ц у.
Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.

. . . .

Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих строках глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и лед,
я говорю, как плоть твоя, народ,
по праву разделенного страданья...

...И вот я становлюся многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Но мне же суждено — самой собой
остаться в разных обликах и душах,
и в чьем-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шепот слушать,
и знать, что ничего не утаишь:
все слышат всё, — до скрытого рыданья...
И друг придет с ненужным состраданьем,
и посмеются недруги мои.
Пусть будет так. Я не могу иначе.
Не ты ли учишь, Родина, опять —
не брать, не ждать и не просить подачек
за счастие творить и отдавать.

...И вновь я вижу все твои приметы,
бессмертный твой, кровавый, горький зной,
сорок второй, неистовое лето
и всё живое, вставшее стеной
на бой со смертью...

1946

ПРОЛОГ

1

Обрыв и ночь. И на краю обрыва
три женщины застыли, чуть видны,
и море тяжко бьет, неторопливо —
сердцебиенье сонное войны.

Три женщины на стихшем поле боя
негромко говорят между собою.
А может быть, они не говорят,
а думают...
                    Так думают, что слышит
их думы весь земной амфитеатр.
Трагедии великое затишье.

Анна

Я не нашла Андрея... Где же он?..
Всё! Некуда идти. Здесь край земли и — море.

Лена

Как тихо здесь. Хотя б единый стон.
Так вот оно какое, наше горе.

Анна

Темно, темно... На всей земле темно...
Неужто ж мы сегодня на рассвете
ушли из города? Мне кажется — давно.
Мне чудится — мы шли тысячелетья.
Да, мы с водой к солдатам шли сюда.
Несли в бидонах... С пресною водою
бежали к мысу, к морю, к месту боя...
Дошли... У нас с собой для них вода.

И вдруг кричит:
                    — Андрей! Я здесь! С тобою...

Ирина Власьевна

Сыночки, дети, двое молодых,
я тоже принесла для вас воды.
Вздохните, шевельнитесь, — мать услышит...

...Никто не стонет, и никто не дышит.

Лена

Молчат, молчат... Я слышу только гул
холодного полночного прибоя.
Мой милый, ты, кого я не могу
своим назвать... а я ведь здесь, с тобою.

Анна

Здесь только мертвые. Мы обошли
весь этот мыс. Не кличьте их, довольно.
А наши, те, кого мы не нашли, —
наверное, их схоронили волны.
Еще вчера к Большой земле ушли
последние баржи и корабли
под ливнем бомб,
в свирепом черном дыме.
А все, кто боем прикрывал отход, —
здесь или там, во тьме холодных вод.
Никто не спасся.
Плачьте же над ними.

Ирина Власьевна

Провожали —
в теплые губы целовали,
а в холодные
уже не поцелуем.

И вновь молчат. Хотя б одна слеза.
Стоит окаменевшая гроза.

Лена

Что ж ты не плачешь, Анна, Анна...

Анна

Я?

Да, я не плачу. Я в его потерю
ни сердцем, ни умом еще не верю.
Он жив... Он жизнь моя, любовь моя...

Лена

Не надо о любви. Здесь по колено кровь.

Анна

Я знаю, девочка. Но между павших
я про такую говорю любовь,

что мертвых мне не стыдно и не страшно.
Он тоже был солдат — мой друг, мой муж.
А как его любили все, как знали!
С каким доверьем люди шли к нему,
несли свои заботы и печали.
Мы прожили с ним десять долгих лет,
и вдруг — обрыв... и вдруг потерян след.
Неправда всё... так не бывает... нет...

Она смолкает. Ей не превозмочь
великое непониманье смерти.
И длится, длится, длится эта ночь,
ночь на краю земной кровавой тверди.
И всё же начинает рассветать.
И первою заговорила мать.

Ирина Власьевна

Ну, женщины, родимые, пойдем.
Светает. Море плещет по-другому.
В плену наш город, осквернен врагом,
нам дом постыл. Но мы вернемся к дому.
Нет, я не утешаю и не грею.
Я — мать. Я — как земля. Она — тиха.
Ты не увидишь, может быть, Андрея,
а ты —неназванного жениха.
Не вымолите, сердце не дождется,
не встретите ни вдалеке, ни тут.
Но — муж погиб, а воины придут.
Солдат убит, но Армия — вернется.
Ну, женщины, ну, милые...
Водой,
которую несли сюда с собой
для тех, кто ею больше не напьется,
глаза умойте — и пойдем домой,
и будем помнить: Армия вернется.

2

Так эта повесть начата: с конца,
с горы убитых, с ночи пораженья.
Всё та же ночь.
Под кручей два бойца,
сорвавшихся сюда
в последний миг сраженья.

Один из них — Андрей Морозов. Он
к товарищу прильнул,
к груди его: живой ли?
И тот пошевельнулся; вздох и стон,
и еле слышный шепот, полный боли:
— Воды... Андрей... воды...
— Здесь нет воды, Сережа.
— Как нет? Я слышу — плещется вода...
— Так это ж море.
— Море?.. Правда, море...
Андрей, постой! А где мы? Почему
темно и тихо?

Андрей

Мы на том же месте,
там, где и были. Только под скалой.

Сергей

Как?.. Мы — в бою!

Андрей

Лежи. Ты тяжко ранен.
Бой кончился. Мы сброшены сюда.

Сергей

Мы сброшены?

Андрей

Да.

Сергей

Значит, город взят?

Андрей

Да. Взят. Э-э, нет, лежи, не рви тельняшку.
Да ты..., Сергей... Чего ж ты плачешь, брат?

Сергей

А ты? Ты — сам...

Андрей

И я... Ну, что же... Тяжко.

Сергей

Андрей, а что ты комкаешь в руках?

Андрей

Лоскут... обрывок знамени полка...
За пазуху запрячу... Вместе с нами
сорвалося под кручу наше знамя.

Сергей

Андрей, скажи — нас много здесь?

Андрей

Нас много:
нас тыщи мертвых тут и два живых.

Сергей

Считай, что ты один живой меж нами.
Я умираю.

Андрей

Врешь! Мы не умрем!

Сергей

Не бойся, мне не страшно. Мне воды бы...
Водички... Слушай! Спой мне что-нибудь.

Андрей

Сергей, дружок... Да ты никак тоскуешь?
Нехорошо тоскуешь. Погоди!

Сергей

Спой что-нибудь! Ну, спой, —
прошу в последний...
Уважь меня... Мне трудно — в тишине...
Немножко спой...

Андрей

Сторожевик немецкий
поблизости: услышит — станет бить.

Сергей

А-а, всё равно отсюда нет спасенья.
Пускай палит, услышав, как поют
убитые матросы...

Андрей

Стой... пожалуй,
сейчас спою.

Сергей

Пока я слышу — пой.

И вот Морозов хрипло запевает
старинную матросскую, о том,
как мать-старушка сына ожидает,
напрасно сына ожидает в дом.

— Напрасно старушка ждет сына домой —
ей скажут — она зарыдает,
а волны несутся за быстрой кормой,
в дали голубой пропадают...

Беспамятство стало собой покрывать
Сергея, как траурный парус,
но он приподнялся, он стал подпевать:
— Товарищ, не в силах я вахту держать, —
сказал кочегар кочегару...

Клокочет уже у Андрея в груди,
но, гулкий прибой пересилив,
вся песня крепчает
и эхом гудит
под кручею в братской могиле.

Напрасно старушка ждет сына домой, —
всю боль пораженья изведав,
он выплывет сам из пучины морской,
он встанет из гроба, он ринется в бой,
и — нет, не придет, не вернется домой,
пока не добьется победы.

И песню отбрасывает скала
согласным звучаньем далеко,
туда, где враги притаились, где мгла,
раскинулось море широко.
Морозов истошно кричит — не поет:
сторожевик
немецкий
не бьет.

Тогда, на пределе песнь оборвав,
Морозов сказал Сергею:
— Ну что же,
ты спеть просил, — ты оказался прав:
разведка жизнью удалась, Сережа.
Не бьет по песне вражеский дозорный.
Смерть отошла пока от нашей кручи.
Дорога нам открыта в море Черном.
Давай сопротивляться, — это лучше..,
Ты можешь двигаться?

Сергей

Немного.

Андрей

Поплывем.

Сергей

Андрей, плыви один.

Андрей

А за тобой
прикажешь катер выслать?

Сергей

Пристрели.
Я погублю тебя.

Андрей

Молчи, мальчишка!
Что смерть? Пустяк! Весь мир железом
вспорот...
Как смертный вздох сегодня воздух весь...
Мы — Армия, оставшаяся здесь.
Ложись мне на спину. Держись покрепче.
Есть.
Не умирать. Идем на город!

АКТ ПЕРВЫЙ

1

Закат. Руины города. Он был —
и это видно — светлый и прекрасный.
Амфитеатром белым восходил
высоко вверх — терраса над террасой,

Теперь — одни руины. Смесь камней.
Над ним полоска моря голубая.
Тропинка сверху вьется, и по ней
бредет старик. Он тяжело ступает,
он с длинным посохом. Полупустой
мешок-котомка за его спиною...
Безмолвие руин. Наверное, такой,
такой была разрушенная Троя.
Среди развалин на его тропе
какая-то площадка, гладкий камень,
фундамент дома бывшего. Он сел,
котомку снял, колени сжал руками.
Его лицо как бы из темной глины
изваяно. Резки и глубоки,
изрезали прекрасные морщины
высокий лоб, открытые виски.
Он местный житель, страстный краевед,
любимый всеми в городе учитель
и археолог — вот уж много лет
музея Херсонесского хранитель.
Его зовут Иван Петрович Хмара.
Закат над мертвым городом горит,
а он сидит — один, усталый, старый,
он размышляет или говорит:
— Мой бедный город, ты ли это, где ты?
Сокровище мое! Что сделали с тобой?!
Веселый город озорных рыбачек,
отважный город молодых матросов,
нетленной русской славы боевой...

Девятый раз иду тропинкой этой:
она — кратчайший путь среди развалин.
Она прошла сквозь стену чьей-то спальни,
сквозь чью-то кухню с печкою разбитой,
прошла по крыше рухнувшего дома,
где я родился, жил, узнал любовь.

Теперь всё это — только вязкий пепел.
Нет в городе ни площадей, ни улиц,
но много троп, таких же, как моя.

Ей всюду ход, она неумолима,
через любой порог легла она,

сквозь всё, что было тайно и любимо,
незыблемо, и свято, и хранимо,
и у тропинки имя есть: Война.
Идешь по ней — и обувь рвут осколки,
в ступни стекло впивается глубоко,
и прикипает каменная пыль
к щекам, ко лбу — и застывает маской.
И если б можно было маску эту
с лица людского осторожно снять,
и сохранить, и показать потомкам —
я всё же верю — добрым и свободным,
они б, наверное, затрепетали
от состраданья и благоговенья,
увидев слепок нашего лица:
так вот каков Идущий по тропинке!

...Он затихает, глиняные руки
сцепив, сжимая пальцы добела.
Он не слыхал шагов и щебня звуки,
а это мать тропинкой снизу шла.

Ирина Власьевна

Добрый вечер!

Хмара

Что вы сказали?

Ирина Власьевна

Я сказала — добрый вечер.

Хмара

Спасибо, Ирина Власьевна. Пусть вечер будет добрым.

Ирина Власьевна

Устали, Иван Петрович?

Хмара

Да. Я сидел здесь один и, кажется, громко стонал...
Я рад, что вы пришли. Теперь я понял:
меня безлюдье чуть не задушило.

Ирина Власьевна

А здесь и нет безлюдья. Здесь как раз
повсюду — люди.

Хмара

Люди? Где же люди?

Ирина Власьевна

Они как раз под этой каменной плитой в подвале.
Они хорошо замурованы, а вход задвинут камнем.

Хмара

Как? Здесь, под нами? Да? Но — кто ж они?

Ирина Власьевна

Они бойцы великой, беззаветной,
могучей нашей Армии... Но я
не знаю их имен и даже лица
в глубокой темноте не разглядела.
Недавно ночью слышу — мне стучат
в окно и просят именем России
их напоить и спрятать... Ну, а мне
уже известно было, что соседка
замуровала здесь двоих других
неделей раньше. Мы теперь приходим
по очереди, — носим им воды
и пищи...

Хмара

Вот... Пожалуйста, возьмите,
возьмите этот хлеб и рыбу.

Ирина Власьевна

Ладно.
Теперь давайте приоткроем люк...

И старики сдвигают камень с люка.
Мать наклоняет в темноту лицо:
— Вы живы ль, милые? —
Из тьмы тяжелым звуком:
— Мы живы, мать! Считай своих бойцов...

Их четверо. Они сидят в подвале
Без дня, без ночи, — первобытный мрак.

Их женщины сюда замуровали,
их, уцелевших непонятно как.
Семен и Павел, флотские матросы;
Сергей, пылающий в полубреду,
и не похожий на себя Морозов...
Бойцы угрюмый разговор ведут.

Семен

Ну вот, попили водички, поели хлеба и опять лежать, как в могиле.

Павел

Как в могиле...

Сергей

А там — вечер. Там — закат.

Семен

Где это?

Сергей

На земле. В городе.
Мать не задвинула над нами камня, —
смотрите-ка, вошел вечерний луч.

Семен

Что ж... и в могилу солнце светит...

Павел

И в могилу...

Андрей

А ну-ка, перестаньте!

Семен и Павел

Почему это?

Андрей

Противно. В самом деле, как в могиле,
и панихиду по себе поем.
Довольно. Я пойду наверх, на землю.

Семен

Зачем?

Андрей

Затем, что время выходить
и действовать.

Семен

Андрей, не выходи, тебя узнают.

Павел

В концлагерь хочешь или на веревку?

Андрей

Нет, не хочу. Но больше не могу
в своем же городе сидеть в подвале,
дрожать и брать из рук у женщин пищу,
быть может, отнятую у детей.

Павел

А что поделать? Их — такая сила...
Как мы стояли... А ведь нас скосило...
Так мы — войска... А это ж — горожане.
Нет, кончено... Никто сейчас не встанет.

Андрей

Неправда! Встанут, если выйдем мы.

Семен

Андрей, гляди, нас выдадут.

Андрей

Неправда.
Кто? Уж не та ль, что кормит нас с тобой?

Павел

Таких немного... И она тебя
не опознала...

Андрей

Их должно быть много.
И если мало, значит, мы с тобой
напрасно жили, строили напрасно,
напрасно приняли великий бой.
Я не могу... Мне эта мысль ужасна.
До вечера... Я возвращусь домой.

И, подтянувшись, напрягая силы,
Андрей рванулся наверх.
И заря
навстречу хлынула и ослепила,
багрово-желтым пламенем горя.
Он пошатнулся от ее удара.
Его подхватывает, держит Хмара.

Андрей

А-а... Как светло... Что, он еще пылает?
Пожар?

Хмара

Закат... Вечерняя заря.
Вас после подземелья ослепило,
сейчас пройдет...

Андрей

Вы? Вы, Иван Петрович?
Уж вот кого не думал встретить здесь.

Хмара

Поистине сегодня добрый вечер.
Я вас не знаю.

Андрей

Я — Андрей Морозов.

Хмара

Вы в городе? Вы живы? Это — чудо.

Андрей

Да, это я, и я скрываюсь здесь
и уходить отсюда не намерен.
Я не один — товарищи со мной.
Вы поняли? Теперь я в вашей власти.

Хмара

Андрей Морозов, вы ошиблись: я,
да, я — во власти вашего доверья,
и я учил когда-то вас, мальчишку,
что доверяющий — сильнее всех.

Андрей

Учитель, дорогой, простите, я ошибся.
Я знаю вас. Не помню, как сказал...

Хмара

Теперь не время для обид и ссор.
Чем я помочь вам должен?

Андрей

...Вы пойдете
на Херсонес. Вы дома моего
не обойдете. Постучитесь к Анне,
скажите ей — я здесь и жду ее.

Хмара

Мне кажется, ваш дом...

Андрей

Мой дом?

Хмара

Разрушен...
Но, может быть, я ошибаюсь...

Андрей

Нет!
Да, да, конечно... Как я позабыл?
Мне показалось — он такой, как был.
Я уходил — там оставалась Анна...
Но знаете... хотя мой дом разбит,
но всё ж остановитесь у развалин
и позовите Анну.

Хмара

Хорошо.
Но только... это — тщетно...

Андрей

Позовите!
Окликните по имени!

Хмара

Пусть так.
Ну, успокойтесь... Раз вы так хотите —
так будет...

На плечи ученика
легко ложатся руки старика,
как в юности, с тревогою и лаской.
И в голосе его не прежний стон,
когда оплакивал руины он, —
он говорит спокойно, тихо, властно:

— А я вас попрошу, чтоб вы учли,
что всю гражданскую я был в подполье,
когда вы были мальчиком-подростком.
Я пригожусь вам, хоть уже старик.

Андрей

Вы очень пригодитесь. Я приду
к вам в городище.

Хмара

Не ходите в храм,
но лишь в раскопанную винодельню,
через некрополь. А в музейных залах
немецкий штаб.

Андрей

Немецкий штаб? Приду!

Старик уходит, и Андрей один.
Закат, закат пылает нестерпимо.
Андрей привстал, по-новому глядит
на город, одичавший и любимый.

Одни руины. Власть и смесь камней.
Всё больше распрямляется Андрей.

В нем нарастало нечто, что ему
еще невнятно было самому, —
восторга взлет, предел ожесточенья,
когда ненасытимы глаз и ухо,
и всё открыто зрению и слуху,
и крепнет вдохновенное прозренье.
Кто шел на бой, запомнил те мгновенья.
Он так глядел — без времени, без вздоха,
и вдруг кричит, прорвавшись наконец:
— Так вот как мы дрались! А что ж, неплохо!
Неплохо, город! Молодец!

Да ты... ты гордый, брат! Ты весь застыл
в порыве страшного сопротивленья,
разметанный по камню, вбитый в пыль,
не дрогнувший, не вставший на колени.
Нет, ничего не кончено. Не труп,
не раб мой город с гордостью такою...

Он задохнулся — сотни медных труб
вдруг загремели, призывая к бою.
Он слышал их! Он видел — как лучи
багряно-медного заката,
они взвилися к небу, горячи,
и небосвод сотрясся их раскатом.
Всё больше их, и вот уже стеной
они стоят, они звенят в зените.
Андрей тогда не думал: «Что со мной?»
Он слышал их! Звените же, звените!

Они звенят, они уже ревут.
И на пределе рева — вдруг, нежданно
смолкают.
Тишь.
Тропинкою идут,
сюда идут.
Андрей подумал: «Анна».

Он сел на камень. В мире тишина.
Легчайшие шаги —
идет жена...
И на краю площадки, добежав,
остановилась. В старом милом платье,
в цветном платочке. Руки не разжать,
не улыбнуться и не зарыдать ей.

— Здравствуй, Андрей.
— Здравствуй, Анна.

Она неподвижно стоит на краю площадки.

— Аннушка, что ж ты остановилась? Подойди ко мне. Я так ждал.

Анна подходит к мужу и тихо протягивает ему руку.

— Здравствуй, Андрюша.
— Здравствуй, Аннушка...

Анна

Нет... Нет, ты сиди, не двигайся...
Дай я руками
потрогаю лицо твое, и плечи,
и голову. Вот так... Андрей!.. Андрей!

Андрей

Не узнаешь? Так сильно изменился?
Но это — я. Узнай меня скорей.

Анна

Не узнаю? Тебя — не узнаю?
О господи... Да если б даже стал ты
обломком камня, деревом, золой, —
я б и тогда тебя во всем узнала;
я камень обнимала бы, терновник,
золу бы целовала... Только очень,
ты очень постарел...

Андрей

Теперь — узнала.
Мой свет земной! А ты всё та же, та же,
такая же красивая...

Анна

Не надо,
не надо здесь об этом... Правда — тихо?

Андрей

Да, очень тихо здесь. Но я — с тобой.

Анна

И я — с тобой... Я знала — это будет!
Я знала там еще, на том обрыве,
куда пришла искать тебя убитым
и смерти не поверила твоей.
Ты знаешь — я совсем не испугалась,
когда старик окликнул у калитки
и прошептал, что ты меня зовешь.
Я встала с груды щебня, где пыталась
хоть что-нибудь домашнее отрыть,
пошла сюда, почти не задыхаясь,
и думала: «Ну вот и повстречались...»
Ты веришь?

Андрей

Да... Ну, говори еще.
Еще дотронься до лица. Не бойся,
что я не улыбаюсь и не плачу,
и всё молчу...

Анна

Молчи. О, как я рада,
что все тебя считают мертвым.

Андрей

Нет,
я жив!

Анна

Молчи. Великую услугу
нам оказала смерть твоя: она
как шапка-невидимка. Нет подполья,
охраны нет надежней и верней.
Ты мертв — и враг преследовать не станет,
и друг обременять собой не будет,
предатель не найдет и не предаст.
Подумай только, как ты стал свободен.
Отсюда мы сегодня же уйдем
куда-нибудь далеко в горы... Хватит,
довольно этой крови, жертв и мук.
Я больше не отдам тебя... Я больше
не выпущу твоих сожженных рук.
Не отнимай же их: я так мечтала
прижаться к ним губами, как сейчас.
Мы одиноки... Только двое нас...
Уйдем скорее...

Андрей

Анна, дорогая,
прости меня — так любят мертвецов.
И не тебе, строителю, с твоими
не женски смелыми руками, — плакать,
дрожа цепляться ими за меня!
А я живой — и мне глядеть в глаза
живым, когда они придут сюда...

Анна

Я знаю
всё, что ты скажешь. Да. Но ты не прав.

Ты возвратишься к делу. Но сегодня
ты изнурен, изранен, еле бродишь...
Ты вправе скрыться, отдохнуть немного,
ты принял всё... Ты был уже за гробом,
за гранью смерти...

Андрей

Дальше, Анна, дальше,
так далеко, что смерти не достать.
Там смерти нет. Там нет своих утрат,
своих печалей и своих страданий,
и, не сердись, там нет своей любви.
И если кто страданьем всех страдавших,
любовью всех любивших жил хоть раз,
хотя бы миг, за всех живых и павших, —
тот этой жизни больше не отдаст.

Анна

Андрей, ты хочешь...

Андрей

Я останусь тут,
а ты уйди из города. Так лучше.
Я позову, когда найду возможным.

Анна

Нет! Нет, не смей! Тебя свои узнают,
и выдадут — свои же...

Андрей

Ты клевещешь!
Ты знаешь всех, оставленных со мной.
Я при тебе успел послать шифровку
в Москву с их именами. Где сейчас
Петр Овчаренко?
— Он вчера повешен.
Он выдан был.
— Никифоров?
— Убит.
— Савельева?
— Прямое попаданье.
— О господи... А Голубев?
— Исчез.

Долгая пауза.

Андрей

Так. Значит, надо всё начать сначала.
Сначала, с новыми людьми...

Анна

О нет!
Они тебя...

Андрей

Не знаешь ты, что значат
твои слова... А в них — такая тьма.
Жена, оставь меня. О чем ты плачешь?
Ты в смерть мою не верила сама.

Анна

Найти на миг — и снова потерять.
Нет, больше я не в силах. Я устала.
Ну, пожалей... я у тебя одна.
О, разве это мало? Разве мало?

Она рыдает, падая на камень
ничком, лицо свое закрыв руками,
она рыдает, скорчившись. Над нею
стоит ожесточившийся Андрей,
не глядя на нее. Уже темнеет,
и, не простившись с Анной — так верней, —
Морозов быстро, тихо в подземелье
спускается. Почти не виден лаз.
Тих небосвод. Закат почти погас.
Подвал и мрак. Бойцы лежат в подвале.
Андрей вошел, затеплил каганец
(его на миг порою зажигали),
стоит. Поднялся за бойцом боец.

— Товарищ Морозов! Ну, что там в городе, на земле?

— Нас ждут в городе.

— Как там женщины-то наши, Андрей? Худо им... плачут?

— Нет. Они ждут нас.

— Проклинают нас, поди, армию и флот, за то, что не удержали город?

— Нет. Они ждут нас. Слышите?

Он вскидывает руку. Стиснув зубы,
в подвале, с поднятою головой
стоят бойцы и слышат: трубы, трубы
гремят над ними, призывая в бой.

2

…Всё в тот же день, на гаснущей заре,
у матери на маленьком дворе.
Она сама, и Лена с ней. Они
сидят под обгоревшею лозою.
В домах не зажигаются огни,
и вечер полон горького покоя.
Полынью пахнет нежно и щемяще,
как до войны, весною настоящей,
и этот запах людям тяжелей,
чем смрадное дыхание камней,
и трудно им привыкнуть к тишине,
к ее совсем кладбищенской печали.
Она царит уже двенадцать дней…
…А бомбы, кажется, еще вчера свистали,
и город, рушась, грохотал вчера
в столбах огня — у этого двора,
где женщины с утра и до утра
на обороне Родины стояли…
Что делали они?
Они — стирали.
Им привозил ночами грузовик
белье из госпиталей и санбатов,
тяжелое от крови неотжатой.
Их руки были до локтей в крови,
они стирали, спин не разогнув,
а город рушился, и небо выло, выло…
Контузило за стиркой не одну,
одну — осколком наповал убило.
Здесь, на дворе, была она зарыта.
Над ней минуту прачки постояли,
и снова наклонилися к корытам,
и снова молча, яростно стирали.

Встал город насмерть. Хлещет кровь.
— Белья! —
И прачки насмерть у корыт стоят.
Ни сна, ни отдыха — стирать, стирать,
стирать.
Всё гуще ярко-розовая пена.
Семь тысяч простынь выстирала мать
за время штурма; девять — Анна с Леной,
а прочего белья не сосчитать,
и всё еще осталось бы на смену…

...Им не пришлось последней стирки сдать:
в то утро город занят был врагами.
— Мы сбережем белье, — сказала мать, —
оно понадобится нам опять. —
И спрятала в укладке в темной яме
последнее сокровище свое —
шершавое солдатское белье.

Двенадцать дней, всего двенадцать дней
с того рассвета...
...Вечер всё темней,
и тишь вокруг — мучительней бомбежки.

Лицом уткнувшись матери в плечо,
Елена шепчет глухо, горячо:

— Ах, мамаша... мамаша...
— Что, доченька?

— Так. Ничего. Просто захотелось назвать вас матерью. Вам все так говорят — мать, даже чужие.

— Все. Только сыновья не говорят. Где-то они теперь?

— Не знаем, ничего не знаем... А руки какие у меня стали, какие противные белые руки. Бывало, сердилась, что свинец в них въедается, как работала в типографии, а теперь... вот уже как забелились... Ах, мамаша, милая...

— Тоскуешь, дочка?

Лена

Ох, как я тоскую!
Я и шепчу, чтоб сердце заглушить.
Я всё шепчу...

Ирина Власьевна

Шепчи, дитя, шепчи.
Еще не знаешь ты, что громче вопля
невнятный шепот горя... что страшнее
угроз открытых — тайный шепот гнева:
где шепчутся — там заговор идет.
Шепчи, шепчи.

Уже луна плывет на небосклоне.
— Пойдем-ка, дочка... Поздно... время
спать...

Вдруг тихий стон.
— Мамаша, кто-то стонет!

Встает, прислушиваясь к ночи, мать.
— Почудилось...
— Да нет, мамаша!

Ирина Власьевна

Нынче
и камни стонут, и земля вздыхает,
и воздух бредит...

Но в ее слова
ворвалось:
— Братцы, помогите... братцы...

— Солдат зовет. Солдат. Елена, ты права...
Он где-то рядом. Нам легко добраться.

...Он рядом, за забором, в неглубокой
воронке, вырытой снарядом. Он
без памяти. Луна уже высоко,
солдат прозрачным светом озарен.

Ирина Власьевна

Совсем мальчишечка. Кругом изранен.
Наверно, из последних, с той скалы.

Лена

Сережа... Матушка... Да это ж он!
Мой, мой Сережа!

Ирина Власьевна

Слышу, Лена. Тише.
Смочи ему водой лицо и рот.
Послушай сердце.

Лена

Сердце еле слышно.
Бегите к фельдшеру Жигó... Он там,
там, у колодца, в доме, где крыльцо
и угол сохранился...

Ирина Власьевна

Знаю. Только
мы, может, сами выходим его?

Лена

Да нет, смотрите — кровь течет. Наверно,
открылись раны. Без врача нельзя.
Бегите же. Не бойтесь — это добрый,
хороший человек... Бегите, мама...

Ирина Власьевна уходит. Лена
встает перед любимым на колено.

Лена

Сергей! Сережа! Милый мой, ты слышишь?
Очнись на миг.

Сергей

Ты, Лена? Это ты?
Ты снишься мне, Аленушка? Не надо.
Я, кажется, уже совсем...

Лена

Неправда!
Ты будешь жить: ведь я люблю тебя.

Сергей

Ты правда любишь? Ты не говорила...
Ты гордою была такой — тогда...
Тогда, давно...

Лена

Люблю. Я не успела
сказать тебе об этом до войны.
Я всё ждала чего-то, я не смела,
и кто же знал, что сроки сочтены,
что оставалось жизни слишком мало...
И вдруг — война... И вдруг тебя не стало.
Теперь я знаю — ждать не надо больше.
Ты слышишь, слышишь? Сердца не тая,
люблю тебя давно и долго — дольше,
чем длится жизнь короткая моя.
Навек люблю — теперь, когда не может
за день свой поручиться человек, —
люблю навек... Люблю за час, быть может,
до гибели, а стало быть — навек.
Люблю тебя.

Сергей

Аленушка... Я счастлив!
Но только ты прости меня...

Лена

За что?

Сергей

Прости за то, что город наш разрушен,
за то, что наша Родина страдает,
за то, что мы еще не победили,
за то, что я, защитник твой, к тебе
из-под камней приполз, и вот калекой
беспомощным лежу перед тобой,
и раны пахнут...

Лена

Я люблю тебя.

Сергей

Я встану, встану! Как я буду драться!
Каким я мир верну тебе назад —
веселым, добрым, щедрым и влюбленным,
в сто раз прекраснее, чем до войны.
Самой любви таким он только снился!
Возьмешь такой?

Лена

Возьму и не отдам!

Сергей

Я всё теперь смогу за эту ночь
среди развалин...

Лена

Эта ночь прекрасна.
Ты знаешь что? Так начиналась Жизнь.

Сергей

О да! Так начинается Победа.

Рассвет — легчайший, розоватый. Площадь.
Кругом остатки стен, колонн обломки,
а посредине площади — колодец,
восьмиугольный, каменный, — такой,
какие были в древности глубокой.

На площадь вышла Лена. Подошла
к углу руины, села на ступеньки,
закинула счастливое лицо.

Он там, ее жених, за этой дверью...
«Он спит еще. Утихла боль, я знаю.
Пусть долго спит... А утро всё светлей...
А небо, небо! Я его таким
еще ни разу в жизни не видала:
оно совсем пернатое! Оно
сплошным крылом склоняется над нами.
Мне так тепло под ним... мне так тепло...»

И в полудреме счастья и покоя
она сидит у двери. А на площадь
приходит мать. Ей поручил народ
хранить колодец с пресною водою,
единственный теперь на целый город,
и воду горожанам раздавать.
Вот крышку деревянную снимает
и над колодезною пустотой
лицо свое тревожно наклоняет.
Сейчас сюда сойдутся — за водой.
И шепчет мать:
— Ну, прибывай, прибывай, вода.
Люди же скоро придут сюда.
За ночь уста им тоска запекла,
за ночь слеза им глаза обожгла.
Ох, мало тебя,
ох, мало,
мало за ночь тебя набежало.
Если бы, матери, стать бы мне
живой водой
на такой войне, —
раны обмыть,
уста утолить, огонь залить...

Уже восходит радостное солнце,
трепещет воздух розовый.
                                        На площадь
стекаются из-за развалин люди.
Идут из темных и сырых подвалов,
из полуразвалившихся хибарок,
идут с посудой разной. Но легка
их ноша: ведер нет — кувшин, бидончик.
Суровы нормы водного пайка.
Здесь знают цену каждого глотка.
Людей всё больше...

Негромко, как при мертвом, переговариваясь меж собой, они выстраиваются в очередь, ждут воды. Вошла Анна с кувшином, села в стороне на камень.

Анна

(про себя)

Я до утра сидела на ступенях
разрушенного дома своего.
Ждала — Андрей опомнится, вернется...
Я прокляла войну, любовь, его —
всё прокляла и ко всему взывала.
Напрасно. Мне ничто не помогало.
Меня стыдила собственная тень.
Она легла через порог на плиты
совсем такая ж, как в ту ночь, когда
я провожала прямо в бой Андрея
спокойно, даже гордо. А теперь
меня сжирает, жжет одно сознанье,
сознанье, что его теряю снова,
его, почти воскресшего, теряю
теперь уж навсегда и безвозвратно:
смерть никого не возвратит вторично,
а он опять идет навстречу ей.
О, как его сберечь, как оградить,
что сделать...

                              Вся в себя погружена
она совсем не слышала, как Лена
к ней подошла, доверчиво и громко
шепча:
            — Да разве ты еще не знаешь?
Он — в городе! Ты слышишь? Он живой.

И Анна вздрогнула, взметнувши головой:
— Молчи... Кто — он?..
— Твой муж, Андрей Морозов.
— Мой муж погиб. Ты бредишь, замолчи.
— Он тоже жив.
— Как — тоже? Ты видала
кого-нибудь, кто выдал?

Лена

Выдал? Нет!
Сергей сказал, жених. Андрей Сергея
спас, понимаешь? Из-под Херсонеса,
из моря вынес, и в подвале спрятал,
и к дому матери принес вчера.
Теперь он здесь, Сергей, — он в этом доме
у фельдшера. Его сюда сама
я привела сегодня поздно ночью.
И знаешь, фельдшер не узнал меня!

Анна

Ты привела его сама? Напрасно.
Совсем напрасно...

Лена

Анна, не пугай!
Он, правда, слаб, но будет жить, я знаю.
Он говорил — Андрей был тоже ранен,
но встал теперь...

Вокруг столпились люди,
прислушиваясь жадно. Громко, властно
перебивает Анна:
— Замолчи!
Твой бедный мальчик, может быть,
помешан...
Я там была — одна... я опознала...
Морозов, муж мой, мертв. Его нельзя
ни ждать, ни видеть, ни найти... Довольно:
не растравляй мне сердце, замолчи.

Долгая угрюмая пауза.

Первый старик

Лететь, рассказывали, отказался,
как уходил последний самолет.
«Летите, говорит, а я останусь...»

Анна

Я вам клянусь, что нет нигде Андрея,
погиб на той последней батарее.

Первый старик

Ну, если ты клянешься — значит, правда.
Уж он бы к нам пробрался, он бы смог.

Женщина

Любил народ... Он мне помог мальчишку
поставить на ноги: калекой был сынок,
а стал героем...

Второй старик

Был Андрей Васильич
простым, не гордым... людям доверял...
Эх, жалко...

Народ

— Жалко... Лучших выбивают...

— Товарищи, так как же дальше жить?

— Граждане, милые, да что же это делается, да посмотрите вы сами на себя, какие мы стали, как мы в родном своем городе воду берем, глоточек воды...

— И все сиротеем, все сиротеем!

Ирина Власьевна

Берите воду, граждане... Довольно,
не надо больше плакать. Посмотрите —
колодец полон. Где-нибудь дожди
прошли сейчас, узнав про наше горе.
Давайте ж, граждане, — глотком воды,
которая как жизнь для нас сегодня,
помянем все Морозова Андрея,
защитника и друга своего.
Попейте, граждане...

Анна

А-а, нет, не надо!
Не пейте за него, не пейте... страшно!

Ирина Власьевна

Пей, бедная, пей первая. Глотком
холодным освежи хотя бы сердце...

А н н а

Нет, не хочу, не буду...

Л е н а

Анна, Анна,
как я тебя жалею. Как хочу,
чтоб ты, как я, была такой счастливой,
чтоб ты...

Ей не пришлось договорить.
К дверям,
туда, где спит Сергей, идут фашисты.
И Лена, крикнув, рухнула к ногам
Ирины Власьевны, ее не подхватившей.
И площадь обмерла, дыхание свое
не выдохнув, безмолвно цепенея:
предательство дохнуло на нее,
лютее смерти и врагов страшнее.

...Его вытаскивают из дверей
и волокут по площади куда-то,
и рвется и звенит среди камней
последний возглас русского солдата:
— Прощайте, граждане, не поддавайтесь...
Мы победим... Да здравствует народ...
Аленушка, невеста, мир придет —
я обещанье выполню!.. Прощайте...

Единый вздох на площади глубок.
Единым вздохом:
— Нас прости, сынок...

Все слышат очередь из автомата,
и — тишина, тяжеле гробовой...
...Из двери вышел бледный, рыжеватый
Стефан Жиго́. Все смотрят на него.
Они ему доверили: к нему
солдата привели —
в крови, в горячке бреда.
Солдат захвачен у него в дому,
а он — он цел: он спасся тем, что предал.
Он вместе с ними много лет прожил,
из этого колодца воду пил.

Вот он шагнул к нему...
Но мать:
— Куда?
— Водички б мне...
— Здесь не твоя вода.
Пошел отсюда! Здесь горюют люди.
Тебе ни хлеба, ни воды не будет.
Мы приговор наш стали исполнять.
Вы все его запомнили?
— Все, мать.

Ее внезапно силы оставляют,
и, руки опустив, подняв лицо,
не закрывая глаз, она рыдает
навзрыд, за всех, за всё.
Угрюмый ропот
растет в толпе, отчаянья прилив,
глубинный стон тоскующей земли.

— Товарищи, так как же будем жить?
— Да где же наша Армия, защита?
— Да неужели ж правду немец пишет,
что вся она разбита... вся разбита...

— Граждане, милые, да хоть бы один-единственный наш самолет прилетел, пусть бы он нас бомбил, пусть бы жег, — легче было бы, знали бы, что есть где-то Армия, наша Армия...

— Да неужели ж больше не вернется,
да неужели ж не вернется к нам?

Отчаянье растет, дымятся слезы,
вот женский вопль возник, еще глухой,
и в этот миг — как из земли — Морозов
встал рядом с матерью, перед толпой.

Он громко крикнул — люди обернулись:
— Не плачь, мамаша. Мы уже вернулись!

Он поднял Лену, за плечи держа.
Он говорит с ней так, чтоб все слыхали:

— Встань, девушка, с земли... Я утешать
тебя не смею. Я перед тобою
виновней всех. И я горюю только,
как все твои сограждане, — с тобой.

Ну, встань с земли. Вот так. И прислонись
плечом к плечу другого человека.
Вот так. И повторяй: «Я не одна».

Лена

Я не одна... Я не одна... А он?
А он теперь навек один... Я тоже!

Андрей

Ты не одна: ты с нами. Ты — с людьми.
Ты с Партией. Ты с жизнью. Ты — с народом.

Народ

— Товарищи, никак Андрей Морозов?
— Похож...
— Да нет!
— Похож!
— Да он убит,
сама жена сказала...
— Нет, Морозов...
— Его повадка!

— Товарищи, закройте его с дорожки...
— Граждане, стенкой, стенкой встаньте вокруг него.
— Стенкой, граждане...

Народ окружает Андрея со всех сторон стеной. Никем не назначенные дозорные встали на краю площади.

Андрей

(Лене)

Ты слышала, как твой жених кричал:
«Мы победим!» Он прав: мы побеждаем.
И Армия и Родина жива,
и живы мы, народ, пока мы верим
в Россию, в Партию, в Центральный Комитет
и в человеческое благородство.
Встань, девушка, спокойней и прямее,
почтим пред гражданами твоего Сергея.

Лена

Подарок мне жених мой обещал.
Обняв меня рукою опаленной,

«Каким я мир верну тебе, — сказал, —
веселым, щедрым, добрым и влюбленным...
Возьмешь такой?» — Возьму и не отдам.
Подарка свадебного дорогого
не уступлю ни смерти, ни врагам.
Но за него, за щедрого такого, —
сначала месть. Пусть прежде будет месть.

Андрей

А мы — народ и Армия — мы здесь,
и здесь, в плену, под нашим красным стягом
даем любимой Родине присягу.

Он выхватил обрывок кумача,
затрепетавший в солнечных лучах,
взлетевший пламенно и горячо
истерзанного знамени клочок.

Андрей

Да будет нерушимым наш закон.
Да будет к смерти враг приговорен.
Да будут святы Партии заветы.
Да здравствует навеки власть Советов!

И площадь грянула, полна дневного света:
— Да здравствует навеки власть Советов!

...Андрей исчез в толпе, ушел за камни...

В суровом ликовании, в волненье
между собою люди говорят.

Народ

— Андрей Морозов!
— Жив!
— Он с нами, с нами!
— Уж если здесь, то, значит, неспроста.
— С Москвой, конечно, держит связь...
Он знает,
он знает всё!
— Всё правда, что сказал.
— А вдруг не он?
— Похож.
— Нет, не похож!

— Жена сказала — мертвый.
— Быть не может.
— А все-таки...
— Он, Анна?

Анна

Это он.

Ирина Власьевна

Но ты клялась, что — мертвый...

Анна

Я лгала.
Я утаить его от вас хотела.
Простите, граждане.

Ирина Власьевна

Сама себя прости.
Прости, попробуй...

С площади народ
расходится. Одна осталась Анна.
Она не набрала себе воды, —
сама забыла, и о ней забыли.
Всё выше солнце. Женщина стоит
с пустым кувшином над пустым колодцем.
Полдневный тяжкий зной ее палит,
и запах тленья от руин несется.
Ей воспаленных глаз не отвести
от дома, где предательство свершилось.
«Сказала мать: «Сама себя прости».
Так только совесть осудить решилась.
Нет, мать... Я не прощу... Моя вина.
Любовь — измена, а не оправданье,
всегда стеной становится она
между тобой и Родины страданьем.
Нет, мать Россия. Не прощай меня,
пока не искуплю сегодняшнего дня».

Раздавлена — и снова рождена,
она стоит среди руин. Одна.

ВТОРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ТРАГЕДИИ

Прошло полгода молчанья
с тех пор, как стали клубиться
в жажде преображенья,
в горячей творящей мгле
твоих развалин оскалы,
твоих защитников лица,
легенды твои, которым
подобных нет на земле.

Прошло полгода молчанья
с тех пор, как мне стала сниться
твоя свирепая круча — не отвести лица!
Как трудно к тебе прорваться,
как трудно к тебе пробиться,
к тебе, которой вручила
всю жизнь свою — до конца.

Но как сквозь терний колючий —
сквозь ложь, клевету, обиды,
к тебе — по любой дороге,
везде — у чужих и в дому,
в вагоне, где о тебе же
навзрыд поют инвалиды,
в труде, в обычной заботе
к сиянию твоему.

И только с чистейшим сердцем,
и только склонив колено,
тебе присягаю, как знамени,
целуя его края, —
Трагедия всех трагедий — душа моего
поколенья,
единственная,
прекрасная, большая душа моя.

Весна 1947

АКТ ТРЕТИЙ

И в дебрях города, в развалках одичавших —
они непроходимее болота,
дремучей леса, неприступней гор —
Андрей Морозов стал крепить подполье.

Их звали — «городские партизаны»,
в отличье от обычных партизан.

Немного дней — не более недели
прошло с полдневной клятвы у колодца,
а уж враги почувствовали сами,
что в городе хозяин завелся.
Потом до них дошли глухие слухи,
пока что принятые за легенду:
глава Совета — жив Андрей Морозов.
Он здесь, и люди слушают его.

Андрею Павел доложил об этом.
Андрей сказал:
— Отлично, брат. Пусть знают,
что на местах, как прежде, власть Советов,
что Партия народ не оставляет.
Сменить все явки. Но сегодня в ночь
прийти руководителям пятерок
на городище, к Хмаре, в винодельню,
за новыми заданьями. Я жду.

...Полураскопанное городище,
огромная багровая луна
над стройною базиликой, над башней
когда-то грозной городской стены,
над морем, нежно плещущим о берег,
Опять развалин царство. Но оно
почти волшебно и в сто раз живее,
чем город. В глубине освещено
нетронутое здание музея.
Там хлещут немцы крымское вино,
и чужеземный голос патефона
доносится до древней винодельни,
где притаились Хмара и Андрей.

Их окружают мощные сосуды,
хранившие неведомые вина
тысячелетия назад. В углу
стоит, мерцая, мраморная стела
в узорчатых глубоких письменах.

Хмара

...А у фашистов — снова пир горой.

Андрей

Пускай пируют. Нам спокойней будет.

Хмара

Вам даже их не больно слушать?

Андрей

Нет.

Хмара

Завидую... А я сегодня болен.
Мне трудно нынче: я — осиротел...

Андрей

Простите... кто же? Я совсем не помню
родни у вас...

Хмара

Да, у меня родных
давно не стало — тоже в дни войны,
гражданской. Всё, что я с тех пор имею, —
вот эти камни. Для меня они
всё заменили — и жену и сына;
их было двое — не было других.
Мне городище это поручила
в двадцатом молодая наша власть,
и председатель Реввоенсовета,
матрос с «Потемкина», —
я помню как сейчас, —
сказал: «Товарищ, сберегите это:
стремится к знанию рабочий класс».
Он говорил: «Могучие строенья!
Ну что ж, с разрухой кончим — их потом
изучим с пролетарской точки зренья,
а вам братишек в помощь подошлем».
Я не сберег их так, как надо... Впрочем,
вам не до этого...

Андрей

Иван Петрович,
скажите мне, в чем дело? Я пойму.

Хмара

Вы помните то место над обрывом,
еще не тронутую целину
из пепла, черепков и глинозема?
Уж много лет, как я уверен, — там,
в земле глубоко, расположен храм,
храм Диониса. Древние преданья
твердят, что нет прекрасней ничего,
чем стены и мозаики его
и бога мраморное изваянье.
Преданиям поверили не все,
но я поверил им. Один в Европе,
я утверждал, что мы отыщем тропы,
ведущие к утраченной красе.
К раскопкам мы готовились с отрадой,
но — грянула война...
И всё же я мечтал,
что сам когда-нибудь открою этот зал
и первым поведу туда сограждан.
Я их восторг предчувствовал!
...И вот
сегодня немцы залили бетоном
нетронутый участок целины,
чтоб ставить там зенитные орудья.
Они трудились с гоготом и свистом,
они кричали: «Слафно, герр профессор»,
а я смотрел и, сладко улыбаясь,
за преступленье варваров хвалил...

Андрей

Итак, там батарея? Что ж, отлично.
Узнать бы мощность...

Хмара

Я узнаю сам.
А Дионис — он вновь погиб, вторично...
Таинственный, прекрасный древний храм
теперь при нас погиб...

Андрей

Учитель! Не тоскуйте:
врага прогоним — и бетон взорвем
немедленно...

Хмара

О, нет, нельзя, о, что вы?!
Бетон взрывая, вы взорвете храм
и только прах получите и хлам...
Нет, нам придется не взрывать — вручную
долбить могильно-тяжкую кору
и осторожно, тихо, горсть за горстью
снимать напластования земли —
напластованья лжи, насилья, злобы...
Тогда в награду за долготерпенье
из недр навстречу будет вырастать
такое ж чудо, как вот этот мрамор,
вот эта стела с клятвой Херсонесу —
душа, исполненная высшей страстью —
людской любовью к Родине своей.

Андрей

Прочтите мне ее... Хочу точнее вспомнить.

Хмара кладет руку на мраморную плиту и, не глядя на нее, наизусть читает:

«Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем и Девою, и героями, кои владеют городом, — я не предам ни Херсонеса, ни Прекрасной гавани, ни прочих укреплений, ничего никому — ни эллину, ни варвару, но буду охранять для своего народа. Буду врагом злоумышляющему и предающему Херсонес или Прекрасную гавань, буду служить как можно лучше и справедливее для города и сограждан; и не открою ни эллину, ни варвару ничего тайного, что может повредить городу... Если же я с кем-либо вступил в заговор — да не приносит мне плода ни Земля, ни Море, женщины да не рождают мне прекрасных детей...»

Вот эта клятва древняя. Она
в земле лежала два тысячелетья,
чуть не погибла в час бомбардировки
и нашими бойцами спасена...
И я ее сегодня повторяю
как собственную, сложенную мной.
Вот так душа опоры ищет в прошлом.

Андрей

О нет, неверно: в будущем! Всё то,
что создает любовь, отвага, верность,
как звездный луч, идет от сердца к сердцу,

вперед на целые тысячелетья
и прошлым не становится вовек...
И мы сегодня с вами защищаем
всё лучшее, что только было в мире,
всё высшее, что он еще создаст.
Не правда ли, учитель, это счастье,
хотя и очень страшное подчас...
Но скоро полночь. Вам пора идти
к некрополю, встречать людей.

Хмара

Иду.

...Он не успел и трех шагов шагнуть,
как женщина загородила путь.

Анна

Ох, наконец... Ну, наконец нашла.
Где мой Андрей? Вы знаете. Скажите!

Хмара

Пароль.

— Пароль? Какой? Не понимаю.
— Зачем же вы пришли сюда? Пароль.
— Да что вы? Я — его жена.
— Я знаю.
Пароль.
— Да ну, не мучьте же меня.
Я знаю, знаю, вы меня за площадь,
конечно, презираете...
— Напрасно,
ах, как напрасно вы сюда пришли.
— Напрасно? Нет! Сведите же к нему...

Но, голос услыхав ее, узнав,
Морозов вышел, говорит тревожно:
— Что здесь случилось?
— К вам пришла жена,
Пароль ей неизвестен. Осторожно.

Хмара уходит.

— Андрей!
— Ты, Анна? Ты — зачем пришла?

— Да, я пришла... Я не могу иначе.
Но ты не бойся. Я — не как жена.
Забудь об этом. Я пришла не плакать
и не просить, чтоб ты себя берег.
Я мучусь, вспоминая площадь. Я
пришла работать с вами, — я сумею...

Андрей

Постой, постой. Кто явку дал тебе?
Кто сообщил тебе?..

Анна

Какая явка?
Да ведь со мной почти не говорят,
и я боюсь заговорить... Я просто
все эти дни тебя везде искала,
все камни, все подвалы обошла,
конечно, осторожно... И внезапно
я вспомнила, что ты его в тот вечер,
Иван Петровича, прислал за мной,
и я сюда, к нему пошла...

Андрей

Постой!
Каким путем ты шла сюда?

Анна

Обычным,
прямою городской дорогой.

Андрей

Анна,
ты опрометчива и безрассудна,
а говоришь, что шла «не как жена».
Ведь я б тебя позвал... но не сегодня —
когда бы ты понадобилась нам.
А вот сейчас — убить готов...

Анна

Я знаю,
ты разлюбил меня. Ты прав.

Андрей

Нет. Никогда
я не любил так горько и так нежно,

как в эти дни, когда война стремится
стереть с лица земли, как древний храм,
любовь, и право на нее, и счастье...
Но ты забыла обо всем на свете!

Анна

Андрей... но я...

Андрей

Молчи. Сюда идут.
Патруль фашистский. Быстро...
Встань за мною.

Метнулись в винодельню. Им отрезан
отсюда путь... За амфоры, во мрак
забилися. Но слышен каждый шаг,
и разговор, и звяканье железа.

Голос предателя Жиго

Господа, она где-то здесь. Я заметил, как она выходила из города, — и сразу за ней. Не успел никому доложить. Возле городища она побежала, я отстал и сразу к вам... Он тоже наверняка здесь.

Ломаная речь фашистов

— Ты водишь нас за нос, старик, как будто. Смотри.
— Нам говорили, живой Морозов есть красная провокация, нарочно.
— Солдаты Гитлера мертвеца не будет бояться.
— Старик, ты есть тоже красный, ты путаешь нам...

Голоса удаляются, стихают на время.

Андрей

Сейчас сюда придет моя пятерка...
Сейчас они обыщут каждый камень...
Бежать к некрополю? Предупредить?
И это поздно: без минуты полночь.
Они уже идут сюда... идут...

Анна

Андрей, пусти меня. Я выйду к немцам.
Я уведу их.

Андрей

Нет. Я не пущу.
Я не могу...

Анна

Молчи! Молчи — ни слова!
Всё, — но не малодушие твое.
Ты должен жить... Я знаю, что сказать.
Я уведу. Пусти же... Это я,
я привела сюда их за собою,
опять за ней, за женской, за слепою,
себялюбивою своей душой...
Да ну, пусти же, не держи.

Андрей

Мне страшно.
Они тебя пытать начнут. Замучат.

Анна

Мне легче будет, чем сейчас с тобой.
Они не вырвут у меня ни слова,
ни стона даже. Я ожесточилась.
А мать увидишь — поклонись ей в землю,
скажи, что не простила я себя.
Прощай.

Порывисто ее объятье,
и, тихо выскользнув из тайника,
укрыта темной шалью, в темном платье,
она в тени становится пока.
По гулким, по тысячелетним плитам
опять шаги и разговор сердитый.

Фашисты

— Ты водишь нас за нос, старик, как будто... Туда и сюда...
— Ты хочешь виселица, старый провокатор?
— Ему померещился этот баба.

Предатель

Я уверяю вас, господа, она где-то здесь... Я уверяю.

Анна выходит из-за стены.

Вот она... Хватайте ее!

Анна делает движенье, будто бы хочет убежать. Окрик «Хальт!» — она поворачивается лицом к немцам и вдруг сама идет на них.

Она огромной кажется. За нею
волочится большая тень, чернея;
ее лицо спокойное страшней,
чем гипсовая маска при луне.
Она идет на немцев — как растет.
Так рок идет,
так смерча столб идет.

Предатель

— Сумасшедшая... Как испугала меня. Где Морозов? Жив? Нет? Где? Здесь?..

Анна

Час тому назад он был в городе. Ведь мы шли с тобой оттуда ровно час, — верно?

Предатель

Ты шла к нему...

Анна

А может, от него?
Да не одна, еще с тобою вместе.
Глупец! Ты думал — я и не видала,
что ты бредешь за мной? Ну? Кто хитрей?
Ищите здесь, собаки... Здесь — спокойней.
А в городе — там будет пострашней
сегодня ночью. Ну? Ищи скорей.

Предатель

Господа... Она провела нас... В город, в гестапо! Они готовят что-то крупное... Иначе они не выдали б ее... В город! Он — там...

Фашисты

— Ты водишь нас за нос, глупый старик. Тебе будет плохо. Фу, как ты дрожишь!

— Нам же сказали, Морозов — одна красная провокация.

Предатель

В штаб, и на машине с нею — в город! У нее слишком важные сведения. Вас наградят, господа!.. В город!

Фашисты уводят Анну. С ними бежит предатель.

Они не знали, что на них глядели
подпольщики из мрака винодельни.
По улочкам, похожим на траншеи,
они пришли сюда.
Мать обняла Андрея.

Ирина Власьевна

Андрей Васильевич... Приди в себя.
Очнись, родной.

Андрей

— А-а... Хорошо. Ты, мать?
Она тебе велела поклониться.
Нет, я не то сказал...

Ирина Власьевна

Ты помолчи...
Ты погоди, сынок... Пускай душа
оправится немного.

Семен

Пусть будет правдой всё, что говорила
предателю сейчас твоя жена.
Она им в эту ночь беду сулила.
Так пусть же будет эта ночь страшна.

Андрей

Пусть будет так.

Лена

Я вынесла шрифты.
Готова типография. Сегодня
всю ночь я буду набирать листовку,
которую вчера составил ты.

Ирина Власьевна

Я матерью призналась к двум бойцам,
к двум пленным раненым.
Хожу к ним в лагерь. Скоро
ночной побег организуем там,
а беглецов в развалках скроет город.

В большом подвале, возле наших улиц,
мы госпиталь подземный развернули.
Нам хватит и посуды и белья:
его недаром сберегала я.

Андрей

Так. Всё пока в порядке. Но побегом
я буду сам руководить. На днях
на новой явке сходка. Мой приказ —
покуда не встречайтесь. Под ударом
мы с этой ночи. И никто из нас
не смеет погибать напрасно, даром.

Павел

А тот... предатель? Что нам сделать с ним?

Ирина Власьевна

Мы сами — женщины — его казним.

Все разошлись. Морозов и хранитель одни.

— Пора, Морозов, уходите.

Андрей

Да, да, сейчас... Она уже в гестапо...
Ее возьмут немедля на допрос...
Ее... Она... А как из рук рванулась,
чтоб выйти к палачам...

Хмара

Вот здесь вода,
глотните... Я вас утешать не в силах.
Но чем могу помочь вам?

Андрей

Дико вспомнить,
что я тогда ответил: «Вы пойдете
на Херсонес. Вы дома моего
не обойдете. Постучитесь к Анне,
скажите ей: я жив и жду ее».
Чем был тот миг? Припадком малодушья?
Безумием? Я знал же — дом разбит,
зачем же вас просил ее окликнуть
так, наугад...

Хмара

Вы окликали жизнь,
из бездны звали...

Андрей

Вы великодушны.
Но нам не оправданье даже смерть.
Пойдемте же! В музее стихло пенье,
враги уже идут сюда, быть может.
Вам надо скрыться.

Хмара

Думаю, что нет.
Они к моим чудачествам привыкли
и знают, что я здесь живу и сплю.
Сейчас я сяду и зажгу светильник,
тысячелетия назад погасший
и снова замерцавший в наши дни,
в годину мирового затемненья.
Меня за книгою найдут они,
спокойного, в спокойном размышленье.
Врагов обманет это безучастье,
вся эта сумрачно-седая сказка,
как до сих пор мое подобострастье
обманывало — ненависти маска...
А смерть — ну что же... Но пока дышу,
я буду здесь, во всем пригодный вам,
оберегая этот мрамор с клятвой
и твердо помня, где закопан храм.

Андрей

Но если всё же храма нет?!

Хмара

Он есть.
Он должен быть. Мой пост военный — здесь.
На нем ни вы, ни девушка, ни мать,
но только я — один — могу стоять.
Я выстою. Я этими руками
сорву с мечты искусства плоский камень.
А если всё же враг раздавит зданье —
за горстью горсть отсеяв гниль веков,

из пепла, из костей и черепков
я вновь его построю — по преданьям!
Нет, никому вовеки ничего:
ни эллинам — их род жадней всего, —
ни варвару с его презренной плетью, —
но сохраню для мира моего,
для самой чистой радости его, —
вперед на целые тысячелетья.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

...В те дни
в том городе — разбитом, но прекрасном,
почти безлюдном, тихом, но не мертвом,
плененном, но не сдавшемся врагам, —
вся жизнь людская перешла на площадь,
туда, где люди вместе быть могли.

И шли на площади с единым горем,
с единою судьбой, с единой верой,
и у колодца их сводила жажда,
а на базарной площади — нужда.

И всё, что раньше за порогом дома,
в своей семье таилось, — всё пришло
на площади, и стало всем известно,
и не стыдился этого никто.
И не боялись люди в эти годы
пред всеми — каждый — сердце обнажать,
и хлеб последний взять или отдать,
и разучились пред собою лгать,
и не страшилися своей свободы.

Я знаю это всё по Ленинграду.
Стоял сентябрь сорок второго года
. . . .
а утро было свежим и лучистым,
и море тихим, как большое счастье,
и девушка с букетом красных маков,
прикрыв цветы платком и озираясь,
среди развалин по тропинке шла.
И вдруг навстречу ей идет другая,
чуть-чуть моложе, с полевой гвоздикой,
но та цветов своих не прикрывает,
а старшая тревожно говорит:

Первая девушка

И ты несешь цветы на ту могилу?
Будь осторожней! Вдруг увидит немец...

Вторая девушка

Нет... я — не на могилу... Я — себе.

Первая девушка

Себе? Зачем?

Вторая девушка

Смотреть на них... Как странно,
как грустно ты спросила. Я пришла
сегодня в этот город... я не знала...
Но разве здесь уже не собирают
цветов не для могил, а для себя?
Или так мало их?

Первая девушка

Все розы в нашем городе сгорели,
все цветники камнями завалило,
лишь кое-где еще растет шиповник
да маки дикие среди развалин
вдруг расцветают... Да, у нас цветы
почти исчезли... Но его могила
цветет, не увядая, много дней.
И знаешь? В полдень раскидают немцы
цветы, положенные на рассвете,
растопчут их, сровняют всё с землей,
зальют густою серою известкой,
а за ночь снова из живого дерна
на том же месте вырастает холмик,
и вновь усыпан красными цветами,
и немцам их никак не победить.

Вторая девушка

Я понимаю: там лежит герой,
свершивший подвиг.

Первая девушка

Он героем не был,
сражался он, как и любой солдат.
Но он — жених одной подруги нашей.

Он обещал ей мир вернуть назад
светлей и лучше, чем сейчас, и краше.
Скажи, кто мог бы так пообещать?
Лишь тот, кто мог бы это сделать... Просто
он не успел... Другие женихи
теперь — для всех невест — за это бьются,
за то, что он пообещал одной.

Вторая девушка

Счастливая, как он ее любил!
Она — красива?

Первая девушка

Нет. Она — прекрасна.
Да вот она идет...

Лена обгоняет их. Она идет с корзиной в руке, как обычно идет женщина на базар.

Вторая девушка

У, строгая какая!
Как будто б на лице ее улыбка
не появлялась никогда... Пойдем же,
я тоже отнесу свои цветы...

Они уходят, Лена смотрит вслед.
Над ней такой же, как тогда, рассвет.

Лена

Ему! Опять ему — цветы и слезы
несут совсем чужие... Я одна
с цветами не хожу туда, не плачу,
хотя я знаю, где насыпан холм,
который расцветает каждой ночью.
Нет для меня могилы!.. Даже той,
в цветах непобедимых. Есть живой,
но только очень далеко ушедший
в какой-то новый, долгий-долгий бой.
Там будет умирать он сотни раз
и сотни раз воскреснет к новой муке.
И вот — пока война идет — для нас
не может быть ни смерти, ни разлуки.
Я не хожу к нему носить цветы.
Я каждой ночью в тесном подземелье

при свете каганца полуслепого
из темных маленьких кусков свинца
спеша за словом набираю слово...
Иди же, слово, от сердец к сердцам.

Она под камушки на деревянных стойках
подкладывает бережно листовки —
бумажку сложенную, меньше коробка.
Но их заметят, пустят по рукам,
их ждут, их ищут:
                                        в тех листках известья
о Родине и о ее борьбе,
о городах, собратьях по судьбе,
призывы к непокорности и мести,
и в легком шелесте листка слышна
священная народная война.

...А на базар стекается народ.
О, сборище исчахших, гордых нищих!
Здесь не торгуют, здесь обмен идет,
вернее — делятся убогой пищей.
Здесь мерой хлеб, сосчитанный на граммы.
У Лены — рыба. Надо обменять
хоть на зерно. С ней рядом встала мать.
— Листки с тобой?
                                        — Еще три штуки, мама. —
Не глядя друг на друга, говорят:
— Освободись от них... Наверное, следят..., —
свой шепот сами же перебивая:
— Вот рыбы, рыбы...
                                        — Ты откуда знаешь?

Ирина Власьевна

Я шла, видала — только что наклеен
приказ немецкий: новая цена
назначена за голову Андрея.
В пять раз теперь повышена она... —
А кто возьмет креветок? — Что-то скоро
пронюхали, что он вернулся в город.

Лена

Товарищи, кто рыбки грамм за грамм... —
А что в лесу?

Ирина Власьевна

Там был большой прочес,
но фронт узнал... — Креветок не хотите ль? —
все сведенья, какие он принес,
важнейшие, — их добывал хранитель.
Да вот, не поспешил ли он сюда.

Лена

Здесь Анна...

Ирина Власьевна

От нее ни слуха, ни следа...

Лена

Она меня Аленушкой звала,
как мой Сергей... Жива ль она?

Ирина Власьевна

Едва ли,
провалов не было...

Лена

А вдруг они узнали,
что тот слепой, который нам поет
о Родине... — Вам что, гражданка, рыбы?
А вы нам хлебушком не помогли бы?

Но женщина, что подошла с корзиной,
склоняясь к Лене, тихо говорит:
— На раненых...

...В том городе, в те дни
все знали этот зов. И был он свят. Ни разу
никто не замарал его обманом,
никто-никто! — не оскорбил отказом.
На раненых — на тех, кто в лагерях,
едва живой от ран и истощенья,
тоскует о далеких матерях
и мается горючей жаждой мщенья.

На сборщицу пытливо смотрит мать.
— Где шефствуешь?

— У доков.

— Что ж, добро,

Возьми еды... Попробуй передать
листок со сводкой Совинформбюро...

...Базар людней...
Но как он не похож
на прежний — шумный, пышный,
говорливый,
с пьянящим запахом плодов и рыбы,
с веселой бранью молодых рыбачек
и рокотом ликующего моря.
Негромко говорят, тихонько бродят,
и ежатся, случайный смех услышав,
и вздрагивают, если стон пронесся...

...Но этот стон не тронул никого.

Стонал Жиго, предатель. Он бродил
от стойки к стойке, клянча подаянья.
Хозяева его — он им не угодил —
оставили его без пропитанья.
Он, точно пес, лакал из лужи грязной.
Он становился на глазах скелетом.
Исчахший, одинокий, безобразный,
он умирал. И знали все об этом.

Лена

Смотри, опять плетется...

Ирина Власьевна

Пусть плетется.
Ему уже недолго... день, другой —
помрет своей собачьей смертью, той,
к которой присудили у колодца.

Предатель подходит к женщине, собирающей на раненых.

Жиго

Гражданочка, помогите голодному.

Женщина

Проходи, у меня нет ничего.

Жиго

У вас есть хлеб, хлеб, я запах слышу. Мне кусочек.., один... маленький...

Женщина

Как раз такого кусочка у меня и нет!

Жиго

Я заплачу! У меня даже золото есть.

Женщина

Ну и грызи свое золото, — нам его не надо. Ну, отойди, поговорили.

Недобрый тихий смех. Шатаясь, Жиго плетется за развалины.

Ирина Власьевна

А ведь помрет, пожалуй, до зари.
Нам надо... Лена! Что с тобой?

Лена

Смотри!

Смотри... из-за угла, едва шагая...
В платке идет... у самых стен таясь, —
она!

Ирина Власьевна

Ты бредишь... Эта вот, седая —
она? Она?

Подходит Анна:

— Я.

Ирина Власьевна

Родная... Аннушка! Жива, жива!
Ну, обопрись же на меня покрепче,
вздохни поглубже...

Лена

И заговори!
Скажи, что ты жива на самом деле.

Анна

Но я не виновата, что жива.
Ты понимаешь — я не виновата!
Я с полночи по городу блуждаю,
до самых глаз закутавшись платком,
не радуясь ни небу, ни свободе,

и к милым людям подойти боюсь,
и не могу убить себя, а надо б:
я понимаю — эти палачи
затем меня приговорили к жизни,
чтоб люди мне не верили...

Ирина Власьевна

Мы верим.
Ты — наша кровь. Ты не могла предать.

Анна

Нет, не могла. Пытали — не могла.
Вот... видите... какие руки стали?
Они мне жгли, давили их, ломали.
Нет, мне не строить ими, не ваять...
Мне горсть земли и ту в ладонь не взять, —
вот, видите? Свело — и больно, больно...
Пускай... Ведь я не предала.

Лена

Довольно,
мы видим всё. Не трогай землю. Сядь.
Глотни воды. Вот здесь — вода.

Анна

Сейчас.
Вот, кажется, я первый раз вздохнула
и поняла, что близких вижу — вас.
Дошла до вас... дошла... Окончен путь.
Я так сейчас хотела бы уснуть.

Ирина Власьевна

Голубушка. Пойдем ко мне скорее...
Я уложу тебя... Держись... Согрею.

Анна

Не надо греть. Я лягу здесь, на землю,
я буду спать... Ведь здесь вокруг — свои.
Я много говорю? Но это надо мне.
Я там лгала, лгала или молчала,
и только в думах да в коротком сне
самой собою, прежнею, бывала.
Такой, как в ранней юности... как
в детстве...

И знаете, что мне всего сильней,
всего отраднее звучало? Песни
над колыбелью детскою моей.
Всё слышалось, что мама мне поет...
Каким я чудом вспомнила ее?
Хотите, я спою?

Лена

Нет! Нет, потом!
Потом споешь... когда с войны придем.

Анна

Потом? Ну, хорошо. Но там всё время
я эту колыбельную твердила
и даже на одном допросе страшном
ее запела вдруг фашистам, палачам,
зачем — сама еще не понимаю...
Я жизни не ждала.

Ирина Власьевна

Усни, родная.
Прижмись ко мне. Вот так... И спи теперь.

Анна

А ты меня простила, мать?

Ирина Власьевна

Простила.
Не надо говорить об этом. Спи.

И Анну сразу наземь валит сон.
Недвижно мать, прижав ее, сидит...
Народ в дозор встает со всех сторон,
народ притих, — всё понимает он.
Он размышляет или говорит:

Народ

— Измучена...
— Проклятые! Для них
ни сердца женского, ни скорби материнской,
ни плача детского, ни девичьей любви...
— Вот оттого-то все они погибнут,
весь их безжалостный
фашистский сброд:

бездушье — мстительно, бесплоден — гнет,
вот оттого-то все они погибнут.

— Всей жизнью мы отчизне нашей служим.
Всё отдаем — и ничего не жаль.
Воюет всё: сама любовь и дружба.
В оруженосцах — женская печаль.

Хмара

(подходя к матери)

Ирина Власьевна, привет. А это кто?

Ирина Власьевна

А это наша Анна. Из тюрьмы
она сегодня вышла — и уснула
сейчас, как камень, на моих руках.

Хмара

Ее немедля надо увести.
Ее ведь выпустили на Андрея!
Не помогает подкуп ничему,
надеются — любовь сведет к нему
иль опознает вдруг, собою не владея...
Пусть кто-нибудь — не вы! — уходит с нею...

Шепот на площади

Слепой пришел, слепой...

Ирина Власьевна

Теперь нельзя идти.
Но даже если кто-нибудь следит,
не бойтесь — спит. Глубоко, крепко спит.

...В том городе в те дни
неузнаваемо менялись люди,
как будто много жизней пережив.
Вторую жизнь он начал под обрывом,
а третью — отпустив жену в гестапо,
и стал по-новому неузнаваем,
и пользовался этим сколько мог...
Почти горбатый и совсем седой,
старик с нечесаною бородой,
с открытыми, но «мертвыми» глазами,

он сел на камень, поводя руками
вокруг себя.
«Как тихо нынче... странно».
— Ну, женщины, кто хочет погадать?

И обмерла, разжав объятья, мать:
мгновенно пробудившись, встала Анна.

— Я... Я хочу погадать...

Спокойно подошла к Андрею. Тихо,
как на площадке, в тот большой закат,
протягивает руку: — Погадайте... —
Ни радости в ее лице, ни страха,
ни искры в мертвенных его зрачках.
Пред ним — любовь, вернувшаяся с плахи,
из рук насильника и палача,
ее рука, в ожогах и рубцах,
спокойная, лежит в его руках.
Пред ним любовь, узнавшая его.
Ни счастья, ни смятенья — ничего.
Она стоит в величии бесстрашья,
великой мукою закалена,
а он — он видит вдруг ее вчерашней,
смятенной, нежною, когда она
от смерти защитить его пыталась
всей слабостию женской, всей тщетой,
и нет ему сейчас дороже той —
неправильно любившей и простой,
той, от которой тени не осталось.

И яростно Андрею сердце сжала
неукротимая мужская жалость,
та — страшная, кидающая в бой
и жаждущая заслонить собой.
«Зачем ты здесь, на крестной высоте,
любовь моя?! О, как твои ладони
мне руки жгут... Как изглодал огонь их...
Как не сберег я радостные — те?
Взять на руки тебя и унести,
одно твердить — прости, прости, прости...»
Нельзя... Гадай, не медли!
На виду
у всех немое торжество свиданья.

Гадай! И так все обмерли и ждут
губительно-правдивого рыданья.
Вот грянет, и откроет, и предаст.
И Анна спрашивает, всё поняв:
— Ну... что ж там на руке-то у меня?
Плохое что-нибудь?
— Сейчас... сейчас...
Какая нетерпеливая!

Анна

Да ведь всем хочется поскорее судьбу узнать... Вы уж говорите правду, не бойтесь...

Андрей

А чего ж мне бояться, гражданочка милая... Линии на руке у вас благоприятные... Всё сразу можно понять. Признаться — люблю такие руки... я люблю их...

Анна

Правду говорите?

Андрей

Только правду, гражданочка. Ближайшее будущее у вас счастливое: ваше имущество в скором времени отыщется. От сердечного друга получите приятное известие. Если вы в нем сомневались — можете успокоиться.

Анна

Нет, я не сомневалась в нем. Спасибо, гражданин.., Только простите, поблагодарить мне вас нечем...

Андрей

Ну ладно, милая. Мне граждане помогут,
а я им песенку одну спою...

Ни радости в лице его, ни страха.
Его глазам сверкнуть запрещено,
и только сердце так и рвет рубаху,
своим же мужеством опьянено.
Откашлялся, тихонько взял гармонь.
Еще горит в руках ее ладонь,
ладонь победы, бедная, ее...

Шепот на площади

— Товарищи, слепой, слепой поет...
— Следите за тропинками сюда.
— Ну, пойте, дедушка... Давайте шапку!
Мы вам пока хоть корок наберем.

Как на ладах горит ее ладонь,
ладонь победы...
Сдерживай огонь,
ты ничего не видел, ты — слепой.
Тихонько, хрипло, осторожно пой.
Напев знаком, и люди будут вторить.
Напев любим —
«Раскинулось море широко...».

Андрей

(поет)

Есть город старинный на Волге,
ты имя его сбереги.
Упорно, жестоко и долго
тот город штурмуют враги...
Как туча тяжелая, вьется
над ним пикировщиков рой,
но гордо стоит, не сдается
истерзанный русский герой.
И время, товарищи, будет —
врага он отбросит назад...
Так пусть же советские люди
как клятву твердят — «Сталинград».

Шепот на площади

— Сталинград! Товарищи, Сталинград
держится!
— Товарищи, он не сдается... Врут немцы!

Предатель вновь появляется на площади, из-за развалин. Анна прижалась к Хмаре.

Анна

Предатель... Видите? Опять он тут...
Он здесь... Он всё поймет... Они придут...

Хмара

Не бойтесь, Анна. Он не страшен нам.
Не стоит он малейшего испуга.

Предательство опасно только там,
где нет доверия людей друг к другу.
И даже больше: горький опыт века
еще одно понятным сделал мне:
где человек не верит человеку —
там нет народа и отчизны нет.
А мы — мы верим. Видите — Андрея
опять стеной загородил народ,
как власть и честь свою. Возмездье зреет.
Где есть народ — предатель не пройдет.

Жиго

Добрые граждане, хорошие граждане, подайте голодному.

Его никто не слушает. Базар
живет обычной жизнью. Незаметно
скрывается слепой. Меняют люди
зерно на рыбу, говорят, снуют,
не отвечая старику, с досадой
отпихивая на ходу его.
А он уже ползет, он еле стонет,
он дышит, точно рыба на песке,
перестает дышать...
                                        И вот тогда
к нему поспешно обернулись люди,
все как один...

Лена

Мать! А предатель умер.

Ирина Власьевна

Оттащите его за камни. И приколите ему на грудь записку: «Казнен голодом и жаждой за предательство. Так поступим с любым, кто нас обманет и предаст».

И как ответ на приговор народа,
гул самолетов в чаше небосвода,
и бомбы свист,
                        и взрыв, и свист, и взрывы,
один,
        другой,
                тяжелые,
                        подряд,

и крик народа, яростно-счастливый:
— Свои пришли!
Бомбят!
Бомбят!
Бомбят! —
И взмыл с земли, дрожащей от обвала,
стоустый гул «Интернационала».

АКТ ПЯТЫЙ

...И сквозь пространства, города, сердца
неслась война.
И жизнь была как лава:
всё — рядом с гибелью. Всё — пламя без конца.
Всё — просто быт. Всё — за пределом славы.
Неслись минуты, ночи, дни, года...
Их сколько было — мук и счастья полных
ночей и дней? Ты всё запомнил?
— Да.
— А тот крылатый, тот победный полдень?
— О чем ты спрашиваешь? Погоди...
Тот полдень! Нет! Он у меня в груди
не как легенда, не воспоминанье —
мое сердцебиенье и дыханье.
Тот самый полдень!
Он с Большой земли
ворвался в город, весь в угаре боя,
и в липкой багровеющей пыли
его бойцы к колодцу подошли
и протянули шлемы за водою.

И молча пили, пили, пили, пили...

Сержант

Спасибо, мать!

Ирина Власьевна

Ты пей, родной. Ты пей.
Все пейте вволю... подставляйте шлемы.

Солдаты

Да мы ведь пьем, мамаша...
Сладко пьем!
Того гляди — до дна колодец выпьем,

Ирина Власьевна

До дна и пейте... Милые! Да мы —
мы, может, и колодец-то хранили,
чтоб вас сегодня вволю напоить.
Мы ждали вас...

Сержант

Уж вы не обижайтесь,
Мы всей душой спешили город взять,
хоть сами и нездешние.

Ирина Власьевна

Мы знаем...
А что, сержант, скажите — где-нибудь
Сазоновых, Ивана и Василья,
вы не встречали? Я ведь не нашла
их мертвых тел тогда на Херсонесе,
так, может быть...

Сержант

Сазоновых! Встречал!
Иван Сергеич и Василь Сергеич
Сазоновы... Сергеичи — я помню.
Ну как же, мать! Герои! В орденах!
Да что же ты заплакала, мамаша?

Ирина Власьевна

Петровичи... Петровичи мои.

Сержант

Попей водицы, мать... И ты из боя,
еще из тяжелейшего, чем мы.
Ты понимаешь — фронт велик... Героев
Сазоновых — да их, мамаша, — тьмы.
Отыщешь сыновей.

Ирина Власьевна

Сынок, спасибо.
Вот одного уж будто и нашла.
Дай провожу тебя...

Сержант

Пойдемте, мама.

...Всё новые и новые солдаты
идут по площади. И женщины их поят,
и гладят плечи их, и отирают пот
с их медных лиц, и в черные ладони
суют подарки: чистые платки,
кисеты, коржики и ветки дуба
с морщинистой младенческой листвой.

Анна

Идут, идут! О, как давно мы ждем их.
С той самой ночи, как на ту скалу
с водою прибежали — помнишь, Лена? —
и некого нам было напоить.

Лена

Не надо вспоминать
о той далекой ночи. Знаешь, Анна,
мне первый раз легко за много лет...
И где? На этой площади... той самой...
Но я — я счастлива.

Анна

А слезы так и льются.
Дай вытру их.

Лена

Не надо. Этих слез
я не стыжусь и не боюсь. Ты знаешь,
сегодня в первый раз его могила
не расцвела. Сегодня все цветы
живым солдатам отданы. И мне
всё кажется, что мой Сергей с живыми
здесь где-то, мной не узнанный, идет,
и воду пьет из рук моих, и дерзко
на грозном танке, в ветках дуба, мчится
вперед, вперед... Всё дальше от меня,
всё ближе к общей славе и бессмертью.
Ты понимаешь?

Анна

Да! А я... а мне —
так хочется работать! Эти руки
почти забыли о своем труде,
забыли, что хозяйка их — ваятель.

Лепить, ваять!.. Теперь я знаю — как!
Я облик наш годам передала бы...
Вот, правда, пальцы после пыток слабы,
в особенности — правая рука,
но я заставлю их... а боль — не в счет.
И может быть, она еще пройдет...

Лена

Пройдет, родная, всё пройдет... Смотри,
опять идут бойцы. Как все устали...
А вон и твой Андрей.

Анна

Андрей! Ну вот,
как щеки вспыхнули. Как будто б я
по возрасту ровесница твоя.
Нет, ты пойми, какое счастье — знать,
что захочу — и подойду к Андрею,
и за руки при всех возьму, и громко
по имени, как прежде, назову.
Скажу: «Андрей!» Скажу:
«Мой муж Морозов».
И гибель нам за это не грозит...
Аленушка, Аленушка, прости,
что не скрываю счастья пред тобою,
вдовой солдата.

Лена

Не проси прощенья,
не обижай Победу и меня.

Андрей Морозов, Иван Петрович Хмара, Ирина Власьевна, солдаты подходят к колодцу. Все пьют воду.

Андрей

Жена! А мне ты дашь напиться?

Анна

Пей!
Какой ты молодой сегодня.

Андрей

Правда!
Я с Херсонеса. Сброшены враги
с того же самого обрыва — в море,
с тех самых круч...

Ирина Власьевна

И там сегодня тихо?

Андрей

Да. Очень тихо. Только наше знамя
над кручею клекочет и свистит
под ветром... Да еще прибой шумит.
Он, как тогда, — с багровыми гребнями,
и, как тогда, — на горизонте дым...
Еще воды. Там не было воды...

Хмара

Круг завершен. Нет, из-под этой кручи
насильникам и варварам не встать!
Друзья, я рад: я встретил день свой лучший.
Я главный труд теперь могу начать.

Андрей

А хороша водица после боя.
Спасибо, Анна.

Анна

Милый мой, за что?
Я первый раз пою тебя... Послушай,
мы вечером... мы вместе будем, да?

Андрей

Ну да, конечно. Слушай... ты смеешься?
Я не слыхал твой смех года, года.
Ты — Анна? Это — ты? И — навсегда?

Анна

Я, навсегда! Смотри же, буду ждать я.
Сготовлю ужин, посидим вдвоем,
и я надену розовое платье,
то самое, любимое твое...
Не плачь. Потом, потом — вдвоем... так лучше.
Сейчас не надо... Выслушай, что мы
решили сделать с площадью...

Андрей

Ну, что же?

Анна

Мы, женщины, хотим ее отстроить,
украсить так, чтоб мир не позабыл,
что здесь бывало в дни большой борьбы,
какие проходили здесь герои...
А у колодца я поставлю Мать,
поящую бойца, без пьедестала,
так, как она сегодня здесь стояла.
Такой перед веками ей стоять...

Хмара

(Андрею)

Я тоже с просьбой. Подошлите мне
в мой Херсонес отряд красноармейцев,
покуда не ушли войска.

Андрей

Зачем?

Хмара

Мне странен ваш вопрос. Зачем? Затем,
чтоб с храма Диониса снять орудья,
чтоб начал я откапывать его.
Бетон тяжел. Он давит ежечасно,
и в глубину земли уходит храм
и крошится...

Андрей

Бетон тяжел... Да, он тяжел, мы знаем.
Но все-таки, учитель дорогой,
бойцы придут — и встанут у зениток,
захваченных вчера. Еще война.
Нельзя спешить со снятием орудий...
Вы поняли?

Хмара

Увы, мой друг, я понял,
но я... я стар и, может быть, спешу.

Андрей

Да нет, мы все спешим к победе, к миру...
Мы так спешим! Товарищи, друзья!
Давайте в честь сегодняшнего дня

сейчас, спеша, вот этими руками,
с которых дым не смыт пороховой,
начнемте убирать хотя бы камни
с засыпанной, заросшей мостовой.

Народ

— Начнемте, граждане... Ну, женщины,
начните...
— Истосковались руки... Город ждет...
— Товарищи... чуть-чуть посторонитесь:
командующий армией идет...

Входит командарм с офицерами.

Командарм

Вода? Отлично. Дайте-ка напиться!
Благодарю... Сказали мне — он тут.
Кто здесь Андрей Морозов?

Андрей

Я Морозов.

Командарм

Ты? Вот какой. Смотри-ка... не похожий,
не тот, каким воображал по сводкам
и по шифровкам штаба из Москвы.
У нас ведь сказки о тебе ходили —
мол, партизан особый, городской.
Мы трижды за твое здоровье пили
и трижды три — прости — за упокой.

Андрей

Здесь было трудно... Только я ни разу
не умирал... Но наша связь с Москвой
порой рвалась.

Командарм

И всё же — всё известно.
Позволь по поручению Москвы
и Сталина —сказать тебе спасибо
и поручить немедля новый труд.
Ты отдыхать не хочешь?

А н д р е й

Нет. Сегодня ж
примусь за город. Граждане мои
уже сейчас работу начинают,
отсюда прямо...

К о м а н д а р м

Да. Но — без тебя.

А н д р е й

Как — без меня? Ну нет, я буду спорить.
Я заслужил, надеюсь, эту честь —
Совет возглавив, оставаться здесь,
где воевал..

К о м а н д а р м

Но спорить не придется.
Не предложенье у меня — приказ,
и он достоин, как солдата, вас.

А н д р е й

Мне... вместе с вашей армией?

К о м а н д а р м

Не вместе.
Не с армией — но впереди нее.
Ты с Запада, навстречу наступленью,
пойдешь теперь — вот так, как вышел к нам,
с воюющим гражданским населеньем,
со сведеньями, как идти войскам.
Задача вам вполне понятна?

А н д р е й

Да.

К о м а н д а р м

Ну что же, приступайте к исполненью.

А н д р е й

Когда?

Командарм

Сейчас. Мы, дорогой, спешим.
Сегодня вылетишь в Москву. Оттуда
получишь направление... Жена?
А я не знал, что ты женат.. Проститесь,
и приходи, я буду ждать тебя.

Командующий армией уходит.

И всё, что есть на площади, — всё вновь
стихает: небосвод, солдаты, горожане.
И в мире только двое, их любовь,
их, может быть, последнее мужанье.
Нет, им не стыдно этих многих глаз.
Полны последней правдой и свободой,
открытые, стоят они сейчас
друг перед другом и перед народом.

Андрей

Родная, до свидания. В разлуке
не бойся за меня — кругом свои, народ.
Дай поцелую дорогие руки
навек... на тысячи веков вперед.

Анна

Прощай, родной. Я знаю, что *оттуда*
нельзя писать. И знака не подать.
Я просто буду думать: жив. Я буду
после победы первой вести ждать.
Нет, ты придешь. В тот вечер буду ждать я,
сготовлю ужин, посидим вдвоем,
и я надену розовое платье,
то самое, любимое твое...

Андрей уходит. Долго, молчаливо
глядит вослед ушедшему народ.
Вдали труба военная поет,
и солнце, солнце в ярости счастливой
встает в зенит, и пышет небосвод,
и камни города исходят зноем.

Лена

Уходят... Слышите, труба играет,
на запад вытянутая, вперед?

О, как за нею сердце, замирая,
летит вослед, и плачет, и поет.
Любимый мой! Оно вослед тебе
летит и вторит грозовой трубе...

Ирина Власьевна

Играют трубы... Где-то снова бьются
сыны мои... Их много — сыновей.
Они вернутся к матери своей,
они с водой далеких рек вернутся.

Анна

Да, он уходит... Да, труба играет...
Он — впереди звенящих этих труб.
Еще война от них не отрывает
своих жестоких воспаленных губ.
Уходит... Вновь смертельная угроза
висит над ним... Уходит — без меня...
Уходит...

Хмара

Граждане! Андрей Морозов
сказал, что мы с сегодняшнего дня
из груды щебня, пепла и бурьяна
наш славный город станем поднимать,
лечить его чудовищные раны
и мрамором и бронзой украшать.
Он должен встать с земли таким
прекрасным,
чтоб мир ему дивился ежечасно.
Начнемте ж труд, чтоб Родине ответить
на кровь ее, на боль и торжество
всей верностию сердца своего —
вперед на целые тысячелетья.
Прошедшие сквозь бой, и смерть, и пламень,
мы приступаем новыми людьми
к свершенью чуда... Анна! Подыми
и положи в фундамент первый камень.

...И ты уже вдали,
в той бронзоватой мгле,
почти недвижной и почти безгласной.
Твоих следов всё меньше на земле,
и города-герои вновь прекрасны.

На постаментах каменных стоят
защитники твои над городами:
из бронзы — девушка,
из мрамора — солдат,
чуть-чуть страша и восхищая взгляд,
а это мы — вчерашние, — мы сами.

Мы жили,
мы дрались,
мы плакали, скорбя.
Мы голодали, нам бывало страшно.
Нам никогда не позабыть себя,
не бронзовых — живых, простых, вчерашних.

Ты не одной своей печалью, нет,
осталась в нас, но как расцвет безмерный,
как высшее доверие, как свет,
как навсегда испытанная верность.

О нет, мы не любуемся собой,
не нам своею славою кичиться.
Но если нам навяжут новый бой,
всё, что мы носим в сердце, ополчится.
Да, ополчится вновь и перед нами
предстанет как развернутое знамя.

Но вспыхнет иль не вспыхнет тот пожар,
наследники, собратья! Вам на вечность
народ вручает свой бесценный дар —
спасенную от смерти Человечность.

Пусть не смущает вас ее лицо,
суровое, с отметками рубцов,
далекое от ангельского лика,

и взгляд, хранящий огненные блики,
взыскующий и к злу непримиримый:
сквозь сотни битв мы проходили с ней,
сквозь слезы вдов, детей и матерей,
сквозь ад Майданека и Освенцима.

Мы сберегли в ней всё: и светлый смех,
и ревность, и любовь, и состраданье,
и радость лучших — жить за всех, для всех
и в этом видеть жизни оправданье.
Всё ваше, люди!
С гордостью и силой
преображайте мира бытие
всем, что завоевала вам Россия,
Народ ее и Партия ее.

1946—1954
Севастополь — Ленинград

349. ПЕРВОРОССИЙСК

Поэма

Нет, я не в прошлое глядела —
в твой полдень, Родина, когда
в крови поэма зазвенела,
ревниво требуя труда.

Твою борьбу, твое горенье
не скроет времени зола:
ты с самых первых дней рожденья
для мира — будущим была.

И первым в будущее брошен
и жизнью вымощен живой, —
он никогда не станет п р о ш л ы м,
твой трудный путь, твой огневой.

Твои младенческие годы
от колыбели Октября
теперь без мук твоих народы —
без мук тягчайших — повторят.

Так пусть же помнят, строя счастье,
как много вложено сюда
твоей мечты, и жертв, и страсти,
и неподкупного труда.

Вот почему с такою силой
во мне по-новому звучит
история Перворосийска...
Не пепел — это кровь стучит.

Не пепел — пламень новой жизни,
всю землю озаривший вновь, —
твой, Революция — Отчизна —
Россия — Партия — Любовь.

1

Шли ходоки из Питера Алтаем,
шли осенью в семнадцатом году:
искали землю — где она, такая,
под стать освобожденному труду?

Они взошли на горные массивы, —
здесь травы им достигли до бровей.
Сквозь травы незнакомая Россия
виднелась в новой прелести своей.

Не бедным полем с тонкою ракитой,
с часовнями у робких родников, —
в венце вершин, потоками увитых,
она открылась взорам ходоков.

Открылась в буйстве позднего цветенья,
всем зовом неизведанной земли,
и облака, как в первый день творенья,
под их ногами пыльными прошли.

И ветер был — орлиный, чуждый, юный,
багровых маков дыбились пучки...
«Мы отыскали землю для коммуны», —
писали петроградцам ходоки.

2

Ночь. Петроград. Над Невскою заставой
полярного сиянья полоса.
Кирпичный дом, и в двух окошках справа
неяркий свет, и дым, и голоса.

...Пусть подойдет со мной и пусть заглянет
мой друг в тот год, в ту комнату — сюда,
откуда луч трепещущий протянет
в сегодня наше, в завтра, в навсегда...

...Кирпичный дом — Обуховская школа.
Доска, скамейки, длинные столы,
пятилинейной лампы свет тяжелый
и сумраком сокрытые углы.

В прошедшем веке, в девяностых годах
вот в этот дом пришли большевики,
чтобы законам правды и свободы
учить рабочих, рабству вопреки.
Стуча мелком
по доскам в клетках красных,
уроки арифметики они
вдруг превращали в митинг —
гневный, страстный, —
всю видимость урока сохранив...

Здесь осенью, в одно из воскресений,
узнав от педагога своего,
что день назад скончался Фридрих Энгельс,
почтили «вечной памятью» его...
Теперь здесь штаб коммуны — в этом зданье.
Сегодня ночью заседает штаб,
чтоб подготовить к общему собранью
наглядный план коммуны и устав...

...О, пусть мой друг внимательно вглядится
сквозь дымное, туманное стекло
в их вдохновенные простые лица,
в то, что бессмертно, хоть уже прошло.
Да, в нынешнем движении победном
ты стал мудрее, чем они, сильней,
но ты потомок их, ты их наследник.
Гордись же родословною своей.

Здесь, в этом классе, вдохновитель дела
Гремякин, техник из рабочих. Он
всегда порывист, воодушевлен,
партиец года Ленского расстрела.
Высокий, в вышитой косоворотке
(распахнут ворот — жарко, духота),
Гремякин нервно теребит бородку, —
она колечком русым завита.
Горят его обтянутые скулы
и темные глубокие глаза.
Вот он вскочил, вцепился в спинку стула, —
он хочет что-то главное сказать.

Здесь молодой Алеша, подмастерье.
Начитан парень, а уж как поет!

Большевику Гремякину поверив,
теперь всегда, везде за ним пойдет.

Здесь друг Гремякина, его советчик,
Степан Клинкович, металлист-пушкарь.
Он с Пятого — испытанный пикетчик,
гроза штрейкбрехеров, вожак, бунтарь.

Его глаза огнем мерцают синим
над бородой, занявшей пол-лица.
Приземист он, с плечами как литыми,
с тяжелыми руками кузнеца.

Здесь тетя Катя, невская ткачиха,
Клинкович молодым из-за нее
с парнями на кула́чках дрался лихо,
страдал, гулял, но взял-таки свое.

Она ведь тоненькой была, как стрелка,
насмешница, заноза, егоза.
А как ткала, как бегала в горелки,
как пела песню «Карие глаза»!

«Карие глазки, куда вы скрылись?
А-ах, мне вас больше не видать!
Куда вы скрылись? Удалились?
Навек заставили страдать...»

Как упустить ее, такую, было?
Не упустил! Она ему сполна
вернула всё: в пикеты с ним ходила,
сидел в кутузке — бублики носила,
в беде — помощник и в дому — сильна!
Ух, как она Степана ревновала!
И было бы за что! Ведь просто так.
Дохнуть ему порою не давала.
Он невозможно счастлив был, чудак...
Теперь она грузна, могуча...
Люба
Гремякина — девчонка рядом с ней:
прижалась к Кате, чуть открыла губы,
усталая — черемухи бледней,
а кос ее высокая корона
чуть блещет медью в сумрачном огне...

...Она была подносчицей камней
тогда, в Обуховскую оборону,
когда почти что детскими руками
из плотных, из булыжных мостовых
в одно мгновенье вырывала камни,
чтобы бросать в солдат, в городовых.

Схватив булыжник из ее подола
и обернувшись, чтобы взять другой, —
Василий вздрогнул, точно брошен в холод,
и девушку загородил собой.
Уже солдаты ружья приложили
к плечу, прищурясь, поднимая бровь...
«Как вас зовут?» — спеша, спросил Василий.
Она, не глядя, крикнула: «Любовь!»
«Любовь, — мелькнуло, — вот она какая!..»
О том, что это имя, он забыл;
булыжник за булыжником хватая
из рук ее, метал, что было сил.
А через день, с той баррикады прямо,
уже разбитой, кое-как они
пробрались к Любе... Та сказала: «Мама,
благословите нас, вот мой жених».

...И вот, сидит, прижавшись к тете Кате,
на мужа смотрит — свечкою горит
и жадно слушает, как он, мечтатель,
о будущей коммуне говорит.

Они давно, давно ее лелеют,
сквозь гнет, и мрак, и тюрьмы пронесли —
трудящихся бессмертную идею,
мечту истории, мечту земли.

И в дни, когда еще не взяли власти,
но знали, что возьмут наверняка,
они зажглись неодолимой страстью
создать коммуну, хоть одну пока.

Всё впереди — борьба, сражений дали,
им будущее с бою надо взять, —
но ходоков они уже послали,
чтоб землю для коммуны подыскать.

Теперь Октябрь дает им власть и право
осуществить желанье до конца —
и с новой силой за глухой заставой
мысль о коммуне вспыхнула в сердцах.

О, буйный ветр Семнадцатого года!
Порвав крепчайшие из всех цепей,
как опьянен народ своей свободой —
восставший, победивший Прометей.

Везде орлов романовских сшибают,
приделывают флаги на кресты,
по-новому проспекты называют,
и все — товарищи, и все — на ты.

Всё в нашей власти! Всё! И нет такого,
чего бы не могли мы совершить!
Еще вчера — бродячий призрак, слово,
Коммуна — жизнь! Коммуной будем жить!

Всё можно! Революции пожаром
страшнейших царств стираются черты...

...И наклонилась группа коммунаров
над самым первым чертежом мечты,
а перед ними, вычерчен красиво
на жестких, на негнущихся листах,
проект и надпись:
«Первая Российская
Коммуна Землеробов». И устав.

Звездоподобен светлый план селенья.
Как центр звезды — из мрамора Совет.
Устав коммуны — жестче вдохновенья:
его прообраз — ленинский декрет.
И ходоков письмо. Оно измято, —
о, сколько раз его читали здесь!
Оно как голубь, что пришел обратно, —
из будущего трепетная весть.

. . . .

Но новое великое волненье
Гремякин внес сегодня ночью в штаб:

«Друзья мои... А пусть товарищ Ленин
проверит нас. А вдруг — не тот масштаб?
Вдруг размахнулись робко?»
— «Быть не может!»
— «Но если правы мы, то он тогда
нам и теперь и в будущем поможет...
Идем к нему?»
— «Идем... Конечно! Да!»

...И вновь они склоняются над планом:
вот здесь — театр... больница... детский сад.
В домах — вода... На площади фонтаны,
и фонари по вечерам горят.
А в школе — ежедневные занятья, —
все учатся, всё шире кругозор,
и рушится невежества проклятье,
привычек рабских бремя и позор!

Вот так они мечтают — всё чудесней,
всё пламеннее...
Так, что под конец
сама собою возникает песня
и рвется из распахнутых сердец:

«В Петрограде за Невской заставой,
от аптеки версты полторы,
собирались в Обуховской школе
коммунары Российской земли.
Собирались они не случайно,
но объяты идеей одной,
чтобы жить трудовою коммуной,
вместе жить пролетарской семьей...»

Огнедышащ, творящ и светел,
в эту ночь над мерзлой Невой
до рассвета носился ветер
Революции мировой...

3

«Владимир Ильич,
к вам пришли из-за Невской заставы
рабочие».
Встал. «Из-за Невской? Скажите — прошу».

Прошелся, одернул пиджак, и дела полумира отставил,
и только рука, по привычке,
к блокноту и карандашу.
И вдруг улыбнулся, прищурясь...
Они — из-за Невской?
Оттуда, где юность была? Где начало всего?
Где Наденька Крупская
тоненькой строгой невестою
ходила к ткачихам — для первых листовок его...
На фабрику Торнтон, — одета работницей, — милая,
в дома-общежитья,
в трущобы, —
их звали тогда «корабли», —
и если порой посетители школы Корнилова
ее узнавали — не кланялись ей: берегли.
А дом в переулке,
с крылечком, скрипевшим отчаянно,
с висячею лампой, — кружок собирался зимой, —
а темный трактирчик в пузатых дымящихся чайниках,
где как-то сидел,
чтоб разведать о стачке одной...
Трактирчик был полон. Все пили... И было не душно им.
Ильич засмеялся: потратил полсуток, а жаль!
Мещане бубнили,
чаями распаривши душеньку:
«Фабричных карают? И правильно!
Ты не скандаль, не скандаль!»
Он вышел с каким-то фабричным,
и оба в туман зашагали,
и Ленин спросил его: «Слышал?»
А тот: «Не робей, погоди!
Стращают? Да пусть их! А мы еще так
«поскандалим»!..»
...И радость,
как жаркий родник,
застучала в груди!
И там, на окраинах, там, за глухими заставами,
он верно к рабочему сердцу пути отыскал:
он жадно их слушал,
учил их,
права их отстаивал
и первым всю правду о русском рабочем сказал:
не столько о том, что живет в нищете и бесправии, —

о том, что восстанет,
низвергнувши гнет роковой,
что именно он пролетариев мира возглавит,
что он поведет к революции мир за собой.
«Они из-за Невской? Просите! Да что же там мешкают!»
И те, что вошли, — изумились,
гудя вперебой:
с такою веселой, открытой,
доверчивой нежностью
он руки им жал, — молодой, молодой, молодой!
Как будто б давно,
по-домашнему,
близко знакомы...
«Садитесь, прошу вас... Поближе!»
Указывал место.
Как будто бы не было
у председателя Совнаркома
великих забот: голодухи, разрухи и Бреста...
«Ну, грейтесь, товарищи... Как добиралися?
Конкой?»
Смущенно:
«Пытались... да встал паровик на пути —
паров не хватило!»
Смеется, как юноша, звонко:
«Так как же, друзья? Не пора ль на трамвай перейти? —
И — тихо, прищурясь:
— Подумать, за Невской —
трамваи!
Да чтó там... Трущобы сметем
и сожжем «корабли»,
зальем ее светом,
застроим дворцами, —
потом не узнаем,
а конку — в музей...
чтобы дети смеяться могли».
О, как ему просто открыться,
о, как с ним мечтается бурно,
как дышится с ним — и дыханье и сердце отдай!
«Владимир Ильич, мы решили построить коммуну,
коммуну рабочих... и вот — собрались на Алтай».
— «Алтай? Почему?»
— «Да уж очень свободно, красиво...»
— «А что же, под Питером мало свободной земли?»

— «Владимир Ильич, там растенья немыслимой силы,
нам так написали, — красивей земли не нашли...»
— «Владимир Ильич,
мы стремимся туда не напрасно, —
Гремякин промолвил, — мы трудности тоже учли,
но сделаем нашу коммуну
такою прекрасной,
чтоб люди иначе
ни жить, ни мечтать не могли!»
Клинкович добавил:
«Мы в эти далекие дали
в текущий момент собрались, полагаю, не зря:
там ссыльных видали,
а нас никогда не видали —
свободных рабочих
и гвардию Октября».
Не может молчать восемнадцатилетний Алеша:
«Мы «Первороссийском» коммуну свою называем!»
И Ленин подумал: «Какой же парнишка хороший.
Как Бабушкин в юности...
Эту породу мы знаем...»
«Владимир Ильич... как один — мы готовы в дорогу,
да выехать не на чем:
с транспортом гроб и конец!»
...Он смотрит на них,
он любуется ими,
жалеет немного, —
так юного сына жалеет
суровый и мудрый отец.
«Они фантазируют... Всё это слишком красиво...
Всё будет не так... Но захвачены страстью... Пускай!
А как без фантазии
можно бы было в России
начать революцию?
Пусть же идут на Алтай.
Пусть учатся строить на опыте трудном. Так нужно...»
И взгляд не отводит от дали,
открытой ему,
и громко:
«Согласен! А сколько берете оружья?»
— «Оружья, Владимир Ильич? Не берем... Ни к чему,
мы с мирною целью».
— «Ах, с мирной? Ну, значит, сражаться!

Я дам приказание — выделить лучший состав
и сотню винтовок... Нет, мало.
Захватим сто двадцать
и сколько угодно патронов...»
И вдруг замолкает, привстав.
И в комнате тихо, как будто б не воздух, а струны:
коснуться опасно — порвутся...
И так — до отказа...
Но он прикоснулся:
«Друзья! Мы построим Коммуну,
построим! Но только не так и не сразу.
Россия рождает Коммуну в тяжелых терзаньях
(Ильич помолчал)... в непомерной,
обильной крови...
Но кто б от любви зарекался
на том основанье,
что роды — ужасны? Кто б видел лишь это в любви?
Коммуна!.. (Лицо Ильича озарила улыбка —
прекрасная.) Да! Мы к Коммуне идем неустанно,
идем — обучаясь,
идем, совершая ошибки,
идем с героизмом,
который сильней героизма восстаний...
И вы — поезжайте... Но будьте готовы, чтоб к лету
вам встать во главе
пробуждающейся бедноты.
Я вас посылаю —
крепить на Алтае Советы
и драться с врагами
во имя всемирной мечты...
Здесь кто-то сказал,
что рабочих, как вы, не видали
в деревне?
Мы сотни отрядов отправим туда,
рабочих отрядов,
надежнее кованой стали,
вождей бедноты,
рядовых государства труда! —
Придвинул блокнот, и рука по листку полетела:
— Возьмите... Здесь просьба моя
о содействии вам
ко всем учрежденьям в России.
Так что же — за дело?

Рабочий поход
никогда не осилить врагам».
Они поднимаются с мест,
возмужавшие, новые люди,
с вождем заглянувшие в дали истории новой...
«Владимир Ильич! Ваших слов никогда не забудем.
Поверьте, к такому походу готовы... готовы...
Владимир Ильич, обязательно к нам приезжайте.
Далеко, конечно, в коммуну... но будет не худо...»
Чуть дрогнули губы вождя:
«Да, я знаю! Ну, стройте, мужайте.
Я буду в коммуне у вас... обязательно буду».

Он провожал до двери их.
А после
встал у окна... Метель кипит в окне,
февральских сумерек синеет проседь,
и комната плывет в голубизне.
О, если б уходящие видали
тот взгляд, которым он глядит им вслед!..
. . . .
А в это время по ночному снегу,
сквозь дым костров и питерский туман,
за Невскую, к холодному ночлегу
бредут посланцы первороссиян.
Бредут, порой хватаясь друг за друга
(давно трамваи встали, конок нет),
их голод валит, их качает вьюга
и — сумасшедшая! — заносит след.
Костры, костры на Старо-Невском светят,
идущих окликают патрули,
и веет им в лицо орлиный ветер
с далекой их, загаданной земли.
Они на всё готовы с этой ночи,
ни голод их, ни стужа не согнет;
они вступили в грозный свой, рабочий,
своим вождем указанный поход...

4

Собирала Невская застава
первых коммунаров в дальний путь.
Все старались им свой дар доставить —
ну, хоть что-нибудь.

Бывший императорский фарфоровый
подарил им княжеский сервиз.
Сколько мисок! Для чего которая:
Вот поди — попробуй разберись.

Что ж, едим пока по-пролетарски —
вобла, пшенка...
                    Но, коль наша власть,
пусть они — за всех — едят с тарелок царских
не по-царски — всласть!

И артель «настройщиков свободных»
в розвальнях везла издалека
пианино марки старомодной
из дворянского особняка.

Старенький настройщик, как кудесник,
тихо тронув клавиши, сказал:
«Пусть звучат отсюда счастья песни,
те, которых мир еще не знал...»

Все старались им из жизни прошлой,
про́клятой, но памятной пока,
выбрать что-то пышное, роскошное,
прежде чуждое для бедняка.

Но пришла машина Арсенала,
как своя, винтовками полна.
«Кланяется вам, — братва сказала, —
Выборгская наша сторона. —
И, Клинковича за локоть тронув,
в сторону отвел его браток:
— Мы тебе подбавили патронов
и винтовок больше на пяток.
Говорят, Ильич велел? Понятно.
Вот мы и старались — для своих.
Ну, держите ж их, как в нашем Пятом,
так, как в Октябре держали их».

Привезли наборщики с рассветом
семь шрифтов, семь касс, печатный стан:
«Нате... присылайте нам газету,
вашу „Правду первороссиян“».

А в цеху, где ветры завывали,
где орудья делали всегда, —
первый раз плуги для них ковали,
мирное орудие труда.
И старик пушкарь, ковавший лемех,
«Что ж, — сказал Гремякину, — пора.
Говорят, что даже будет время —
станем здесь работать трактора.
И тогда по этому же тракту
к вам в коммуну, в неизвестный край,
мы отправим самый первый трактор,
да такой, чтоб ахнул весь Алтай. . .»

Собирала Невская застава
первых коммунаров в дальний путь —
в путь борьбы, дерзания и славы,
в тот, с которого не повернуть.

5

«. . .И настала минута отъезда. . .
Из России в Сибирь далеко.
Ох ты, матушка наша Россия,
расставаться с тобой нелегко.
На машине мы ехали долго,
и по-своему каждый был рад.
А в душе разливалась кручина,
вспоминался родной Петроград. . .»

Так продолжалась песня.
Еле-еле
тащился по истерзанной отчизне
огромный поезд. Жили там, и пели.
и вслух о будущей мечтали жизни.
Скорей бы!.. Но как тянутся стоянки.
А то и так, что в топке — ни полена.
И сами в лес, в сугробах по колено,
идут, и рубят, и несут вязанки.

Был машинист старик суровых правил,
он говорил начистоту:
«Ну, братцы,
уж если бы не Ленин вас отправил,
то стал бы я теперь еще стараться. , .»

Но всё вперед, хотя и осторожно,
он поезд вел, ругаясь в раздраженье,
и сам с державой железнодорожной
сговаривался в смысле продвиженья...
Они сильней, чем дома, голодали,
за сердце рвут картины разоренья:
похожие на таборы вокзалы
и по ночам — без огонька селенья...
И всё не так, как представлялось дома...
Но в самый трудный миг идет Василий
с письмом, где председатель Совнаркома
помочь им просит
всех во всей России,
и видит, как оттаивают лица:
им хлеба достают, качают воду,
и каждый расспросить у них стремится
о Питере, о первых днях свободы.
Они нередко в митинги врезались
(все митингуют, спорят, флаги вьются),
от питерских рабочих призывали
к защите пролетарской революции.
И, несмотря на тяготы, всё боле,
всё глубже, всё нежней дышал Василий
родной страной,
ее взыгравшей волей,
ее людской новорожденной силой.
«Она в разрухе вся, она голодная,
над ней не меркнет горестное зарево,
но от небес до самых недр свободная,
историю свершающая заново.
Скорей бы ей помочь — за дело взяться.
Вонзить плуги в нетронутые травы!
Едва ползем...»
А машинист: «Ну, братцы,
уж если бы не Ленин вас отправил,
то я б...»
Вдруг — тормоз небывалой силы...
Гремякин к машинисту:
«Где мы встали?»
А тот: «Молчи. Скажи еще спасибо.
Не видишь — путь бандиты разобрали».
Полсуток путь кладут перед собою,
потом счищают снег, — пурга, пурга,

ох, как рыдает, как свистит и воет
угрюмая сибирская тайга!
И всё еще в пути они.
За Омском
однажды на рассвете верховой,
догнав их поезд, восклицает громко:
«За власть Советов — выходи на бой!»
Знакомая, всесильная команда!
Клинкович в первый раз
винтовки раздает,
и целый день в лесу с бродячей бандой
они дерутся.
И опять вперед.
Рабочий
не остановить поход.

Сказал Клинкович: «Первое крещенье
мы приняли. Второе будет скоро.
Ильич был прав. Даю распоряженье
ежевечерне проверять затворы».

Так ехали они. И шли недели.
В одном вагоне мальчик родился.
Они мечтали, ссорились и пели,
отстреливались, сутками не ели,
охотились в неведомых лесах.
Им сыч кричал,
их вьюги заносили,
на поезд волки выли по ночам...
Так двигались они к Первороссийску,
к мечте,
к Коммуне,
к будущему, — к нам...

6

Уже последняя метель
сменилась бурною весною,
когда пред ними заблестел
Иртыш могучею волною.
Он был как в песне...
Облака
клубились в нем, темнели горы,

и лес, ровесник Ермака,
на берегах вздымался гордо.

Они не раз об Ермаке
негромко пели под луною,
когда она, дробясь в реке,
казалась панцирем героя.

Шел пароходик не спеша
всё глубже в песенные дали,
кипели волны Иртыша,
и ветры в дебрях бушевали.

Всего полтыщи верст водой
плыть до Гусиной, до станицы,
а там — совсем подать рукой
к земле, которая им снится.

На двадцать лет помолодев,
Клинкович вместе с молодыми
в холодной плещется воде
и весело бранится с ними.

Алешу просто не унять, —
поет и носится как ветер,
не в состоянии понять —
в кого влюблен. Во всех на свете!

И в звездной вешней полутьме,
подолгу стоя на корме,
Гремякин вдруг целует Любу,
как в юности, — украдкой, в губы.

...Уже кончался день, когда
раздался крик на пароходе:
«Гусиная!.. Друзья — сюда!..»
— «Товарищи, ура! Подходим...»

Горят закатные лучи,
зари багровой свет неистов,
и сходят на берег ткачи,
прядильщицы и металлисты.

На незнакомый, на чужой,
где ждет загаданное счастье,
откуда им — подать рукой
к первороссийскому участку.

Им плакать хочется и петь,
взвивать ликующие флаги,
но надо дотемна успеть
сгрузиться и раскинуть лагерь.

И вот уже костер трещит,
уха в большом котле дымится...
Но зло, насупившись глядит
на них казацкая станица...

Как хаты темные тихи,
никто не вышел, не встречает,
и только хором петухи
глухую полночь возвещают.

Костры потухли. Лагерь спит.
Далеко Невская застава.
И, как над Ермаком, шумит
над их палатками дубрава...

7

...А место, выбранное ходоками,
в горах лежало, близко от снегов,
и тут узнали, что оно цветами
невольно обмануло ходоков.
В долину ту недаром ветер носит
одних цветов могучих семена, —
она цветет, она не плодоносит,
она для земледелья не годна...

«Мы не виним вас, — так сказал Гремякин
угрюмым ходокам. — И злобы нет...
Из горожан так было бы со всяким.
Мы обратимся за землей в Совет...»

Но не успел окончить речь Гремякин,
как вдруг услышал топот, возглас, гул:
«Товарищи, казаки... К нам казаки!..»
И вздрогнул городок на берегу.

Здесь демонстрантом был едва ль не всякий,
здесь те, что уличный держали бой,
здесь даже дети помнят крик: «Казаки!..»
и конские копыта над собой.

Они? И — как до Октября?! Не снится ль?
Но, поднимая вихрь из-под подков,
на питерцев, на лагерь — из станицы
летит с нагайкой сотник Щураков.
Коня подняв (о господи, как прежде!),
крутя нагайкой (как тогда!), — орет
истошно:
«Вы! Расейские! Приезжие!
Давайте от ворот да поворот!
На землю к нам? А черта не хотите ли?»
Рабочие, сказали? Как не так!
Вы не рабочие, вы все — грабители!..»
...Минут пятнадцать буйствовал казак.

«Пальнем в него», — шепнул Алеша людям.
«Оставь, — Клинкович приказал, — дурак.
Мы зря патронов питерских не будем
транжирить... Пригодятся и не так».

А сам Гремякину тихонько: «Вася,
Советской власти вроде здесь и нет...»
— «Ну, нет — так будет».
— «Как?»
— «А постарайся
да крепче помни ленинский совет...»

А из станицы люди шли к палаткам.
Здесь были староверы казаки,
все — с бородой, степенные повадкой,
казачки были, дети, батраки...

И даже из Кондратьевки, селенья
с той стороны, в долбленых челноках
приплыли мужики-переселенцы,
прослышав о приезжих чудаках.

Они толпились, точно на базаре,
у лагеря, дивясь и говоря:
«Да кто ж таки?»

А им кулак: «„Товарищи“,
те самые, которые царя
низвергнули...»
— «Ах, вон что... А товаров-то,
а плуги хороши... Везли не зря...»
Кулак опять: «Награбили «товарищи»...
повадно им без бога и царя...»
— «Да правда ли? Рабочие из Питеру,
нам так сказали...»
А кулак опять:
«Рабочие? А пианину видели?
Нет, мужички, теперь несдобровать...»

Но, жгучий воздух митингов изведав,
Гремякин сразу принимает бой:
«Да, мы грабители. Мы грабим мироедов,
тех, кто нажрался крови трудовой.
Я, пролетарий питерской заставы,
вам приношу святой закон труда:
работник — всем владеть имеет право,
а паразит — ничем и никогда».
(Они слова «Интернационала»
произносили вместо слов своих
не потому, что слов им не хватало, —
еще всё время гимн гудел в крови...)

И вдруг стоявший поодаль, в сторонке,
батрак плечистый Кеша Боровой
«Так это ж правильно! — воскликнул громко,
взмахнув обросшей русой головой. —
Товарищ... Эй, товарищ! (Это слово
впервые в жизни понял Боровой.)
Так, значит, можно жизнью этой новой
и всем зажить?»
— «Не всем, но нам с тобой!..»

И Кеша гордо распрямляет плечи
и видит землю будто в первый раз,
Иртыш, и розовый весенний вечер,
и склоны, где стада чужие пас.

Так он теперь свободен?
Значит, может
стряхнуть с себя хозяина навек —
вот как армяк...

Ну да! Ему поможет
товарищ, свой, рабочий человек.

А мужиков уж не унять. Так много
понять им нужно, — хоть не до конца.
Знобящая, пьянящая тревога
вонзилась в их дремучие сердца.
Об этом мире, вдруг возникшем рядом,
так страшно шепчут сотник, поп, кулак...
«А с бабами — каков у вас порядок?
Слыхали, тоже общие? Иль как?»

Им отвечают первороссиянки:
«Не верьте, нет... Мы просто не рабы.
Мужьям — товарищи,
свободные гражданки
и рядовые классовой борьбы...»
— «Слабодные!..» — В толпе смешки и ругань:
так жизнь еще темна, тупа, груба...
И всё ж крестьянкам тронул шепот губы,
пока чуть слышный: «Ба-ба — не ра-ба...»

Особо изощрялись староверы,
начетчики, все грамотный народ.
Всё брали из писания примеры,
что дело у коммуны не пойдет.
«Рассеетесь, антихристово семя, —
кричал старик, седой как горностай, —
все сгинете...»
— «Не сгинем!»
В это время
рой мужиков к Клинковичу пристал:

«Так, значит, вы без бога? По науке?
А бог-то есть! Ведь есть он? Или — врут?»
Клинкович им показывает руки
в мозолях:
«Есть! Владыка Мира — Труд!
Вот он, и вседержитель и создатель.
Всё сотворит и всё подаст — в борьбе.
А остальное — опиум, приятель,
чтоб ты не верил самому себе».

И снова спор, восторг, ожесточенье!
И мир, весной набухший до конца,

притих — он чует первый день творенья
и жадно ждет работника-творца...

. . . .

Когда Совдеп Кондратьевки отмерил
первороссийцам новый клин земли, —
в коммуну к ним, грядущему поверив,
пять батраков и три семьи вошли.

Торжественно их приняло правленье,
и, гимном заседанье открывая,
Гремякин крикнул, полный вдохновенья:
«Уже близка Коммуна мировая!..»

Они — как мы! — иначе не умели:
всё мерили масштабом общей цели,
ее величием, ее сияньем...
Клянусь не отступать от вашей веры,
клянусь не мерить жизни меньшей мерой,
чем ваша мера, первороссияне!

8

...Он до рассвета вышел из палатки,
где сладко спали дети и жена,
уставшие в последнем переходе, —
он вышел, сделал несколько шагов
и вдруг остановился, пораженный
тем, что идет уже в Первороссийске.

Бледнели звезды в небе. За холмом
нежнейший свет рождался. Не заря —
предчувствие зари... Темнели кедры,
и лес дышал смолистою прохладой,
и снеговые дальние вершины
едва светились, легкие как пух...

И тихо было. Но она жила,
перед зарей притихшая долина,
и думала о чем-то важном, строгом,
и важно думу слушала свою.

А лагерь спал. Прикрытое брезентом,
стояло под сосною пианино,
и рядом сохи, бороны, плуги,
и ящики патронов, и винтовки:
оружие — подарок Ильича.

Василий спать не мог от нетерпенья.
Он вышел из палатки, чтоб взглянуть,
как здесь пролягут улицы поселка,
задуманного там еще, за Невской,
но вдруг забыл об этом. Он стоял,
захваченный могучим ощущеньем,
ни разу не испытанным еще...
Он понял вдруг — всем сердцем, кровью, кожей,
что эти кедры, звезды, и вершины,
и нежная заря, и влажный воздух,
и люди, спящие кругом в палатках,
друзья и сотоварищи его,
и это нетерпенье, эта жажда
трудиться, строить, корчевать, пахать, —
что это всё уже она, Коммуна,
и что она не в будущем, далеко,
а здесь, сейчас, во всем, — и в нем самом...
В мгновение, подобное прозренью,
он вспомнил, — нет, он пережил весь путь
вплоть до вчерашнего, когда с Гусиной
они пошли сюда крутой дорогой,
через холмы и бурные потоки,
порою подпрягаяся к повозкам,
чтобы помочь усталым лошадям.

А перед этим был Иртыш... А прежде
шел поезд сквозь огромную Россию,
а перед поездом — дорога в Смольный,
но раньше — Революция была,
а раньше — год с Кровавым воскресеньем,
а до него Парижская коммуна
и мятежи российских крепостных...

Как долго ищут путь к Коммуне люди —
заветный путь! И мы его нашли,
вступили первыми и вот — пришли...

«И если даже мы погибнем, если
не совершим всего, чего хотим,
всё довершат идущие за нами
по нашему открытому пути».

Впервые думал он о смерти, — просто,
без страха и смятенья... Потому что
он жил всей жизнью — будущим и прошлым,

жил за погибших, за себя, за нас...
Я знаю это —я! Ведь я жила
однажды так, как он, — всей жизнью сразу,
и за себя и за него — тогда
уже не жившего... И это было
в страшнейший день, когда рвались фашисты
на Ленинград и, подойдя к Москве,
грозили смертью Родине...
В тот полдень
душа моя, полна сопротивленья,
вдруг стала жить всем лучшим,
всем прекрасным,
что ей дарила Родина. И этой,
да, этой вот первороссийской ночью
она жила, готовясь победить...

Гремякин глубоко дышал смолистым,
высоким воздухом Первороссийска
и всё стоял не двигаясь. Роса
ему покрыла голову и плечи,
как соснам и траве. Он был недвижен,
он слушал сам себя и целый мир.

Какая-то ночная птица пела
в ночном лесу, невидимая птица,
наверное, прекрасная, как всё,
что жило, пело и росло в Коммуне.

Гремякин думал — если б тут сейчас
вдруг оказался Ленин, то они бы
не стали говорить, а помолчали б
так, как сейчас... Всё понял бы Ильич.
Он повернулся в сторону, где горы
уже сияли розовым... За ними,
там, где-то далеко, была Москва,
там ночь еще была, и у зеленой
неяркой лампы, у стола склонясь,
ладони грея над стаканом чая,
Ильич трудился над очередными
задачами Советской власти...
Он,
статью заканчивая на рассвете,
писал о мерной поступи рабочих,
не дрогнувших на трудных переходах,

ведущих за собой народ...
Гремякин
как будто б слышал это, — всё глядел
туда, за кромку гор, в Москву, в Коммуну...

Так он стоял, задумчивый, высокий,
рабочий русский в латаной кожанке,
на полукруге молодого солнца,
поднявшегося за его спиной.

9

...И лемехи плугов первороссийских
вонзились в темь алтайской целины
в те дни, когда в стране уже носился
палящий ветер завтрашней войны —
гражданской.
В дни разрухи, мора, бедствий
(не перечислить страшного всего),
в дни моего суровейшего детства
и детства государства моего...

Восстания в Саратове, в Самаре,
в Москве зловещий заговор раскрыт, —
в разгаре пахоты у коммунаров
вдруг ночью матерьяльный склад горит...
Едва спасли его... Поджог — бесспорно.
«Мы на войне, не забывать о том,
надежнее вооружить дозорных!..»
А белочехи занимают Томск.

Как медленно идут сюда газеты,
через тайгу и горные снега!
А сев не ждет. В четыре, до рассвета,
весь лагерь пашет, лагерь на ногах.
Ведь есть опять мечта у коммунаров:
всю целину — до горсточки — поднять,
чтоб питерцам — к восьмушке их — в подарок
хлеб урожая первого послать.
«И Ленину, — сказала Люба, — тоже.»
И Катя поддержала горячо:
«Пусть колобков ему
ржаных, пригожих
Надежда Константиновна спечет!»

...Тягла — плохого даже — не хватает,
и на земле непаханой, тугой —
не скрыть — впервые силы напрягает
не пахарь — питерский мастеровой.

Ох, нет, — тяжелый, долгий нужен опыт,
чтоб справиться с такою целиной,
чтоб, напитав ее кровавым потом,
поднять сохой, разрыхлить бороной.

Тысячелетья пашут так...
                                        И как-то
остановясь, чтоб пот смахнуть рукой,
«Эх, трактор бы коммуне, трактор,
                                                    трактор!» —
вскричал Гремякин с яростью, с тоской.
А сроки сева на исходе. Люди
измучились... В большой тревоге стан.
Клинкович шепчет:
«Что же делать будем,
                                    Василий?»
— «На себе пахать, Степан.
Что отшатнулся? Лошадей не хватит,
а сохи — есть. Я первый же впрягусь...»
— «Я тоже», — подтвердила тетя Катя,
и Люба говорит: «Я помогу...»
Гремякин прошептал жене: «Родная,
прости, — не думал о такой судьбе...
Что ж ты смеешься?»
                                    — «Так. Припоминаю,
как подавала камни я тебе,
тогда на баррикаде, в оборону.
Ты помнишь?»
                        — «Помню!»
                                            Сразу молодой,
он тихо ей ладонь губами тронул,
натруженную милую ладонь.

...Был жаркий полдень, было воскресенье,
плыл по долинам колокольный звон,
и, как всегда, к рабочему селенью
собрались мужики со всех сторон.

Под гул насмешек злых и невеселых,
к земле упрямо голову склонив,

Гремякин с Любой плуг тащил тяжелый, —
так мимо мужиков прошли они.
Плыл колокольный звон и зной над ними,
но шли они, губами шевеля,
шепча: «Подымем... Мы тебя подымем.
Ты дашь и хлеб и счастье нам, земля...»
Раз и другой прошли. И вдруг из кучки
крестьян — один, могучий как сосна,
шагнул к пахавшим:
«Бабу-то замучишь!
Пусти меня... Пущай вздохнет она».

И впрягся сам. Они сперва молчали,
шагая рядом. После, на ходу,
мужик промолвил: «Мы-то отпахали...
Я завтра с лошадью к тебе приду».

Не он один — на помощь коммунарам
пришли с тяглом еще середняки...
«Нет, люди так стараются недаром,
тут правда есть, — шептались мужики. —
Тут выгода большая, не иначе,
а в чем она? Пока нельзя понять.
Живут трудненько, а никто не плачет...»
...И шли в Первороссийск опять, опять...

С пристрастием выспрашивали Кешу:
«Ну, как живешь на питерской земле?
За лошадь ходишь? То-то разутешен!»
— «А как же? Не в кулацкой кабале!
Хожу по воле. Сам себе хозяин.
Душе просторно — понял? Ей... легко!»
— «Насчет души — мы это понимаем!
Где рай-то ваш?»
— «А вон, недалеко!»

Их тетя Катя угощает кашей,
кричит Алеша, радуясь, спеша:
«У нас теперь всё общее, папаши, —
и хлеб, и труд, и вроде бы душа!»
— «Ишь, вы каки́ богатые! Да брать-то
у вас — легко... как вам — вернуть назад?»
А Катя: «Да! Богатые! Мы, братец,
не жадные. Кто жаден — не богат.

Назад не просим — нет. Богатство наше
волшебное, — нельзя его раздать.
Чем больше дашь, тем больше нам, папаша,
останется... Смекнул?»
— «Смекаю, мать!
У вас с собой целковый неразменный».
— «Целко-вый? Эх! Нашел чем мерить, друг!
Деньгами! Тьфу! Да мы... да их отменят
на той неделе!»
— «Рáзи? Это — врут!»

И все-таки бормочут, расходясь:
«Что ж, правильно их женщина сказала —
не жадные. От жадных — вся напасть».
— «Вот так бы жить, чтоб кулачья не стало».
— «И будем жить... А что — не наша власть?!»

10

Топоры стучат над Бухтармою,
горячо клокочет Бухтарма...
Это первороссияне строят,
строят первые свои дома.

Вот уж нивы стали колоситься,
будет, будет сытною зима.
Только бы успеть переселиться
из палаток к холоду в дома!

О, пьянящий свежий запах стройки,
запах теса, извести, смолы!
Свист рубанков,
шепот стружек бойких,
певчее жужжание пилы.

Радостно, неистово и грубо
воплощаясь, дыбятся кругом
глыбы камня, глина, срубы...
Срубы
пахнут медом, дебрями, зверьем.

И, вонзаясь страстно в древесину,
блещет ярый труженик топор,
и над стройкой носится орлиный
синий ветер с белокрылых гор!

Строят по задуманному плану, —
весь чертеж мечты уберегли:
оставляют место для фонтанов,
для Совдепа — мраморы нашли.

Хорошо кипит работа, споро,
руки сами так и рвутся к ней.
Ах, какое счастье — строить город,
новый город в молодой стране!

Наш, — как в гимне, миру незнакомый,
весь — рукою собственной своей.
Приезжай гостить, Предсовнаркома,
к младшему в Республике твоей.

11

...Они прискакали в полдень,
их кони храпели в мыле,
и с визгом над Первороссийском
нагайку занес Щураков —
тот самый сотник с Гусиной...
А рядом подковами били
две сотни подвыпивших конников,
ярящихся казаков.
Валила пена и мыло
с тяжелых коней свирепых,
они топтали пшеницу,
вминая глубокий след.
Орал Щураков:
«Расейские! А власти-то вашей нету!
В Гусиной,
а также в Кондратьевке
вырезан ваш Совет.
Пятнадцать минут дается
на полное размышление...
(У них винтовки английские
поблескивают за спиной.)
Долой Советы проклятые!
Долой Коммуну и Ленина!
Оружие сдать! И семьями
в деревни идти. По одной!»

Уже огнем интервенций
с краев занялась Россия,

но питерцы в дальней долине
не знали еще о том...
«Спокойно. Укрыть оружье, —
шепнул коммунарам Василий. —
Сперва обмануть бандитов,
митинговать — потом».
Женщины зарыдали,
бросившись под копыта, —
поняли, что казаков
надо хоть час держать...
Ленинские винтовки —
сто двадцать —
были зарыты,
с малым числом патронов
вынес Клинкович пять.
Так вот они стояли:
питерский пролетарий,
старый бунтарь, пикетчик,
ружья к ногам сложив,
и наглый казачий сотник...
«Мало сдаете, парень!»
— «Больше с собой не брали.
Ехали — просто жить».
— «Знаем, какие вы тихие.
А ну, молодцы, запаливай!»
Взвилась на дыбах орава
семеновских молодцов:
«За государь-императора
проклятому пролетарию!»
И вспыхнули нивы и срубы
сразу со всех концов...

12

Первороссийск пылал.
Но граждане его
не расходились с площади — той самой,
где строился Совет. Уж для него
был привезен — пока что в глыбах —
мрамор.
Все так устали — не могли стоять.
Присели тут, на глыбах...
На рассвете
кольцо пожара стало догорать,
и на руках кой-как вздремнули дети.

И все недвижны были, и к утру
не шевельнулись — как окаменели,
и всю-то ночь поблизости, в бору,
какие-то ночные птицы пели, —
наверное, прекрасные, как все
и всё, что жило и росло в Коммуне, —
как эти звезды в голубой росе,
как это золотое новолунье...

Так молча досидели до утра.
Когда же развиднелося, Василий
встал на пенек посереди костра,
который был вчера Первороссийском,
и вымолвил:
«Вы слышите меня.
Сейчас, забрав с собою что возможно,
мы разойдемся все по деревням,
не по одной семье, но осторожно.
В деревню Снегирево пять семей
отправятся — себя я не считаю,
в Кондратьевку — пятнадцать сразу. В ней
фронтовики помогут — отвечаю.
В Гусиной два семейства поселить —
отвод для глаз, станица небольшая...
Сейчас имущество начнем делить,
устав коммуны грубо нарушая.
Кто там заплакал? Тетя Катя, ты?
Стыдись, мамаша. Даром слезы льются.
Ты что же — отказалась от мечты?
От мировой Октябрьской революции?
А Ленин-то зачем нас посылал?
(Гремякин указал рукой на горы,
где рдело солнце). Помнишь, он сказал:
Коммуна будет — и, быть может, скоро!
Степан Клинкович! Ты побудешь тут,
на пепелище, около винтовок.
Потом их понемногу разнесут
по деревням... Поручим тем, кто ловок.
Нам не забрать с собой печатный стан.
Укроем здесь, у ямы, где винтовки.
Не вышла «Правда первороссиян»
газетой, — будет выходить в листовках.
Патроны тоже мы уберегли.
Так будем же стремиться, чтоб скорее,

скорее взять их к бою — из земли.
Первороссийска нет — Коммуна зреет.

. . . .

Бесслезным, тихим было их прощанье.
Имущество делили кое-как,
и Катя только, подавив рыданье,
вдруг поднялась и занесла тесак, —
и не людским стенаньем, не звериным
стонало эхо горное кругом,
когда в щепу крошилось пианино
под Катиным тяжелым тесаком.

. . . .

Они ушли, до крови стиснув зубы.
Детей вели и узелки несли.
Чадя, за ними догорали срубы
Первороссийска — радости земли.
Тихонько шли, оглядывались много, —
не надо бы... Подъем был тверд и крут,
опасна каменистая дорога:
оглянешься — сорвешься — не найдут...
Они еще не знали, что придется
так, как сегодня, уходить не раз,
что Днепрострой за их спиной взорвется,
обвалится затопленный Донбасс,
что вновь к родным руинам возвратятся,
священной кровью их отвоевав,
что к небывалой жизни возродят их,
и смерть поправ и время обогнав...

13

В баньке черной и морозной
Люба ночью нянчит сына,
и, как при Иване Грозном,
в поставце горит лучина.

Дышит мать в ладошки сына,
наклоняясь над постелью,
а полночная долина
за окном кипит метелью.

Не бела метель — красна:
идет гражданская война.

В черных банях, в хатах старых,
у селений где-то с краю
проживают коммунары...
Впроголодь живут, нуждаясь...

Но не гнет покорно шеи
гордый питерский рабочий
перед хатой богатеев:
трудится с утра до ночи.

Женщины — те шьют казачкам
городские кофты, платья...
Кеша вновь пошел батрачить, —
только Кешу не узнать уж...

Тише и грознее тучи
стал когда-то робкий Кешка,
лучше не дразнить уж, лучше
не затрагивать насмешкой...

Коммунары ж, хоть и хмуры, —
ходят гордо при народе:
«Врешь, не сломишь Диктатуру,
ту, что в ленинском походе».

Люба напевает сыну...
Муж опять ушел на явку.
Сумрачно горит лучина
над разбитой черной лавкой.

Как в татарской злой неволе,
как столетия назад, —
даже так же
в чистом поле
крылья воронов
свистят.

Но не первороссиянке
петь тоскливей полонянки,
нет, — подносчице камней
не сложить в подполье руки:
песни не было грозней,
радостнее и нежней
той, которою баюкает...

«Спи, мой младший, мой красивый,
я твой сон блюду...
Ты рожден в Первороссийске
в огневом году.

В городах, в полях, в селеньях
бьется наш народ.
Крестный твой, товарищ Ленин,
сам его ведет.

Твой отец и днем и ночью
с горсткою друзей
лезвия и пики точит
в мастерской своей.

Твой отец сложил патроны
в изголовье к нам...
Спи, тебя никто не тронет...
Смерть твоим врагам!

Ты еще пройдешь по свету
гордый, молодой,
озаряя всю планету
сердцем, как звездой.

Спросят: «Кто идет, красивый?»
— «Это я иду!
Я рожден в Первороссийске
в огневом году...»

14

Она стояла позади села,
кустарником дремучим зарастая,
заброшенною ригою была,
а стала — питерская мастерская.

Сюда крестьяне на ремонт везли
любое — от плугов до самоваров.
Отменно ремонтировать могли
и дорого не брали коммунары.

От бешенства чернели кулаки:
кой черт? Людей ограбили, раздели,

глядишь — они опять уже при деле...
Ну и живучие ж большевики!

И снова льнет к ним всяческая голь, —
за двести верст порою приезжают,
а ты от страха корчиться изволь:
молчат — а вроде чем-то угрожают.

И, проезжая мимо мастерской,
косясь, как волк, кулак скрипел зубами:
там слышен звон металла день-деньской,
там пышет горн и в полдень и ночами.

«Они куют! А что ж они куют?
А почему б не шляться им с сумою?
А что они по вечерам поют —
вполголоса, но страшное такое?»

Да! Коммунары пели иногда, —
рука под песню веселей ходила, —
то были песни гнева и труда,
рожденные в далекие года,
звучавшие сегодня с новой силой.

> «Вихри враждебные веют над нами,
> темные силы нас злобно гнетут.
> В бой роковой мы вступили с врагами,
> нас еще судьбы безвестные ждут...
> Но мы поднимем
> гордо и смело
> знамя борьбы за рабочее дело,
> знамя великой борьбы всех народов
> за лучший мир, за святую свободу».

Окружена могучих гор кольцом,
стояла питерская мастерская,
и первозданные снега Алтая
над ней алмазным высились венцом...

Нет, здесь, конечно, не один ремонт.
Первороссийцы точат здесь кинжалы.
Строительство Коммуны продолжалось,
теперь перенесенное на фронт.

Перворосийцы здесь куют клинки,
готовят самодельные гранаты.
Тринадцать лет назад
вот так же — в Пятом —
они трудились в невских мастерских.

Вот так же года полтора назад,
идя по зову партии к восстанью, —
своих красногвардейцев неустанно
вооружал рабочий Петроград.

Весь опыт, весь запас партийной воли —
он пригодился им теперь с лихвой.
И тихо, грозно ширится подполье.
Его истоки — в этой мастерской.

Они порою сами посмеются:
сарай сараем, а на самом деле —
питомец колыбели революций,
кусочек пролетарской цитадели...

Кто не шагал через ее порог,
не грелся, не прикуривал у горна?!
А сколько шло из мастерской дорог,
тропинок тайных, торных и неторных.
Тропинки те змеились через горы,
в тайге плутали, пролегали в поле, —
в Кондратьевку, в село Высокогорку,
в Зырянск — в рудник,
в горняцкое подполье.

Ну, а ремонт — само собой. Тем боле
что не за ним одним идет мужик, —
поговорить — хоть шепотом — о воле:
«Была недолго, а ведь вот — привык.
Что делать-то? Ведь пропадешь задаром!»
И терпеливо, твердо коммунары
подводят к убежденню народ:
«Борись. И сбрось белогвардейский гнет».

И богатеи в кузнице бывали
и казаки — за тем или другим,
но питерцы дозор всегда держали, —
никак не подкопаться было к ним.

В их душах гнев лежал сухим, как порох.
Хранила сокрушающий заряд
та выдержка железная, которой
учила партия года подряд.

Ночь. Осень восемнадцатого года.
Ноябрь. И вьюга буйствует с утра.
С винтовкою дозорный встал у входа,
и пышет горн, подобие костра.

Сегодня в кузне — не одни мужчины,
есть женщины и четверо детей.
Они пришли в честь первой годовщины
великой Революции своей.

Седым венцом их окружают горы...
Они припоминают: год назад —
как раз сейчас —
ударила «Аврора»,
зовя к восстанью пролетариат.

Пылает горн; трепещет сумрак медный,
и, стоя с обнаженной головой,
поют — почти шепча:
«Это есть наш последний
и решительный бой...»
А в эти дни — восстаньями объята
Европа (знать бы им такую весть!).
Уже Совет рабочих депутатов
и в Гамбурге и в Будапеште есть.
В Берлине стачка общая...
Вильгельм
отрекся от престола.
. . . .
На Алтае
идет зима, ревмя ревет метель,
подполье крепнет — силы нарастают.
...А сын у Любы произнес «агу»,
и вовсе поседела тетя Катя:
ох, тошно ей прислуживать врагу,
кроить казачкам городские платья!..

Весна. Иртыш ползет из берегов.
Пришел горняк зырянский — по секрету
сказать, что наши взяли Перекоп,
что в Венгрии — республика Советов,
что диктатура пролетариата
в Баварии...
«Друзья, мы не одни!»
И огненною радостью объяты
сердца первороссийцев. И они
сейчас готовы броситься в атаки
на капитал...
Но по десяткам мест
распоряженье отдает Гремякин
собрать в селении Қара-Булаке
подпольщиков и партизан на съезд.
Ведь это просто — вдруг схватить винтовку
и в брюхо Щуракову штык вонзить.
Восстанью нужен штаб и подготовка.
Всё это должен срочно съезд решить.

Они собрались в мае в центр кочевий,
в Қара-Булак, поселок из глухих.
Сюда все восемьдесят шесть ячеек
прислали представителей своих.
Гремякин думал: «Кто сказал — врагами
Первороссийск растоптан?
Он живет!
Вот он когда развертывает знамя,
свершая грозный ленинский поход...»

В те же дни на Шлиссельбургском тракте,
выехав из заводских ворот,
шел тихонько первый русский трактор,
а за ним валом валил народ.

В зиму восемнадцатого года
в пушечной, среди снегов и льда,
был он создан волею народа,
жаждущего мира и труда.
Трактор шел в огромных красных бантах,
страшный дым и гром стоял окрест,
а за ним шагали музыканты,
бывшей Красной гвардии оркестр.

Что они могли играть победней
песни пролетарской мировой?
«Это есть наш последний
и решительный бой!»

И на праздник в честь машины новой,
не жалея, выдал райкомпрод
пуд повидлы, пять пудов моркови,
чаю фунт и воблы штук пятьсот.

Но родился трактор в неурочный,
в тяжкий час: на город шли враги.
Первый трактор был отправлен срочно
тягачом — на фронт. И там погиб.

15

Восстанье намечалось на сентябрь.
Шла подготовка тщательно — всё лето.
За это время рухнули Советы
в Баварии и Венгрии.
Хотя
Первороссийск еще не знал об этом,
но даже если б и отлично знал, —
он вместе со страной своею прямо
за будущее мира отвечал
и победить готовился упрямо.
Сентябрь... Всё чаще говорят в народе,
что Колчаку от красных достается.
Да, это верно.
Значит — срок подходит:
восстанье с наступлением сольется...

Сказал Гремякин:
«А ведь надо знамя.
Никак нельзя без знамени начать...»
...И Люба с Катей трудятся ночами
над жаркой полосою кумача.
Древко готово... Всё уже готово...
Наутро сразу в нескольких местах —
в Кондратьевке, в Гусиной, в Снегиреве —
под этим знаменем должны восстать.
Гремякин подтверждает приказанья.
Все разошлись.

В притихшей мастерской
остались только первороссияне —
прилаживают знамя на древко.
О, как их взоры блещут, разгораясь,
как сердцу их бесстрашному легко!
И вдруг,
нежданно,
настежь дверь сарая,
в дверях — казаки,
с ними — Щураков.

И если б даже скрыть успели знамя, —
попытка ничему б не помогла:
первороссийцы ощутили сами,
что это — гибель,
это — смерть вошла.
Казаков — сотня, озверевших, дюжих,
а питерцев — не больше десяти,
и к каждому в упор десяток ружей
рванулось сразу — с места не сойти...
И Катя встала рядом со Степаном,
и за плечо Алешу взял Степан,
и сдвинулась под знаменем багряным
плотнее горстка первороссиян.
И в этом столько мощи гордой было
и так была осанка их грозна,
что на минуту в кузне наступила
бездонная, как вечность, тишина.

И вдруг Василий всей душой услышал
тот солнечный, тот лучший свой рассвет,
когда он понял, что в Коммуне дышит
и что для коммунара смерти нет.
«И если даже мы погибнем,
сами
не совершив того, чего хотим, —
всё довершат идущие за нами
по нашему открытому пути.
Я видел их. Они идут за мной
по всей земле, неукротимей лавы,
идут за мною — за моей страной.
Так вот оно — бессмертие и слава!»

И, оглядев с презреньем казаков,
сказал Василий, полон властной силы:
«Ты опоздал с расправой, Щураков!
Уже Коммуна в мире победила».

Их расстреляли тут же, в мастерской,
и разнесли, в щепу разбили зданье.

. . . .

Наутро в селах началось восстанье.
Его возглавил Кеша Боровой.

Он несся на коне, вооруженный
винтовкою — подарком Ильича,
безжалостный, прекрасный, обожженный,
вздымая ввысь лохмотья кумача.
И всё грознее, злей и горячее
восстанье шло —
как спущенный курок,
и встали восемьдесят шесть ячеек
в назначенный погибшим штабом срок.

В отрядах были пики и кинжалы,
гранаты петроградской мастерской.
Строительство Коммуны продолжалось,
как вдохновенный всенародный бой.

«За власть Советов!»
Лезвие в отсветах
пожаров, — лезвие точил Степан.
Еще село встает...
«За власть Советов!»
И множатся отряды партизан,
и беззаветней всех,
и боль, и ярость,
и скорбь свою расходуя сполна,
дерутся петроградцы-коммунары,
твердя друзей погибших имена.
Неумолимы в праведной расплате,
они врага с путей своих смели
и вместе с Красной Армией вошли
как победители — в Семипалатинск.

16

...Потом нашли расстрелянных тела
и кумача клочок — наверно, знамя,
и на руках толпа их понесла
в долину, выбранную ходоками...

Здесь так же ярко рдели чаши маков
и несся ветер с горной высоты.
Опущен гроб — надежно брошен якорь
в земле дерзания, в земле мечты.

...Так пусть над ней трепещут, колыхаясь,
как вечная огромная заря, —
знамена Смольного,
знамена Октября,
знамена Венгрии, Болгарии и Праги,
знамена всех, кто бьется за свободу,
и символ жизни, вера всех народов, —
кремлевские пылающие стяги.

. . . .

А там, где землю питерцы пахали,
где свой поселок строили когда-то, —
теперь стоит колхоз. Его назвали
Первороссийском.
Он возник в тридцатом.

Он возродился к новой жизни в годы,
когда крестьянство движется в поход
за новый строй, за полную свободу
и власть свершает с помощью народа
подобный Октябрю переворот,
когда большой конвейер Сталинграда,
все трудности и муки поборов,
деревне шлет могучие снаряды,
взрывающие древние уклады, —
те ленинских сто тысяч тракторов,
и с ними вместе,
чтоб навеки выжечь
остатки прошлого — кулацкий гнет,
в деревни двадцать пять рабочих тысяч
по приказанью партии идет.

О годы первых весен большевистских,
о молодость прекрасная моя!
Как рада я, что ты сумела слиться
с могучей переделкой бытия,
что всё его дыхание большое
в себя, как воздух, вобрала сполна,
что испытала собственной душою
всё, чем горит, — борясь, мечтая, строя, —
моя, всегда крылатая, страна.

...Я там была, в колхозе их, землячка
навеки юных первороссиян.
Поселок был построен весь иначе,
но сохранил звездоподобный план.
И всё, о чем они мечтали бурно, —
давно привычным бытом стало тут:
очаг, больница, школа, дом культуры
и общий радостный и мудрый труд...
Следы трагедии — следы пожара —
искали долго мы и не нашли,
и не было здесь первых коммунаров,
но были все, кого они вели!

Мне не забыть первороссийской ночи,
в крови затрепетавшего огня,
когда я вдруг увидела воочью
то, что легендой было для меня.

Мерцала ночь, и воздух был смолистым,
и легче пуха — горные хребты.
Мы шли поселком, трое коммунистов,
землей неотцветающей мечты...
И тихо было. Но она жила,
перед зарей притихшая долина,
и думала о чем-то важном, строгом
и важно думу слушала свою.

И, вслушиваясь в тишину природы,
сказал негромко строгий и седой
партиец девятнадцатого года,
товарищ Иннокентий Боровой:
«Прекрасен наш Первороссийск!
Но скоро,

не более чем года через три,
здесь не поселок будет — целый город.
Уже и план составлен, посмотри...»

И председатель, Никанор Свиридов
(мужик, что шел с Гремякиным в тягле),
показывал, как будто б рядом видел,
всё, что возникнет на его земле.

«Здесь будет зданье университета,
здесь, на потоке, — станции стоять,
и я залью долину нашу светом,
начну электротрактором пахать...»

Мерцала ночь, уже клонясь к утру,
таинственно с востока розовело,
и всю-то ночь поблизости в бору
прекрасная ночная птица пела.

Я вздрогнула, узнав напев ее —
простой, отрадный и всегда желанный.
И вот, услышав, как она поет,
мы вспомнили о первороссиянах.

Любовь и песня в силах превозмочь
рубеж времен и немоту могилы;
они частицей нашей жизни были, —
они вошли живыми в эту ночь.

Наверно, сразу было б не узнать им
поселок свой... Но, опознав его,
заплакала б от счастья тетя Катя
со всею силой сердца своего.
И гордостью б, как светом, засверкали
Гремякина глубокие глаза.
«Как вы ушли от нас,
в какие дали, —
своим бы он наследникам сказал. —
Наш план... он робким кажется, наверно,
с размахом вашим сходства не найти...»
— «О нет! Мы чтим его — как самый первый
смелейший шаг по дерзкому пути.

Вы искру здесь тогда сумели высечь,
в нее вложили страсть свою и жизнь.
Он был один — теперь их сотни тысяч,
Первороссийсков. Близок коммунизм.

Уже его вдыхаем мы, как воздух,
как ты вдыхал, Гремякин, свой рассвет.
Но мы не знаем, что такое отдых, —
ты видишь сам: мечте предела нет.
Она мужает, мощно воплощаясь,
она стремится в даль грядущих лет,
и вновь она — как всё у нас! — начало
всемирных человеческих побед.

Мы чуем день — из будущего вырван, —
как распахнется настежь, заблистав,
проект и надпись:
«Первая Всемирная
Коммуна Тружеников». И Устав.
И сквозь него, сквозь выстраданно-ясный,
по праву первородной красоты,
проступят зримо, радостно и властно
Первороссийска юные черты, —
его едва поднявшиеся срубы,
его посевы в гибельном огне,
и женщины закушенные губы,
тащившей плуг по жесткой целине,
и та, что всех заметней и чернее —
проложенная ею борозда,
и ржавый Марс, пылающий над нею, —
звезда войны, неженская звезда...

Не может быть иначе. Так решила
История. И нам, начавшим путь,
вручила знамя, в руки меч вложила
и в знак отваги обнажила грудь...»

Так мы беседовали до восхода,
открыв глубины сердца своего
перед великим будущим народа,
перед живой историей его.

И вот заря зарделась. И зарею
вершины гор окрасились сперва.
И солнце поднималось над страною,
и новый день вступил в свои права...

1949—1957



III

350. ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРИК

Эшелоны ленинградцев
уезжают укрепляться.
Гражданин Иван Морозов
сам приходит к управхозу,
головной убор снимает,
волноваться начинает:
почему и отчего
не берут с собой его?
Управхоз дает ответ:
«Вам седьмой десяток лет,
заслужили вы покой
вашей жизнью трудовой».
Гражданин Иван Морозов
стал от гнева густо-розов,
головным убором хлопал
прямо оземь, прямо о́ пол;
невозможный поднял крик
этот правильный старик:
«Посмотри на эти руки, —
дед Морозов прокричал, —
не от старости, от скуки
руки стонут по ночам!
Наши годы ни при чем,
если надо — перечтем.
Нет различья поколений,
если встала вся страна,
если строить укрепленья
нам команда отдана!
Наши годы ни при чем,
как желаем — так сочтем!»
Встал со стула управхоз,
вытер с глаза пару слез:

«Коль болеете душой,
поезжайте, хорошо!»
Вот старик уже на стройке,
смотрит гордо, ходит бойко.
Ходит — видит: без лопат
двое девушек торчат.
Очень девушки старались, —
их лопаты поломались.
Дед лопатам сделал ручки, —
«Получай оружье, внучки!»
Дед собрал себе бригадку,
дед по кустикам пошел,
дед лопаток три десятка
в неисправности нашел.
Стариковская бригада
всё поправила, как надо.
Не лопаты, а ножи,
сами ходят — знай держи!

Славься, дедушка Морозов!
Так и скажем напрямик:
жабе-Гитлеру угроза
этот правильный старик.

1941

351. ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРИК И РЫЖИЙ ДЯДЯ

Встало солнце, встали роты,
за горой петух пропел.
Дед Морозов на работу
поспевает по тропе.

Дедка видит: у ракит
рыжий дяденька сидит.

«Что вы делаете, дядя,
в одиночестве притом?»
Тот сказал, в глаза не глядя:
«Я страдаю животом!»

Покосился дядин рот,
дядя тронул свой живот,
дядя цвета рыжего
говорит: «Не выживу!»

(Дед Морозов сердобольный
видит: верно, дяде больно —
дядя стонет роженицей,
хоть сейчас клади в больницу.)

Дед больного к медпалатке
подтащил за ремешок:
«Облегчите парню схватки,
дайте лучший порошок!»

Дядя принял порошок —
всё ему нехорошо.
Говорит, что в животе
всё мелодии не те.

Доктор пишет бюллетень:
«Полежите этот день,
может быть, у вас живот
от лежанья заживет!»

Бюллетень больной берет,
бодро к выходу идет,
гордо улыбается,
больше не сгибается.
Он не чувствует, что дед
очень зорко смотрит вслед.

Дед идет тихонько сзади
по следам больного дяди.
Дедка видит, что больной
совершенно стал иной:
ни желудочных явлений,
ни тоски в его очах, —
нет, у дядьки на коленях
пол-ржаного кирпича.
Дядя хлебушко жует,
дядя в небушко плюет.
«Не позволю симулянту
применять свои таланты!
Не позволю лодырю
здесь лежать колодою!

Не щадит себя народ
в тяжкой схватке с нечистью,

кровь и силу он кладет
на алтарь отечества!
Ну, а ты хотел, урод,
обмануть такой народ?!

Ишь ты, — задал ревуна,
представлял покойника!
Может, хочешь в трибунал,
может, там спокойнее?

Не надуешь, ни черта!
Ну-ка, брысь из-под куста!»

...Говорят, что этот лодырь
до того напуган был —
лез потом в огонь и в воду,
то есть, прямо землю рыл!

Славься, дедушка Морозов!
Так и скажем напрямик:
симуляции — угроза
этот правильный старик.

1941

352. ОДНА НОГА ТУТ, ДРУГАЯ — ТАМ

Лейтенант фон Цвибельбат
написал своей жене:
«Мы идем на Ленинград.
Этот город будет взят
беспрепятственно вполне.
До него подать рукой, —
нет задержки никакой.
Мы идем, как на параде,
и уже одной ногой
нахожусь я в Ленинграде...»
Шел он гордо, как павлин,
Но случилось в самом деле,
что в конце второй недели
он доплелся еле-еле
на одной ноге... в Берлин!

«Как?! В Берлин? Чего же ради?
Он ведь шел, как на параде...
А нога куда девалась?»
— «Как куда? Под Ленинградом,
как была, так и осталась!»

1941

353. ТРИ «РАДИОЛЮБИТЕЛЯ»

Опустились из-за тучки
три фашиста, три вонючки,
ладят, гады, радио, —
рады, что нагадили.
Только руку занесли —
сделать сообщение —
наши — как из-под земли! —
гадам нет спасения.
Радиолюбители,
пули не хотите ли?
Запищало радио,
Гитлера не радуя.
Ветер Гитлеру понес
сообщенье срочное —
«Пропадаем!» —
совершенно точное.

1941

354. ГАДЕНЬКИЙ ДЯДЕНЬКА

Ходит-бродит дяденька,
грязненький и гаденький.
У него трясутся ручки,
сзади выпачканы брючки,
у него поджатый хвост,
у него клопиный рост, —
словом, — как ни говори ты, —
дядька мелких габаритов.
Но зато вот орган слуха,
то есть, грубо скажем — ухо
длинное-предлинное,
видно, что ослиное.

Видно, что немытое, —
значит, глуховатое,
видно, что небитое, —
значит, глуповатое.
Но зато вот орган речи,
скажем попросту — язык,
у него нечеловечий, —
до пупа висеть привык.
Он висит, болтается,
во рту не умещается, —
вот такой длины,
вот такой ширины!
Вот своим ослиным ухом
дядька ловит слух за слухом.
Копошатся слухи в ухе,
как в червивом мясе мухи,
вводят дяденьку в тоску,
сами лезут к языку.
Он язык трясет,
чепуху несет,
чепушину вздорную,
подлую, позорную...
Ну а рядом с ним — как птички —
три сестрички-истерички,
испускают вопли,
распускают сопли, —
тьфу,
черт
их
бей, —
только путают людей!
Нет, нет, — не дадим
бегать дяденькам таким, —
мы приметы сообщим,
чтоб любой его узнал,
чтобы за ухо схватили
и стащили в трибунал!

1941 или 1942 (?)

355. КОЛЯ НА МОТОРЕ

1

Ехал-ехал сорок миль
голубой автомобиль.
Ехал-ехал и устал —
поперек дороги стал.
Вылезает здесь шофер,
открывает он мотор.
Говорит: «Оказия!
Это безобразие!
Ехал-ехал сорок миль,
ехал мой автомобиль,
ехал-ехал и устал,
поперек дороги стал.
Всё понятно сразу —
мой мотор не смазан...
Чтобы ехать без опаски,
побегу, куплю подмазки».

2

А бузливый Коля
не учился в школе,
майским барином гулял,
людям ножки подставлял,
за хвосты щипал собак,
развлекался так и сяк.

Вот дошел он до мотора,
а мотор-то без шофера,
Коля тотчас — на мотор,
говорит: «Я сам шофер!»
Удивляется мотор:
«Это что еще за вор!
Он испортит рычаги —
я останусь без ноги.

Он испортит сразу
оба мои глаза,
стащит дудочку мою,
как тогда я запою?»
Коля в ус не дует,
знай себе балует!

Тут мотор как зажужжит,
тут мотор как задрожит!
Полетел автомобиль,
сзади пыль, пыль, пыль,
сзади крик, крик, крик,
поршень дрыг, дрыг, дрыг.

Тут мильтоны прибежали,
в сто свистков они свистали,
а мотору нипочем,
он несется напролом,
а мотор-то через мост,
переехал чей-то хвост,
а мотор-то прямо в реку,
прямо в реку!
С человеком!
Всё ключом пошло ко дну,
Коля закричал: «То-ону-у!»
Тут сбежались дети, дети,
опустили сети, сети,
    Колю выудили,
    Колю выловили,
Колю под руки берут
и в милицию ведут.
Всем таким озорникам —
    по рукам!

Май 1929

356. КАК ВАНЯ ПОССОРИЛСЯ С БАРАНАМИ

Что за звери? Кто такие?
Шубы в кольца завитые,
    рожки круты,
    ножки гнуты,
    сами прыткие...
Это Ванины бараны.

Ваня пас их
спозаранок
На лугу, лугу, лугу,
у реки на берегу.
Так и жили дружно
бараны да Ваня.
Ну а маме нужно
шерсточки бараньей
на мягкие варежки,
на теплые валенки.

Вот и заперли баранов,
не погнали на поляны.
Мама Ваню позвала,
мама ножницы взяла.
А уж ножницы-то — вот,
всякий испугается,
если близко подойдет, —
спросит: «Не кусаются?»
Разевают они пасть,
поедят сегодня всласть,
только чавкнут разок —
вот и шерсти клок...

Свяжет бабушка
Ване варежки,
сваляет дедушка
Ване валенки.
Ночью снился Ване сон:
набежали с трех сторон
бараны бритые,
сердитые-сердитые.

У постели Ваниной
запахло бараниной.
Они ногами топают,
они ушами хлопают,
трясут рогами,
сучат хвостами,
и блеют, и кричат:

«Шубы нам отдай назад —
нам ведь стыдно,
нам обидно,

станут все смеяться,
станут потешаться,
расхохочется индюк,
а за ним и все вокруг.
Скажут: «Обокрали,
шубы ободрали,
    стрижки,
    барышки,
поповы кочерыжки».

Только Ваня не простак,
он сказал баранам так:
«Глупые вы головы,
не мозги, а олово.
    Каждой ярке
    в шубе жарко,
и потеет без конца
в шубе каждая овца,
а к зиме они опять
будут шибко отрастать,
    сивые, густые,
    в кольца завитые.

Будем все одеты,
сыты и согреты...»
Успокоились бараны,
разошлися по сараям,
    сами стриженые,
    разобиженные...

1929

357—363. *Турман*

1

...Летели две птички,
ростом невелички.
        Тут и лето, и зима
        заморозили меня.
Как они летели,
все на них глядели,

а как опускались,
нежно целовались.

Тут и лето, и зима
заморозили меня.

2

ГОЛУБИ

Над заставою не снег
разыгрался в вышине, —

в небе ясном, голубом
голубок за голубком,

турман стайку водит,
турман колобродит,

он и этак, он и так,
он и вниз, он и вверх,

крыльями-то мах! мах!
перьями-то сверк-сверк...

А уж стайка вся за ним,
за начальником своим.

Турман, турман, турманок,
сизокрылый голубок!

3

ГОЛУБЯТНЯ

Как у нас-то на дворе
есть на что и посмотреть:
на высоких ножках
домик без окошка,
а на крыше клетка
будто беседка.

Лесенка крутенька —
двадцать две ступеньки.

Вот так домик!
Вот так дом!
Кто воркует
в доме том?

Там голу́бки ходят,
голубят выводят,
голых голубенышей,
маленьких детенышей.

4

ТРЯПКА

Голуби летали,
голуби устали,
отдохнуть хотели,
к дому полетели.

Вдруг из голубятни
выскочила тряпка,
страшная тряпка,
на тряпке шапка,
черная, мохнатая,
с красною заплатою.
Как замахала,
как засвистела —
всех распугала
голубочков белых!..

Уж они струхнули,
высоко вспорхнули,

высоко́, высоко́,
выше серых облаков!

5

СТАЯ

Как на дворике-дворе
голубятня в серебре:
высыпали голуби
голубые головы,

белые шапки,
красные лапки.

Сели, посидели,
да и полетели.

Турман стайку водит,
турман колобродит.

6

ДРУГАЯ СТАЯ

Вдруг навстречу стая
поднялась другая —
с недалекого двора —
«Чтоб ни пуху, ни пера!»

Водит стаю лихо
злая турманиха,
турманиха черная,
хитрая, проворная.
Уж она хитрит-хитрит,
прямо к турману летит,
манит к дому своему,
усмехается ему.

7

Вот в поднебесье
обе стаи вместе,
обе стаи кружатся,
обе стаи дружатся.

Турман, турман, погоди,
к турманихе не ходи.

Только турман не простак, —
он и этак, он и так.
Как он закружился,
кубарем завился,
кубарем-буравчиком,
удалым красавчиком.

Вверх тормашками летит,
к дому своему спешит,
а уж стая вся за ним,
за начальником своим.

1928—1929

364. ПОЕДЕМ ЗА МОРЯ

На реке шумят колеса,
взяли на борт якоря,
буду, буду я матросом,
я поеду за моря.

Будет с ленточкой фуражка,
воротник в полоску
да рубашка нараспашку, —
белая матроска!

Мама скажет:
«Ты куда же,
Петенька, мой славненький?»

«Оставайтесь! —
Петя скажет. —
Уезжаю в плаванье».
Папа скажет:
«Это даже,
очень даже здорово!
Плавай, плавай, —
папа скажет, —
от города к городу».

Папа сам матросом был,
на «Авроре» он служил.
На «Авроре» он служил,
бомбу в Зимний запустил.

А сестренки заорут:
«Мы с тобой, братишка!
В красный флот теперь берут
не одних мальчишек».

«До свиданья!» — скажет папа
и проводит нас до трапа.

А в реке шумят колеса,
поднимают якоря,
будем, будем мы матросами
и уедем за моря.

⟨1931⟩

365. ПИОНЕРСКАЯ ЛАГЕРНАЯ

Стройся, отряд,
едем в лагеря!
Эй, трубачи!
Два шага вперед!
Заиграли трубы,
весь отряд поет!

Эй, барабанщики,
бейте в лад!
Бьют барабаны,
шагает отряд!
Наши знамена
всех обогнали,
наши знаменосцы
шагают перед нами.
Наш запевала
песню припас,
начинай — подхватит
каждый из нас.
Начинай, начинай,
что же нам не начинать?
Что же нам не начинать
нашу песню сочинять? . .

За рекой стоит колхоз —
надо ехать через мост,
а по этому пути
не проехать, не пройти:
речка льется, мост трясется,
человек боится!
Вышли нá мост мы с утра,
взяли по два топора,
заиграли молотки,
ударили топорики,
чиним старые быки,

меняем подпорки.
Чиним, чиним и поем,
никогда не устаем!
Мы украсим этот мост
елками и флагами;
назовем мы этот мост
по-новому: Лагерный.

Как у речки у реки,
у самого моста,
собирались моряки
небольшого роста.
Над рекою вьются флаги,
на реке ныряет лагерь,
на реке, на реке,
у берега правого
кто плывет на челноке,
а кто просто плавает.
Мы ныряем и поем,
никогда не устаем.

Размахнись, моя рука,
ты встречай меня, река,
ты встречай, ты встречай,
на волне меня качай!

Во саду ли, в огороде
не растет капуста.
Сорняками на свободе
зарастает густо.
Уж как в этот огород
вышел лагерный народ,
с барабанами народ
вышел рано в огород.
Где тут, где тут лебеда,
подавай ее сюда.
Лебеда, лебеда,
не вырастешь никогда.
Полем, полем в три руки,
берегитесь, сорняки,
полем, полем и поем,
никогда не устаем!
Знать не знаем мы отроду,
что такое усталь.

Во саду ли, в огороде
вырастет капуста!

На выгоне, на лугах,
у ручья зеленого,
нам подпаски на рожках
сыграют «Буденного».
И научат нас потом
по траве стрелять бичом.
Как винтовка бич палит,
стаду слушаться велит!
Мы подпаскам прочитаем,
как сражаются в Китае,
пионерскую споем,
как мы в лагере живем.

Верещат комарики,
бьют в колхозе косы.
Пионер-ударники,
выйдем на покосы!
Выйдем, выйдем на покос,
забирай косцов, колхоз,
забирай, поучи,
нашу косу наточи.
Ну, прощай, трава-краса,
покошу, пока роса.

Косим, косим и поем,
никогда не устаем!
Наши руки не ослабли,
наши косы точно сабли,
наши грабли — ну и грабли!
Сам косец —
молодец,
колхозный ударник.

⟨1931⟩

366. ПРИПЕВ

Гори, гори ясно,
красная звезда,
чтобы не погасла
никогда!

Гори, гори ясно,
сердце мое.
Мне тебя не жалко —
бери свое.

Гори, гори ясно,
жизнь моя,
горькая, страстная,
радостная,

гори, гори ясно,
как
    звезда, —
чтобы не погасла
никогда!

1937

367. МАРШ ОЛОВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ

Эй, солдат, смелее в путь-дорожку!
Путь-дорожка огибает мир.
Все мы дети Оловянной Ложки,
и ведет нас Юный Командир.

Гремят наши пушки,
штыки блестят!
Хорошая игрушка,
дешевая игрушка —
коробочка солдат.

Командир моложе всех в квартире,
но храбрей не сыщешь молодца!
При таком хорошем командире
рады мы сражаться до конца.

Гремят наши пушки,
штыки блестят!
Отличная игрушка,
любимая игрушка —
коробочка солдат.

Всех врагов мы сломим понемножку,
все углы мы к вечеру займем,

и тогда об Оловянной Ложке
и о Командире мы споем.

Гремят наши пушки,
штыки блестят!
Первейшая игрушка,
храбрейшая игрушка —
коробочка солдат!

Осень 1940

368. РОМАНС СТОЙКОГО ОЛОВЯННОГО СОЛДАТИКА

1

В синем сапоге,
на одной ноге,
я стою пред комнаткой твоей...
Буки не боюсь,
не пошелохнусь, —
всюду помню о любви своей!

Пусть и град, и гром,
пусть беда кругом, —
я таким событьям — только рад.
Охватив ружье,
с песней про Нее, —
крепче на ноге держись, солдат.

2

В синем сапоге,
на одной ноге,
под твоим окошечком стою.
Буки не боюсь,
не пошелохнусь,
охраняю милую мою.

Пусть беда кругом,
пусть и град, и гром, —
никогда не отступай назад!
Охватив ружье,
с песней про Нее, —
крепче на ноге держись, солдат!

Осень 1940

Маятник шатается,
полночь настает,
в доме просыпается
весь ночной народ.

Что там зашуршало,
что там зашумело?
Мышка пробежала,
хвостиком задела...

(Никому не видные,
тихонькие днем,
твари безобидные,
ночью мы живем.)

Слышишь сухонький смычок, —
ти-ри-ри, ти-ри-ри...
Это я пою, сверчок, —
тири-ри, тири-ри...
В темной щелочке сижу,
скрипку в лапочках держу...

Если вдруг бессонница
одолеет вас,
лишнее припомнится,
страшное подчас, —

слушай тихий скрип смычка —
тири-ри, тири-ри...
Слушай песенку сверчка —
ти-ри-ри, ти-ри-ри...

И тоску постылую
заглушит сверчок —
сны увидишь милые:
пряник и волчок.

Слушай, слушай скрип смычка —
ти-ри-ри, ти-ри-ри...
Слушай песенку сверчка —
ти-ри-ри, ти-ри-ри...

Осень 1940

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

28

3—4
авт. машинопись

С утра журавль у колодца
Токовал в томящую сушь...

строфа 2

О мать, останься у дома —
Пойду его отыскать.
По степям звездою знакомой
Меня поведет тоска.

строфа 5

А если придет с другою,
Не плачь и молчи, о мать.
Запасись в дорогу водою
И уйди из дома сама.

34

между 20 и 21
автограф

Ощупывая на листе
Из выемок значенья
И странствуя по темноте
Наивных изречений.

44

между 4 и 5
автограф

Камни набережной темны...
Вот неспешно двое прошли,
По-английски они стройны,
И наречье чужой земли;
Запах сладкого табака,
Запах сумеречной страны,
Так спокойна в руке рука,
А наверное — влюблены.

29—32

Папиросный красный огонь
Западает в зрачки сгоряча...
Каждый маленькую ладонь
Хочет чувствовать у плеча...

50

22—25 автограф

Вот голос кости пожелтелой,
Слегка гнусавый в высоту,
Но зов ее осиротелый
Понятен милому скоту.

74

вместо 1—9 автограф

Их было тринадцать — спокойных, лучших,
Словно на поединок
Они отправлялись за хлебом насущным
В самые дебри глубинок.

Сначала дорога единая шла, —
От ржавого полустанка
До староверческого села,
А там наступало расстанье.

[Оттуда лежало тринадцать дорог,
А может, и двадцать пять.
Но было известно: там хлеб залег.
Нужно его взять.]

За́ полночь было, и сон был давним.
В одной избе на отшибе свет
Узкой полоской сиял из ставни,
И это был сельсовет.

«Кто?» — председатель спросил у входа.

после строфы 3

Приезжие говорили недолго
С тремя коммунистами села:
Они перезябли, одежда отволгла,
Глазницы дремота жгла.

вместо строф 7—8

Прямые, спокойные, тело к телу
Лежали зарезанные, строги.
И спичка, на пол упав, зашипела,
В лужице, у ноги.

[Лежали сонные, точно дети,
Лицом не изменясь никак,
В годовщину гибели,
на таком же рассвете,
Будет застрелен последний враг.]

Но было в районе в те дни тревожно,
Панику вызвать убийства могли.
В огороде поблизости осторожно
Двенадцать товарищей погребли.

после строфы 11

И песня, не умолкая, шла
За гробом его, и слово.
И у каждого нового села
Петь начинали снова.

после строфы 12

А там, где стучит сырой лопух,
Там, где чадит конопля,
Безвестно погибшим — да будет как пух
Державная наша земля.

Один прославлен в тринадцать крат
Бессмертной любовью народа,
И дети легенду о нем повторяли
Рождения тридцатого года.

80

3—16 Зв, Ст-34

И светлячок, как лишняя улика,
Мигнул мне детским, слабеньким огнем.
Брожу, кусаю сладковатый стебель,
То подражаю дальнему ку-ку,
То вдруг зверей разоблачаю в небе,
Мараю руки в ягодном соку.
Так, значит, ты не навсегда уходишь,
Повадка, слух и зрение детей?
Так, значит, рядом странствуешь в природе
И удивляешься, пьянея от затей?

87

после 32 автограф

Я завтра утром встану рано-рано,
Услышав тонкий рокот барабана,
И, подбежав к широкому окну,
Его в социализм распахну.

117

5—8 МГв

А где простимся мы? Доколе?
На площади ли городской,
На перепутье в чистом поле,
У переправы ль над рекой?

между 21 и 22

И ты поймешь, что не бывало
Измен, обид, разлук, скорбей
В любви, которую спаяла
Тревога родины твоей.

119

вместо 6—8 МГв, КнП

Неразлучном, верном и своем.
Всем словам знакомым отказала,
Говорим которыми, поем.

Потому что не найти мне слова
Главного, которого хочу:
Сорок раз скажу о прочих снова,
О тебе до срока промолчу.

26—28 автограф
Чтоб запомнил каждый навсегда.
Только б жизни у меня хватило
Для такого счастья и труда.

123

между 12 и 13 автограф
Живет любовь твоей порукой,
Чтобы гордиться и творить;
Горчайшую мою разлуку
Лишь ты сумеешь утолить...

Так, в каждой песне о расстанье,
Лишь потому, что я люблю, —
Я трудное твое мужанье,
О Родина, запечатлю.

129

строфа 2 ЛПр
Прежде, чем в памятниках, в обелисках,
Прежде, чем в стройных, стеклянных дворцах, —
Ты возникаешь невидимо, близко
В наших — открытых тебе сердцах.

16
как самую тайную повесть твою...

130

между 8 и 9 автограф
Как прежде всё... Всё по-иному.
А я, бездомная, брожу.
На угол каменного дома
С тоской ревнивою гляжу...

132

5—10 автограф
Вот опять обстрел. Не добежать ей.
Ждет корабль. Отрезаны пути.
Где-то кровь ей брызнула на платье —
Не ее ли? Всё равно идти,

Из-под смерти, из-под черных крыльев
Вынести ребенка, добежать...

134

между 8 и 9 автограф

Он над сном твоим летит,
И, храня тебя бессменно,
Он крылом приосенит
Золотой покой вселенной.

после 24 автограф

И вот настанет день, повитый
Необычайной тишиной,
И матери детей убитых
Сойдутся тихо, по одной.

Еще не убраны, изрыты
Дома и улицы в дыму.
И матери детей убитых
Приступят к долгу своему.

Бесслезно, медленно обсудят,
Какую казнь для палачей
Избрать — за смерть своих детей,
И эта казнь — ужасной будет.

144

17—20 автограф

И снова хватит сил,
Не помня этих дней,
Всё то, что ты любил,
Любить еще сильней.

149

загл.

В ЛУГЕ

2

после 8 автограф

Сколько женщин ко мне прибегало:
«Дай согреться, озябла душа...»
Если я им когда помогала,
Значит, жизнь у меня хороша.
Сколько ранних утрат и печали
Надо мною смыкалось, душа...
Если люди и мне помогали,
Значит, жизнь у меня — хороша!

168

9—14 автограф

Радость мне не утаить,
Горечи не высказать.
Лучше, чем друзей томить,
В одиночку выстоять...

Никого не берегла,
Никого не мучила

вместо 17—24	Что же ты меня томишь, Жизнь моя, изменница? Расставаться не велишь, Шепчешь — «переменится»...
между строфами 4 и 5 «Смена»	Одинокая моя, Жизнь моя, печальница! Не оглядывалась я: Было и промчалося. Ах, какая б ни была, Стой, неудержимая! Одаряй, сжигай дотла, Страшная, любимая.

199

между 12 и 13 ЛТ	И, крылья мечевидные расправив, Откинув кудри буйные с виска, Летит над ними бронзовая слава, Держа венок в протянутых руках.

205

чернов. набросок	Я вновь тебе на верность присягаю, [Предсмертную усталость одолев] Тоску предсмертную преодолев. Уже не та, что раньше, а другая, Но всё на той же пламенной земле. Клянусь тебе на ржавой хлебной корке, На неочищенной воде речной, На угольках, на дыме, слишком горьком, На камне, пролетевшем надо мной.
между строфами 1 и 2	Я, мать, благословившая на славный, На ратный подвиг сына своего — Я говорю сейчас с Тобой, как с равной, С высоко поднятою головой.
между строфами 3 и 4	Мы зубы сжали, тесно стали рядом, Мы все отныне — кровная родня; Войди в мой дом, защитник Ленинграда, Вот хлеб — возьми, погрейся у огня. У нас на строгих опаленных лицах Не страх, а гнев и ненависть горят. Я говорю тебе — мы будем биться, Мы не сдадим фашистам Ленинград.

208

между 30 и 31 ЛГ

И если бы ты знала, мама,
Как изменилась я сейчас.
Я стала злей, прямей, упрямей, —
Такие все теперь у нас.

Урву минутку меж делами —
Снимусь, и карточку пришлю,
И напишу на ней стихами,
Как много я тебя люблю.

А мне теперь, сквозь рев смертельный,
Всё чаще, в сумраке, в ночи,
Твоей забытой колыбельной
Напев отраднейший звучит.

Внимая древним этим звукам,
Я думаю, что ты ее,
Всё ту же песню — новым внукам,
Моим ребятам пропоешь.

Да, мы для жизни, мы для жизни
Так бережем сейчас себя,
Что не услышим укоризны
От будущих своих ребят.

210

между строфами 3 и 4 ТвП, И-48

Что завтра враг на город наш обрушит?
Что ждет меня
среди гранитных стен?
В подвале обвалившемся — удушье?
Осколок в сердце? Виселица? Плен?

214

вариант автографа

...В кромешной тьме стыда и боли,
Слепящей, как и всех, меня,
Одно блаженство — мигом доле
Руки озябшей не отнять.

далее строфа 2 основного текста

Не упрекай меня сурово!
Что стало б с городом, скажи,
Когда бы рухнула основа
Того, чему названье — Жизнь...

228

между строфами 6 и 7 набросок автографа

Голос жизни будет в этом звуке,
Голос жизни людям повелит:
«Радуйтесь! Конец кровавой муке.
Враг навеки стерт с лица земли».

вместо 45—48

Дарья Власьевна, придвинься ближе,
Мужество народное — твое
Армию-воительницу движет
В беспримерном подвиге ее.

О, как исхудали наши лица
. . . .
И усталость обвела глазницы

В зеркало [холодное], туманное от стужи,
. . . . загляну
И на рыжих прядях обнаружу
Преждевременную седину.

229

между 30 и 31 ЛП, ЛТ

Враг не взял нас атакой,
не сломит измором.
Ленинградец,
гвардеец, —
слышишь, наши полки
Рвут змеиные кольца,
охватившие город,
Гонят ворога,
жгут,
поднимают его на штыки.

230

между 24 и 25 авт. машинопись

Еще не скоро минут беды,
Но твердо знаем:
Новый год
Освобожденье и победу
И долгий отдых нам несет.

232

строфа 3 следует за строфой 4, далее текст:

чернов. автограф

Проходит мимо мир вооруженный,
Идут чужие братья и мужья,
Я знаю вашу участь, сестры, жены,
Она ужасная, она — моя.

после 25 Как при тебе жила б.
С такой же страстью,
С таким же любопытством и мольбой,
Всегдашней, жадной, горестной, — о счастье,
О высшем счастье — умереть с тобой.
Пусть будет так. И если скорби мало
(не закончено)

233

гл. 4 вместо 1—12 авт. машинопись

Враги пытают нас уже полгода,
Твердят: «Сдавайся, русский, и отдай
Свой город, радости свои, свою свободу
И облик человека — навсегда».
А мы с неведомой доныне силой
Уже полгода отвечаем: — Нет!
Наш город — это щит и меч России,
Он верен жизни, армии, стране.
И вот они осенними ночами
Пытали нас железом и огнем.

гл. 5 после строфы 4 вместо многоточия

Уж завелась меж нами злая небыль,
Безжалостнее хищников-зверей:
Могильщики, торгующие хлебом,
Полученным от жен и матерей.
На грязных кухнях спекулянт ютится,
Крадущий пищу в горестных больницах.
Они из тех, кто желтою ракетой
Указывал фашистам лазареты.
Они из тех, кого с фашистом рядом
Растопчем мы, солдаты Ленинграда.

Но всех противней свой, ослабший духом,
Закутанный в старушечье тряпье, —
Трясется, ноет, собирает слухи,
И, не делясь ни с кем единой крошкой,
То здесь урвет, то выклянчит немножко.
Он, не трудясь, гуляет, как герой,
«Я, мол, ослаб, живу в кольце блокады,
Но бреюсь, бреюсь. . .»
Брейся, черт с тобой,
И не мешай нам, не топчись, не надо,
Ты всё равно теперь уже разгадан:
Ты не присвоишь подвиг Ленинграда

гл. 6 вместо 59—61

И в страшной ленинградской полумаске,
Откинув кудри буйные с виска,
Летит над нами Слава, Песня, Сказка,
Держа венок в обугленных руках.

235

между строфами 5 и 6 ЛП, ЛТ

Они молчат, хозяев не увидев:
Мы не успели поселиться тут.
Я шла на фронт
сквозь тяжкую обиду —
Свою невоплощенную мечту.

238

между строфами 7 и 8 авт. машинопись

Если хлещут немецкие твари
Русских девушек по лицу, —
Это наша вина, товарищ,
Это худший упрек бойцу.

Чем ответим нашей подруге,
Чем ответить сегодня нам?
Может, новую пленницу — с юга
Привели к ее палачам.

Может быть, она умирает,
Как одна из таких — в петле,
В том же самом вонючем сарае
На постылой немецкой земле.

Разве мы за нее расплатились?
Сотни тысяч их — не одна.
Это наша вина, балтиец,
Это наша с тобой вина.

после строфы 9

Словом — совести не задаришь.
Пышной клятвой — не проведешь.
Время мщенья пришло, товарищ,
Время действовать, молодежь.

239

между 6 и 7 СтП-51, Лир-55, ГЛ

Такое испытанье ей досталось,
что, будь она не русскою душой,
ее давно бы насмерть искромсало
отчаяньем, неверием, тоской.

между 36 и 37 ГЛ-46

Так не желай и не проси пощады
и всё прими, что будет, не забыв
ни зимнего терзанья Ленинграда,
ни горькой севастопольской судьбы.

240

вместо 9—16 Ю

Чужая пучина шумит впереди,
минрепы царапают лодку...
Скорей сообщи нам, товарищ радист,
какая на Родине сводка.
«Подводники, с Родины вести летят,
печали полны до отказа...
Ворвались враги в дорогой Сталинград,
ползут по красавцу Кавказу».
Как будто б ножом полоснули в груди,
и шепчет с мольбою подводник:
«Давай же команду на бой, командир!
Мы боя желаем сегодня.
Мы здесь одиноки. Но нашей судьбой
сегодня гордимся по праву, —
нас первыми Родина выслала в бой
в пределы враждебной державы.
И жалкого труса не сыщешь меж нас, —
горит образец величавый:
так бьется Россия — всё время одна,
одна в поединке кровавом.
И снова должны мы одни устоять, —
ведь русскому люду не внове
земную планету от смерти спасать
своей благородною кровью.
Нас мало, мы горсточка, мы островок
в коварной смертельной стихии.
Но что же, что берег родимый далек?
Мы сами — народ и Россия».

244

строфы 6—7 «На страже Родины»

А ночью внезапно прорвались враги,
Отчизне бедой угрожая,
Как воин геройскою смертью погиб
Сержант, за окопчик сражаясь.

Друзья собрались и вдове молодой,
Как младшей сестре, написали:
«Поплачь, дорогая, над ним, над собой, —
От слез убывают печали».

245

между строфами 6 и 7 «Ленинград»

А вот сосны, травы эти
Будут жить такие ж, как сейчас.
Будут бегать по ромашкам дети,
Башмачками глухо топоча.

250

между 8 и 9
КПр

Я шла б и шла, как странница без цели,
Я месяц, кажется, могла б идти,
Ни разу бы снаряды не свистели
На легком, вольном, дорогом пути.

251

строфа 1
автограф

На могучих просторах России,
Где бушуя клубится война,
Животворной исполнена силой,
Как всегда, наступает весна.

строфа 3

Вечно-радостными словами,
Руки к небу подняв, кричу:
«Солнце красное, встань над нами,
Кинь в окошко всем по лучу».

вместо
строфы 4
черн. автограф

Ты приходишь, как прежде, крылатой,
Сонмы птиц поют в облаках,
Только ныне грудь твоя в латах,
Щит и меч у тебя в руках.

И дыханье твое — грозовое.
Трубным голосом журавлей
Ты взываешь к великому бою
На любимой своей земле!

252

между 16 и 17
Зв

Я не предам тебя, не запятнаю,
Доверия неповторимый знак.
Я вынесу все тяготы, я знаю, —
Моей победой кончится война.

254

44—47
Л

И любви, такой же окрыленной,
Люди не узнают никогда.
Молодость, по-рыцарски влюбленная, —
Вот какой была она тогда.

259

между
строфами
3 и 4
О

Два года, край немеркнущего лета,
Ты был невозвратимо-далеко,
Как будто на другом краю планеты,
Как в непроглядной дальности веков.

261

после строфы 10 Изв

Думала, — окончится блокада,
Отдохну и душу отведу,
Но взывают раны Ленинграда
К новому великому труду.

264

вместо 5 ГЛ-46, ГЛ

Позволь же мне по гулкому эфиру
сквозь этот черный говорящий круг
войти в твою вечернюю квартиру,
мой ленинградский,
мой давнишний друг!
Позволь с тобой стакан поднять, как чашу

между строфами 10 и 11 ГЛ-46

Пускай всё то же гордое терпенье
владеет нами, как тогда,
когда свершаем подвиг возрожденья,
не отдохнув от ратного труда.

266

гл. 3 между 6 и 7 Зн, ТвП, СП-46, И-48

и мертвые у городских дорог
уже давно лежали без сапог, —
спокойные,
как будто б тяжкий долг
отдав тому,
кто жил еще и шел...

27

из той же ленинградской Иордани

гл. 4 вместо 18—21 авт. машинопись

Где эдельвейс глядел из-за сугроба,
где в облаках, у неба на краю,
мы так тогда прекрасны были оба,
и только двое в мире — как в раю.

между 47 и 48

Ты не обидел жалостью бескрылой,
как обижают нищих и калек.
Ты просто верил в сердце, гнев и силу
возлюбленной не на зиму, — навек.

между 51 и 52 Зн, ТвП, СП-46, И-48

Недаром был обычай в эту пору —
ходить вдвоем.
Ты взял с собой меня.
И вот мы шли... Мы шли,
как весь наш город,
к сегодняшним — тогда незримым — дням.

авт. машинопись

И шли, и с ног валились на друг друга,
приподнимались и опять брели.
Так некогда под нерчинскою выогой
шел Аввакум с подвижницей-супругой,
стремясь в пределы отческой земли.

68—69 авт. машинопись

и стало так, как все друзья считали.
И в этот день — как раз была весна.

гл. 5 между 31 и 32

Оно всей массой, облачной, живой,
всей бездною влилось голубоватой.
Я трогала, я в горсть брала его:
оно на ощупь мягкое, как вата.

после 35 Зн, ТвП, СП-46, И-48

Мне тоже всё рукой хотелось трогать,
страшило всё, — открытое вокруг,
и больше всех — влюбленный,
верный, строгий
мой новый муж,
мой поводырь,
мой друг.

гл. 6 между 19 и 20 авт. машинопись

Тяжелое перевожу дыханье.
И вдруг.. Откуда этот аромат?
Щемящий, свежий, как воспоминанье
о мире, мире сотни лет назад.

между 43 и 44

Ты отнял всё, что в жизни мне светило,
ты разметал жилье мое дотла,
ты сделал всё, чтоб жизнь я разлюбила
и, как застенок вечный, прокляла.

между 49 и 50

Я рада, что храню его покой,
его усталость сонную. Он мой,
и жизнь — моя.
И вся моя земля,
необозримые его поля...

между 69 и 70 Зн, ТвП, СП-46

Какая ночь над сердцем прогремела,
над самой головой моей прошла!
Помолодела я иль постарела?
Какой восход — багряный, чистый, смелый,
и этот звонкий, ломкий звон стекла,
и тишина,
как будет — без предела.

96

Там я твоею плакальщицей стала.

вместо 100—115 авт. машинопись

Из самых тайных тайников ее.

Далее: см. текст ст-ния «Не потому ли сплавила печаль я...» (№ 274)

вместо 100—115 2-й вариант конца в автографе

См. ст-ние «Стихи о себе» (№ 275) после слов: «На желтый снег пустынных площадей»

298

гл. 3 после 62 СтП

Так шли через меня, переплетаясь,
моя судьба и Родины судьба,
и крепнул в сердце вызов, нарастая,
и обвиненье тлело на губах.

Я вспомнила — в газетах это было,
а память вновь стремительно зажгла:
в тот день, когда враги в Россию вторглись,
звонили в Англии колокола.

Хороните? Ну что же, не впервые
отходную мы слышим — в сотый раз.
Но мы сейчас, как никогда, — живые.
Все живы, все!
Нет мертвецов у нас.
И было видно мне всё дале, дале,
во все четыре стороны земли,
пока снаряды выли и свистали
и над вершинами моими шли.

303

между 17 и 18 Зн

И грохочет, грохочет земля в темноте —
там рождается русло для новой реки
и багровые звезды стоят в высоте,
намечая дорогу суровой мечте,
повинуясь движениям верной руки.

305

загл.

ВСТРЕЧА

между 58 и 59 авт. машинопись И-54

Он первый трактор вспомнил с доброй шуткой,
и улыбнулись мы воспоминанью,
а бой за трансформаторную будку
уже звучал в рассказе как преданье.

между 87 и 88

[Уже на судоверфи Сталинграда,
спеша навстречу морю и весне,
их строили по-новому, как надо,
готовя к сильной, не речной волне.]

между 103 и 104

Будь горд и знай: народ еще построит
такое, что, наверно, Волго-Дон
для той эпохи будет Волховстроем,
таким же дерзким первенцем, как он.

И мы невольно улыбнемся сами,
опять друг друга где-то повстречав,
что в эти годы бредили морями,
как в детстве лампочкою Ильича.

между 129 и 130 авт. машинопись

Как ново было думать нам, что снег,
у наших ног лежащий пеленою,
впервые не умрет весною — нет,
но станет вечною морской волною.

Пока же здесь, в тумане, под метелью,
еще взрывали крупные бугры,
и в буйственном предпраздничном веселье
пылали исполинские костры,
и отблеск их, оранжевый, тяжелый,
авт. машинопись И-54 дрожал на скулах у постовщиков.
Тут жгли остатки временных поселков,
уже перенесенных далеко.

309

строфа 6 автограф

Река возвращалась не прежней рекою,
но с водами Дона смешавшая воды,
но сильная волей и страстью людскою,
мечтой, воплощенной в законы природы

310

загл. первый набросок черн. автографа

О РЕЧКЕ СОЛЯНКЕ

И так легко она бежала,
так было ей светло в пути,
как будто в камеру канала
не надо снова ей войти.

Как будто б стала красоваться
вот здесь — по прихоти своей.
И было незачем стараться
над нею тысячам людей.

И строитель
Смотрел и думал:
— Смотри, что сделал ты. Природу!
Она полна такой свободой

из второго наброска

Но я видала всё, что скрыло море.

концовка 2-й части ст-ния

Мы ссорились когда-то, враждовали,
мы встретились случайно у реки.
Но шли сейчас, глядели в эти дали,
рука в руке, как в юности — легки.
Уже высоко, широко и грузно
волна катилась ⟨*не закончено*⟩

312

между 66 и 67 автограф

Потом пришли соседки и соседи,
мы засиделись допоздна — до двух.
Чего-чего не вспомнили в беседе,
негромко спели, помечтали вслух.

между 102 и 103 Во имя этой жизни, этой дали
они огонь отсюда же вели,
в подъездах ленинградских замерзали,
костьми под Севастополем легли.

строфа из черн. набросков Пусть не грозят в заокеанской мгле,
пусть только вспомнят
хоть бы ненадолго,
кто нас ведет
и по какой земле
проходит путь от Дона к Волге.

319

8 автограф Так их много под [грозной] тихой охраной

между 10 и 11 Всё сбережет, как святыню,
[великая] беспощадная память народа.
Не забыты
лето и осень
тысяча девятьсот сорок первого
года.

13 рабочие, школьники, учителя и поэты

20 небо тьмой самолетной покрыто

21 ни одной вашей капли крови не позабыто

334

вместо 21—105 ВечЛ Я расскажу когда-нибудь, не скрою,
всё расскажу, как я жила сама
в те дни, когда Международный строил
большие угловатые дома.

Они под стать и каменному веку,
и, может быть, алмазному под стать,
в расчете на такого человека,
которого и в песнях не сыскать.

Наверно, это были мы... не знаю...
Я думаю, меня простите вы:
я сорок первый нынче вспоминаю.
Мы рыли здесь чудовищные рвы.

Мы с непривычки черные мозоли
мгновенно натирали на руках,
мы плакали от ярости и боли,
и даже смерть казалась нам легка.

Что мертвые? Они не имут сраму.
Нет, ты живи, дерись, гляди, внемли,
как всё, что ты возвел — кромсает пламя,
всю жизнь твою, все радости земли...

О, этот хруст, ночной сирены стоны
и воздух, пойманный горящим ртом.
Как хрупки ленинградские колонны,
мы до сих пор не ведали о том.

А злая грусть бездомного кочевья
здесь, рядом с домом, с милым очагом,
а павшие, как воины, деревья,
расстрелянные бешеным врагом.

Я вновь и вновь твоей святой гордыне
кладу молитвенный земной поклон,
ты, окруженный зонок пустыни,
раскинутой почти на небосклон!

. . . .

Нагое древо, памятник безродный,
щебенки прах, развалины вдали.
Узнал? Всё — он, всё наш Международный,
неистовая магистраль земли.

Здесь, где мы недостроили когда-то,
где снова город будет заложен,
где, умирая, корчились солдаты,
где влажен дерн от слез солдатских жен, —

здесь будет сад...
не то что за Московской,
а в мире краше и пышней всего,
такой, что сам Владимир Маяковский
писал стихи когда-то про него.

И я доныне верить не устала,
и буду верить — с белой головой,
что здесь, под марш
«Интернационала»,
сойдемся мы на праздник мировой.

Семьей единой, мирной и свободной,
придем дорогою Международной,
с единым сердцем, под единым флагом,
единым непреодолимым шагом.

И станут славой — нынешние беды,
как счастие — недавние бои,
и вечером, над пиром, Парк Победы
расправит ветви мощные свои

348

вариант «Обращения к Трагедии», 1 вместо 1—16 И-48

— Дверь на засов и душу — на засов.
...Но как бы я ни напрягала силы —
мне не уйти от этих голосов,
а я еще забвенья не просила.
Нет.
Настежь дверь —
и прочь с души засов.
И вот, шепча еще не те слова,
еще не все разгадывая знаки,
я повинуюсь воле Волшебства —
за тех, немых, опять и жить, и плакать,
воскреснуть с ними, чтобы снова пасть...
Своей судьбы неодолима власть.

Как страшно становиться многоликой,
и многодушной, и многоязыкой,
еще страшней — всегда самой собой
остаться в разных обликах и душах.

349

гл. 3 между 68 и 69 Зн

По Марксу и Энгельсу план и устав разработан:
всё общее: труд, и доход, и орудья труда,
и даже питанье: мы с женщины снимем заботы,
семейные цепи, нужду, — навсегда,
навсегда.

между 72 и 73

Он смотрит на них,
и сквозь дымку их пылких мечтаний
он видит ему одному приоткрытую даль:
он видит весь путь их,
дорогу побед и страданий,
на шаре земном
не проложенную никогда.

между 91 и 92

Мы любим Россию.
Мы счастливы, да, мы гордимся,
что первыми свергнули
иго постыдного гнета.
Нас очень хотят уничтожить!
Но мы не боимся,
мы будем сражаться
и долго упорно работать.

между Коммуна! Она ежедневно во всем прорастает,
95 и 96 со всей безудержностью новой, раскованной жизни.
Мы будем везде — в Петрограде, в Москве, на Алтае —
беречь и лелеять любые ростки коммунизма.

гл. 14 Пришли тайком без знамени, без песен,
между речей — и то никто не говорил.
93 и 94 Все голодны, сарай угрюм и тесен,
но это смотр рядов. Проверка сил.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание включает в себя наиболее интересные и показательные образцы поэтического наследия Ольги Берггольц разных периодов творчества и разных жанровых форм. Являясь избранным, оно вместе с тем представляет собой наиболее полное из существующих собраний стихотворных произведений поэта, считая и прижизненно вышедшие двухтомное (Л., 1967) и трехтомное (Л., 1972—1973) собрания сочинений, где общее количество стихотворений и поэм значительно меньшее, чем в настоящем издании.

Впервые печатаются здесь по автографам ранние стихотворения О. Берггольц, важные для понимания эволюции ее творчества и обладающие во многих случаях значительной художественной ценностью [1]. В последнее десятилетие своей жизни О. Берггольц предпринимала неоднократные попытки публиковать в журналах, газетах и альманахах подборки стихотворений разных лет, в том числе ранних: «Из старых дневников», «Из незабытых тетрадей», «Далекие дневники», «Свою судьбу вручу стране. . .» и др. Такие стихи затем входили в состав сборников и собраний сочинений («Узел», М.—Л., 1965, названные выше двухтомное и трехтомное собрание произведений).

В настоящем сборнике печатается, также впервые, целый ряд стихотворений О. Берггольц, относящихся к 30—40-м и послевоенным годам (библиографические сведения об опубликованных стихотворениях, не вошедших в это издание, можно найти в кн.: «Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель Ленинградской Ордена Ленина Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т 3, ч. 1. О. Ф. Берггольц, М., 1979, с. 197—258).

Издания стихов, выходившие при жизни поэта, в основном тяготеют к двум разновидностям — тематической и хронологической. К первой относится самый ранний сборник О. Берггольц «Стихотворения» (Л., 1934). Материал здесь сгруппирован по разделам, правда не имеющим названий, но их функцию выполняют эпиграфы, определяющие темы детства (эпиграф из Б. Пастернака), любви и разлуки, жизнетворчества (с эпиграфами из стихов Н. Тихонова). Следующий

[1] Следует отметить, что в 20-е гг. О. Берггольц намеревалась собрать и издать свою лирику задолго до действительно осуществленного первого сборника («Стихотворения», Л., 1934). Так, в письме к сестре от 23 сентября 1929 г. она сообщала, что готовит первую книгу стихотворений под заглавием «Тропинка бедствий» с эпиграфом из В. К. Тредьяковского (арх. М. Ф. Берггольц).

сборник — «Книга песен» (Л., 1936) — снабжен соответствующими названиями разделов («Детство», «Память», «Дальняя дорога», «Разлука», «Верность»). Каждое из них закреплялось в последующих книгах как заглавие цикла, раздела или всего сборника (например: «Верность», Л., 1970; «Память», М., 1972). Со временем появились и новые сравнительно устойчивые названия разделов и циклов («Испытание», «Война», «Годы», «Стихи о любви», «Письма с дороги» и др.), однако состав этих разделов и циклов существенно менялся от книги к книге. Стихотворения зачастую перекочевывают из одного цикла в другой, из раздела в раздел. Особенно показателен в этом отношении сборник «Узел», где, как это видно из заглавия, тесно переплетены между собой когда-то разные темы. Позднее при перепечатке стихи этого сборника, например из раздела «Испытание», попали в разделы «Предчувствие» и «Начало» (сб. «Память»), стихи же из цикла «Письма с дороги» — в цикл «Волго-Дон» (Собрание сочинений в трех томах) и т. д. Отсутствие итогового издания, в котором тематический принцип обрел бы главенствующее значение в систематизации поэтического наследия О. Берггольц, делает этот принцип непригодным для настоящего сборника. В основу данного издания положен хронологический метод, неоднократно реализованный самой О. Берггольц в таких ее изданиях, как сборники военных лет («Ленинградская тетрадь», М., 1942; «Ленинградский дневник», Л., 1944; «Ленинград», М., 1944), как «Избранное» (М., 1948), «Избранные произведения в двух томах» (Л., 1967) и «Собрание сочинений в трех томах» (Л., 1972—1973). При этом состав циклов, сложившихся в последних авторских изданиях, полностью сохраняется в данном сборнике, примечания к которому сообщают, в каких книгах и в каких разделах помещались те или иные произведения.

В большинстве изданий О. Берггольц не выделяла из хронологического потока своих стихотворений небольшие поэмы («Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь»), делая исключение лишь для поэмы «Первороссийск» и трагедии в стихах «Верность», которые публиковались под особыми рубриками. В соответствии с этой традицией оба произведения в настоящем издании составляют второй его раздел. В третьем разделе представлены впервые в собранном виде избранные стихи для детей, поскольку именно с детских книг началась известность поэта и именно они получили первое признание в отзывах М. Горького, С. Маршака и К. Чуковского. В этом разделе также под особой рубрикой помещены отдельные образцы стихотворной сатиры поэта, популярной в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде, продолжавшей традиции Окон РОСТА и сатирической поэзии В. Маяковского, высоко чтимые О. Берггольц.

В настоящем издании все произведения печатаются по последним прижизненным редакциям, т. е. по тем источникам, где текст сложился окончательно и позднее не менялся. Некоторую сложность представляет вопрос об эпиграфах к стихотворениям военных лет, которые снимались автором в некоторых послевоенных изданиях. Исходя из того, что в одном из последних своих сборников («Верность», 1970), а также частично в трехтомном Собрании сочинений (1972—1973) О. Берггольц вернулась к публикации эпиграфов, в данном издании эта традиция полностью сохраняется.

При подготовке к печати поэтического наследия О. Берггольц были привлечены рукописные материалы из личного архива сестры поэта — М. Ф. Берггольц.

Автографы из этого архива представлены письмами поэта со вложенными в них текстами стихотворений и отдельные автографы произведений (иногда в подборках), записные книжки, тетрадь со стихами 1927—1928 гг., авторизованные машинописные тексты и другие материалы. В состав этого архива входит также часть архива, принадлежавшего матери поэта — М. Т. Берггольц. Многие даты устанавливаются или уточняются по автографам. Несомненный интерес представляют также корректурные материалы готовившихся сборников.

Архив О. Берггольц находится на хранении в ЦГАЛИ и в настоящем издании использован наследницей выборочно.

В примечаниях после порядкового номера указывается первая публикация произведения, а также все последующие ступени изменения текста в печати и, наконец, источник, по которому этот текст приводится. Если произведение не перепечатывалось или перепечатывалось без смысловых изменений, отмечается только первая публикация, служащая одновременно и источником текста. Явные опечатки в источниках текста не оговариваются. В каждом примечании сообщаются сведения о наличии автографов и копий, принадлежащих М. Ф. Берггольц (без ссылок на этот архив). В примечаниях, как правило, указан источник датировки, а также все несовпадения в авторских датах. При отсутствии данных для датировки указывается дата первой публикации (в угловых скобках), предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. Если стихотворение имеет несколько редакций, разделенных во времени, под ним ставятся даты всех этих редакций (через запятую).

Звездочка перед порядковым номером примечания означает, что к этому произведению есть материал в разделе «Другие редакции и варианты». В этом разделе, подготовленном к печати комментатором данного издания (при участии М. Ф. Берггольц), приводятся лишь наиболее существенные редакции и варианты текста. Произведения, впервые публикуемые в настоящем издании, отмечены в оглавлении звездочкой.

Список условных сокращений, принятых в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты»

АП — авторские поправки в тексте Собрания сочинений О. Берггольц в 3-х томах, т. 1, Л., 1972 (арх. М. Ф. Берггольц).

арх. МФБ — архив Марии Федоровны Берггольц.

БДД — Буров Б., Блокада день за днем, Л., 1980.

В — Ольга Берггольц, Верность. Стихи и поэмы, Л., Сов. писатель, 1970.

ВечЛ — газета «Вечерний Ленинград».

ВОБ — Вспоминая Ольгу Берггольц. Сборник, Лениздат, 1979.

ГЛ — Говорит Ленинград ⟨Сборник радиовыступлений Ольги Берггольц. (1941—1945)⟩ — Собрание сочинений в 3-х томах, т. 2, Л., 1973, с. 127—359.

ГЛ-46 — Ольга Берггольц, Говорит Ленинград, Л., 1946.

ДПЛ — сборники «День поэзии», ленинградские выпуски, с указанием двух последних цифр года издания.

ДПМ — сборники «День поэзии», московские выпуски, с указанием двух последних цифр года издания.

ДрН — журнал «Дружба народов».
Зв — журнал «Звезда».
Зн — журнал «Знамя».
И-48 — Ольга Берггольц, Избранное, М., Сов. писатель, 1948.
И-54 — Ольга Берггольц, Избранное, М., Мол. гвардия, 1954.
ИП — Ольга Берггольц, Избранные произведения в 2-х томах, Л., Худож. лит-ра, 1967.
КМ — корректурные материалы неосуществленного сборника стихотворений О. Берггольц 1940 г. (арх. М. Ф. Берггольц).
КнП — Ольга Берггольц, Книга песен. Стихотворения, Л., Худож. лит-ра, 1936.
КПр — газета «Комсомольская правда».
КрН — журнал «Красная новь».
КрП — журнал «Красная панорама».
Л — Ольга Берггольц, Ленинград. Стихи, М., Сов. писатель, 1944.
л. — лист.
ЛГ — «Литературная газета».
ЛД — Ольга Берггольц, Ленинградский дневник. Стихи и поэмы. 1941—1944, Л., Гослитиздат, 1944.
ЛенИс — газета «Ленинские искры».
ЛенР — газета «Ленинградский рабочий».
ЛЖ — газета «Литература и жизнь».
ЛИ — газета «Литература и искусство».
Лир-55 — Ольга Берггольц, Лирика, М., Гос. изд. худож. лит-ры, 1955.
Лир-74 — Ольга Берггольц, Лирика, Л., Дет. лит-ра, 1974.
ЛЛ — газета «Литературный Ленинград».
ЛОб — журнал «Литературное обозрение».
ЛП — О. Берггольц, Ленинградская поэма, Л., Гослитиздат, 1942.
ЛПр — газета «Ленинградская правда».
ЛР — газета «Литературная Россия».
ЛС — журнал «Литературный современник».
ЛТ — О. Берггольц, Ленинградская тетрадь. Стихи, М., Сов. писатель, 1942.
МГв — журнал «Молодая гвардия».
МТБ — рукописи из собрания М. Т. Берггольц, входящие в арх. МФБ (см.).
НМ — журнал «Новый мир».
О — журнал «Октябрь».
Ог — журнал «Огонек».
ОСС — Хренков Дм., От сердца к сердцу. О жизни и творчестве Ольги Берггольц, изд. 2-е, Л., 1982.
П — Ольга Берггольц, Память. Книга стихов, М., Современник, 1972.
«Первороссийск» — Ольга Берггольц, Первороссийск. Поэма, М., Правда, 1951 (Б-ка «Огонек»).
П-55 — Ольга Берггольц, Поэмы, Л., Сов. писатель, 1955.
П-74 — Ольга Берггольц, Поэмы, Л., Лениздат, 1974.
С-62 — Ольга Берггольц, Стихи, М., Гослитиздат, 1962 (Б-ка сов. поэзии).
Соч — Ольга Берггольц, Сочинения в 2-х томах, М., Гослитиздат, 1958.
СПр — Ольга Берггольц, Стихи. Проза, М.—Л., Гослитиздат, 1961.
СП-46 — Ольга Берггольц, Стихи и поэмы, М., Правда, 1946.
ССоч — Ольга Берггольц, Собрание сочинений в 3-х томах, Л., Худож. лит-ра, 1972—1973.
ст. — стих.

Ст-34 — Ольга Берггольц, Стихотворения, Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.
Ст-66 — Ольга Берггольц, Стихотворения, Л., Лениздат, 1966.
Ст-67 — Ольга Берггольц, Стихотворения, М., Худож. лит-ра, 1967 (Б-чка рус. сов. поэзии).
СтП-51 — Ольга Берггольц, Стихотворения и поэмы, М.—Л., Гослитиздат, 1951.
ТвП — Ольга Берггольц, Твой путь, Л., Мол. гвардия, 1945.
тетр. 1927—1928 — тетрадь автографов О. Берггольц 1927—1928 гг. (арх. МФБ).
Уз — Ольга Берггольц, Узел. Новая книга стихов, М.—Л., Сов. писатель, 1965.
ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).
Ю — журнал «Юность».
ЮП — журнал «Юный пролетарий».

ПОПЫТКА АВТОБИОГРАФИИ

С-62, с. 5, под загл. «Моя жизнь», другая ред.; «Советские писатели. Автобиографии», т. 4, М., 1972, с. 80 с датой: Февраль 1971 г. (один из автографов у Н. Б. Банк). Печ. по ССоч, т. 1, с. 5. Краткий вариант автобиографии под загл. «Моя жизнь» см. также в антологии «Русские поэты», т. 4, М., 1968, с. 681, и без загл. — в сб. «Песня, мечта и любовь. Поэтессы Советского Союза. Избранные стихотворения», кн. 1, «Детская литература», М., 1969, с. 99. *Невскую заставу, где ...я родилась.* Ольга Федоровна Берггольц родилась 16 (3) мая 1910 г. в Петербурге, жила за Невской заставой, на Палевском проспекте (с 1939 г. — пр. Елизарова), в доме № 6, кв. 6. Деревянный дом не сохранился, — разобран на дрова во время войны. *Невская застава... со всеми ее людьми.* О лицах ближайшего окружения О. Берггольц в детстве см. в ее «Дневных звездах» (ССоч, т. 3, с. 153). *Чтобы по бледным заревам искусства* и т. д. — неточная цитата из ст-ния Блока «Как тяжело ходить среди людей...» (1910). *В 117-й единой трудовой школе* — ныне школа № 329 на пр. Елизарова. *Литературная группа «Смена».* Возникшая в середине 20-х гг. в Ленинграде, эта группа объединяла молодых пролетарских писателей, которые ставили перед собой задачу «показать живого человека современности» (см. об этом в журнале «Резец», 1927, № 48, в номере, посвященном трехлетию «Смены»; здесь же дружеские шаржи на участников группы — поэтов и прозаиков Б. Лихарева, Д. Леваневского, Б. Корнилова, Г. Гора и др., в том числе на юную О. Берггольц). О группе «Смена» рассказывается в статье О. Берггольц «Продолжение жизни» (предисловие к кн.: Корнилов Б., Стихотворения и поэмы, Л., 1957). *Дни-мальчишки* и т. д. — первая строфа ст-ния «Лошадь» (1925) Б. П. Корнилова (1907—1938), мужа О. Берггольц в 1927—1930 гг., отца ее первой дочери Ирины (1928—1936). *Садофьев* И. И. (1889—1965) — советский поэт. *Саянов* В. М. (1903—1959) — советский поэт и прозаик. *Светлов* М. А. (1903—1964) — советский поэт, один из близких друзей О. Берггольц, автор ст-ния «Гренада» (1926). *Особняк графа Зубова.* Графу В. П. Зубову принадлежал в Петербурге дом № 5 на Исаакиевской площади, построенный еще в 1803 г., неоднократно затем перестраивавшийся и сменивший многих владельцев. В 1912 г. здесь размещалось учебное

заведение по изобразительным искусствам, затем — Институт истории искусств (ныне Государственный научно-исследовательский институт театра, музыки и кинематографии). *Эйхенбаум* Б. М. (1886—1959) — советский историк литературы. *Тынянов* Ю. Н. (1894—1943) — советский писатель, литературовед; в 1921—1930 гг. — профессор Института истории искусств. *Шкловский* В. Б. (род. в 1893 г.) — советский писатель, литературовед. *Соллертинский* И. И. (1902—1944) — советский музыковед, языковед, литературовед. *Буратино* (Пиноккио) — герой известной итальянской сказки, переведенной на русский язык А. Н. Толстым. *Эйзенштейн* С. М. (1898—1948) — русский советский режиссер, теоретик искусства и педагог. *Пудовкин* В. И. (1893—1953) — советский режиссер, актер, теоретик кино. *Институт Брюсова* — Высший литературно-художественный институт (1921—1925), созданный по инициативе В. Я. Брюсова и носивший его имя. *Лосский* Н. О. (1870—1965) — философ-идеалист, профессор Петербургского университета; с 1922 г. — в эмиграции; система «интегрального интуитивизма», проповедовавшаяся им, сочетала идеи Платона, русского персоналиста А. А. Козлова и мистику В. Соловьева. *Чагин* П. И. (наст. фамилия Болдовкин, 1898—1967) — советский литературный деятель, в 1926—1929 гг. — редактор ленинградской «Красной газеты» и ее изданий. *Штидри* Ф. (1883—1968) — австрийский дирижер, в 1933—1937 гг. — главный дирижер Ленинградской филармонии. *Себастиян* Г. (род. в 1903) — венгерский дирижер, в 1931—1937 гг. — дирижер Большого симфонического оркестра в Москве, гастролировал в Ленинграде. *Тосканини А.* (1867—1957) — итальянский дирижер, в 1928 г. эмигрировал из фашистской Италии и жил в США. *Последние события в Китае.* Речь идет о Китайской революции 1925—1927 гг. (см. прим. 22). *Молчанов* Н. С. (1910—1942) — филолог, с 1930 г. второй муж О. Берггольц, которому посвящены многие ее ст-ния. *Кендырь, кенаф* — технические лубо-волокнистые сельскохозяйственные культуры, произрастающие на юге СССР; *тау-сагыз* — растение-каучуконос. *«Глубинка»* — полное название кн.: «Глубинка. Казахстан. Рассказы-очерки», Л.—М., 1932. *«Журналисты»* — повесть, впервые напечатанная в журнале «Звезда», 1934, №№ 4 и 5. *Историком завода.* Наиболее известные труды О. Берггольц, посвященные заводу «Электросила», представлены очерками: «Из истории заводов «Электросила» и имени Козицкого» («Звезда», 1935, № 1); «Орден депутата» («Звезда», 1938, № 11), «Девяносто девять дней» («Нева», 1958, № 1); «Сердце завода» («Лен. альманах», кн. 5, 1958). Некоторые из очерков вошли в ВОБ. *«Утро встречало прохладой»* — измененная цитата из «Песни о встречном» («Нас утро встречает прохладой...», 1932), написанной Б. Корниловым для кинофильма «Встречный» и положенной на музыку Д. Шостаковичем. *С. Я. Маршак познакомил меня с Алексеем Максимовичем Горьким.* Знакомство состоялось в 1931 г., о чем О. Берггольц рассказала в статьях «Памяти М. Горького. Воспоминания» — ЛЛ, 1936, 30 июня; «О встречах с М. Горьким». Послесловие к публикации писем М. Горького к О. Берггольц — ЛГ, 1958, 29 марта. *О первой моей маленькой книжке... большое письмо.* О первом сборнике стихов (Ст-34) Горький подробно отозвался в письме от 22 ноября 1934 г. (см.: Берггольц О., О встречах с М. Горьким. — ЛГ, 1958, 29 марта; см. также прим. 124—125). *Гужово.* О деревне Гужово (Псковской области) говорится в «Дневных звездах» в связи с образом Авдотьи, которой посвящены многие страницы

книги (см. гл. «Поход за Невскую заставу», гл. «День вершин. Детство» и др.). *Меня приняли... в год его образования* — в 1932 г. *Союз поэтов* (Всероссийское литературное объединение) существовал в 1918—1929 гг.; в 1920 г. открылось его отделение в Ленинграде (под председательством А. А. Блока), с 1924 г. председателем был И. И. Садофьев. *Ваня Васильчиков* — главное лицо популярной стихотворной сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1916). *Я каменная утка* и т. д. — см. прим. 11. *Покуда небо сумрачное меркнет* и т. д. — первая строфа ст-ния, написанного в 1941 г. (см. № 224). *В 1937 году... пустой наш дом.* О. Берггольц была исключена из кандидатов партии в 1937 г. и восстановлена летом 1938 г. с отменой всех предъявленных ей обвинений. 14 декабря 1938 г. она была арестована; освобождена 3 июля 1939 г. с полной реабилитацией. *Обе доченьки мои умерли.* Восьмилетняя Ирина умерла в 1936 г., одиннадцатимесячная Майя — в 1933 г. *Мы предчувствовали полыханье* и т. д. — первая строфа ст-ния, написанного в июне 1941 г. (см. № 200). *«Говорит Ленинград»* — так назывались передачи Ленинградского радиокомитета, транслировавшиеся из блокадного города на страну; то же название получила кн. О. Берггольц, состоявшая из очерков и стихов, написанных ею во время войны и передававшихся по радио. Сб. впервые издан в 1946 г. в Москве (главы из кн.). Полностью — в составе ССоч, т. 2 (ГЛ.). *«Они жили в Ленинграде»* — пьеса в 4-х действиях, написана О. Берггольц в 1944 г. в соавторстве с Г. П. Макогоненко. В Камерном театре, в Москве, в 1945 г. ставилась А. Я. Таировым под названием «Верные сердца». В Ленинградском гос. драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской ставилась в 1961 г. в переработанном О. Берггольц виде с ее единоличным авторством и под названием «Рождены в Ленинграде».

I

1. Печ. впервые по автографу (тетрадный лист с цифрой «5» над текстом и датой в конце). На об. л. — помета: «папе».

2. ЛенР, 1980, 5 сентября. Датируется по автографу. *Глушино* — хутор в Новгородской губернии, где жила летом семья О. Берггольц.

3. Печ. впервые по датированному автографу МТБ. Летом 1925—1927 гг. семья О. Берггольц жила в деревнях Новгородской губернии, изобилующей следами древних поселений — могильниками, курганами. *Древляне* — племенное объединение восточных славян. *Колчак* А. В. (1873—1920) — один из лидеров контрреволюции, установивший в 1918 г. военную диктатуру в Сибири и объявивший себя «верховным правителем» России.

4. ЛенР, 1980, 5 сентября. Датируется по автографу. *За нашей заставой* — за Невской заставой (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 537). Работала О. Берггольц в эти годы курьером в типографии ленинградской «Красной газеты». *Ротация* — один из цехов (печатный) типографского производства.

5. Печ. впервые по датированному автографу. *Ольховка, Глушино* — деревни в Новгородской губернии, где семья О. Берггольц жила летом.

6. ЛенИс, 1926, 3 апреля. *Ходя* — бытовое наименование китайца. *«Великий перелет»* — экспедиционно-географический фильм режиссера В. Шнейдерова, выпущенный в 1925 г.

7. Печ. впервые по датированному беловому автографу. Черновой автограф под загл. «На дворе», с вариантами.

8. «Смена», 1927, 16 января, под загл. «Астраханка», неисправно; сб. «Кадры», Л., 1928, с. 36, под загл. «Астраханская селедка», с 4-мя дополн. ст., очевидно более ранний вариант текста. Печ. по автографу без даты, с пометой внизу: «Смена». Другой автограф (из дневниковой тетр.), с датой, первоначальный вариант текста.

9. ДрН, 1979, № 4, с. 177, и ВОБ, с. 577. Датируется по автографу. *Б.* — вероятно, Борис Петрович Корнилов (1907—1938), поэт, в 1927—1930 гг. муж О. Берггольц.

10. Печ. впервые по датированному автографу. *Зимняя застава* — см. прим. 4.

11. «Чиж», 1930, № 9-10, с. 12, с вариантами (ст. 3 «нехитрые песни пою», ст. 5 «сильнее дохни», ст. 18 «горела я там два дня», ст. 23—24 «Играю, как дудка, когда наступает весна»); КнП, с. 9, под загл.. «Каменная утка», с подзаг. «Стихотворение для детей», с датой: 1932; ССоч, т. 1, без загл., в составе «Попытки автобиографии», где рассказывается о чтении «в двадцатые годы» этого ст-ния К. И. Чуковскому на одном из заседаний Ленинградского Союза поэтов. Печ. по Лир-74, с. 8. Автограф МТБ, под загл. «Каменная утка», без даты; второй автограф МТБ под загл. «Песня глиняной утки», с карандашными пометками и датой: 1930 (время подготовки к печати). Датируется на основании упоминания в «Попытке автобиографии» ст-ния «Покуда небо сумрачное меркнет...» (осень 1941) и сообщения о том, что за 15 лет перед этим О. Берггольц читала свое ст-ние «Каменная дудка» К. И. Чуковскому (т. е. в 1926 г.), а также на основании последней авторской даты в автографе.

12. Печ. впервые по автографу МТБ без даты. Датируется предположительно. *Поняла* — здесь: взяла.

13. «Смена», 1927, 8 мая. Вслед за традицией, установленной еще И. С. Тургеневым, О. Берггольц воспринимала образ *Дон-Кихота* как олицетворение беззаветной и самоотверженной верности идеалам. О какой скульптуре Дон-Кихота идет речь, не установлено.

14. «Смена», 1927, 9 октября. По всей вероятности, в ст-нии идет речь о последнем периоде деятельности *«Народной воли»* — революционно-народнической организации, деятельность которой возобновилась активно в период покушения на Александра III силами «террористической фракции» партии «Народная воля» (1886—1887). В 1927 г. вышел из печати сб. материалов под ред. А. И. Ульяновой-Елизаровой «А. И. Ульянов и дело 1 марта 1887», из которого О. Берггольц могла почерпнуть отдельные факты из жизни народовольца-террориста (связь с Васильевским островом — указ. изд. с. 7; набережная Фонтанки как возможное место покушения — при выходе царя из своей резиденции в Аничковом дворце).

15. Печ. впервые по датированному автографу.

16. ДрН, 1979, № 4, с. 178, с датой: 1927. Датируется по автографу МТБ. *Троица* в 1927 г. приходилась на 12 июня.

17. Печ. впервые по датированному автографу МТБ. *Беатриче* Портинари — возлюбленная итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321), воспевавшего ее в сонетах и канцонах.

18. ДрН, 1979, № 4, с. 178. Датируется по автографу. *Заручевье, Бор, Запольки, Нероново* — названия деревень на Валдайской возвышенности Новгородской губернии (см. прим. 19). *Прясло* — часть изгороди от столба до столба. *Шмурыга* — лес, густые цепляющиеся заросли.

19. Печ. впервые, датируется предположительно. *Иван-Пьющий* — по всей вероятности, престольный праздник одной из деревень Новгородской губернии в честь Иоанна Предтечи, отмечавшийся 12 сентября. Текст дает некоторые приметы осенне-летнего сезона (строфа 5). Семья О. Берггольц жила летом 1924—1927 гг. в деревнях Новгородской губернии. *В пучках облигаций.* Осенью 1927 г. размещался среди населения первый массовый подписной государственный заем индустриализации. *Малиновый* — праздничный колокольный звон.

20. «Резец», 1928, № 45, с. 9, с датой: 1927. Автограф с вариантами и авт. машинопись с той же датой. *Валаам* — остров на Ладожском озере. Весной ладожский лед движется по Неве к Финскому заливу.

21. «Резец», 1928, № 38, с. 4. Два автографа, один под загл. «Гончары», с датой: Июнь 1928, и авт. машинопись, под загл. «О глине», с датой: 1927. Датируется по машинописи. *Сепия* — коричневая краска. *Валаамское утро.* Валаам — см. прим. 20.

22. Печ. впервые и датируется по авт. машинописи, где после строфы 2 строка точек. О. Берггольц работала в типографии ленинградской «Красной газеты», что и нашло отражение в образах ст-ния. *Однодневной Кантонской коммуны.* В этом ст-нии, ориентированном на стиль агитационной поэзии Маяковского с ее моментальной отзывчивостью на злободневные события за рубежом и внутри страны, говорится о событиях Китайской революции. В южно-китайском городе Кантоне (ныне Гуанчжоу) в 1927 г. произошло вооруженное выступление рабочих и солдат против гоминьдановской реакции. Китайский Совет народных комиссаров приступил к национализации предприятий и к передаче земли крестьянам. Восстание было жестоко подавлено. В СССР проходили массовые митинги солидарности с революционным Китаем и сбор средств в пользу семей повстанцев (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 538). *РОСТА* — Российское телеграфное агентство (1918—1935), информировавшее общественность о политической жизни за рубежом и в СССР.

23. НМ, 1979, № 4, с. 167 и ВОБ, с. 576. Автограф с датой. Авт. машинопись без даты.

24. Печ. впервые по автографу. Датируется по указанию М. Ф. Берггольц, временем пребывания в Глушине.

25. ДПЛ-80, с. 367. В тетр. 1927—1928 черновой автограф без даты, с вариантами; беловой автограф без даты и авт. машинопись. *Крещенье* — церковный праздник в память крещения Христа — 19 января. *Киноварь* — ярко-красная краска. *Пращур* — родитель прапрадеда, расширительно — предок.

26. Печ. впервые и датируется по автографу тетр. 1927—1928.

27. ДПЛ-80, с. 366. Черновой датированный автограф — в тетр. 1927—1928. *Галдарейка* (обл.) — галерейка, навес вокруг дровяного сарая.

* 28. Печ. по датированному автографу. Над текстом цифра I; на об. л. над ст-нием № 29 — цифра II, указывающая на связь этих ст-ний, относящихся к Б. Корнилову (см. прим. 9). В конце л. — общая для обоих ст-ний дата: Март — апрель. Другой вариант — авт. машинопись.

29. ДПЛ-80, с. 367. Автограф с цифрой II (см. прим. 28). Год написания устанавливается по содержанию. *Б. П.* — Б. Корнилов (см. прим. 9).

30. Печ. впервые по автографу без даты; на об. л. ст-ние № 31. Датируется по указанию М. Ф. Берггольц.

31. Печ. впервые по автографу без даты (см. прим. 30).

32. НМ, 1979, № 4, с. 167, и ВОБ, с. 578, с датой: 1928. Черн. автограф — тетр. 1927—1928.

33. ДрН, 1979, № 4, с. 179. Автограф — тетр. 1927—1928, с вариантом ст. 15—17, не закончено. *Делия* — в поэзии пушкинской эпохи условное имя возлюбленной. *Но узнаю по смуглым строфам вас* — ассоциации с образом Пушкина.

* 34. ЛенР, 1980, 5 сентября, с предположительной датой. Беловой автограф — МТБ, без даты; черновой автограф без даты, с дополн. 4-мя ст. после ст. 20.

35. ЮП, 1928, № 13, с. 15. Датируется по автографу тетр. 1927—1928; авт. машинопись с первым ст.: «Ночка ходит у колен». *Озерный край.* Летом 1925—1927 гг. О. Берггольц с семьей жила в деревнях Новгородской губернии на богатой озерами Валдайской возвышенности (ср. прим. 5). *Купырь* — болотное растение.

36. ЛГ, 1980, 21 мая, с датой: 1927—1928. Авт. машинопись без даты. Датируется по связи с другими ст-ниями той же лирической темы второй половины 20-х гг.

37. ДПЛ-82, с. 335. Автограф датируется предположительно по связи с другими ст-ниями, посвященными архитектурному пейзажу Ленинграда (см. № 14, 21, 33, 40, 44, 62). *Два сфинкса* — египетские

статуи из красного гранита эпохи Древних Фив (их возраст около 3500 лет), установленные в 1832 г. в Петербурге, на набережной Невы против Академии художеств. *Озирис* (египет. миф.) — бог воды и растительности, умирающий осенью и воскресающий весной; владыка загробного мира.

38—39. Печ. впервые и датируется по авт. машинописи.

40. «Резец», 1928, № 45, с. 9. *Это поле* — Марсово поле в Ленинграде, где похоронены герои Октябрьской революции. *Над прямыми скалами могил* — гранитные надгробья с памятными надписями (автор А. В. Луначарский). *Инженерный* (Михайловский) замок был выстроен для Павла I как своеобразная резиденция-крепость (по проекту В. И. Баженова архитектором В. Бренна в 1797—1800 гг.). В 20-е гг. здесь находилось Главное инженерное училище.

41. КрП, 1928, № 67, с. 6.

42. НМ, 1979, № 4, с. 168, и ВОБ, с. 576, с датой: Зима 1928. Автограф — тетр. 1927—1928; две авт. машинописи: одна без даты, вторая с вариантами, с датой: Январь 1928. Датируется по второй машинописи, где ст. 11—12 читаются: «Окраина, гавань, откуда, откуда тревожно-старинные сны? .. Не предки ль, Петром полоненные шведы глубоко погребены?» Здесь отразилось одно из семейных преданий о скандинавском происхождении фамилии Берггольц.

43. КрП, 1928, № 23, с. 4, без загл.; ДПМ-80, под загл. «Утренник», с датой: 1927—1928. Печ. по КрП. Автограф без загл., две авт. машинописи, одна с загл. «Утренник» и датой: Февраль 1928. Дата уточнена по авт. машинописи.

* 44. КрП, 1928, № 34, с. 7. Автограф без загл., с датой: Май. Авт. машинопись другой ред. без 12 ст., с 4-мя дополн. ст.

45. ЛенР, 1980, 5 сентября и ДПЛ-80, с. 368. Автограф с датой: Март 1928 и авт. машинопись без даты.

46. ЮП, 1928, № 13, с. 15, под загл. «Прощанье», без даты. Печ. и датируется по автографу.

47. Печ. впервые по датированному автографу.

48. ОСС, с. 35, с датой: 1928. Печ. и датируется по автографу МТБ. Авт. машинопись с датой: Июнь 1928. Вероятно, посвящено Б. Корнилову (см. прим. 9). Образы «татарской луны», «становья», «кочевников» подсказаны ассоциациями, которые вызывал в представлении автора Борис Корнилов со своим «узким разрезом глаз» («Попытка автобиографии»), по месту рождения связанный с теми краями, «где русские бились с татарами» (см. статью О. Берггольц «Продолжение жизни» — ССоч, т. 3, с. 341).

49. «Смена», 1928, 25 августа. Датируется по автографу. *Центавр* (греч. миф.) — кентавр, фантастическое существо с головой человека и туловищем лошади. *Саблино* (ныне Ульяновка) — поселок

Тосненского р-на Ленинградской области по Октябрьской железной дороге.

* **50.** Печ. впервые по датированному автографу. В черновом автографе — вариант ст. 22—25. *Косая сажень* — расстояние от пятки ноги до конца поднятой вверх руки противоположной стороны. *Велес* (слав. миф.) — бог скота. *Саблино* — см. прим. 49.

51. ОСС, с. 37. Датируется по опубликованному списку.

52. Зв, 1929, № 10, с. 133. Датируется по автографу. В другом автографе дата: Октябрь 1928.

53. ЛР, 1971, 1 января, с датой: 1929. Более точно датируется по авт. машинописи: Сентябрь 1928. *Вырица* (т. е. Выра), *Волхов* — реки, протекающие по Ленинградской обл. В ст-нии частично отозвались образы «Слова о полку Игореве» («Ты — ястребом, ты — волком, ты — щукою на дне. . .»).

54—55. Печ. впервые по датированной авт. машинописи (№ 54) и датированному автографу МТБ.

56. ОСС, с. 36. Печ. по ДПМ-80, с. 162. Датируется 1928 г. по расположению автографа в тетр. 1927—1928.

57. КрП, 1929, № 33, с. 15. Черновой автограф — тетр. 1927—1928. Авт. машинопись с датой: 1928. *Рядно* — грубый деревенский домотканый холст. *Вий* — фантастический персонаж одноименной повести Гоголя. *Тарпан* — дикий конь киргизских степей.

58. «Резец», 1928, № 5, с. 9, с пропуском строф 5 и 9. Печ. по «Смене», 1928, 11 ноября. *Выплывают расписные Стеньки Разина челны* — строки песни Д. Н. Садовникова «Из-за острова на стрежень. . .». *Отава* — здесь: остатки прошлогодней травы.

59. Печ. впервые по автографу без даты, где после ст. 22 строка точек. Датируется предположительно по связи с другими ст-ниями той же лирической темы. *Кикимора* — нечистая сила в женском образе в народных суевериях. *Выпь* — ночная птица из семейства цапель.

60. Печ. впервые по датированному автографу. Над текстом цифра II. Возможно, что это ст-ние, как и другие, обращенные к «охотнику» (Б. Корнилову), по замыслу входило в один цикл (ср. ст-ния № 53, 59 и др.).

61. Печ. по автографу (сдвоенный л. с цифрой II над текстом; на об. л. 2 — автограф ст-ния «Прохожу через Летний сад. . .»). Датируется по связи с другими ст-ниями той же лирической темы 1927—1929 гг.

62. Печ. впервые по авт. машинописи. Датируется предположительно по связи с другими ст-ниями 1927—1929 гг. — пейзажными городскими зарисовками, возникшими как неоформленный цикл, посвященный Ленинграду (см. прим. 37). *Арсенал* — памятник промыш-

ленной архитектуры в Ленинграде (проект А. П. Гемилиана, 1844). *Сенат* — одно из высших правительственных учреждений дореволюционной России в Петербурге, на бывшей Сенатской площади (ныне пл. Декабристов); построено в 1829—1834 гг. архитектором А. Е. Штаубертом по проекту К. И. Росси. *Мудрых академий* — речь идет о расположенных на берегах Невы зданиях Академии наук (Университетская набережная, 5), построенном в 1873—1879 гг. по проекту архитектора Д. Кваренги, и Академии художеств (Университетская набережная, 17), построенном в 1764—1788 гг. по проекту архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота. *Мосты стоят в зените* — о ночном разведении мостов на Неве для прохода судов.

63. ЮП, 1929, № 12, с. 17, с 12-ю дополн. ст., без ст. 10—17, 22—25, с вариантами; Зв, 1930, № 3, с. 86, с посвящением Б. Корнилову (см. прим. 9). Печ. по Ст-34, с. 46. Датируется по ЮП. В Ст-34 дата: 1930. Автограф ранней редакции. *Адамово яблоко* — выступ на мужской гортани, который колеблется при пении.

64. КрП, 1929, № 52, с. 4. В поэтической манере ст-ния сказался интерес О. Берггольц к живописному стилю плаката и его образному языку.

65. Печ. впервые по датированному автографу.

66. «Альманах», 1930, № 2, с. 1, под загл. «Осень 1929 года». Печ. по Ст-34, с. 28. Датируется по автографу.

67. «Смена», 1930, 2 февраля. Датируется по автографу. *На юру* — на возвышенном, открытом месте.

68. Печ. впервые по автографу без даты. Датируется предположительно по связи с другими ст-ниями той же лирич. темы. *«Не белы забелятся снежки»* — реминисценция из народной песни «Не белы-то снежочки забелилися. . .».

69—70. Печ. впервые по автографу без даты (№ 69) и по авт. машинописи без даты (№ 70). Датируются предположительно по связи с другими ст-ниями той же лирической темы. *Пращур* — см. прим. 25.

71—73. Печ. впервые и датируются по автографу МТБ из дневниковой тетр. «1928—1930».

* **74.** ЛР, 1971, 1 января, с датой: 1936 (время доработки). Автограф без загл., с вариантами, в составе 18 строф окончательного текста и двух строф, вычеркнутых автором по ходу работы, с датой: 1930. Но один из вариантов ст-ния создавался еще раньше, в 1929 г., что видно из письма О. Берггольц сестре от 23 сентября 1929 г., где сообщалось: «Сама написала две стишины — одна интересная довольно „Песня о продкомиссаре"» (арх. МФБ). Вероятно, текст этой песни был близок первой редакции наст. ст-ния (см. варианты). В год «великого перелома» (1929—1930) по путевкам партийных организаций в деревни направлялись продовольственные отряды ком-

мунистов для реквизиции хлеба у кулаков-саботажников. *Отволгла* — отсырела.

75. Ст-34, с. 23, с датой.

76. Печ. впервые и датируется по автографу из письма к сестре от 27 сентября 1930 г. Ст-ние задумано как вступление к большому стихотворному повествованию о практике О. Берггольц на Кавказе в 1930 г.: «Пишу мучительно и медленно. Хочется поскорее напечатать, прочесть, и все-таки откладываю, жду, жую — и ради честолюбия жертвую тщеславием...» — сообщалось в назв. выше письме от 27 сентября 1930 г. (арх. МФБ). Две другие части ст-ния («С заминкою, с перестановкой...» и «Отъезд») с датой: Сентябрь 1930 впервые опубликованы только в 1971 г. (ЛР, 1971, 1 января).

77. Ст-34, с. 41, с датой. Обращено к Н. С. Молчанову (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 538).

78. МГв, 1933, № 6, с. 76, под загл. «Другу», с датой; Ст-34. Печ. по КнП, с. 35 (раздел «Разлука»).

79. Ст-34, с. 25, с датой. *Расстанная, Разъезжая* — названия улиц в Ленинграде.

* 80. Зв, 1932, № 7, с. 150, под загл. «О детстве», ст. 3—16 в другой ред. Печ. и датируется по КнП, с. 12 (раздел «Детство»). В Ст-34 с датой: 1932. *Новгородским днем.* В 1924—1927 гг. семья О. Берггольц жила летом в деревнях Новгородской губернии. *Республика блокаде не сдается.* Речь идет о наступлении стран Антанты на молодую Советскую республику. *Мы ездим на субботники за Волгу.* В 1918—1921 гг. О. Берггольц с матерью и сестрой жили в городе Угличе на Волге (см.: «Попытка автобиографии», с. 50, а также «Дневные звезды»). *Джон Рид прочитан.* Имеется в виду вышедшая в 1919 г. в США и в 1923 г. в России книга американского писателя Джона Рида (1887—1920) «10 дней, которые потрясли мир», с предисловиями В. И. Ленина и Н. К. Крупской. Джон Рид был участником Октябрьской революции 1917 г. и пламенным пропагандистом ее за рубежом.

81. ЮП, 1933, № 18, с. 13, под загл. «Путь», с датой; КнП, без загл., в цикле «Зеленый сигнал» (раздел «Дальняя дорога»). Печ. по ИП, т. 1, с. 27.

82. Ст-34, с. 20, с датой.

83—85. 1 — ЮП, 1933, № 18, с. 13, под загл. «Закладка сада», без посвящения; КрН, 1933, № 10, без загл. 2 — ЮП, 1933, № 18, с. 13, под загл. «Рождение»; ЛС, 1933, № 8; КрН, 1933, № 10, без загл. 3 — ЮП, 1933, № 18, с. 13, под загл. «Рост»; КрН, 1933, № 10, без загл. В КнП все три ст-ния объединены в одно, под загл. «Рождение», без ст. 13—16 в № 1, 10—13 — в № 2, с вариантами, без посвящения (раздел «Детство»). Печ. по ССоч, т. 1, с. 40. В В (раздел «Предчувствие»). *Ю. Г.* — писатель Юрий Павлович Герман (1910—1967), в те годы близкий друг О. Ф. Берггольц и Н. С. Молчанова (см. об этом: Левин Л., «Жестокий расцвет». — ВОБ, с. 57—

66). *Родничок* — место еще не сросшихся костей черепа у младенца.

86. МГв, 1933, № 6, с. 36; Ст-34, без посвящения, с датой. Печ. по ССоч, т. 1, с. 38. *Гринберг* Иосиф Львович (1906—1983) — критик, автор многих статей о творчестве О. Берггольц, в том числе одной из первых — «Свой путь. О стихах О. Берггольц» (ЮП, 1933, № 18, с. 12—13).

* 87. Ст-34, с. 33, с датой. Беловой автограф, содержащий шесть строф, сохранился не полностью (без пяти последних ст. и без даты). В другом беловом автографе концовка зачеркнута. *Мы в новый дом въезжали.* Имеется в виду дом № 7 по ул. Рубинштейна, строившийся по особому проекту, рассчитанному на коммунальный быт. Недостатки и неудобство этого проекта дали основание для шутливого прозвища этого дома — «слеза социализма» (ВОБ, с. 55). Об этом же доме О. Берггольц говорит в очерке «О нашем Ленинграде», в записи от 28 июня 1941 г. — день ее дежурства по дому (ЛС, 1941, № 7, с. 124). В 1941—1942 гг. О. Берггольц была начальником санитарной дружины и парторганизатором своего дома. Об этом рассказывается и в «Дневных звездах» (гл. «Серебряная ночь»).

88. Ст-34, с. 38, с датой, в цикле «Побудка». *Ворчит большое «АМО»* — грузовые автомобили, выпускавшиеся заводом Автомобильного Московского общества (ныне завод им. Лихачева). *Одиннадцатый год* — речь идет о новобранцах 1911 г. рождения.

89. Зв, 1933, № 8, с. 37, без подзаг.; ЮП, 1933, № 17, с подзаг. «На мотив „Встречного"». Печ. по Ст-34, с. 35, с датой. Песня к кинофильму «Встречный» («Песня о встречном») была написана Б. Корниловым в 1932 г. и положена на музыку Д. Шостаковичем. По всей вероятности, «Песенка из „Встречного"» О. Берггольц («Молодежный цех») была написана в порядке соревнования с Б. Корниловым (возможно, еще в конце 20-х гг.). Во всяком случае, ритмика ее не совпадает с мотивом песни из «Встречного». *Валандать* — здесь: возиться, хлопотать. *Станд* — место испытания машин. В ст-нии отразились реальные впечатления автора, работавшего с 1931 г. на заводе «Электросила».

90. Ст-34, с. 16, без даты. Печ. по ИП, т. 1, с. 26, с датой. В ст-нии говорится о смерти младшей дочери О. Берггольц Майи, умершей в 1933 г. в одиннадцатимесячном возрасте.

91. ЛР, 1971, 1 января, с датой.

92—93. МГв, 1934, № 3, с. 43.

94. ЛС, 1935, № 6, с. 38. Печ. по КнП, с. 17, с датой (раздел «Память»). В авт. машинописи входит в цикл «Память», без загл. (загл. «Память» и «Прощанье» зачеркнуты). Ст-ние написано в память о дочери Майе (см. прим. 90).

95. Ст-34, с. 26, под загл. «Случай», без даты. Печ. по КнП, с. 40, с датой (раздел «Разлука»). М. Горький, оценивая Ст-34 в письме к автору от 22 ноября 1934 г., отметил непосредственную ис-

кренность автора и «мудрость» заключительного четверостишия в ст-нии «Случай» (ЛГ, 1958, 29 марта). О впечатлении, произведенном этим ст-нием, пишет М. Дудин в своем рассказе о первом знакомстве с поэзией О. Берггольц (ВОБ, с. 266).

96. ЛР, 1971, 1 января, с датой. Сергей Миронович *Киров* погиб от пули убийцы 1 декабря 1934 г.; 4 декабря состоялись проводы его праха в Ленинграде.

97. ДрН, 1979, № 4, с. 181. Датируется предположительно. Два автографа, один под загл. «Каторга», без эпиграфа, с вариантами, без даты. *На стрёме* — на круче. *Владимирской... дорогой* (Владимирский тракт, или Владимирка) отправлялись по этапу ссыльно-каторжные в Сибирь. *Варнак-баргузин* — беглый каторжник, отождествленный с образом сев.-вост. ветра на Байкале. *Бакунин* М. А. (1814—1876) — революционер-анархист, в 1861 г. бежал из сибирской ссылки. *Высокий и злой эпилептик* — Ф. М. Достоевский, который был осужден по делу петрашевцев на четыре года ссыльно-каторжных работ в Омском остроге (1850—1854). Впечатления этих лет нашли прямое отражение в его «Записках из мертвого дома» (1862). *Пали* — здесь: забор из высоких столбов, огораживающих острог; упоминается в «Записках из мертвого дома». *Моабит* — одна из фашистских тюрем в Берлине.

98. ЛС, 1936, № 8, с. 142. Печ. и датируется по КнП, с. 28 (раздел «Дальняя дорога»).

99. Зв, 1936, № 8, с. 103, без даты, в цикле «Путешествие»; КнП, с датой: Октябрь 1935 (раздел «Дальняя дорога»). Печ. по И-48, с. 12. Датируется по КнП. О. Берггольц называла Севастополь «доблестным братом» Ленинграда. О его судьбе в годы Великой Отечественной войны написаны ст-ние «Севастополю» (№ 237) и трагедия «Верность» (№ 348).

100—102. ЛР, 1971, 1 января, с датой.

103. КнП, с. 30, с датой, в цикле «Зеленый сигнал» (раздел «Дальняя дорога»).

104—106. **1** — ЮП, 1936, № 13, с. 16; КнП, с. 50, с датой (раздел «Верность»). Авт. машинопись — в цикле «Две песни». **2—3** — «Ленинград», 1940, № 9-10, с. 8, в цикле «Три песни». Цикл. печ. по КМ, с датой.

107. КнП, с. 53, с датой (раздел «Верность»); С-62, П (раздел «Молодость»). Печ. по ИП, т. 1, с. 33.

108. КнП, с. 31, с датой, в цикле «Зеленый сигнал» (раздел «Дальняя дорога»). Печ. по ИП, т. 1, с. 32.

109. МГв, 1936, № 3, с. 41, под загл. «Больница», без даты; КнП, с датой (раздел «Память»). Печ. по И-48, с. 15. Авт. машинопись — в цикле «Память», с зачеркнутым загл. «Больница».

110. Зв, 1936, № 8, с. 101, с датой, в цикле «Путешествие». Печ. по КнП, с. 23 (раздел «Дальняя дорога»). *Карадаг* — горный массив

в Крыму, на берегу Черного моря. У восточного подножья Карадага расположен поселок Планерское (б. Коктебель).

111. КнП, под загл. «Дружба», с. 39, с датой (раздел «Разлука»). Соч, т. 1, в цикле «Дружба». Печ. по ИП, т. 1, с. 39.

112. КнП, с. 20, под загл. «Бессмертие» и с вариантами, без даты (раздел «Память»). Печ. и датируется по КМ. Автограф завершает авторскую подборку ст-ний, входящих в цикл «Память».

113. КнП, с. 51, без строфы 2, с датой: 1935 (раздел «Верность»); И-48, с датой: 1936, в цикле «Разлука». Печ. по ИП, т. 1, с. 55, где ст-ние впервые выделено из цикла. Датируется по первым изданиям, так как в последующих изданиях печ. с датой: 1937.

114. ЮП, 1936, № 9, с. 10, в цикле «Два стихотворения» и МГв, 1936, № 6, с. 47, в цикле «Верность». Печ. и датируется по КнП, с. 5 (раздел «Детство»). Автограф под загл. «Колыбельная» и с адресом О. Берггольц: ул. Рубинштейна, д. 7, кв. 30. Посвящено дочери Ирине (см. прим. 115).

115—116. 1 — Зв, 1940, № 7, с. 102, с датой: 1937, в цикле «Дочери». Печ. по ССоч, т. 1, с. 61, с исправлением даты по Зв, КМ и И-48. В И-48 — в цикле «Три стихотворения дочери». В ст-нии говорится о смерти восьмилетней дочери Ирины (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 539). **2** — ЛС, 1935, № 6, с. 38, под загл. «Возвращение». Печ. по ССоч, т. 1, с. 62, с исправлением даты по ЛС и КМ. В И-48 в цикле «Три стихотворения дочери». Авт. машинопись без загл. (зачеркнуто «Возвращение»), в цикле «Память». Посвящено дочери Майе (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 539). Цикл из двух ст-ний возник впервые в Соч, т. 1, но под этим загл. — лишь в ССоч, т. 1, *Сиверская* — станция Октябрьской железной дороги под Ленинградом.

*** 117.** МГв, 1936, № 6, с. 48, под загл. «Другу», в составе 28 ст., ст. 4—8 в другой ред., с датой, в цикле «Верность»; КнП, под загл. «Верность», с вариантами; В, без загл. Печ. по Лир-55, с. 55 (раздел «Начало поэмы»). В П (раздел «Молодость»). По загл. ст-ния в В назван раздел «Предчувствие».

118. КнП, с. 54, без даты (раздел «Разлука»). Печ. по ИП, т. 1, с. 44, с датой: 1936. Автограф в цикле «Верность (Стихи о разлуке)», без даты, с вариантами ст. 11—12: «Поверну с любой дороги, к одному приду тебе».

*** 119.** МГв, 1936, № 6, с. 47, в составе 8 строф, строфы 2 и 3 в другой ред., без даты, в цикле «Верность». Печ. по Лир-55, с. 53, с датой: 1936. Автограф в цикле «Верность», без даты. *Красноармеец начеку* — Н. С. Молчанов (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 538), который был призван в Красную Армию и служил затем на южной границе в Туркменской ССР.

120. КнП, с. 42, с датой (раздел «Разлука»). Печ. по ИП, т. 1, с. 50. В Соч., т. 1 в цикле «Дружба». Автограф в цикле «Стихи о разлуке»; второй автограф с датой: 1936, в цикле «Дружба».

121. КнП, с. 37, с датой (в разделе «Разлука»). Беловой автограф в цикле «Стихи о разлуке». Черновой автограф с вариантами, без даты.

122. ЛС, 1936, № 8, с. 142; Печ. и датируется по КнП, с. 32 (раздел «Дальняя дорога»).

* 123. КнП, с. 56, с датой: 1936 (раздел «Верность», ст-ние завершает книгу); И-48, в составе строф 1—3 (без ст. 9—12), дата: 1938, в цикле «Разлука»; Уз; П, без загл., в цикле «О друзьях». Печ. и датируется по Лир-74, с. 28. В автографе 6 строф, без даты.

124. ЛОб, 1979, № 5, с. 102, в статье М. Ф. Берггольц «Победоносное терпенье». Стихи извлечены из дневника 1954 г., где они предваряются записью о последних минутах дочери О. Берггольц Ирины (см. прим. 115, 127—128, 131). В автографе вариант ст. 6: «С почти надменной скорбью на устах».

125—126. 1 — ЛГ, 1964, 12 мая. Печ. по Зн, 1964, № 10, с. 87. Датируется по КМ. Автограф без даты. 2. Печ. впервые по автографу. Датируется по содержанию. О. Берггольц познакомилась с Горьким осенью 1931 г. при содействии С. Я. Маршака. Горький заинтересовался работой молодой писательницы, поддерживал ее советами, помогал материально, был автором доброжелательных рецензий на ее первые книги («Углич», М.—Л., 1932; «Стихотворения», Л., 1934), высказал и в письмах ряд мыслей, которые стали, по признанию писательницы, руководящими в ее работе (см. об этом: Берггольц О., На всю жизнь. Памяти М. Горького. Воспоминания — ЛЛ, 1936, 30 июня; О встречах с М. Горьким. Послесловие к публикации писем М. Горького к О. Берггольц — ЛГ, 1958, 29 марта). В своих ранних автобиографиях О. Берггольц делила свою жизнь на период до встречи с Горьким и после (С-62, с. 5—15; «Моя жизнь» — в кн. «Русские поэты», т. 4, Л., 1968, с. 681—684 и др.). В ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» (к 100-летию со дня рождения М. Горького) О. Берггольц писала: «Горький прежде всего обогатил мировую, советскую и русскую литературу самим собой, своей неповторимой и небывалой до него личностью. Я имела счастье на протяжении ряда лет общаться с Горьким лично, гостить у него, переписываться. Была мне всего дороже в нем естественная человеческая доброта и простота, причем ни то, ни другое не было чем-то расплывчатым, «абстрактно-гуманистическим».. Он любил людей, а не просто человечество, что, как известно, гораздо труднее, и вот это-то придавало ему обаяние ни с чем не сравнимое» («Вопросы литературы», 1968, № 3, с. 7). В ст-ниях отозвались чувства, вызванные смертью Горького 18 июня 1936 г. и похоронами его на Красной площади 20 июня.

127—128. 1—2. Печ. впервые по авт. машинописям, № 126 без даты (на об. л. записано ст-ние «О, если б ясную, как пламя. . .»). Копия с автографа рукой матери, с датой. № 127 датируется по связи с предыдущим ст-нием. Входят в цикл «Память» (первоначальное загл. «Смерть», затем зачеркнутое), где, кроме данных ст-ний, собраны в разное время написанные ст-ния «О, девочка, всё связано с тобою. . .», «На Сиверской, на станции сосновой. . .», «Ночная гулкая больница. . .» (авт. машинопись) и автограф ст-ния «Как много пережито в эти лета. . .». Написаны на смерть дочерей Ирины и Майи (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 539).

129. ЛПр, 1963, 1 мая, с вариантами, и ДП (М.—Л.), 1963, с. 10—11, под загл. «Родине», с датой: 1937. Печ. по Уз, с. 9, где ст-ние открывает книгу (раздел «Испытание»). В дальнейшем помещалось то в разделе «Твой путь» (В), то в разделе «Память» (П). В «Сов. Литве», 1974, 12 мая под загл. «Естественней вздоха». В ряде изд. открывает книгу в качестве поэтического предисловия.

* **130.** «Ленинград», 1940, № 3, с. 10, с датой, в цикле «Стихи о разлуке». Уз, П без загл., в цикле «О друзьях». Печ. по Лир-74, с. 29. Автограф в составе строф 1—4, без даты.

131. ЛГ, 1980, 21 мая, под загл. «О дочке». Печ. и датируется по КМ. В 1936 г. умерла дочь О. Берггольц Ирина.

* **132—134.** **1** — И-54, с. 16, дата: 1938 (раздел «Молодость»). Автограф без загл., строфы 2—3 в другой ред. **2** — И-48, с. 11, без загл., с датой: 1937, в цикле «Три стихотворения дочери»; И-54, без строфы 2. **3** — И-54, с. 17, с датой: 1938. В автографе без загл., на 4 ст. больше, без даты. В автографе отсутствует «Встреча», а 3-м ст-нием цикла является ст-ние «И вот настанет день, повитый. . .». Весь цикл печ. и датируется по ССоч, т. 1, с. 86. В КМ, как и в И-54, цикл датирован 1938 г. Речь идет о помощи советских людей семьям испанских республиканцев в 1937 г. и об эвакуации в СССР их детей.

135. Зн, 1964, № 10, с. 88, с датой, в цикле «Память»; И-48, под загл. «Первый снег», без ст. 9—12, 21—22, с вариантами. Печ. по Уз, с. 51 (раздел «Память»).

136. ЛР, 1971, 1 января, с датой (в подборке «Свою судьбу вручу стране, ее большой судьбе»).

137. Зв, 1940, № 7, с. 103, с датой: 1937, в цикле «Дочери». Печ. по Соч, т. 1, с. 137. КМ, без загл. Ст-ние о смерти дочери Ирины (1936).

138. Зн, 1964, № 10, с. 88, с датой, в цикле «Память». Печ. по Уз, с. 55 (раздел «Испытание»).

139—140. **1** — И-48, с. 24, с датой, в цикле «Разлука». **2** — «Ленинград», 1940, № 3, с. 10, под загл. «О друге»; И-48, под загл. «Песня», с датой. Печ. по ИП, т. 1, с. 61, где оба ст-ния впервые помещены в цикле «Али Алмазову». *Алмазов* Асламбек (1906—?) — деятель ингушского комсомола, затем прокурор; О. Берггольц работала с ним в 1930 г. на Кавказе.

141. Зв, 1940, № 7, с. 102, в цикле «Дочери». В КМ и автографе с датой: 1937. Копия с автографа рукой матери, сокращ. текст, без последней строфы, с вариантами, с датой: Март 1938.

142. ЛР, 1965, 26 марта, с датой: 1938, под рубрикой: «Из незабытых тетрадей». Печ. по Уз, с. 11 (раздел «Испытание»). *Ты в пустыню меня послала.* Библейский образ пустыни символизирует тяжелые нравственные испытания поэта в 1937—1938 гг. (см. об этом «Попытка автобиографии», с. 57).

143. И-54, с. 22, без посвящения, с датой: 1940 (раздел «Молодость»). Печ. по ССоч, т. 1, с. 89, с уточнением ст. 32 по АП. Лир-55 (раздел «Начало поэмы»), КМ, с датой: 1938. Авт. машинопись, конец (ст. 31—40) утрачен. *В. Л.* — Владимир Александрович Луговской (1901—1957), советский поэт. О посвящении ему ст-ния — см. ВОБ, с. 205.

* **144.** НМ, 1956, № 8, с. 26, с датой: 1938 (под рубрикой «Стихи и дневники 1938—1956 гг.»). Печ. и датируется по Уз, с. 13 (раздел «Испытание»). В СПр впервые открывает цикл «Испытание»; П (раздел «Память»). Автограф без загл. в письме к сестре (осень 1939), ст. 17—20 в другой ред.

145. Уз, с. 17 (раздел «Испытание»), с датой: Март 1939, с посвящением. В П (раздел «Память»). Авт. машинопись в письме к сестре (осень, 1939), без посвящения, с вариантом ст. 7—8. *Сестра* — М. Ф. Берггольц.

146. ДрН, 1979, № 4, с. 182, и ВОБ, с. 583, под загл. «Кораблик». Печ. по КМ, дата: Июль 1939, цикл «Разлука с тобой». Датируется по автографу с вариантом в ст. 17, в письме к сестре (осень 1939), с датой: Май 1939.

147. ДрН, 1979, № 4, с. 181, и ВОБ, с. 582. Автограф в письме О. Ф. Берггольц к сестре от 1 июня 1939 г.; копия рукой матери с вариантом ст. 11. Автограф — ЦГАЛИ.

148. ЛенР, 1980, 5 сентября, и ДПЛ-80, с. 369. Датируется по КМ, цикл «Разлука с тобой».

* **149.** СП-46, с. 4, без загл., с датой: Июль 1939. В КМ под загл. «В лесу», в цикле «Разлука с тобой»; Уз, без загл., с датой: 1939, в цикле «Возвращение» (раздел «Испытание»). Печ. по Лир-74, с. 49. Датируется по СП-46. Автограф под загл. «В Луге», объединяющий два ст-ния (см. второе на с. 515), — в письме к сестре от 12 октября 1939 г.

150. ВОБ, с. 583, с датой. Автограф в письме к сестре (осень 1939) под загл. «Колыбельная». В письме о ней говорится: «А пою я ее на чуть-чуть измененный мотив — вот твоя песня „Ты, душа ль моя, раскрасавица...“» (арх. МФБ).

151. Зн, 1964, № 10, с. 87, с датой. Печ. по Уз, с. 49 (раздел «Память»).

152—154. 1 — Зв, 1940, № 7, с. 102, под загл. «Родине», с незначительными вариантами, с датой: 1940; Уз, без загл., с датой: Октябрь 1939 (раздел «Испытание»). КМ, в цикле «Испытание» (вместе со ст-нием № 144). Автограф — в письме к сестре от 3 апреля 1940 г. **2—3** — Уз, с. 20, с датами: 1939 и Осень 1939. Весь цикл печ. по Уз, с. 19 (раздел «Испытание»).

155—159. 1, 3, 4 — ЛС, 1940, № 4, с. 101, без эпиграфа, без ст. 13—16 в № 1, 29—36 в № 4; И-48, И-54, с датой: 1938 (раздел «Молодость»). **2** — Соч., т. 1, с. 153. **5** — «Ленинград», 1940, № 3,

с. 10, под загл. «Воспоминание», в цикле «Стихи о разлуке». Весь цикл печ. по Соч, т. 1, с. 158, где опубликован полностью впервые, дата: 1939. Эпиграф — из трагедии Пушкина «Пир во время чумы» (1830). 1. *В степных колхозах незнакомых.* В 1931 г. после окончания университета О. Берггольц была направлена в Казахстан, где работала корреспондентом газеты «Советская степь». См. об этом «Попытку автобиографии» (с. 53), а также повесть «Журналисты» (1933), где говорится и о том, как до постройки железной дороги перевозили будущие «города» на верблюдах (один из эпизодов ст-ния). 2. *Семиречье* — юго-восточная часть Казахской ССР. *Листка дубового бедней.* Намек на ст-ние Лермонтова «Листок» («Я бедный листочек дубовый...»). 3. *Шофер, уныло напевая, качает буйной головой.* Шутливая переделка строк народной песни «Вот мчится тройка удалая...» на слова Ф. Н. Глинки из его ст-ния «Сон русского на чужбине» (1825). 4. *Столпнички.* Столпник, — по объяснению В. Даля, — «почетное звание св. Симеона, сподвизавшегося на столпе». Неожиданное это сопоставление возникло в ст-нии не сразу. В первых публикациях (ЛС, И-48, И-54) было: «как столбики».

160. Печ. впервые и датируется по КМ. *Галина* Георгиевна Пленкина (род. 1911) — друг О. Берггольц по совместной работе на заводе «Электросила».

161. ЛенР, 1980, 5 сентября и ДПЛ-80, с. 369, с датой. Авт. машинопись с датой.

162. ЛГ, 1964, 12 мая, под загл. «О песне». Датируется по автографу МТБ. Эпиграф — цитата из украинской народной песни «Ої, зацвіла рожа край вікна...» (см. «Ураїнські народні ліричні пісні», Київ, 1958, с. 400).

163. Уз, с. 23, с датой, в цикле «Возвращение». Печ. по ИП, т. 1, с. 82.

164. ЛР, 1965, 26 марта, в подборке «Из незабытых тетрадей», без загл., с датой. Печ. по Уз, с. 38, с датой (раздел «Испытание»). П (раздел «Память»). Авт. машинопись с посвящением «М. К.» в письме к сестре (осень 1939), где ст-ние названо: «Женщина-воин». *Коршунова* Маргарита Иосифовна (1900—1967) — герой гражданской войны, врач, находилась в тюрьме вместе с О. Берггольц; реабилитирована.

165. ДПЛ-64, с. 29, в подборке «Из старых дневников», с датой; Уз; П, без загл., в цикле «Если друг вернется». Печ. по Лир-74, с. 48. Автограф под загл. «Возвращение», с вариантом ст. 3—5 в письме к сестре (осень 1939).

166. СП-46, с. 7, без загл., с датой: 31 декабря 1939, в цикле «Три тоста»; И-48, с загл.; Уз; П, без загл., в цикле «Если друг вернется». Печ. по ССоч, т. 1, с. 91.

167. «Ленинград», 1940, № 3, с. 10, без даты, в подборке «Стихи о разлуке». В КМ с сомнительной датой: 1937.

* **168.** «Смена», 1963, 30 ноября, в составе строф 1—7 (в подборке «Из лирики»). Печ. по Уз, с. 55 (раздел «Память»). Сохранились три редакции ст-ния: первая в автографе (с датой: 30 ноября 1936 г.,

по записи в дневнике — ЦГАЛИ); вторая опубликована в 1963 г. в «Смене»; третья с датой: 1940 г. (Уз) легла в основу последующих публикаций.

169. ЛР, 1965, 26 марта, без загл., с датой (под рубрикой «Из незабытых тетрадей»). Печ. по Уз, с. 40 (раздел «Испытание»). *Гурская* Ирэна Абрамовна (род. 1902) — близкий друг О. Берггольц. *Ни гнев, ни счастие, ни слезы, но только воля и покой* — перифраз строки «На свете счастья нет, но есть покой и воля» из ст-ния Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834).

170—172. ЛС, 1941, № 4, с. 32, с пометой: «Коктебель, 1940», без строфы 4 в № 170. Печ. по Уз, с. 59 (раздел «Память»). В КМ строфа 4 зачеркнута. Авт. машинопись — в письме к сестре от 6 октября 1941 г., где о значении вычеркнутой редактором строфы говорится: «...строфа, стоящая на уровне вопля и превращающая два следующих стихотворения в торжество» (арх. МФБ). Эпиграф — из ст-ния Державина «Ласточка» (1792).

173. ЛР, 1971, 1 января, с датой: 1936. Печ. по ССоч, т. 1, с. 70. Датируется по АП.

174. Ю, 1964, № 11, с. 49, с датой. Печ. по Уз, с. 65 (раздел «Память»). *Троицкая, семь* — ныне ул. Рубинштейна — ленинградский адрес, по которому до 1942 г. жила О. Берггольц.

175—176. **1** — Зн, 1964, № 10, с. 88, с датой: 1939. **2** — Зв, 1940, № 7, с. 103, с датой: 1940. Цикл печ. по Уз, с. 75 (раздел «Память»). Входило во многие сб-ки 1948—1964 гг. (вне циклов). Автограф — в письме к сестре от 12 января 1940 г. Эпиграф — из поэмы Б. Корнилова «Моя Африка». *Звезда горит над розовой Невою* — автоцитата из не дошедшего до нас раннего ст-ния О. Берггольц.

177. ЛГ, 1980, 21 мая, и ДПЛ-80, с. 370. Датируется по КМ. Авт. машинопись — в письме к сестре от 6 октября 1940 г., где автор характеризует содержание ст-ния: «...речь идет только о предельной честности поэта, об его органичности, отзывчивости» (арх. МФБ). Образ «струны в тумане» рефреном проходит также через ст-ние № 245. Он присутствует в ст-ниях № 182, 298. *Со струной, звенящей в тумане*, сравнивает голос О. Берггольц поэт С. Наровчатов (Наровчатов С., Атлантида рядом с тобой, М., 1972, с. 36), указавший на лит. источник образа — «Дым, туман, струна звенит в тумане». Это измененная цитата из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя — «...сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане»).

178—179. ЛР, 1971, 1 января, оба ст-ния с датой: 1940.

180. И-48, с. 21, под загл. «Молодости», с датой. Печ. по Соч, т. 1, с. 162. Автограф без загл. — в письме к сестре от 12 января 1940 г., с вариантами.

181. Печ. впервые и датируется по КМ. Как указывает М. Ф. Берггольц, ст-ние обращено к молодому тогда поэту Сергею Сергеевичу Наровчатову (1919—1981). Поэтическая мысль и лермонтовские об-

разы ст-ния получили новое, автобиографическое освещение в «Дневных звездах» (гл. «День вершин. Лермонтов»): «...в лермонтовских стихах мне открылось, что не только все кругом живое, но все про меня... Почему — вместе с сосной и утесом — так мучительно жалко себя, почему я одна, совсем одна на свете, и так одиноко, что плакать хочется... Нет, я не вынесу этого... я не могу больше! Если б умчаться в море, как парус одинокий!» В книге «Лирика Лермонтова. Заметки поэта» (М., 1970, с. 5). С. Наровчатов подтверждает, что ст-ние «Парус» прошло через всю его жизнь, «слитое с судьбами всего поколения».

182. Печ. и датируется по КМ. Как и № 181, обращено к С. С. Наровчатову, ушедшему добровольцем на Советско-финляндскую войну.

183. ДПЛ-80, с. 370. Автограф — в письме к сестре от 3 апреля 1940 г.

184—185. **1** — ЛР, 1965, 26 марта, под рубрикой «Из незабытых тетрадей», с датой. **2** — Уз, с. 35 (раздел «Испытание»). Весь цикл печ. по Уз, с. 35. В ст-нии использованы мотивы народной сказки «Сестрица Аленушка, братец Иванушка» (Афанасьев А. Н., Русские народные сказки, т. 2, М., 1957, № 260—262).

186. ЛС, 1941, № 4, с. 32, под загл. «Колыбельная», с пропуском ст. 20, без даты; СП-46, под загл. «Другу», с датой, в цикле «Две колыбельных». Печ. по И-48, с. 13.

187—192. **1** — ЛР, 1967, 24 февраля, и ДПЛ-67, с. 107, под загл. «Запад», без даты, без посвящения (в подборке «Далекие дневники. Страницы тетрадей 1940 г.»). **2, 5, 6** — там же, без загл., в № 5 после ст. 5: «ощупают бока его и грани», без даты. **3, 4** — Ю, 1967, № 6, с. 42 (в подборке «Из дневников далеких лет: Европа, война 1940 года»), с подзаг. «Две фантазии», без даты. Весь цикл печ. по В, с. 20. Посвящено *Эренбургу* Илье Григорьевичу (1891—1967), страстному борцу против фашизма, автору романа «Падение Парижа» (1941—1942), связанного с настоящим циклом по теме.

193. ЛР, 1965, 26 марта (под рубрикой «Из незабытых тетрадей»), с эпиграфом: «Как свидетельствуют искусствоведы, бронза на крыльях врубелевского «Демона» год от года тускнеет, погасает», с датой. Печ. по Уз, с. 21 (раздел «Испытание») с поправкой ст. 9 по АП. *Врубелевский Демон* — хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее картина М. А. Врубеля «Поверженный Демон» (1902). Об этой картине — ее красках и их «знаковом» языке — см. в статье А. Блока «Памяти Врубеля» (1910).

194—195. ЛС, 1941, № 4, с. 32, без даты. Датируются по КМ, где оба ст-ния вошли в цикл «Дальняя дорога». **1.** *Шамаханская царица* — персонаж пушкинской «Сказки о золотом петушке» (1834). *Рионские берега* — долина реки Риони в Грузии. **2.** *Мамисонский перевал* — один из перевалов через Большой Кавказский хребет в Грузии. В поэме «Твой путь» (№ 266) автор вспоминает о путешествии на Мамисонский перевал (гл. 2 и 6).

196. Печ. впервые по автографу без даты. Датируется предположительно. Накануне войны в поэзии О. Берггольц возникают провидческие образы как бы уже разразившейся на родине военной катастрофы (ср. ст-ния № 189—191 в цикле «Европа. Война 1940 г.»).

197. ЛР, 1964, 28 августа, с датой: 1941. Печ. и датируется по Уз, с. 77 (раздел «Память»).

198. СП-46, с. 4, без даты, в подборке «Два стихотворения». Печ. по ИП, т. 1, с. 104. В И-48, Лир-55 — в цикле «Разлука», в Уз — в цикле «Возвращение» (раздел «Испытание»). В С-62, В, П вне циклов (разделы «Молодость», «Предчувствие», «Память»).

* **199.** ЛТ, с. 3, без загл., с датой: 23 июня 1941, в составе строф 1—4 (3 ст. последней строфы позднее вошли в концовку поэмы «Февральский дневник»), с эпиграфом: «Двадцать третье июня 1941 года. Объявлена всеобщая мобилизация». Печ. по Лир-55, с. 63, с датой. *Литейный* — проспект в Ленинграде. *Где Ленин, руку простирая.* Перед Финляндским вокзалом в 1926 г. был установлен памятник, запечатлевший В. И. Ленина на башне броневика в момент, когда он, вернувшись из Финляндии в Петроград, 3 (16) апреля 1917 г. произносил речь, призывая к борьбе за победу социалистической революции.

200. НМ, 1965, № 1, с. 80, под загл. «Первый день», с датой. Печ. по ИП, т. 1, с. 105. Уз, в цикле «Возвращение» (раздел «Испытание»). В В, П (разделы «Начало», «Память»).

201. «Смена», 1941, 3 июля, под загл. «Комсомольцу-кировцу» (перепеч. в «Смене», 1969, 22 июня). Печ. по ЛР, 1971, 1 января, В П дата: Осень 1941; ССоч, т. 2, дата: 1941. Автограф под загл. «Молодому комсомольцу», без даты, на об. л. ст-ние № 353. Формирование 1-й добровольческой дивизии Кировского района в Ленинграде развертывалось в начале июля 1941 г. (БДД, с. 18). Газетная страница, где было опубликовано ст-ние, вышла под шапкой «По боевым традициям красногвардейцев», а передовая статья называлась «Кировцы всегда впереди». В дальнейшем ст-ние перепечатывается под другим загл., как обращенное к молодежному добровольческому движению вообще. *Чтоб отразить четырнадцать держав.* В 1919 г. петроградские рабочие по призыву партии вступили в отряды, отражавшие наступление деникинцев и Антанты, объединивших армии всех пограничных с Советской Россией государств, т. н. поход 14-ти держав. *На Днепре ударники сражались.* Днепрогэс им. В. И. Ленина — гидроэлектростанция на Днепре — строилась в 1927—1932 гг. методами народной стройки с широким привлечением молодежи. *В приамурских дебрях... город молодой* — Комсомольск-на-Амуре, основан в 1932 г. на месте тайги и болот силами прибывших со всех концов страны комсомольцев.

202. ЛР, 1970, 6 ноября; «Смена», 1971, 11 июня, под загл. «Отец и сын». Печ. по П, с. 60 (раздел «Ленинград»), с уточнением даты (1941) по автографу. Авт. машинопись с датой: Июль 1941; вторая авт. машинопись под загл. «Отец и сын», с датой: Июль 1941 и подписью рукой автора, без ст. 29—32, зачеркнут эпиграф: «Ленин-

градцы вступали в ополчение целыми семьями. Иван и Анатолий Ревко, отец и сын, рабочие Путиловского завода».

203. Ог, 1945, № 25, с. 5, с датой: 1942. Печ. по ТвП, с. 12 (раздел «Ленинград»). Авт. машинопись с датой: 1942. С 1948 г. печ. с датой: 1941. В Лир-55 по названию ст-ния озаглавлен раздел книги. С-62 (раздел «Молодость»), В (раздел «Начало»).

204. «Смена», 1941, 30 августа, с ошибкой в тексте, прошедшей через все издания, с датой. Печ. по П, с. 40, с испр. в ст. 6 «мать троих бойцов» вм. «мать двоих бойцов» (ср. ст. 36 и по содержанию). *Воззвали рупора: «Над нами грозная опасность...»* По ленинградскому радио утром 21 августа 1941 г. было объявлено напечатанное в газетах и листовках обращение «Ко всем трудящимся города Ленина», подписанное членами Военного совета обороны Ленинграда (К. Ворошиловым, А. Ждановым, П. Попковым). В нем сообщалось, что над городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск, и содержался призыв к всенародному участию в защите города (БДД, с. 42). О. Берггольц, работавшая в Радиокомитете, по-видимому, располагала текстом «Обращения» еще накануне.

***205.** Зн, 1942, № 8, с. 96, под загл. «Слово матери», в составе строф 1—10, с датой: Сентябрь 1941. Ленинград, в цикле «Стихи о женщинах Ленинграда»; ЛД, без загл., с эпиграфом, с датой: 22 августа 1941 (раздел «Осень 1941 года»). Печ. по Соч., т. 1, с. 10. Датируется по ЛД. Авт. машинопись (2 строфы — автограф), под загл. «Слово матери», с вариантами. Текст («Над Ленинградом — смертная угроза») и содержание ст-ния в целом является откликом на обращение Военного совета обороны Ленинграда к трудящимся Ленинграда (см. прим. 204). *Я говорю с тобой из Ленинграда.* С августа 1941 г., когда вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады и фашисты неистово рвались в город, были введены по указанию ЦК партии регулярные радиопередачи из Ленинграда на всю страну. Ольга Берггольц работала с начала войны в Радиокомитете и постоянно участвовала в таких передачах. Этому посвящена ее книга «Говорит Ленинград» (см. ГЛ). *Старинные знамена Петрограда.* Гвардейские добровольческие батальоны шли на фронт под революционными знаменами Красной гвардии. *Под Стрельною в бою.* В первоначальном тексте (автограф, Зн, ЛД): «под Лугою в бою». Кровопролитные бои на Лужском направлении шли с середины июля до 12 августа 1941 г., когда Луга была захвачена врагом; прорыв под Стрельной произошел 16 сентября (БДД, с. 58).

206. «Смена», 1941, 25 ноября, под загл. «Она!»; «Медицинский работник», 1942, 8 марта, под загл. «Я здесь, мой сын!»; ЛТ, без загл., с эпиграфом, с датой: Август 1941. Печ. по В, с. 39 (раздел «Начало»). Авт. машинопись, без даты, на об. л. — автограф ст-ния № 207.

207. Зв, 1942, № 1—2, с. 55, без эпиграфа, без даты; Зн, 1942, № 8, с. 98, с пометой: «Ленинград, сентябрь», и уточнением в эпиграфе: «Начало сентября 1941 года» (в подборке «Стихи о женщинах Ленинграда»); ЛП, с другим эпиграфом: «Двенадцатое сентября 1941 года. Третья бомбежка Ленинграда. Несколько дней на-

зад в городе упали первые артиллерийские снаряды». Печ. по В, с. 43. Входило почти во все сб-ки ст-ний, иногда — открывало раздел («1941» в Л). Автограф — с датой: Сентябрь 1941. Ленинград. На об. л. ст-ние № 206. *Ленинградцы говорят с тобой.* Это ст-ние было прочитано автором по радио в передаче «Говорит Ленинград» (см. прим. 205). *Старый дом на Палевском, за Невской* — на Палевском проспекте (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 537).

* **208.** «Смена», 1941, 5 октября, под загл. «Письмо к матери», без эпиграфа; ЛТ, ЛП, с эпиграфом, без упоминания о непрерывных бомбежках и обстрелах, с датой: 24 сентября 1941 года; ТвП, под загл. «Первое письмо», в цикле «Три письма на Каму»; И-48, под загл. «Письмо на Каму». Печ. по В, с. 46. Датируется по ЛП и ЛД. СтП-51, И-54, Лир-55, с датой: 21 сентября 1941 г. (по всей вероятности, ошибочной), С-62, В, с датой: Сентябрь 1941. Автограф в письме к матери от 6 октября 1941 г. содержит не вошедшие в основной текст строфы, опубликованные М. Ф. Берггольц в ЛГ, 1980, 21 мая. Машинопись с вписанной автором строкой сохранилась со ст. 27 (начало утрачено). Авт. машинопись с поправками — подборка из двух писем на Каму и «Разговора с соседкой», общая дата: Сентябрь 1941 и подпись. Ст-ние было прочитано автором по радио на страну в сентябре; вместе со «Вторым письмом на Каму» — 29 декабря 1941 г., в передаче «Живы, выдержим, победим» для ленинградцев; оба включены в ГЛ-46 (см. также ВОБ, с. 134). *Далеко на Каме... мать.* Мать поэта Мария Тимофеевна Берггольц (1887—1957) была эвакуирована во время войны в Татарскую АССР, сначала в Берсут, затем в Чистополь, расположенные на берегу Камы.

209. «Смена», 1941, 10 декабря, под загл. «Ленинградские большевики»; КПр, 1942, 3 июля; И-48, с датой; Лир-55; Ст-66, под загл. «Ленинградским большевикам». Печ. по ИП, т. 1, с. 113. Авт. машинопись без ст. 22—32 (конец утрачен), без даты. Ст-ние перепечатывалось во многих газетах, звучало по радио, включалось почти во все сб-ки. О боевом его звучании в первые месяцы войны см. в кн.: Бурков Б., Комсомолка в шинели, М., 1975, с. 209.

* **210.** ТвП, с. 14, в составе строф 1—10, с датой. Печ. по СтП-51, с. 67.

* **211—216. 1, 2, 4** — Ог, 1945, № 25, с. 5, под загл. «Из блокнота (Осень 1941 года)». **1—5** — СП-46, с. 6, с датой: Сентябрь 1941. **6** — ЛР, 1970, 6 ноября (в подборке «Мне не забыть об этих днях, подобных мужественной песне»). Весь цикл печ. по ССоч, т. 2, с. 20. В И-48, СПр, С-62 только № 4, под загл. «Из блокнота». Авт. машинопись № 1, 2, 4, под загл. «Из блокнота (Осень сорок первого года)», с пометой: «Ленинград». В письме О. Берггольц к сестре от 6 октября 1941 г. — более полный вариант ст-ния № 4 со след. объяснением: «Не думаешь о том, что будет дальше, времени-то не стало, особенно в нашем городе, ну и живешь сегодняшним днем, ловишь ртом, как рыба на берегу, малейшую минуту радости. Может быть, это самое мудрое» (арх. МФБ).

217. Сб. «Молодежь Ленинграда», Л., 1941, с. 37. Авт. машинопись с датой. Герой песни — лейтенант Леонид Коротких — лицо реальное, комсомолец с завода «Большевик», родом сибиряк. Об этом говорится в редакторском послесловии к сб. «Молодежь Ленин-

града» (с. 101). (О. Берггольц — член редколлегии этого сб.). Эпизод, легший в основу песни, повторен в «Ленинградской поэме» (гл. 5), где героический командир взвода носит имя Семена Потапова.

218. ЛТ, с. 18 и ЛП, с. 16, с датой: 4 октября и подтверждением этой даты в эпиграфе: «Начало октября 1941 года»; И-48 без эпиграфа. Печ. по В, с. 54, с исправлением даты (16 октября 1941) по первым изданиям. Дата: 4 октября соответствует хронике событий, отраженных в ст-нии. 1 октября 1941 г. в Ленинграде произошло третье снижение продовольственных норм (см. строфу 2), тогда же начались перевозки грузов Ленинграду из-за кольца по новому маршруту: «Новая Ладога — Осиновец», — т. н. «большой трассе» в дополнение к опасной «малой трассе» вблизи берега (БДД, с. 68). Отсюда мотив помощи ленинградцам извне. *Ярославна* — Евфросинья Ярославна, жена Новгород-Северского князя Игоря Святославича (1150—1202), воспетая в «Слове о полку Игореве».

219. «Смена», 1941, 16 октября, под загл. «Два брата», с вариантами, без ст. 29—32, 38—41; сб. «Молодежь Ленинграда», Л., 1941, с. 72; ТвП, с датой: Октябрь 1941 г.; СтП-51. Печ. по В, с. 57, с уточнением даты: между 3 и 15 октября 1941 г. (см. ниже). Авт. машинопись с поправками и подписью, без даты. На об. л. — ст-ние № 230. В газете «Смена» 3 октября 1941 г. (под рубрикой «Вести с фронта») было опубликовано сообщение: «В г. Луга 13-летний Николай Леонтьев замучен немцами за то, что его брат ушел в партизаны... Фашисты зверски пытали мальчика, стараясь узнать, где скрывается брат. Отрезали уши, кисть правой руки. Мальчик молчал. Звери закололи его штыком». В письме к сестре от 5 февраля 1942 г. О. Берггольц рассказывает: «Баллада о младшем брате» написана на фронте. Андрей Л(ео)нтьев, лужский партизан, приходил к нам, выступал и рассказывал о братишке то, что я написала; его звали Коля, ему было 13 лет. Андрей так рыдал, что мы споили ему всю валерьянку, а сам такой могучий, хороший мужик» (арх. МФБ).

220. «Смена», 1941, 26 октября, без эпиграфа; Зн, 1942, № 8, с. 99, под загл. «Москве», с указанием времени в эпиграфе: Октябрь 1941 года и пометой в конце: «Радиопередача из Ленинграда»; ЛТ, с другой ред. строфы 8, с ошибкой в дате: 26 октября; И-48, под загл. «Москве». Печ. по Соч, т. 1, с. 20. Датируется по ЛП. В В — открывает раздел «Бой», в П — раздел «Ленинград». Авт. машинопись с датой: 16 октября. Написано в связи с угрожающим положением, создавшимся на подступах к Москве. О. Берггольц прочла ст-ние в передаче для москвичей 19 октября 1941 г. *Прах... снова в сердце моем стучит.* В ст-нии звучит мотив возмездия, восходящий к «Легенде о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера («Пепел Клааса стучит в мое сердце»).

221. «Красный Балтийский флот», 1941, 17 октября, под загл. «Вооруженный народ». Печ. по ССоч, т. 2, с. 32. В П (раздел «Ленинград»). Одна из наиболее устойчивых тем в поэзии О. Берггольц периода Великой Отечественной войны — связь боевых революционных традиций петроградского пролетариата, его красногвардейских частей с боевыми традициями народа, защищавшего город Ленина

от нашествия фашистских полчищ. *Триумфальной арки колоннада* и т. д. Имеются в виду Триумфальные (ныне Нарвские) ворота на Нарвской площади (ныне пл. Стачек). Через них красногвардейцы Нарвской заставы шли осенью 1919 г. на защиту Красного Петрограда от белогвардейских войск *Юденича*, подошедших вплотную к городу. 21 октября противник был отброшен от ближних рубежей и к концу года отступил в Эстонию. *Пулковские высоты.* В ноябре 1917 г. здесь (под Ленинградом) были разгромлены войска контрреволюционного генерала Краснова, а в октябре 1919 г. остановлено наступление армии Юденича. *На бой святой и правый* — неточная цитата из международной революционной песни «Варшавянка» (1895), русский текст Г. М. Кржижановского — см. об этом ДПЛ-64, с. 118. *Смяты юнкера Краснова.* 13 ноября (н. ст.) 1917 г. был завершен разгром контрреволюционных войск Краснова, наступавших на Петроград. *Арсенал* — см. прим. 62.

222. ЛОб, 1979, № 5, с. 101, без загл., без даты, и ВОБ, с. 584, в цикле «Николаю Молчанову», с датой: Октябрь 1941. Н. С. Молчанов (см. в прим. к «Попытке автобиографии», с. 538) был призван в армию с первых дней войны, но комиссован по обострению болезни. Пока был в состоянии, нес службу в группах МПВО. О ранении его на крыше рассказывается в «Постскриптуме» к ст-нию «Армия» (ЛР, 1968, 23 февраля). В письме к сестре от 29 января 1942 г. (после смерти Молчанова) О. Берггольц писала: «...мы договорились, что оставшийся должен стараться дожить до конца теперешней трагедии. Я буду стараться дожить» (ЛОб, 1979, № 5, с. 104).

223—224. ЛР, 1970, 6 ноября (под рубрикой «Мне не забыть об этих днях, подобных мужественной песне»), с датой. В П (раздел «Ленинград») № 224. Написано как разговор с «дальним другом» от имени ленинградцев, очевидно для радиовещания на страну. *Смертью попирающие смерть* — лексическое заимствование из торжественного церковного (пасхального) песнопения.

225. ЛР, 1971, 27 августа, с датой; П, без посвящения, с датой: 1941. Ленинград. Печ. по ССоч, т. 2, с. 44. *Сорок пятая* ордена Ленина краснознаменная Красносельская гвардейская стрелковая дивизия, которой посвящено ст-ние, получила звание гвардейской 16 октября 1942 г. Отличившись в боях на Лужском рубеже, Карельском перешейке, Синявинских высотах, участвовала в прорыве блокады Ленинграда, начав 12 января 1943 г. наступление в первом эшелоне 67-й армии с известного Невского «пятачка» — плацдарма на левом берегу Невы у Московской Дубровки (БДД, с. 295, 297). В одном из послесловий к ст-нию «Армия» О. Берггольц говорит: «Об Армии, о нашей драгоценной Армии, к которой я имею честь принадлежать (тем более, что недавно вручили мне значок гвардейца), — мои лучшие стихи, чувства и мысли» (ЛР, 1968, 23 февраля. — «Постскриптум»). Об эпизоде вручения гвардейского знамени полку, защищавшему ближние подступы к Ленинграду, см. в очерке «Ленинград — фронт» (3 июня 1942) в ГЛ, с. 176.

226. ЛР, 1971, 1 января, с датой. Обращено к Н. С. Молчанову (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 538 и прим. 222).

227. Сб. «Родина зовет», вып. 1, Л., 1941, с. 50, без даты. Печ. по П, с. 62 (раздел «Ленинград»). *К агрегатам старого завода.*

О. Берггольц поддерживала постоянную связь с заводом «Электросила» (быв. заводом акционерного общества «Сименс и Гальске»), где она начала свою трудовую жизнь в начале 30-х гг. (редактировала комсомольскую страницу многотиражной газеты «Электросила», а во время войны была корреспондентом этой газеты). *Бившие сегодняшних врагов в восемнадцатом на Украине.* В 1918 г., после того, как был аннулирован Брест-Литовский мирный договор (13 ноября), началась борьба Советской России за освобождение Украины от гнета германских империалистов и их сообщников.

* **228.** Зн, 1942, № 8, с. 97, в цикле «Стихи о женщинах Ленинграда», с датой: Декабрь 1941. Ленинград; ЛТ, с небольшими разночтениями; Л, без эпиграфа. Печ. по В, с. 60, с датой (раздел «Бой»). Авт. машинопись (вписаны строчки рукой автора), с датой: 5 декабря 1941 г. Черновой автограф — 14 строф, без загл., с пометой в конце: «5 декабря 1941 — бомбежка, 6 ч. вечера, издательство „Искусство“». Ст-ние написано в самые тяжелые дни блокады. В день написания ст-ния О. Берггольц, как она об этом сообщала в одном из своих писем, «под грохот и свист» поехала в воинскую часть, где читала свое новое стихотворение (ВОБ, с. 29).

* **229.** ЛТ, с. 27, в составе 44-х ст., с эпиграфом: «Декабрь 1941 года. Фашисты покатились от Москвы. Нами взят обратно Тихвин, отбит Волхов. Идет пятый месяц блокады»; дата: 25 декабря 1941 г.; ЛД, с сокращением 4-х ст., с датой: 20 декабря 1941 г.; Л, без эпиграфа; ТвП, под загл. «Второе письмо», в цикле «Три письма на Каму»; ГЛ-46, без загл., с датой: 29 декабря 1941. Печ. по СтП-51, с. 81. В В — дата: 29 декабря 1941 (дата радиопередачи). Датируется по ЛД и по указанию автора в ст. 2. Две авторизованные машинописные копии — в одной вписан ст. 29, дата: Декабрь 1941. Ленинград; в другой — поправки и подпись автора. Ст-ние было прочитано по ленинградскому радио 29 декабря 1941 г. в новогоднем выпуске «Радиохроники» вместе с № 208 и оба включены в ГЛ-46, в гл. «Живы. Выдержим. Победим!» (см. об этом ВОБ, с. 134—136). Об адресате ст-ния см. прим. 208.

* **230.** ЛП, с. 28, с датой; ТвП; СП-46; ГЛ-46, без загл. Печ. по И-48, с. 53. В В (раздел «Бой»). Авт. машинопись в составе 32-х ст., без даты. На об. л. — «Баллада о младшем брате» (№ 219). В воспоминаниях Г. П. Макогоненко об О. Берггольц сообщается: «Специальный номер «Радиохроники» был посвящен встрече Нового года. Для этого номера, который передавался поздним вечером 31 декабря, Ольга Берггольц написала ст-ние „Новогодний тост“» (ВОБ, с. 136). Оно было прочтено также в Доме писателя, на ул. Воинова, где собрались все, кто мог, чтобы отметить наступление нового 1942 г. О. Берггольц вспоминает об этой встрече в статье «Самый памятный новый год (Канун 1942 г.)». — ЛР, 1964, 1 января.

231. Зн, 1943, № 9-10, с. 102, без даты; Л, без ст. 21—28, без даты. Печ. и датируется по ЛД, с. 18. В послесловии «О советской Армии» к публикации этого ст-ния говорится: «Судьба нас, горожан, — и в частности моя — была неразлитна с судьбой Армии, которая стояла с нами в городе, в кольце» (ЛР, 1968, 23 февраля). О. Берггольц постоянно выезжала в воинские части, стоявшие на передовых рубежах Ленинградского фронта, черпая там материал

для своих ст-ний, передач «Радиохроники» и выступая перед бойцами с чтением своих произведений.

*232. Ю, 1964, № 11, с. 50, под загл. «О твоей смерти», без посвящения, с ошибочной датой: 1940; в Уз посвящение Н. С. Молчанову предшествует всему сб-ку (раздел «Из ленинградских дневников»). Печ. по ИП, т. 1, с. 146. Черновой автограф без посвящения, с другим порядком строф и 2-мя дополн. строфами, текст не закончен. *Молчанов* (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 538) умер в Ленинграде от голода 29 января 1942 г.; ему посвящены многие ст-ния О. Берггольц военной поры (№ 222, 226, 242, 272). Она обращается к его образу и в других произведениях (поэмы «Памяти защитников», гл. 1; «Твой путь», гл. 4; ст-ния «Измена», «Мой дом», «О, не оглядывайтесь назад...», «В доме Павлова» и др.). О трагических обстоятельствах гибели Молчанова рассказывается в письмах О. Берггольц (см.: Г. Макогоненко, Письма с дороги. — ВОБ, с. 130—131). О ранении Молчанова на крыше см. также «Постскриптум» к ст-нию «Армия» (ЛР, 1968, 23 февраля).

*233. КПр, 1942, 5 июля; ЛТ; И-48, без строфы 4 в гл. 5. Печ. по Лир-55, с. 85. В сб-ках поэма помещалась то в разделы, посвященные дням войны, то в раздел «Ленинград». Наблюдаются колебания в жанровом обозначении произведения: оно входит чаще всего в состав поэм (ЛД, ТвП, И-48, СтП-51, И-54, П-55, ИП, т. 1, В, П-74), но иногда находит место и среди лирики (Лир-55, Соч, т. 1, СПр, С-62, Ст-66, СтП-67, П, ССоч, т. 2, Лир-74). Автограф первой редакции поэмы под загл. «Январский дневник» (из 3-х гл.) — ЦГАЛИ. Отрывок авторизованной копии (гл. 4, 5) и полный текст 2-й ранней редакции поэмы (авт. машинопись) без строфы 3 в гл. 6 — арх. МФБ. Загл. «Январский дневник» было дано по времени начала работы над произведением (см.: Банк Н., Ольга Берггольц, М.—Л., 1962, с. 60). Это было тяжелейшее время в жизни города. О. Берггольц переживала и личную трагедию: в конце января умер ее муж Н. С. Молчанов, она сама болела смертельно опасной формой дистрофии. В Радиокомитете, где О. Берггольц работала с начала войны, друзья предложили ей написать поэму о Ленинграде — первое для нее произведение большой формы. Г. П. Макогоненко, в то время заведовавший литературным отделом Ленинградского радиокомитета, рассказывает об этом следующее: «В конце января, как-то ночью сидя в нашем общежитии, где кто-то беспокойно спал, кто-то тихо стонал в забытьи, мы с Яшей Бабушкиным заговорили о том, что нас уже давно беспокоило и тревожило: как спасти Ольгу? ... Так родился план поручить Ольге Берггольц срочную и ответственную работу. Конкретно — решили просить ее написать... поэму о блокаде, о сражающемся и сопротивляющемся в осаде городе. При этом была поставлена дата, чтобы задание, как всегда, носило точный и определенный каким-то событием срок. Время подсказывало эту дату: поэма о Ленинграде должна быть написана ко Дню Красной Армии, к 23 февраля» (ВОБ, с. 136—137). Позднее автор указывает: «„Февральский дневник“ писала я в феврале сорок второго года для радио ко Дню Красной Армии, потому-то и построен он как лирический разговор с ленинградцами» (ГЛ, с. 154). Поэма была прочтена автором по радио 22 февраля 1942 г., в очередном, 195-м номере «Радиохроники» и вызвала большое количество откликов (ВОБ, с. 138). «Февральский дневник» был подвергнут доработке, о кото-

рой можно судить по первоначальным вариантам текста (см. Другие редакции и варианты). 1 марта 1942 г. О. Берггольц вылетела в Москву. Там поэма «Февральский дневник» была по достоинству оценена друзьями-литераторами — А. Фадеевым, М. Шолоховым и др. О. Берггольц рассказывает об этом в письме к Г. П. Макогоненко от 8 марта 1942 г. (ВОБ, с. 144). А. Фадеев, по собственным впечатлениям знавший блокадный Ленинград, так отозвался о поэме: «„Февральский дневник" — одно из самых правдивых и проникновенных произведений о Ленинграде и о ленинградских временах блокады. Сила этой поэмы в том, что она говорит не о выдающихся людях Ленинграда, а о самом обыкновенном, рядовом ленинградце» (ВОБ, с. 158). *Я тоже — ленинградская вдова* — см. прим. 232. *Услыхали дальней канонады... то Армия рвала кольцо блокады.* В ГЛ О. Берггольц рассказывает о первом осознании «страшного и блистательного пути, пройденного городом и его защитниками с начала войны», и о внушавшей надежды канонаде «в ледяной кромешной мгле», приурочивая эти события к ночи 10 января 1942 г. *Проспект Международный* — ныне Московский проспект (см. № 334). *Красногвардейцы, вспомнив о былом.* Речь идет о революционных традициях народного ополчения. 20 июля 1941 г. в Ленинграде началось формирование новой дивизии народного ополчения, которую было решено назвать 1-й гвардейской — в честь революционной Красной гвардии.

234. «Правда», 1942, 30 июня, под загл. «Ленинград»; ЛП, с датой: Апрель 1942; ЛТ и в ряде других изданий до 1966 г. — под загл. «Ленинграду». Печ. по ССоч, т. 2, с. 175. В ЛД и Л — ст-ние открывает сб-к в виде предисловия, без даты. В ТвП, Лир-55 (раздел «Ленинград»). В ГЛ-46 печ. без загл. в составе очерка О. Берггольц «Ленинградцы за кольцом», датировалось по времени радиопередачи: 2 мая 1942 г., в ст-ние здесь вошла еще одна, 3-я строфа. Ст-66 (раздел «Город»), с ошибочной датой: 2 мая 1942. В (раздел «Бой»).

*** 235.** «Смена», 1942, 1 июля, под загл. «Дорога на Ленинградский фронт»; ЛП, ЛТ, в составе 44-х ст.; Ст-66, под загл. «Наш фронт», с датой: 3 июня 1942 г.; ГЛ-46, без загл. (в очерке «Ленинград — фронт»), с датой: 3 июня 1942 г. (время радиопередачи). Печ. по Лир-55, с. 59, с датой. В ЛТ и Л с датой: Март 1942; в ЛД с датой: 1942. О. Берггольц колебалась в определении жанра ст-ния. В ЛД она включает его в раздел «Поэмы», в Лир-55 им заключается раздел «Начало поэмы». *Мы шли на фронт по улицам знакомым.* Подробнее см. названный выше очерк «Ленинград — фронт» в ГЛ.

236. ЛПр, 1942, 24 и 25 июля, с вариантами; КПр, 1942, 30 августа, в гл. 6 без ст. 17—19, 22; ЛП; ТвП, в гл. 6, ст. 18: «мы ели землю, клей, ремни», ст. 47—50 и последние десять ст. в этом изд., как и во всех остальных до 1974 г., отсутствуют. Печ. по П-74, с. 81, с исправлением в гл. 6 ст. 47 («получал» вместо «получил» по КПр и ЛТ), с датой. Часть текста («Колыбельная» в гл.6) имеет авторскую дату: Май 1942 (Лир-55). По возвращении из Москвы (к маю 1942) О. Берггольц, вдохновленная успехом «Февральского дневника», принимается за новую поэму, еще более личную и в то же время со значительно расширенным эпическим содержанием. Д. Т. Хренков в своих воспоминаниях приводит рассказ автора о том, как рож-

дался замысел «Ленинградской поэмы»: «Это может показаться странным, — говорила мне Ольга Федоровна, — но я, боявшаяся писать крупные вещи (по объему, конечно), вдруг почувствовала какой-то особый прилив сил. Мне показалось, что огромность эпопеи, свидетельницей и участницей которой мне выпало быть, требует от нас вещей всеохватных. Но как было добиться выполнения этой задачи? Помог случай. Я была вместе с фотокорреспондентом Григорием Чертовым на огневых позициях одного из артиллерийских полков. Грише нужно было снять пушки так, чтобы одновременно была видна часть заводского цеха. И он сделал этот снимок. «Как же ты добился цели?» — спросила я у него. Он ответил: «Очень просто — снимал с помощью широкоугольника». Тогда меня осенило, что и мой объектив, направленный в одну точку, может одновременно выхватить и запечатлеть с одинаковой резкостью разные вещи...» (ОСС, с. 135). Текст поэмы, опубликованный в КПр, раздражил автора «идиотскими купюрами», и в письме к М. Ф. Берггольц от 12 сентября 1942 г. она просит проследить, чтобы в готовящейся в Москве книге первоначальный текст был восстановлен (арх. МФБ). Пожелание это было осуществлено сначала в ЛТ, затем в ленинградском сб-ке ЛП. «По-прежнему большую радость доставляет успех «Ленинградской поэмы», — писала О. Берггольц сестре 5 сентября 1942 г., — даже не радость, а какое-то благодарное удивление — не себе, а людям, так реагирующим на нее, так воодушевленным даже робким словом правды... Если б ты только видела, как встречали меня в Кронштадте, в некоторых частях... Поэма вывешена на почетном месте на миноносце «Славный», ее знали на «Марате», а на Кроншлоте... просто триумф...» (арх. МФБ). *Грузовики шли по озеру в голодный город.* 19 ноября 1941 г. Военный Совет Ленинградского фронта и горком партии приняли решение создать военно-автомобильную дорогу по льду Ладожского озера (между мысом Осиновец и Кобоной) для доставки грузов в блокированный Ленинград. 22 ноября по этой дороге, которая была названа ленинградцами Дорогой жизни, прошла первая автоколонна с продовольствием. С января под обстрелом и бомбежками начались регулярные рейсы — в Ленинград с продовольствием, из Ленинграда — с эвакуированным населением. *И было так... но он доставит хлеб.* О подобном случае, произошедшем с водителем Филиппом Сапожниковым, см.: А. Сапаров, Ладожская хроника — сб. «Девятьсот дней», Л., 1957 (О. Берггольц — член редколлегии). *Сестра моя, москвичка Маша.* М. Ф. Берггольц в феврале 1942 г. прибыла в Ленинград по Дороге жизни, сопровождая машину с продовольствием для ленинградцев — дар Союза писателей. *Мой муж погиб* — см. прим. 232. *Был Тихвин взят.* 8 ноября враг занял Тихвин и вплотную подошел к Волхову, стремясь замкнуть кольцо блокады с востока (освобожден нашими войсками 9 декабря 1941 г., когда запасов хлеба в Ленинграде оставалось на 9 дней). *Командир Семен Потапов... кто не вернется.* Эпизод героической гибели командира совпадает по сюжету с «Песней о Леониде Коротких» (№ 217). *Гравировал гравер седой* и т. д. По утверждению близких к О. Берггольц лиц, этот эпизод ассоциировался у нее с деятельностью Н. А. Соколова (1892—1974), главного медальера Ленинградского Монетного двора.

237. СтП-51, с. 95, с датой. В сводке Информбюро за 3 июля сообщалось: «...после восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь...» Севастополю посвящено ст-ние

№ 99, трагедия «Верность» (см. № 348); к этой теме О. Берггольц возвращалась и в публицистике («Ленинград — Севастополь» — «Красный Балт. флот», 1944, 24 ноября).

* **238.** «Смена», 1942, 22 сентября, под загл. «Товарищу». Печ. по В, с. 104 (раздел «Бой»), где помещено вместе с № 239 под общим загл. «Август 1942 года». Датируется по этому загл. Авт. машинопись содержит 5 дополн. строф, без даты. Ст-ние было прочитано поэтом по радио 20 сентября 1942 г. и вошло в ГЛ-46 (очерк «Сентябрь сорок второго года»). *Русская девушка Ольга.* В газетах сообщалось о судьбе Ольги Селезневой, угнанной немцами в Германию.

* **239.** Л, с. 53, под загл. «Лето сорок второго года», с пометой: Август, без эпиграфа (раздел «1942 год»); ЛД, под загл. «Разговор с собою» (раздел «Лето — осень 1942 г.»). Печ. по В, с. 102 (раздел «Бой»). См. прим. 238. Ст-ние входит также в очерк «Сентябрь сорок второго года» в ГЛ-46 с № 238 и общей датой: 20 сентября 1942 г. (по времени радиопередачи). *Аввакум* Петров (1620 или 1621—1682) — протопоп, борец против официальной церкви своего времени, писатель мученической судьбы, автор «Жития протопопа Аввакума» (1672).

* **240.** «Смена», 1942, 16 октября, под загл. «Песня о подводной лодке» (на мотив «Раскинулось море широко...»), и КПр, 1942, 16 октября; Ю, 1965, № 5, с. 4, другая ред., с 7-ю дополн. строфами, с датой: 1942, август. Печ. по В, с. 106 (раздел «Бой»), дата: Сентябрь 1942. Кронштадт. Датируется по Ю и по В. Гвардейская подводная лодка «Фрунзенец» (Л-3) под командованием Петра Денисовича *Грищенко* (род. 1908 г.) летом 1942 г., пробившись через минные заслоны противника в территориальных водах Германии, на меридиане Берлина потопила 5 фашистских военных кораблей и транспортов. О. Берггольц знала Грищенко и бывала на борту его лодки. О боевых подвигах экипажа Л-3, а также встречах с О. Берггольц и ее «Песне» рассказывается в книге П. Грищенко «Соль службы» (Л., 1979). Ср. ОСС, с. 118. *Кроншлот* — старая часть Кронштадта. О поездке О. Берггольц в Кронштадт см. прим. 236.

241. ЛД, с. 48, с датой; Л, под загл. «Осень в Ленинграде», без эпиграфа. Печ. по В, с. 108 (раздел «Бой»). В П (раздел «Ленинград»). *Международный* — ныне Московский проспект.

242. ЛД, с. 51, с датой; СП-46, под загл. «Отрывок. Ленинградская осень 1942 года», ст. 1: «Осенний дождь стучит в квадрат оконный». Печ. по И-48, с. 68. О своей квартире на ул. Рубинштейна, д. 7, где она жила до 1943 г., и о переезде в новую блокадную квартиру О. Берггольц рассказывает в радиоочерке «Мой рубеж (Письмо за кольцо)» в ГЛ. *Пропуск ваш.* Корреспондентский пропуск Ленинградского радиокомитета на право прохода и проезда в Ленинград (с фронта и на фронт) имел для О. Берггольц как для поэта особое, символическое значение. См. об этом ее статью «Пропуск № 23637» (ЛГ, 1967, 21 июня). *Зимы варфоломеевской кресты.* Образ навеян ассоциацией с «варфоломеевской ночью» во Франции — эпизодом религиозной войны между католиками и протестантами, сопровождавшейся массовыми убийствами последних, 24 августа 1572 г.

243. ЛПр, 1942, 28 ноября, с вариантами, после ст. 36 два дополн. ст., ст. 38: «на опаленные твои предместья»; СтП-51, без эпиграфа, с датой. Лир-55, с датой: 19 ноября 1942 г. (раздел «На Сталинградской земле»). Печ. по В, с. 114. В сводках Информбюро за 20 ноября 1942 г. сообщалось об успешном наступлении наших войск под Сталинградом. *Ночь в одном колхозе.* В 1930 г. О. Берггольц работала в Казахстане в сельскохозяйственном отделе газеты «Советская степь». Ее впечатления о строительстве новой жизни отразились в очерках «Глубинка» («Ленинград», 1932, № 3, с. 49—65).

*** 244.** «На страже Родины», 1942, 21 ноября; строфы 6—7 в другой ред.; ЛД, с датой: Январь 1943 г., ст. 25: «вдове написали» (раздел «1943—1944 год»); Л, с датой: Февраль (раздел «1943 г.»). Печ. по И-48, с. 63. Перепеч. в газете «Боевой тыл», 1943, 8 апреля, с прим.: «Эта песня, пользующаяся большой популярностью у бойцов, запевается на мотив песни „Когда я на почте служил ямщиком. . .“» В СтП-51 (раздел «Навстречу победе»).

*** 245.** «Ленинград», 1943, № 6, с. 7, под загл. «Третья зона», 9 строф, без даты; КПр, 1943, 13 июля, под загл. «Вечером»; О, 1943, № 8-9, с. 3, без загл. Печ. по ИП, т. 1, с. 144. ЛД, ТвП, СП-46, с датой: Март 1943; Л, Ст-66, с датой: Весна 1943; И-48, с датой: Март 1942. В СтП-51 и в др. изд. с 1967 по 1974 г. — дата: 1942. С. С. Наровчатов рассказывает, что ранней весной 1943 г., находясь на Волховском фронте, он услышал радиопередачу из Ленинграда — голос О. Берггольц, читавшей стихи: «Трагедийная торжественность звонко-печального голоса с пронзительной силой била наши души. Это был совсем еще молодой голос, но в нем была та чистота возвышенного страдания, которая не имеет возраста. «Дым, туман, струна звенит в тумане», — повторял я про себя гоголевские строки. И все было так, как в тех строках. Только дым был подлинным, горько-сладковатым дымом солдатских костров, только туман был настоящим морозным туманом над Приладожьем, а звенящей струной был голос Ольги Берггольц» (Наровчатов С., Атлантида рядом с тобой, М., 1972, с. 36). По свидетельству очевидцев, строки ст-ния впервые возникли в сентябре 1942 г., когда О. Берггольц приезжала читать стихи бойцам 291-й стрелковой Краснознаменной ордена Кутузова Гатчинской дивизии, оборонявшей рубежи у Белоострова (ЛР, 1970, 6 ноября, подпись под фотографией). *Дым, туман, струна звенит в тумане* — см. прим. 177.

246. ОСС, с. 120, только строфы 4—5. Печ. по авт. машинописи. Положено на музыку М. А. Лазаревым.

247. ЛД, с. 54, дата: 31 декабря 1942 г. (раздел «Лето — осень 1942 года»). В ГЛ-46 (очерк «Наша победа») с датой: 29 декабря 1942 г. — по времени радиопередачи. Печ. по В, с. 117. О новосельях ленинградцев осенью и зимой 1942 г. см. также в очерке «Мой рубеж (Письмо за кольцо)» в ГЛ и ст-нии № 242.

248. ЛПр, 1943, 22 января, под загл. «Письмо матери», без даты, и КПр, 1943, 22 января, под загл. «Матери (Письмо на Каму)», с датой: 21 января, Ленинград (по телефону); ЛД, с эпиграфом,

с датой: 19 января 1943; ТвП, под загл. «Третье письмо. 19 января 1943 года», в цикле «Три письма на Каму». В ГЛ-46 без загл. (очерк «Здравствуй, Большая Земля!»), с датой: Ночь с 18 на 19 января 1943 г. Печ. по В, с. 122. В Л ст-ние открывает раздел «1943 год» с датой: 18 января; в И-48 с датой: 12 января 1941 (видимо, датировано по времени начала наступления на Лен. фронте). Через шесть суток после начала наступления, в 9 ч. 30 мин. 18 января 1943 г., войска Ленинградского фронта, прорвав кольцо блокады, встретились с войсками Волховского фронта, с боями пробивавшимися им навстречу (БДД, с. 302).

249. О, 1943, № 8/9, с. 1. Печ. по Соч, т. 1, с. 50. В Л (раздел «1943 год»), ЛД (раздел «1943—1944 год»), ТвП, И-48, СтП-51 с датой: 8 марта 1942; Лир-55 с датой: 7 марта 1943 г. В авт. машинописи с датой: 3 марта 1943.

* **250.** КПр, 1943, 27 мая, под загл. «Май», с дополн. строфой после ст. 8, без последнего ст. (в подборке «Наша весна»); ЛД, под загл. «Весна в Ленинграде», с датой: Март 1943 г. Печ. по Лир-55, с. 102 (раздел «Ленинград»). *Дед Мазай с зайчатами в челне* — образ из ст-ния Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» (1870).

* **251.** Печ. впервые по автографу. Авторизованная машинопись (рукой автора вписан последний ст.) и черновой автограф, содержащий множество вариантов и набросков, без даты. Датируется предположительно — по связи со ст-нием № 250, имеющим схожие мотивы. *Ярославна* — см. прим. 218.

* **252.** Зв, 1943, № 3, с. 79, под загл. «За оборону Ленинграда», без эпиграфа, ст. 15: «Смелей же требуй стойкости моей» и дополн. строфой после ст. 16; ЛД, с эпиграфом; В, без загл. Печ. и датируется по П, с. 101, с восстановлением эпиграфа по В (раздел «Бой»). В эпиграфе указан памятный для поэта день первого награждения ленинградцев — и в том числе О. Берггольц — медалью «За оборону Ленинграда» по представлению Союза писателей.

253. ЛПр, 1943, 28 сентября, без эпиграфа; ЛД, с вариантами в эпиграфе и в ст. 20, с датой. Печ. по ССоч, т. 2, с. 93, с восстановлением эпиграфа по ЛД и В. В, без загл. (раздел «Бой»). 15 сентября 1943 г. 45-я и 63-я гвардейские дивизии (вошедшие во вновь созданный 30-й гвардейский корпус под командованием генерала Н. П. Симоняка) после двухмесячных штурмов успешно атаковали фашистов, укрепившихся на Синявинских высотах (БДД, с. 400). О 45-й гвардейской дивизии — см. в прим. 225.

* **254.** Л, с. 77, с посвящением, с 4-мя дополн. ст., с датой: 29 октября (раздел «1943 год»); И-54, с подзаг. «Ленинградская», без посвящения (раздел «Военный дневник»). Печ. по В, с. 135 (раздел «Бой»). В ТвП дата: Октябрь 1943 г; СтП-51 (раздел «Навстречу победе»). Ст-ние вошло в очерк О. Берггольц «Наш комсомол», переданный по радио 29 октября 1943 г. и включенный в ГЛ-46. Написано в связи с 25-й годовщиной Ленинского комсомола.

255. КПр, 1944, 25 января, под загл. «Город Пушкин. Из цикла „Возвращение“», без даты; ЛД, без загл., с датой: Ноябрь 1943.

Печ. по В, с. 143 (раздел «Бой»). Датируется по первым изданиям. В ТвП, с датой: Ноябрь 1943. В И-48 в цикле «Два стихотворения о городе Пушкине» (второе № 258). В ГЛ-46, в новогоднем слове О. Берггольц «Дыхание грядущей победы», вместе с другими ст-ниями (№ 256—257), дата: 31 декабря 1943 г. (по времени радиопередачи). *Дочка здесь жила моя, Ириша.* В феврале-марте 1936 г. ст-ния О. Берггольц помечены Детским Селом (см. № 114 и «Детство» — ЮП, 1936, № 9, с. 10).

256. ГЛ-46, с. 107, в новогоднем слове О. Берггольц «Дыхание грядущей победы», транслировавшемся по радио 31 декабря 1943 г. вместе с другими ст-ниями (№ 255 и 257). В В с датой (раздел «Бой»). В ДПЛ-70, с. 178 в качестве отдельного ст-ния (в подборке «Стихи 1944 года»).

257. СтП-51, с. 129, под загл. «Встреча сорок четвертого», с датой; ДПЛ-70, без загл., под рубрикой «Стихи 1944 года». Печ. по В, с. 138.

258. ЛД, с. 73, под загл. «Приход в Пушкин», с датой, в цикле «Возвращение»; ТвП, без эпиграфа (раздел «Ленинград»); И-48, без загл., в цикле «Два стихотворения о г. Пушкине» (первое — № 255). Печ. по В, с. 145 (раздел «Бой»). Вошло в ГЛ-46 в составе очерка «Мы пришли в Пушкин», без загл. *«Всё те же мы...»* и т. д. — цитата из ст-ния Пушкина «19 октября» (1825).

* **259.** О, 1944, № 1-2, с. 1, без загл., с 4-й дополн. строфой, с датой: Январь 1944 г., с пометой: «Из цикла „Возвращение"»; ЛД, в цикле «Возвращение», с датой: 26 января 1944 г.; СтП-51, ст. 24: «в упорство тружеников и солдат». Печ. по ИП, т. 1, с. 176. В В (раздел «Бой»), П (раздел «Ленинград»). *Самсона, раздирающего льва.* Скульптура «Самсон, раздирающий пасть льва» (скульптор М. Козловский, 1802), являющаяся художественным центром «Большого каскада» в Нижнем парке Петродворца, похищенная гитлеровцами, воссоздана заново В. Симоновым и Н. Михайловым. День торжественного пуска возрожденного фонтана — 14 сентября 1947 г.

260. «Подводник Балтики», 1944, 31 января, под загл. «Победоносный Ленинград»; ЛД, с эпиграфом, с датой, в цикле «Возвращение». Печ. по Соч, т. 1, с. 62 (раздел «Ленинград»). В В (раздел «Бой»).

* **261.** Изв, 1944, 19 мая, под загл. «Разговор с соседкой», без строф 6 и 7, с 4-мя дополн. ст. после строфы 10 и вариантами, с датой: Май 1944, Ленинград; ЛД, без строф 6 и 7 и с вариантами, с датой: Апрель 1944 г., в цикле «Возвращение». Печ. по И-48, с. 81. СтП-51 (раздел «Навстречу победе»), И-54 («Военный дневник»), Лир-55, П («Ленинград»). *По былой «опасной стороне».* На домах многих улиц Ленинграда висели предупреждающие объявления: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». *Нашивок, ни малиновых, ни золотых.* По цвету нашивок на обмундировании различалась степень тяжести ранения.

262. Зн, 1944, № 7-8, с. 65—67, с эпиграфом: «Из приказов Верховного Главнокомандующего», с вариантами, с датой: Ленинград. Май 1944; ЛД, ст. 28: «Но чтоб над ним могли другие плакать»,

с датой: Апрель 1944. Печ. по ИП, т. 1, с. 178, с исправлением ст. 28 (гл. 1) по Зн и ЛД. Колебания в жанровом определении поэмы проявились в том, что она помещалась то в разделе ст-ний (ЛД, Лир-55, С-62, П и др.), то среди поэм (ТвП, СП-46, И-48, СтП-51, И-54, П-55, П-74). В подстрочном прим. ЛД и СП-46 вместо слов «Эта поэма написана...» и т. д. было: «Эти стихи написаны...». Замысел поэмы возник в конце января 1944 г., в дни праздничных торжеств по поводу полной ликвидации блокады Ленинграда. Гибель героя поэмы ассоциировалась в представлении поэта с воспоминаниями о гибели Н. С. Молчанова (см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 538) и других жертв войны. Поэма была воспринята современниками как поэтический реквием, посвященный памяти защитников Ленинграда. Она органично влилась в одну из наиболее устойчивых для О. Берггольц лирических тем — тему памяти. *Дудергоф* — ныне Можайская, станция на Балтийской железной дороге, в районе Ижорской возвышенности. *Воронья гора* — высшая точка окрестностей Ленинграда (на Дудергофских высотах). Отсюда фашистами корректировался артиллерийский огонь по Ленинграду. В январе 1944 г. Воронья гора была отбита у врага.

263. ЛГ, 1980, 21 мая, без загл., и ДПЛ-80, с. 370, с датой. Автограф в датированном письме к матери и копия с него ее рукой. О молитве как форме лирического монолога говорится в черновиках второй части «Дневных звезд»: эту цитату см. на с. 37 вступ. статьи.

* **264.** ЛПр, 1945, 27 января, под загл. «Этот день»; КПр, 1945, 28 января, под загл. «Праздничный тост»; ТвП, под загл. «Тост» (открывает сб-к), с датой. Печ. по И-48, с. 84. Без загл. входит в ГЛ-46 в очерк «Этот день будет» (вариант для радиопередачи 27 января 1945 г.), с двумя дополн. строфами и вариантами в ст. 27—28 («И вместе с вами подойдет к Берлину И властно постучится Ленинград»), ст. 41-44 отсутствуют; в ст. 55: «И будет время» (вм. «И к Сталинграду»). Написано к первой годовщине освобождения от ленинградской блокады. Советские войска тогда громили восточно-прусскую группировку противника, вели бои за Одер. Вот почему в стихотворном радиотосте (в ст. 55) говорится о взятии Берлина еще в будущем времени. *Бойцы Сорок второй, Пятьдесят пятой, Второй ударной.* Названы армии, принявшие на себя основной удар в обороне Ленинграда и обеспечившие прорыв блокады. В январе 1945 г. они находились на западных рубежах. *Северная Пальмира* — нарицательное название Ленинграда, основанное на сравнении с древнесирийским городом Пальмирой, славившимся своей архитектурой.

265. ЛПр, 1945, 24 апреля; Ог, 1945, 24 июня, с датой: 24 апреля 1945 г., в цикле «Стихи о Победе»; ТвП, с датой: 22 апреля 1945 г., в цикле «Ее зовут Победа» (вместе с № 267); в сб. «900 дней» (Л., 1957), под загл. «Накануне победы». Печ. по ИП, т. 1, с. 204. Вошло в ГЛ-46, без загл. (очерк «Берлин пал»), где датировано по времени радиопередачи (3 мая 1945 г.). Датируется по ТвП, И-48 и послед. изд. 22 апреля начался победоносный штурм Берлина советскими войсками, в котором принимал участие 3-й гвардейский Ленинградский артиллерийский корпус.

* **266.** Зн, 1945, № 5-6, с. 44, с подзаг. «Поэма», с датой: 1945, с вариантами: в гл. 3, после ст. 6 — дополн. строфа; ст. 27: «из

той же ленинградской Иордани»; в гл. 4 после ст. 51 — дополн. строфа; в конце главы 5 — еще одна строфа; в гл. 6, в ст. 35 пропуск слов: «В ночной молочной дымке», после ст. 69 — еще одна строфа; ст. 96: «там я твоею плакальщицей стала»; в ТвП, СП-46, И-48 текст частично исправлен. Печ. по П-55, с. 35, с датой. В ТвП поэма дала название всему сб-ку. В С-66 исключенный из гл. 3 текст (см. «Другие редакции и варианты») восстановлен, но в ИП (т. 1, с. 191) снова сокращен, как и во всех последующих изданиях. В сб-ках поэма представлена в разделах: «Война. Ленинград», «Ленинград», «Город», «Навстречу победе», «Память». Рукописи: 1) черновой автограф ранней редакции поэмы под загл. «Твое воскресение» (ЦГАЛИ); 2) авторизованная машинопись под загл. «Твоя Победа», с посвящением: «Моей Муське» (М. Ф. Берггольц), с вариантами, с датой: Апрель 1945; 3) автограф не включенного в окончательный текст финала, с датой: Май 1945. Поэма создавалась накануне победоносного завершения Великой Отечественной войны. По признанию самой О. Ф. Берггольц, в одном из вариантов поэмы: «сплавила печаль я с подспудной жаждой счастья и любви, и песнь моя над кладбищем звучала призывом к жизни, клятвой на крови». В письме к сестре от 23 апреля 1945 г. она писала: «Очень, искренне рада, что тебе понравилась моя поэма. Она меня очень вымотала, и все еще живет со мной. Я кое-что уточняю, переделываю; я тебе сообщу уже некоторые поправки, чтоб ты внесла их в свой экземпляр и сообщила Симону ⟨критик С. Д. Дрейден⟩. Иногда мне гордыня говорит то, — самое для меня ценное, — что ты мне сказала о наследии Маяковского, иногда я до скрипа зубовного начинаю стыдиться ее... но знаешь — я же не хвастаюсь перед тобой — мне все-таки думается, что эта самая интонация, которая позволила тебе говорить о Маяковском — налицо: как сказала Ахматова, — «властный стих», — понимаешь, вот это «я», вот это осознание личности себя и права говорить о себе полным голосом. Здесь все понимающие и ревнивые ко мне люди — Ахматова, Юра ⟨Г. П. Макогоненко⟩, Маруся Машкова и другие — приняли ее отлично и радуются ей ... «Знамя» собирается печатать поэму...» (арх. МФБ). Редактор журнала «Знамя» В. В. Вишневский писал автору: «Это чистейшая, исповедная вещь, плоть от плоти Ленинграда нашего... Вещь высокая, безупречная в каком-то внутреннем смысле» (арх. МФБ). 1. *За тем январским ледовитым днем* — имеется в виду смерть Н. С. Молчанова (см. прим. 232). *А тот, который с августа запомнил сквозь рупора звеневший голос мой.* О. Берггольц с первых дней войны работала в Ленинградском радиокомитете. Вместе с ней работал редактором литературного отдела (а затем руководил им) Г. П. Макогоненко, ставший ее мужем. К нему обращены многие строки поэмы (о знакомстве с О. Берггольц и их переписке в годы войны см.: Г. П. Макогоненко, Письма с дороги — ВОБ, с. 121). 2. *Я знаю, слишком знаю это зданье.* Ленинградский радиокомитет находился и ныне находится на ул. Ракова, 2. Здесь на седьмом этаже в труднейшие дни блокады жили и работали О. Берггольц и ее товарищи (см. об этом в ГЛ, с. 129 и след.). *Мамисон* — Мамисонский перевал на Кавказе, где О. Берггольц путешествовала до войны (см. о нем прим. 195). Образ Мамисона неоднократно возникает в воспоминаниях поэта как вершина молодого, ничем не омраченного счастья. 4. *Древняя шагреневая кожа* — образ фантастической кожи-талисмана взят из романа Бальзака «Шагреневая кожа» (1831); кожа, ссыхающаяся по мере исполнения желаний ее владельца, является

в романе символом неумолимости жизни. *Рублевский лик* — иконописные лица, изображавшиеся русским художником Андреем Рублевым (1360—1430), отличались тонкостью черт и одухотворенностью; в данном случае подразумевается лицо Н. С. Молчанова. **5.** *Седьмой этаж.* А. Фадеев упоминает его в своей статье «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж», где рассказано о совместном праздновании с товарищами из Ленинградского радиокомитета Первого мая 1942 г. (ВОБ, с. 152). *В Летний по грибы* — Летний сад с Летним дворцом Петра I, памятники зодчества и садово-паркового искусства начала XVIII в. **6.** *Рыбацкое* — село, расположенное в Невском районе Ленинграда на левом берегу Невы. *Из гатчинского сада, от царскосельских дремлющих озер.* Ближайшие южные пригороды Ленинграда Гатчина и Пушкин (бывшее Царское Село) находились в руках фашистских захватчиков до 24—25 января 1944 г.

267. ЛПр, 1945, 11 мая, под загл. «Тебе, Победа!»; Ог, 1945, № 25, под загл. «Встреча», с дополн. строфой, дата: 9 мая 1945 г., в цикле «Стихи о Победе»; ТвП, в цикле «Ее зовут Победа»; ГЛ-46, без загл., с датой: 11 мая 1945 (в очерке «Второй день»). Печ. по С-62, с. 167. См. прим. 265.

268—269. ТвП, с. 123, под загл. «Из цикла „Приход гвардейцев"», под номерами 2 и 3 (первый номер отсутствует), с датами: 1945 и 8 июля 1945 г. Цикл печ. и датируется по П, с. 120. В СтП-51, ИП, т. 1 и Лир-74 только второе ст-ние, без загл. Написано в день торжественной встречи в Ленинграде гвардейских частей, возвращавшихся с фронта. Цикл задумывался из трех ст-ний, но замысел не был осуществлен. *Я услыхала шаг его глухой* — воспоминание о Н. С. Молчанове (см. прим. 232). *В нашивках, золотых и красных* — знаки ранений.

270—271. ЛР, 1970, 6 ноября, с датой. № 271 в П (раздел «Ленинград»).

272. ЛР, 1971, 1 января, с датой и посвящением Н. М. (Николаю Молчанову). *О моей утрате* — см. прим. 232.

273. ЛР, 1970, 6 ноября, с датой (ср. ст-ния № 270, 271, вероятно составляющие фрагменты одного поэтического замысла).

274. ЛР, 1970, 6 ноября, с датой. Первоначально текст возник в автографе поэмы «Твой путь» в качестве ст. 102—110 в гл. 6. Ст-ния № 270—274 представляются фрагментами рождавшегося реквиема-гимна, посвященного памяти Н. С. Молчанова (ср. «Памяти защитников», № 262).

275. СП-46, с. 14, без ст. 11—14, с датой: 1946. Печ. по СПр, с. 340. В И-48 с датой: 1945. Первоначально текст ст. 15—25 возник в автографе поэмы «Твой путь» в качестве предполагавшегося ее финала (см. «Другие редакции и варианты», № 266).

276. И-48, под загл. «Ласточка», с эпиграфом, с датой: 1945. Печ. по ССоч, т. 3, с. 11. В Уз, В и П с датой: 1945 (раздел «Память»). ИП, т. 1, с датой: 1946. Черновой автограф без даты, после ст. 12 — две дополн. строфы.

277. ЛР, 1971, 1 января, с датой.

278. Ю, 1964, № 11, с. 50, с датой. В, без загл. Печ. по П, с. 217. Обращено к Н. С. Молчанову (см. прим. 232). *Майданек* — немецкий концентрационный лагерь в Польше («лагерь смерти»), символ жестокости фашистского режима.

279. Ю, 1967, № 6, с. 42, под рубрикой «Из дневников далеких лет», с датой. Печ. по В, с. 195 (раздел «Память»).

280. «Сов. женщина», 1946, № 2, с. 25, без загл., с датой; Изв., 1946, 7 апреля, под загл. «Мой дом»; И-48, ст. 30: «Там, где всю душу размозжила я», в ст. 44: «и верю в наше счастье». Печ. по Лир-55, с. 134. Включалось почти во все сб-ки О. Берггольц (разделы «Из ленинградских дневников», «Память»). *А в доме, где жила я много лет* — дом № 7 по ул. Рубинштейна, где О. Берггольц жила с 1932 по 1943 г. *Хозяин в дверь не постучал* — см. прим. 232.

281—283. НМ, 1956, № 8, с. 27—28, вне цикла; впервые в цикле «Стихи о любви», только № 281 и 282 — Соч, т. 1, с. 119 (раздел «На сталинградской земле»). Цикл печ. и датируется по Уз, с. 117 (раздел «Годы»). В Лир-74 только № 282 и 283.

284. И-48, под загл. «Воспоминание», без посвящения, с датой: 1945. Печ. и датируется по В, с. 197. В письме О. Берггольц 1966 г. к Ю. П. Герману, опубликованном в статье Л. Левина «Жестокий расцвет» (ВОБ, с. 64), приводятся воспоминания автора о встречах О. Берггольц с адресатом в Коктебеле в 1935 г. и подтверждается дата окончательного создания текста — 1947 г. Об истории сложных в различные годы отношений двух писателей см. в названной статье Л. Левина. Ю. П. Герману посвящено также ст-ние № 83.

285. Ю, 1964, № 11, с. 51, без даты. Печ. по Уз, с. 99, с датой (раздел «Из ленинградских дневников»). *Мой друг* — Н. С. Молчанов (см. прим. 232).

286. СтП-51, с. 169, с датой: 1949. Печ. по И-54, с. 115, с той же датой. В В ошибочная дата: 1945 (раздел «Память»); П (раздел «На сталинградской земле»).

287. ССоч, т. 3, с. 25, с датой. *Спаси меня! Снова к тебе обращаюсь.* Блокадной зимой 1941—1942 г. работа О. Берггольц над поэмой «Февральский дневник» и связанный с этим духовный подъем помогли автору преодолеть болезни и лишения (см. об этом в прим. 233).

288—289. 1 — Зв, 1950, № 3, с. 67, без загл., вне цикла. 2 — СтП-51, с. 166, в цикле «Ташкентские стихи», где оба ст-ния впервые помещены вместе, без посвящения, с датой. Печ. по ССоч, т. 3, с. 29. 1. *К. С.* — Константин Михайлович Симонов (1915—1979). Оба поэта присутствовали в 1948 г. в Ташкенте на празднестве в честь великого узбекского поэта Алишера Навои (1441—1501) в Большом театре оперы и балета его имени. Строительство театра было начато по проекту архитектора А. В. Щусева до войны (1938), к 500-летию со дня рождения поэта, закончено в 1947 г. 2. Линкор *«Марат»* 23 сентября 1941 г. в Кронштадте был сильно поврежден во время бомбежки, но продолжал боевую службу береговой артиллерийской

защиты. *Фронта «союзник» не хочет открыть.* Речь идет о тактике выжидания, к которой прибегали союзные Великобритания и США до июня 1944 г., когда был высажен десант в северо-западной Франции — и тем самым открыт второй фронт против фашистской Германии.

290. ЛР, 1971, 1 января, с датой.

291. ЛР, 1964, 28 августа (в подборке «Стихи разных лет»), с датой. Уз (раздел «Память»).

292. ЛР, 1971, 1 января, с датой.

293. ЛР, 1964, 28 августа (в подборке «Стихи разных лет»), с датой. Уз (раздел «Память»).

294. Ю, 1967, № 6, с. 43, с датой (в подборке «Из дневников далеких лет», с эпиграфом: «Сороковые, роковые» — из ст-ния «Сороковые» (1961) поэта Д. С. Самойлова).

295. НМ, 1956, № 8, с. 27, под загл. «Ответ», с вариантом ст. 14: «не проявляйте жалкого участья». Печ. по Ю, 1964, № 11, с. 52, где ст-ние впервые вошло в цикл «Пять обращений к трагедии». СПр, с датой: 1949, в цикле «Испытание». Первые два обращения («От сердца к сердцу...» и «Прошло полгода молчанья...») вошли в трагедию «Верность» (см. № 348, с. 367 и 402). Другие обращения «Когда ж ты запоешь, когда...» и «О, где ты запела, откуда взманила...» см. в Уз, с. 85—86.

296. Ю, 1964, № 1, с. 50, без ст. 9, с датой. Печ. по Уз, с. 57, дата: 1950 (раздел «Память»). Датируется по Ю.

297. ДПМ-80, с. 163, с эпиграфом, с датой. Авт. машинопись, в письме к сестре 1949 г., без эпиграфа, без даты. *Сохраню ль к судьбе презренье?..* — цитата из ст-ния Пушкина «Предчувствие» (1828).

* **298.** СтП-51, с. 171, с вариантами: в гл. 3, ст. 44 — «отправь меня», после ст. 62 — три дополн. строфы. Печ. по Лир-55, с. 31, с датой (открывает раздел «Начало поэмы»). И-54 (раздел «Молодость»). Автобиографическая природа произведения сродни лирической прозе «Дневных звезд». *Струна в тумане* — см. прим. 177. *Палевские ткачи* — рабочие фабрики Паля (владельца текстильной мануфактуры), участники забастовок и политических манифестаций. *Невская застава* — см. прим. к «Попытке автобиографии», с. 537. *Днем вершин.* Название «День вершин» носят три раздела гл. «Поход за Невскую заставу» в «Дневных звездах». *Бабка наша* — мать отца — Ольга Михайловна Берггольц; на самом деле умирала Мария Ивановна Грустилина, бабушка О. Берггольц по материнской линии, а не отцовской, что уточнено в «Дневных звездах» (ср. назв. гл. «Дневных звезд»). *Обуховского пушкаря* и т. д. Бабушка О. Берггольц не была вдовой пушкаря; в данном случае — обобщенный образ заставской женщины-матери. *Гастелло* Н. Ф. (1907—1941) — летчик, Герой Советского Союза (посмертно); 26 июня 1941 г. направил

горящий самолет на скопление танков и бензоцистерн противника, которые взорвались вместе с самолетом. *И как один умрем* — припев революционной песни «Смело мы в бой пойдем. . .», в котором ст. 4: «В борьбе за это». *Диабаз* — покрытие улиц из горной породы темно-серого или зелено-черного цвета. *Дни Коммуны ... Красная Пресня... в Семнадцатом.* Перечисление революционных событий в Париже (1871), Москве (1905) и в Петрограде. *И славою считаться мы не будем!* Отзвук стихов из поэмы Маяковского «Во весь голос» («Сочтемся славою — ведь мы свои же люди» и т. д.).

299. ЛР, 1964, 28 августа (в подборке «Стихи разных лет»), с датой. Печ. по Уз, с. 71 (раздел «Память»).

300. Уз, с. 90 (раздел «Память»), с датой.

301. Ю, 1964, № 11, с. 50, с датой. Печ. по Уз, с. 74 (раздел «Память»).

* **302—303. 1** — Зн, 1953, № 1, с. 13, без ст. 10—21, с вариантами, ст. 26—33 после ст. 17, в цикле «Из писем с дороги», вместе со ст-ниями: «Я сердце свое никогда не щадила. . .», «Послесловие» («И это — вступленье к поэме. . .»). Автограф — в том же цикле, под № 1, без ст. 10—21, с вариантами. **2** — НМ, 1961, № 9, с. 85, в цикле «Из писем с дороги», вместе со ст-ниями: «Пусть падают листки календаря. . .», «А я вам говорю, что нет. . .», «Песня после дороги» («Я вернулась, миленький. . .», см. № 324). Цикл печ. по С-62, с. 209, 213. Датируется по Уз, где он представлен пятью ст-ниями: «К волго-донской степи», «Я сердце свое никогда не щадила. . .», «Темный вечер легчайшей метелью увит. . .», «О, как я от сердца тебя отрывала! . .», «Пусть падают листки календаря. . .». В ССоч, т. 3 цикл не включен — лишь одно ст-ние (№ 304) напечатано в цикле «Волго-Дон».

* **304—305. 1** — Зн, 1953, № 1, с. 13, без даты, в цикле «Из писем с дороги» (см. прим. 302—303). Печ. и датируется по ССоч, т. 3, с. 36. Автограф ранней редакции без даты. **2** — Зн, 1952, № 6, с. 3, под загл. «Встреча», с вариантами; И-54, с. 35, под загл. «Встреча», с вариантами, 8 дополн. ст. после ст. 128 и 4 дополн. ст. после ст. 150, с датой: 1952, вне цикла (раздел «По новым дорогам»). Цикл печ. и датируется по ССоч, т. 3, с. 36, где впервые образован цикл «Волго-Дон». Авт. машинопись с вариантами и 36 ст., не вошедшими в печ. текст. В рукописном плане широко задуманного цикла «Ленинград — Сталинград — Волго-Дон» ст-нию «Встреча» («И вновь одна») предназначался 5-й или 6-й порядковый номер (арх. МФБ). Канал им. В. И. Ленина, соединивший Волгу и Дон, был построен в 1948—1952 гг. *Помгол* — Центральная комиссия помощи голодающим Поволжья при ВЦИК (1921). *Волховстрой* — город Ленинградской обл. на реке Волхов, где в 1918—1927 гг. была построена Волховская гидроэлектростанция им. В. И. Ленина. *Долорес Ибаррури* (род. 1895), псевд. Пасионария (Пламенная) — видный деятель испанского и международного коммунистического движения. *Ждали моря в пятьдесят втором.* О Цимлянском водохранилище см. № 308.

306. Зн, 1953, № 1, с. 3, без даты, в цикле «На сталинградской земле». Датируется началом работы над циклом ст-ний о Волго-Доне

после поездки туда автора в 1952 г. Автограф без даты, строфа 4 зачеркнута (на полях записан вариант ст. 3—4 этой строфы: «Всё прекрасное было со мной, всё печальное пело во мне»). В сб-ки ст-ние не включалось. Но в рукописном наброске арх. МФБ намечен план большого цикла (из 12 ст-ний и вступления), под загл. «Ленинград — Сталинград — Волго-Дон» или поэмы в том же составе. В плане (с подсчетом строк) значится: «Ведущий воду (Вступление в поэму). 1. Вступление (к циклу). 2. Сталинграду. 19 ноября 1942. 3. [Земляки] Побратимы. 4. Дом Павлова. 5 и 6 (в неустановленном еще порядке): Балка Солянка и Встреча («И вновь одна»). 7. В ложе Цимлянского моря. 8. Вот когда я хочу говорить. [«Темный вечер. . .»]. 9. Величальная Волго-Дону. 10. В Сталинградском музее (Ваня-коммунист и Оружье Буденного). 11. Планетарий. 12. Парень на поляне». Судя по указанному количеству строк (20), роль вступления предназначалась ст-нию «Ленинград — Сталинград — Волго-Дон». *Незабвенные дни февраля* — время поездки О. Берггольц на открытие Волго-Донского канала.

307. ЛГ, 1952, 20 ноября; Зн, 1953, № 1, с. 3 (в подборке «На сталинградской земле»), с датой. Печ. по Лир-55, с. 13 (раздел «На сталинградской земле»). Автограф — под загл. «Земляки. М. Светлову», с вариантами, без даты. *Светлов* Михаил Аркадьевич (1903—1964) — поэт, один из близких друзей О. Берггольц, которому она в разные годы посвятила несколько ст-ний (№ 333, 346). О знакомстве с ним см. в «Попытке автобиографии» (с. 52). *Хользунов В. С.* (1905—1939) — советский авиатор, родился в Царицыне (ныне Волгоград); с 1937 г. — командующий авиационным оперативным соединением, Герой Советского Союза; добровольцем воевал в Испании. *«Гренада моя! . .»* — припев песни М. Светлова «Гренада» (1926), муз. К. Листова. *Лейтенант Ибаррури* Рубен (1920—1942) — сын Долорес Ибаррури (см. прим. 305); погиб, защищая Сталинград; Герой Советского Союза.

308. Зн, 1953, № 1, с. 9 (в подборке «На сталинградской земле»), без даты; И-54, без ст. 29—32, с датой (раздел «По новым дорогам»). Печ. и датируется по Лир-55, с. 18. Автограф с вариантами ст. 1—3, после ст. 40 — два дополн. ст., без даты. Эпиграф — из стихов самой О. Берггольц (наброски к «Балке Солянке» — см. «Другие редакции и варианты», № 309) .*Уголь превращается в алмаз.* Источник этой метафоры — поэма Блока «Возмездие» (1911). О судьбе молодых и старых лесов сталинградской земли О. Берггольц писала в статье «Зеленый пояс Волго-Дона» (ЛГ, 1952, 26 июля).

*** 309—310.** Зн, 1953, № 1, с. 11, №№ 1 и 2 (в подборке «На сталинградской земле»). Печ. по И-54, с. 59, с датой. После 1961 г. вторая часть цикла в сб-ки не включалась. Два черновых автографа (под загл. «Солянка» и «В балке Солянке») и беловой — с большим количеством вариантов и набросков. В черновых автографах сравнительно закончена только вторая часть цикла, беловой автограф № 309, без даты. Сохранился также набросок третьей редакции цикла под загл. «О речке Солянке». Цикл включался автором под № 5—6 в план большого стихотворного произведения «Ленинград — Сталинград — Волго-Дон» (см. прим. 306). *И мне ли не помнить сверкающий полдень.* В черновике какого-то своего выступления по поводу при-

своения имени В. И. Ленина Волго-Донскому судоходному каналу О. Берггольц писала: «Я глубоко счастлива тем, что видела, как первая донская волна ударилась в ложе Карповского водохранилища, направившись по пути к Волге, что своими руками соединяла воды Волги и Дона между первым и вторым шлюзами» (арх. МФБ). Ср. ее статью «Вода пошла по каналу» — ЛГ, 1952, 9 февраля.

311. ЛР, 1971, 1 января, с датой. В задуманном цикле «Ленинград — Сталинград — Волго-Дон» ст-ние занимает второе место после «Вступления» к циклу. Среди относящихся к нему черновиков сохранилась запись: «К книжке о Сталинграде» и эпиграф (арх. МФБ):

Догорает над Волгой закат,
А по рельсам составы гремят,
А на сердце солдат — Сталинград,
Нашей славы военной звезда.

* **312.** Зн, 1953, № 1, с. 6, после ст. 70 дополн. строфа, позднее исключенная (в подборке «На сталинградской земле»); И-54, с датой: 1952. Печ. по Соч, т. 1, с. 113, с датой. Беловой автограф с вариантами. Среди черновых набросков сохранилась строфа, помеченная февралем — апрелем 1952 г. *Павлов* Яков Федотович (р. 1917) — Герой Советского Союза (с 1945 г.). Во время Сталинградской битвы командовал в звании ст. сержанта штурмовой группой, которая в ночь на 27 сентября 1942 г. отбила у противника четырехэтажное здание в центре города и удерживала его до ликвидации фашистских войск в Сталинграде. *В твой день ... как ты погиб.* Речь идет об Н. С. Молчанове (см. прим. № 232). *Тракторный* — Сталинградский тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского. *Я — с Карповской... А Дон-то как ударит! И — двинул к Волге!..* — см. прим. 309.

313. Зн, 1953, № 1, с. 14, с датой, в качестве заключения к подборке ст-ний о Сталинграде и Волго-Доне, после цикла «Из писем с дороги» (см. № 302—303).

314. ЛенР, 1980, 5 сентября, и ДПМ-80, с. 160, с датой. Авт. машинопись без даты. Копия с автографа МТБ с датой: 1953 и пометой: «Моя Ляля».

315. Зн, 1953, № 1, с. 4 (в подборке «На сталинградской земле»), 19 строф, без даты; И-54 (раздел «По новым дорогам»). Печ. по ИП т. 1, с. 242, с датой. В рукописном плане цикла «Ленинград — Сталинград — Волго-Дон» под № 10 значатся два ст-ния с общим загл. «В Сталинградском музее»: первое — «Ваня-коммунист», второе — «Оружье Буденного» (арх. МФБ). *Вишневский* Всеволод Витальевич (1900—1951) служил в 1918—1920 гг. пулеметчиком в Первой конной армии и на флоте. В 1941—1942 гг. — участник обороны Ленинграда, возглавлял группу писателей при Политуправлении КБФ, был постоянным участником ленинградских радиопередач. *У деревни Пьяный Бор ... принял бой.* В ночь на 1 октября 1918 г. «Ваня-коммунист» № 5, флагман Волжской военной флотилии (где Вишневский служил первым номером станкового пулемета), затонул после упорного боя с колчаковцами у деревни Пьяный Бор на левом берегу Камы.

316. ЛЖ, 1962, 29 июня (в подборке «Из разных тетрадей»), с посвящением «Е. Е.», ст. 12: «она надменно, тихо разрушалась», без даты; ДП(М.—Л.)-62; Уз, с эпиграфом: «Благословенно, невозвратимо, неизгладимо, прости» (неточная цитата из ст-ния Блока «Была ты всех ярче, верней и прелестней...», 1914) открывает раздел «Годы». Печ. по ИП, т. 1, с. 253. *Ефремов* Е. Г., реставрировавший церковь «Дивную», — друг О. Берггольц (ВОБ, с. 209). Церковь *«Дивная»* — «Триединая» (трехшатровая) Успенская церковь Алексеевского монастыря в Угличе, ценный памятник каменного шатрового зодчества (1628), возникший как символ освобожденной от захватчиков Руси. Написано под впечатлением от поездки О. Берггольц в 1953 г. в город детства — Углич (см. очерк «Поездка в Углич» — ЛГ, 1954, 13 февраля, и гл. «Поездка в город детства» в «Дневных звездах»).

317. ЛГ, 1954, 22 мая, под загл. «Украине». Печ. по ИП, т. 1, с. 255, с датой. *Ночью под рождество* — намек на повесть «Ночь перед Рождеством» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя (1832). *Певца Катерины* — Т. Г. Шевченко, автора поэмы «Катерина» (1838). *Чуден твой Днепр* — перифраз из «Страшной мести» Гоголя (1832). *Днепростроевская плотина.* Днепрогэс им. В. И. Ленина, гидроэлектростанция на Днепре, у г. Запорожья, сооружалась по плану ГОЭЛРО в 1927—1932 гг.; в 1941—1943 гг. многие сооружения Днепрогэса были взорваны немецко-фашистскими захватчиками. *Утро встречает прохладой* — см. прим. на с. 538. *Бабий Яр* — овраг в северной части Киева, где в сентябре 1941 г. произошел массовый зверский расстрел советских людей фашистами. *Ночные днепровские переправы* — форсирование Днепра в ночь на 21 сентября 1943 г. соединениями 13-й армии в ходе Великой Отечественной войны. *Для Каховки трудиться, — по-новому стала она знаменитой.* Во время гражданской войны в августе 1920 г. велись героические бои за Каховский укрепленный плацдарм на левом берегу Днепра, способствовавшие разгрому Врангеля. Центральные сооружения Каховской гидроэлектростанции, построенные на Днепре в 1951—1956 гг., находятся неподалеку от Каховки.

318. НМ, 1956, № 8, с. 28 (в подборке «Стихи из дневников. 1938—1956 гг.»); СПр, в цикле «Испытание». Печ. по Уз, с. 46, с датой (раздел «Память»).

* **319.** ЛГ, 1960, 20 февраля, в статье «Под вечной охраной гранита» (б. п.). Печ. по тексту, высеченному на граните центральной мемориальной стелы Пискаревского кладбища в Ленинграде. Авторизованная машинопись утвержденного текста с подписью О. Берггольц, без даты и автограф предшествующей редакции текста (с вариантами), также без даты — в арх. Е. Э. Левинсон, вдовы Е. А. Левинсона. Совместная работа поэта с архитектором мемориала Е. А. Левинсоном (вторым архитектором был А. В. Васильев) началась в 50-х гг. В 1956 г. проект и был утвержден. В 1957 г. Е. Левинсон сообщил в печати об утвержденном проекте мемориала с надписями О. Берггольц («Архитектура и строительство Ленинграда», 1957, № 4, с. 51). Пискаревский мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1960 г. Текст, написанный О. Берггольц, получил все-

народное признание. Еще в 1928 г. в ст-нии № 40 О. Берггольц писала о «темных строках» на «прямых скалах» мемориала Марсова поля. В одном из откликов на открытие Пискаревского ансамбля отмечалось: «... чудесный текст мемориальной надписи, написанный поэтом Ольгой Берггольц, сочетается с прекрасной надписью, сделанной А. Луначарским и выбитой на гранитном памятнике жертвам революции на Марсовом поле. Здесь нет подражаний, но есть благородное единство» (Кетлинская В., Запечатленное чувство — «Сов. культура», 1962, 27 мая).

320—321. Уз, с. 78, с датами (раздел «Память»). *Шварц* Евгений Львович (1896—1958) — писатель, друг О. Берггольц, автор сценических сказок «Тень», «Голый король», «Снежная королева», «Дракон» и др., отличавшихся остросовременным звучанием и получивших яркое театральное воплощение в спектаклях Н. П. Акимова (Лен. театр комедии). Е. Л. Шварцу посвящена статья О. Берггольц «Нет — Дракону!» (1962) — ВОБ, с. 504. Авт. машинопись — ЦГАЛИ.

322. ЛГ, 1960, 8 октября; С-62, без загл., с датой: 1952—1960, в цикле «Из писем с дороги»; ИП, т. 1, без загл., с датой: 1952—1962, вне цикла. Печ. по В, с. 235 (раздел «Память»). Уз, с датой: 1962 (раздел «Письма с дороги»), П (раздел «Годы»). Одно из итоговых ст-ний О. Берггольц, которым автор часто завершает сб-ки (например, Уз) или главнейший раздел в сб-ке (В, П).

323. НМ, 1956, № 8, с. 30 (в подборке «Стихи из дневников 1938—1956 гг.»). Печ. по ИП, т. 1, с. 274, с датой: 1956—1960. СПр, с датой: 1956. П (раздел «Годы»).

324. НМ, 1961, № 9, с. 87, под загл. «Песня после дороги». Печ. по С-62, с. 207 (раздел «Стихи разных лет и дней»). Уз (раздел «Годы»). *Сибиринка.* Весной 1959 г. О. Берггольц по Енисею проделала путь от Красноярска до Минусинска, поехала «по жесткой душевной потребности... посмотреть, какая же она, Сибирь». См. ее статью: «На Енисее (Письма после дороги)». — ЛГ, 1959, 18, 25 июня и 2 июля (ВОБ, с. 469).

325. СПр, с. 363, с датой. Уз (раздел «Годы»), В (раздел «Память»). *На Херсонесе, на обрыве* и т. д. О. Берггольц посетила Севастополь и Херсонес осенью 1944 г., вскоре после их освобождения (см. об этом в ее очерке «Ленинград — Севастополь» — ГЛ, с датой: ноябрь 1944 г.).

326—327. 1 — НМ, 1961, № 9, с. 85, в цикле «Из писем с дороги»; С-62, в том же цикле, но в другом составе, общая дата: 1952—1960; В, без загл., вне цикла, с датой: 1960. **2** — НМ, 1956, № 8, с. 30, под загл. «Перед разлукой» (в подборке «Стихи из дневников 1938—1956 гг.»). Цикл печ. по ССоч, т. 3, с. 71, с исправлением даты в № 2 по предшествующим изданиям.

328. ДрН, 1979, № 4, с. 183. Автограф без даты — ЦГАЛИ. Датируется предположительно.

329. ЛГ, 1961, 13 апреля. Печ. по ДПЛ-61, с. 10, с датой. Авт. машинопись с пометой: 13 апреля 1961 г. Ленинград. Написано по

поводу первого полета человека в космос: 12 апреля 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин (1934—1968) облетел на корабле «Восток» земной шар за 1 час 48 минут и приземлился в заданном районе. Тема освоения космоса глубоко волновала поэта — и в героико-романтическом плане, и в плане философском. Ей посвящены ст-ния О. Берггольц «Возвращение» (1961), «Ты вернулся. Андрияну Николаеву», «На службе звезд. Павлу Поповичу», «Прекрасные!» (1962), «Валентине Терешковой» (1963), «Из записной книжки», «Космонавту» (1960-е гг.).

330. ЛГ, 1962, 7 июля.

331. ЛГ, 1962, 17 августа. *Николаев* Андриян Григорьевич (род. 1929) — летчик-космонавт; в 1962 г. на космическом корабле «Восток-3» совершил 64 оборота вокруг земли и благополучно приземлился. Ср. прим. 329. *Цивиль* — река Большая Цивиль в Чувашской АССР.

332. ЛЖ, 1962, 29 июня (в подборке «Из разных тетрадей»). *Антокольский, Твардовский, Светлов* — друзья О. Берггольц, поэты П. Г. Антокольский (1896—1978), А. Т. Твардовский (1910—1971), М. А. Светлов (1903—1964) — см. о них в прим. 307, 333, 344—345.

333. Ю, 1964, № 11, с. 49, дата после постскриптума: 1964. Печ. по Уз, с датой (раздел «Память»). О М. А. *Светлове* см. прим. 307, 332. Эпиграф — из ст-ния В. М. Саянова «Прожитый день» (1927). *Военная свирель Светлова.* О. Берггольц вспоминает романтические ст-ния Светлова о гражданской войне: «Гренада» (1926), «В разведке» (1927), «Песня о Каховке» (1935). В 1941—1945 гг. М. Светлов был специальным корреспондентом «Красной Звезды» на Ленинградском фронте. О. Берггольц высоко ценила его ст-ние «Итальянец» (1943). Ей посвящено ст-ние М. Светлова «Советские старики» (ВОБ, с. 234).

*** 334.** ВечЛ, 1946, 1 мая, под загл. «Здесь будет город-сад», с эпиграфом из ст-ния В. Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» (1929), с вариантом ст. 9—12, без ст. 15—16, после ст. 20 — другой текст (56 ст.); КПр, 1946, 1 мая, под загл. «За Московской заставой» (сокращ. вариант ред. ВечЛ); ЛПр, 1963, 2 апреля, под загл. «Международный проспект». Печ. по Уз, с. 104 (раздел «Из ленинградских дневников»), с уточнением даты по первым изданиям (1946, 1956, 1963). *Международный* проспект, называвшийся также Забалканским, Детскосельским, пр. Сталина, — с 1956 г. называется Московским. *Площадь Сенная* — ныне площадь Мира. *«Победа»* — обувная фабрика «Пролетарская победа» (ныне один из филиалов объединения «Скороход»).

335. ЛГ, 1964, 12 мая, с указанием во вступ. заметке: «Стихи, написанные в прошлом году». Печ. по Уз, с. 93, дата: 1964 (раздел «Из ленинградских дневников»). Датируется 1963—1964 гг.

336. Ю, 1964, № 11, с. 51, под загл. «Возвращение», с посвящением «Памяти Николая», датой и с пометой в конце: «Ленинград, ул. Рубинштейна». Печ. по Уз, с. 110 (раздел «Из ленинградских дневников»). Посвящено Н. С. Молчанову (см. прим. 232).

337. НМ, 1979, № 4, с. 168, дата: Около 1968, и ВОБ, с. 586, с датой: 1965—1968. Печ. по автографу арх. МФБ.

338—339. **1** — ССоч, т. 3, с. 86, с датой. **2** — ЛР, 1973, 19 января. Цикл печ. по ССоч, т. 3, с. 86. *Ахматова* Анна Андреевна (1889—1966) — поэт, близкий друг О. Берггольц. *У Фонтанного дома* — так называли в Ленинграде дом № 34 по набережной р. Фонтанки, бывший Шереметевский дворец (архитекторы С. И. Чевакинский и Ф. С. Аргунов), ныне Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. *У резных чугунных ворот* — чугунная ограда дворца архитектора И. Корсини (конец 1830-х гг.). А. А. Ахматова дежурила в 1941 г. по месту жительства, как и все ленинградцы, охранявшие город. О. Берггольц пишет в ГЛ о выступлении А. Ахматовой по радио в конце сентября 1941 г. перед ее отъездом в эвакуацию (гл. «Об этой книге»). См. также №№ 342—343.

340. НМ, 1979, № 4, с. 169 и ВОБ, с. 572. Печ. по НМ. Датируется предположительно. Автограф без даты.

341. НМ, 1979, № 4, с. 168 и ВОБ, с. 586. Автограф без даты. Датируется предположительно. Черновики — арх. МФБ. *«Книга Восстановления»* — черновое загл., по-видимому, незавершенного произведения.

342—343. **1** — ДПМ-80, с. 164. Датируется по указанию М. Ф. Берггольц. **2** — НМ, 1979, № 4, с. 169, и ВОБ, с. 587. Датируется предположительно. Черновые автографы в записной книжке и на обложке журнала «Театр», авт. машинопись. №№ 342—346 должны были войти в состав задуманной автором книги «Великие поэты века». Об А. А. *Ахматовой* см. прим. 338—339. См. также статью О. Берггольц «Слово прощания (Памяти А. Ахматовой)» — ЛР, 1966, 11 марта.

344—345. ВОБ, с. 588, без даты. Автограф — ЦГАЛИ. *Твардовский* Александр Трифонович (1910—1971) был одним из ближайших друзей О. Берггольц и непогрешимым для нее литературным авторитетом. См. ст-ние № 332 и статьи О. Берггольц: «С Родиной в пути (О поэме А. Твардовского «За далью — даль»)» — в кн.: «Мастерство писателя», М., 1961, с. 104—108; «Щедрый талант (К 60-летию А. Твардовского)» — Изв, 1970, 23 июня; «„... Какое сердце биться перестало!“ (Памяти А. Твардовского)» — ЛР, 1971, 24 декабря. *Протопоп Аввакум* — см. прим. 239.

346. ВОБ, с. 588, без даты. Автограф — ЦГАЛИ. О *Светлове* см. прим. 307, 333.

347. ДПЛ-82, с. 337. Авт. машинопись без даты. Автограф — ЦГАЛИ.

II

* **348.** «Ленинградский альманах», 1954, кн. 8, с. 10, с вариантами; П-55 и Лир-55, вм. «Первого обращения к трагедии» — загл. «Обращение к трагедии»; в «Последнем обращении к трагедии» после ст. 39 дополн. строфа. Печ. по П-74, с. 117. Отдельно публиковались первые

два обращения к трагедии: И-48, с. 100, под загл. «Два вступления к трагедии „Город славы“», с вариантами в 1-м и 2-м обращениях, с общей датой: Весна 1947. 1-е обращение — Лир-55, с. 147, и П-55, с. 11; Уз, с. 81, с датой: Август 1946. 2-е обращение в П-55 и Лир-55 предшествует 3-му акту. «Последнее обращение» вне текста трагедии не печаталось. Первые два вместе с тремя другими образовали цикл «Пять обращений к трагедии»: Ю, 1964, № 11, с. 50, Уз, с. 81 и ИП, т. 1, с. 258. В него вошли: ст-ние № 295, обращение 4-е «Когда ж ты запоешь, когда...» (1951) и 5-е «О, где ты запела, откуда взманила...» (1954). Черновые редакции и материалы — ЦГАЛИ и арх. МФБ. Трагедия задумана была вскоре после войны под загл. «Город славы». О Севастополе О. Берггольц писала еще в 1935 г. (ст-ние «Севастополь», № 99). К Севастополю обращены мысли и чувства поэта в трагические июльские дни 1942 г. (см. № 237). «Верностью» назван и сборник ст-ний поэта 1970 г. (В). Выполненная в жанре высокой классической трагедии, «Верность» насыщена реальным жизненным материалом — впечатлениями и сведениями, полученными автором во время поездки в Севастополь осенью 1944 г., вскоре после освобождения города от фашистских захватчиков. Эти впечатления изложены в очерке «Ленинград — Севастополь», с датой: Ноябрь 1944 (ГЛ). О длительной и напряженной работе автора над произведением, которое неоднократно переделывалось и шлифовалось, свидетельствуют рукописные материалы из арх. МФБ. Последняя доработка трагедии была осуществлена перед самой ее публикацией, как это явствует из письма О. Берггольц к сестре летом 1954 г.: «Заново переписала трагедию. Стала новая вещь. Ремарки — стихотворные, много лирики. Идет с триумфом; открывают ею № 7 «Лен. альманаха» (пошла в набор), издают отдельной книжкой в «Сов. писателе». Говорят, что, мол, вершина из написанного, выше всего блокадного и ближе всего именно к лучшему блокадному... Пока самой кажется, что получилось» (арх. МФБ). Как писал Ю. Герман в статье «Будем строгими к себе», «...факты, которые легли в основание трагедии Ольги Берггольц «Верность», в свое время были известны огромному количеству и читателей и писателей. И женщины, стиравшие для медсанбатов и уничтожившие предателя Жиго, и возникновение подпольной советской власти в Севастополе во время немецкой оккупации, и партизаны в севастопольских руинах — обо всем этом писалось в газетах, однако же искра не высеклась, удара кремня об огниво не происходило до тех пор, пока весь этот материал не вошел в творческое соприкосновение с дарованием Ольги Берггольц. Художник, переживший ленинградскую блокаду, тонко и точно почувствовал патетическую, величественную трагедию севастопольцев» (НМ, 1954, № 11, с. 220).

Пролог. *Старинную матросскую* и т. д. Здесь цитируются, а затем даются в переделке слова старинной матросской песни «Раскинулось море широко...» (сб. «Варяг», СПб., 1911) Акт первый. *Троя* — город на северо-западе Малой Азии; согласно легенде, был разрушен греками, о чем повествуется в древнегреческом эпосе («Илиада»). *Херсонес* — древний город V—I вв. до н. э. (античный полис); в I в. н. э. — аристократическая республика, зависимая от Рима, потом — Византии. Сохранились развалины этого города, среди которых — остатки *храма Диониса* (Вакха). На месте бывшего города (под Севастополем) был основан музей. Прообразом *Хмары*, хранителя Херсонесского городища и музея, в трагедии является А. К. Тахтай (см. о нем в очерке «Ленинград — Севастополь» — ГЛ,

с. 274). Акт третий. *Герр* (нем.) — господин. Последнее обращение к трагедии. *Майданек* и *Освенцим* — фашистские концентрационные «лагеря смерти» в Польше во время Великой Отечественной войны.

* **349.** Зн, 1950, № 11, с. 3, с подзаг. «Поэма», вариантами, со 184 дополн. ст., без ст. 40—43, 56—59, 68—71, 77—80 — в гл. 2; 45—48 — в гл. 5; 85—88 — в гл. 7; 13—16, 58—61, 155—169 — в гл. 14; 5—8 — в гл. 16; концовка гл. 16 в другой ред. после ст. 111, с датой: 1949—1950. Текст поэмы уточнялся, дополнялся и сокращался на протяжении почти восьми лет — в изданиях 1951, 1952, 1954, 1955 гг. — и был в основном установлен лишь в Соч, т. 1, где и появились даты: 1949—1950—1957, последняя из которых обозначает время радикальной переработки. Но и после этого — в П (дата: 1949—1957), в П-74 — делались отдельные исправления. Печ. по П-74, с. 11, с восстановлением (по всем другим изданиям) ошибочно исключенной строфы в конце гл. 4. Автографы — ЦГАЛИ. Авт. машинопись с черновыми вариантами гл. 15—16. «Первороссийск» — одно из тех магистральных произведений, которые проходят через всю жизнь писателя. В одной из своих черновых заметок, связывая близкий ей художественный мир Лермонтова с замыслами будущего произведения, О. Берггольц пишет: «После Лермонтова и Первороссиян: рухнула грань между жизнью и смертью. Между искусством и действительностью. Между прошлым и настоящим, и будущим. Есть только жизнь, и она в настоящем. Не об этом ли говорили древние пророки, что «времени больше не будет!». Я бессмертна, ибо бессмертно русское искусство, русская революция, русский народ, русская земля» (ДрН, 1979, № 4, с. 177). Тема первых коммунаров — хлеборобов новой России — была близка О. Берггольц и идейно, и биографически; она родилась и жила в рабочем районе Петербурга, за Невской заставой, откуда (с Обуховского завода) отправились на Алтай ходоки — выбирать плодородные земли для Коммуны, растить хлеб для Республики в период разрухи и голода. В школе она училась вместе с детьми возвратившихся с Алтая коммунаров, в ее духовном становлении немалую роль сыграли рассказы о трагедии расстрелянной, сожженной и все же вечно живой коммуны «Первороссийск» (это название носили три коммуны, основанные вблизи друг от друга). Существуют данные, что впервые мысль о поэме возникла у О. Берггольц еще в четырнадцатилетнем возрасте. В творческие планы автора работа над произведением входила в 1934 и 1935 гг. Перед самой войной, весной 1941 г., замысел поэта раздвоился между жанром поэмы и сценарием кинофильма. Созданию поэмы предшествовала большая работа: изучались материалы о В. И. Ленине, роль которого в создании первой коммуны определена в произведении достаточно точно, прослеживались судьбы первых коммунаров. Так, в целую родословную разрослись материалы о Василии Грибакине, первом председателе коммуны «Первороссийск» (в поэме — Василий Гремякин), его брате Петре (в 1895 г. состоял в кружке, которым руководил В. И. Ленин), его детях — «соколах» Германе, Гурии, Вениамине, Дмитрии (от последнего, с которым О. Берггольц училась вместе на Литературных курсах, она и узнала многое о Коммуне) — см. об этом статью А. Розанова «На земле коммунаров» (ВОБ, с. 227). В 1950 г. поэма «Первороссийск» была удостоена Государственной премии. В 1957 г. началась работа над сценарием «Первороссийска» для «Ленфильма» (опубликован в ЛР, 1965, 12, 19 и 26 ноября — под загл. «Первoрос-

сияне», по арх. Ленфильма; ВОБ, с. 366). О работе над ним О. Берггольц писала Н. Б. Банк в конце августа 1957 г. (ВОБ, с. 212—213). Фильм «Первороссияне» поставлен режиссером А. Г. Ивановым в 1967 г. («Ленфильм»). Но и позднее судьба «первороссиян» продолжала волновать автора. Когда началось строительство Бухтарминской ГЭС и земли первых коммун, как и возникшего на них позднее совхоза «Первороссийский», должны были уйти на дно нового моря, О. Берггольц в 1960 г. предпринимает поездку «по следам» своей поэмы. Статья, с которой она выступила на страницах ЛГ (1 января 1960 г.), так и называлась «По следам поэмы» (ср. ССоч, т. 3, с. 364).

2. *Ленский расстрел.* 4 (17) апреля 1912 г. на Ленских золотых приисках было расстреляно царскими войсками мирное шествие рабочих, протестовавших против ареста членов стачечного комитета. *Обуховская оборона.* Столкновение бастовавших рабочих Обуховского завода в Петербурге (ныне завод «Большевик») 7 мая 1901 г. с войсками и полицией — одно из первых политических открытых выступлений русского пролетариата. *Еще вчера — бродячий призрак.* Имеются в виду слова «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» из «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (1847). **3.** *Торнтон* — петербургский промышленник, владелец ткацкой фабрики (ныне Комбинат тонких и технических сукон им. Э. Тельмана) на Октябрьской набережной в Невском районе. *Брест* — (до 1939 г. Брест-Литовск) — город на западной границе Белоруссии, где 3 марта 1918 г. был заключен мирный договор Советской России с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. *Конка* — городской железнодорожный транспорт с конной тягой, в начале 20-х гг. в Петрограде замененной паровым двигателем. *Бабушкин* И. В. (1873—1906) — один из первых русских рабочих социал-демократов, большевик. **4.** *Бывший императорский фарфоровый* — завод в Петрограде (ныне завод им. М. В. Ломоносова). *Арсенал* — см. прим. 62. **5.** *Об Ермаке негромко пели* — песню «Ревела буря, дождь шумел» (текст думы К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака»). 9. *Восстания в Саратове, в Самаре, в Москве зловещий заговор раскрыт.* Имеются в виду террористические выступления и заговоры против Советской власти в 1918—1919 гг., руководимые «национальным центром» — контрреволюционной конспиративной организацией, связанной с иностранными разведками и белогвардейскими главарями; в 1919 г. ликвидированы органами ВЧК. *Белочехи занимают Томск.* 31 мая 1918 г. Томск был захвачен силами мятежного чехословацкого корпуса, примкнувшего к Антанте. **11.** *Семеновских молодцов* — банд генерала Г. М. Семенова (1890—1946), атамана сибирского казачества, сподвижника Колчака. **13.** *Поставец* (псковск.) — светец, подставка для лучины. **14.** *«Вихри враждебные веют над нами»* — начало революционной песни «Варшавянка» (см. прим. 221). *«Это есть наш последний. . .»* и т. д. — припев революционного гимна «Интернационал» (слова Э. Потье, 1871, музыка П. Дегейтера). *Уже Совет рабочих депутатов и в Гамбурге и в Будапеште есть. В Берлине стачка общая. . . Вильгельм отрекся.* Октябрьская революция в России вызвала волну европейских революций. 21 марта 1919 г. была провозглашена Венгерская советская республика, просуществовавшая 133 дня. В условиях общего революционного подъема 1918—1919 гг. в Германии отрекся Вильгельм II; возникли Баварская советская республика, совет рабочих депутатов в Гамбурге. Однако в мае 1919 г. эти революционные завоевания были уничтожены силами правительства Эберта — Шейдемана. *Наши взяли Перекоп.*

В ноябре 1920 г. советские войска под командованием М. В. Фрунзе прорвали сильно укрепленную оборону генерала Врангеля на Перекопском перешейке, после чего Крым был очищен от белогвардейцев. *Шлиссельбургский тракт* — проезжая дорога в Петрограде (ныне пр. Обуховской обороны). *Первый русский трактор.* Первый советский трактор марки «Фордзон-Путиловец» был выпущен в 1923 г. **15.** *Колчаку от красных достается.* Сокрушительные удары по белогвардейской армии Колчака были нанесены Красной Армией в апреле — июне 1919 г., а полностью сопротивление колчаковцев было сломлено в январе 1920 г.

III

СТИХОТВОРНАЯ САТИРА

350—351. «Лен. Правда — на оборонной стройке», 1941, 7 августа и 13 августа. Авт. машинопись № 351 без ст. 37—56, без даты.

352. Печ. по авт. машинописи. Первая публикация — в неустановленном издании военного времени.

353. «Военно-морской врач», 1941, 12 июля. На обороте автографа — ст-ние № 201.

354. ЛОб, 1979, № 5, с. 106, с датой: «Июнь-июль 1942». Текст в письме О. Берггольц к матери и М. Либединскому, с датой: Июнь-июль 1942, с сообщением, что ст-ние передавалось по радио в 1941 г. (там же, с. 112).

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

355. Печ. впервые по беловому автографу МТБ, без даты, с адресом: «Палевский пр., дом 6, кв. 6»; черновой автограф МТБ, с датой: Май 1929.

356. О. Берггольц, Как Ваня поссорился с баранами, Л., 1929, рисунки К. Рудакова. Автограф МТБ.

357—363. О. Берггольц, Турман, Л., 1930, рисунки Лукиной. В арх. МТБ экземпляр с надписью: «Самая первая книжонка, написана, когда у тебя появилась первая (но не последняя, наверно) внучка. Ольга». Отсюда дата: 1928—1929 гг.

364. О. Берггольц, Поедем за моря, Л., 1931, рисунки М. М. Штерн.

365. О. Берггольц, Пионерская лагерная, Л., 1931, рисунки Н. В. Свиненко.

366. Печ. по авт. машинописи, с датой.

367. ВОБ, с. 580, с датой. Авт. машинопись — ЦГАЛИ.

368. Печ. по авт. машинописи ЦГАЛИ. Загл. дано по названию сказки X. Андерсена. Две последние строфы исполнялись в спектакле Московского Камерного театра «Верные сердца» О. Берггольц (режиссер А. Я. Таиров, 1945) (Песня Наташи).

369. ВОБ, с. 581, с датой. Авт. машинопись — ЦГАЛИ.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* С фотографии 1951 г.

2. *С. 69.* Автограф стихотворения «Каменная дудка» (арх. МФБ).

3—5. *Между с. 128 и 129.* Вверху: с фотографии 1925—1926 гг. Внизу: с фотографии 1941 г.

На обороте. С фотографии 1936—1937 гг.

6—7. *Между с. 160 и 161.* С фотографии 1943 г., где О. Берггольц снята с медалью «За оборону Ленинграда».

На обороте. С фотографии 1945 г.

8. *С. 229.* Страница автографа поэмы «Февральский дневник» (арх. МФБ).

9—12. *Между с. 320 и 321.* Вверху: О. Берггольц производит подписку на гос. заем в комсомольской бригаде им. Парижской Коммуны на заводе «Электросила». С фотографии 1932—1933 гг. Внизу: встреча О. Берггольц с читателями одной из библиотек Ленинграда. С фотографии 60-х гг.

На обороте. Вверху: О. Берггольц и А. Ахматова. С фотографии 1947 г. Внизу: О. Берггольц. С фотографии 1959 г.

13—16. *Между с. 352 и 353.* Часть надписи (текст О. Берггольц, см. № 319), высеченной на памятнике Пискаревского мемориального кладбища в Ленинграде.

На обороте. Агитационные плакаты военного времени для «Окон ЛенТАСС» со стихотворными текстами О. Берггольц. Излюбленный О. Берггольц персонаж — «соседка по квартире» тетя Даша, образ которой сначала появился в стихах для плакатов, а затем приобрел героическую трактовку в ст-ниях «Разговор с соседкой» (№ 228) и «Второй разговор с соседкой» (№ 261).

(Аннотированный список иллюстративного материала составлен М. Ф. Берггольц.)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

---

[1] Звездочкой отмечены стихотворения, впервые публикуемые в настоящем издании.

II

III

СТИХОТВОРНАЯ САТИРА

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ольга Федоровна Берггольц

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1983, 608 стр.
План выпуска 1983 г. № 403.

Художник *И. С. Серов*
Редактор *В. С. Киселев*
Худож. редактор *А. С. Орлов*
Техн. редактор *Л. П. Полякова*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

ИБ № 3484

Сдано в набор 14.01.83. Подписано к печати 22.08.83. М 35118. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 32,44. Уч.-изд. л. 32,46. Тираж 40 000 экз. Заказ № 944. Цена 3 р. 20 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.